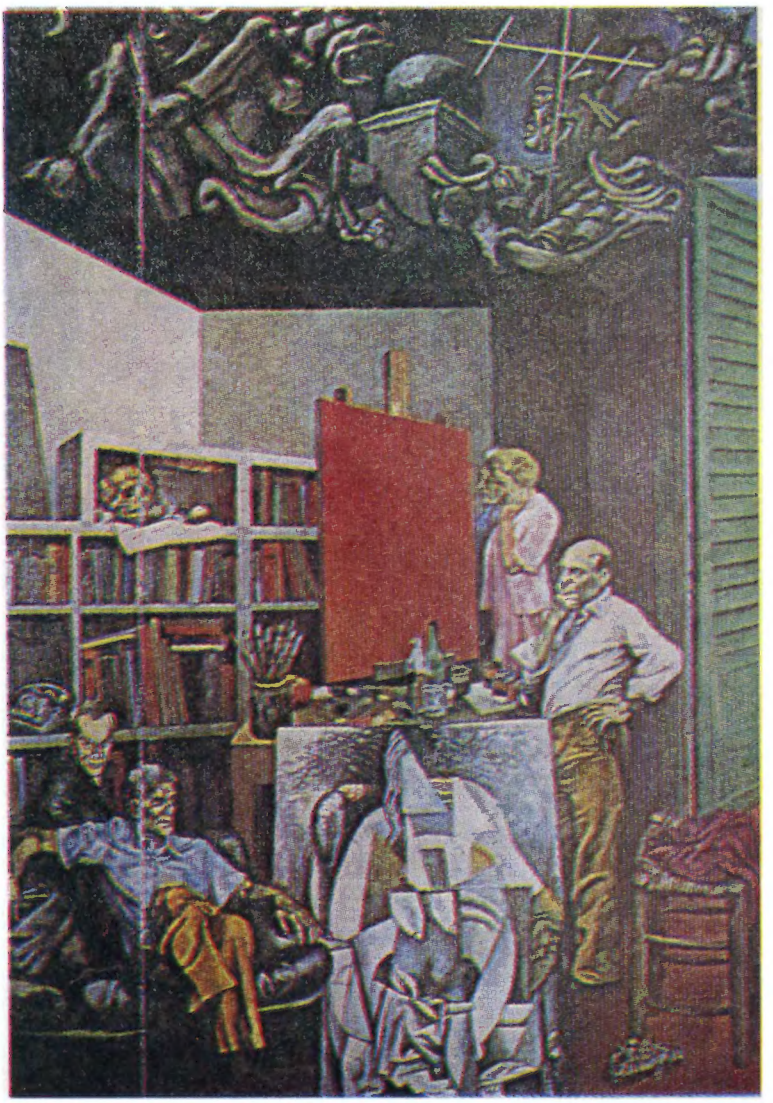
ISSN 0130 – 6545

7. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Осенний луч.

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Spes contra spem («Надеюсь вопреки всему»). Фрагмент.
Прогулка в саду в Велате. Фрагмент.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника Ренато Гуттузо

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 июль 1987

Содержание

КЕКИ ДАРУВАЛЛА — Рассказы *(Перевод с английского И. Бернштейн)* 3

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ — «Страстная неделя» *(Стихи. Вступление и перевод с каталанского Сергея Гончаренко)* 27

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Футурологический конгресс. Из воспоминаний Ийона Тихого *(Перевод с польского К. Душенко. Послесловие Э. Араб-Оглы)* 32

Из американской фантастики

РОБЕРТ ШЕКЛИ, АЛАН ДИН ФОСТЕР, КИТ РИД *(Вступление Вл. Андреева. Переводы с английского В. Скороденко, Анатолия Мельникова)* 87

АЙРИС МЕРДОК — Сон Бруно *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Ольги Татариновой и Игоря Шварца)* 133

Публицистика

АНДЖЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Восток, Запад и Польша *(Перевод с польского А. Ермонского)* 173

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Император *(Окончание. Сокращенный перевод с польского С. Ларина. Послесловие В. Иорданского)* 183

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету. *Гэ Баоцюань, Жоржи Амаду, Йордан Радичков, Гор Видал, Рашид Буджедра, Лисандро Чавес Альфаро, Юрий Брезан (Продолжение)* 209

Из бесед в редакции

Любовь и XX век *(О новом романе Габриэля Гарсиа Маркеса)* 213

Литературные портреты

Н. ЛИТВИНЕЦ — Гизела Эльснер. В обличье «злой дамы» 224

Наши интервью

Н. Морозов — Мирча Динеску: «Вести о весне привели меня в Москву...» 232

Наша почта

Публикацию подготовила А. Николаевская 235

Антирубрика

БРАЙАН ГЛЭНВИЛ — Рассказы *(Перевод с английского Ростислава Рыбкина)* 238

Зарубежная литература в СССР 182

К нашим иллюстрациям

Е. Херсонская — Памяти Ренато Гуттузо 249

Из месяца в месяц 251

© «Иностранная литература», 1987

КЕКИ ДАРУВАЛЛА

Рассказы

■

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

Дерево

Она добрела до деревни, и вместе с ней пришел туман, низкий, как журавлиный лет, как большая, влажная, безгласная птица, прикрывшая болота своей серой тенью. Сначала еще заметны были отдельные проблески солнца, как бы пробивающиеся сквозь оперенье. Но через минуту туман превратился в густую, серую кашу и прочно застыл на месте. Чем непроглядней становилось вокруг, тем неувереннее делались ее шаги. Сердце колотилось в бок, будто кто-то стучался в дверь подземелья. Сопровождавший ее житель деревни предложил ей присесть и отдохнуть. Прошло какое-то время, и вдруг туман на минуту протаял. Она успела различить неровный берег реки, темные стебли камышей, одну крапчатую чайку. Но тут подул ветер и двинул туман прямо на нее. Он был вещественен, она почти вздрагивала, ощущая хлещущие удары клочьев мокрой ваты. И вдруг развиднелось — словно верховой ветер сорвал толевую крышу и отбросил прочь на добрую сотню ярдов.

— Где оно? — спросила она рвущимся от волнения голосом.— Где это дерево?

— Да вот же, ты под ним сидишь,— ответил крестьянин.

Она обратила взгляд к дереву и узнала его. Ну конечно, это он. Под тонкой кожистой корой ясно виднелась татуировка: звезды, трезубцы, минареты, а мужской и женский символы, которые она вытатуировала у него на руке,— они тоже должны быть где-то здесь. Она стала искать и нашла их на ветви, отчетливые, стекольно-синие. И цветы, конечно, повсюду в большом количестве, местами это уже была не древесина, а сплошной цветочный орнамент. Она сама накалывала ему кожу, а потом разводила синьку и киноварь в своем молоке — она тогда как раз кормила — и медленно, почти любовно, почти жестоко, втирала краску в раны. А когда кончилась краска, терла по наколотому травинкой. Для чего и нужна татуировка, если не для того, чтобы узнавать близких в следующей жизни?

Она заметила, что даже в самом взлете и размахе древесного роста проглядывали формы его тела. Раздвоенный ствол, вырываю-

© Keki N. Daruwalla, 1979

КЕКИ Н. ДАРУВАЛЛА — KEKI N. DARUWALLA (род. в 1937 г.)

Индийский поэт, прозаик, литературовед. Пишет на английском языке. Автор стихотворных сборников «Под созвездием Ориона» («Under Orion», 1970), «Апрельские призраки» («Apparition in April», 1971), «Пересекая реки» («Crossing of Rivers». 1976), книги «Двадцать лет индийской поэзии» (антология с предисловием и комментариями К. Даруваллы, 1980).

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Меч и бездна» («Sword & Abyss». Delhi, Vikas Publishing House, 1979).

щийся из почвы, напоминал две ноги: вот утолщения-икры, вот два узловатых выступа на месте лодыжек.

Ею овладело властное томление, по рукам пробежал жар. Потянуло обнять его, пусть на миг. Вот если бы снова сгустился туман! Но туман не возвращался. Наоборот, вокруг нее стали собираться люди.

— Выслушайте меня, прежде чем говорить,— взмолилась она.— Прежде чем указать на меня пальцем или подобрать с земли камень.

Но никто ничего и не говорил, никто не поднимал укоряющий перст и не брал в руки камень. Они просто стояли и глазели на незнакомую женщину свинцовыми очами.

— Пять лет я ждала его, и только потом... только тогда! — Что же она такого сделала через пять лет? — подумали местные жители. Но задавать вопрос поленились.— В первый же год, как он уехал, заболел ребенок. Он умирал! Парро, это моя соседка, ее сын собирался в долину, чтобы поступить в армию. Я послала с ним весть. Вернись, умоляла я. За двести миль от дома сын Парро разыскал его в роще и сообщил, что у его сына оспа. Но он не вернулся. Тогда я стала вопрошать желтооблаченных: выживет ли ребенок? Даже гороскоп заказала. Шитала Дэви смилостивилась. Он поправился. Но я все ходила на перевал и подолгу смотрела на конскую тропу, вьющуюся по дальнему склону. Я ждала его. Но он не возвращался. И тогда я стала спрашивать у мудрецов: вернется ли он хоть когда-нибудь?

Она замолчала, чтобы перевести дух, и задумалась. Здешние жители не услышат от нее, какие ответы давали ей премудрые. Одни говорили, что он уже в пути, не сегодня-завтра будет с ней, зато другие уверяли, что ей его никогда уже не видать. А потом, три года спустя, одни утверждали, что он жив, другие — что его нет на свете, а были еще и третьи, говорившие, что он колеблется на острие между жизнью и смертью. Не станет она рассказывать, как в один прекрасный день она вышла из затвора своего надуманного вдовства на свет подменного лета. Однажды она отперла дверь и впустила к себе ночь, а с нею и чужого мужчину. Мрачен он был и окутан тенью, но он выжег клеймо своих пламенных губ на ее лице и опущенных веках. Он пахал ниву и пас скот, а она стряпала для него и ходила к реке за водой.

Так они прожили вместе два года, а потом, не далее как две недели назад, чужой мужчина сказал: «Мое хождение по твоим ранам приблизилось к концу». Она не поняла. Она терпеть не могла всякие загадочные изречения. Они напоминали ей святых мудрецов, которые возвещали, что ее муж и не жив и не умер.

Но на следующий день приехал человек из болотной деревни и сообщил ей, что ее муж превратился в изъеденное омелой дерево. Она вернулась в дом и сказала мужчине, который прожил с ней два года: «Ты должен уйти. Замужняя женщина — это одно. А вдова должна быть чиста, непорочна». И мужчина ушел. А она разломала свои кольца и браслеты, искупалась в реке и пошла вниз, в болотную деревню.

Жители деревни по-своему объясняли, каким образом он попал в их болотный край. Просто по инерции. Как всякая великая истина, это объяснение отличалось ясностью, очевидностью и простотой. Он начал свой путь из края льдистых высей и шел под гору, шел, пока не очутился в самом низу, среди неприбранных папоротников, осоки и камышей. Низину обступали холмы, очерченные ельником, который в сумерки становился похож на частокол дикарских копий, воткнутых в землю кверху остриями. И здесь, в болоте, дорога терялась, подобно реке, что светлой нитью просверкивает, сбегая по холмам, и вдруг исчезает в топкой дельте.

У жителей деревни имелось свое объяснение и тому, откуда вообще там болото. После муссонов к ним в низину совсем не заглядывало солнце — оно слишком низко над горизонтом проходило по небосводу, и до двух часов пополудни его загораживала гряда холмов, затенявшая их земли с юга. Зато с начала марта оно пламенело над болотом, выжигая из него все жизненные соки. Потом снова приходили дожди, воздушная армада водолеев опорожняла над болотом кувшин за кувшином, и все повторялось по новому кругу. Вот если бы дожди взяли и пропустили одно лето или если бы солнце в одну прекрасную зиму как-то пробилось сквозь строй южных холмов, тогда бы деревенские избавились от этой жижи под ногами, от болотного гнуса и комариных туч.

Правда, профессор, который как-то раз ночевал у них в странноприимной хижине по пути в горы, записал в Книге для посетителей, что, по непальской мифологии, здешние места — это слюнные железы Рудры, то есть бога Шивы в его разрушительной ипостаси. Местные жители не знали никакой такой мифологии, но то, что написал профессор, им понравилось, так как отличалось опять же ясностью, очевидностью и простотой. Еще одним покровом меньше на лице истины.

Он явился к ним в деревню, и вместе с ним пришло его прошлое. Они знали, что дом этого бродячего садху, или учителя детей, или нищего аскета, или кто бы он ни был, находится в горах, там его ждет жена и, наверное, ребенок. Но они знали также, что к ним в болото он пришел не прямо с гор. Он пространствовал по свету. Пыль пятидесяти городов и ста рощ въелась в трещины его ороговелых подошв.

Он пришел и уселся под засыхающим деревом. Он не любил любопытства и добрую половину вопросов, которые ему задавали, оставлял без ответа. Не прикидывался глухим, не таращился недоуменно, будто совсем отупел и ничего не соображает. Нет, он не шел ни на какие уловки. А просто не отвечал, и все. Он любил учить детей, но делал это без системы, как придется. Дети обступали его когда им вздумается, и он рассказывал им что приходило на ум — сказки из «Панчатантры» или рассказы про разбойника Ангулимара, которого Сидхартха обратил в буддийскую веру.

Деревенские — больше по привычке, чем из почтения,— приносили молоко, плоды, творог и оставляли для него под деревом. У тех, кто молитвенно складывал ладони, он приношений не принимал. Он не святой и не праведник, это он втолковывал всем. И не позволял даже развешивать на дереве молитвенные флажки. Он объяснял, что он всего лишь человек, который повидал мир и знает, что в нем происходит, может отличить волка от аскета и помнит названия ветров, морей, континентов. Один раз в жизни ему довелось вскарабкаться на дерево страха, и там, наверху, он так громко расхохотался, что все дерево заходило ходуном и посыпались со стуком на землю шишки, и вот, однако же, он остался невредим.

Узнав, что он намерен и впредь сидеть под засыхающим деревом, люди вздумали было возражать. Живое дерево все-таки лучше. От него и тень прохладнее. А на этом дереве, под которым он расположился, за последние три месяца не показалось ни единого зеленого листочка. Но он был не склонен сниматься с места. Чем, в сущности, сухое дерево хуже зеленого? И тень что от мертвой ветки, что от живой, какая в них разница? Да и что такое смерть, если уж на то пошло, полюс или ось, линейна ли она, как наследственность, или же раскидана в пространстве, как безотчее потомство? Разве не является всякое знание лишь знакомством со смертью? Проникая в глубину, приближаешься к подлинной действительности, но разве действительность не синоним умирания? Разве мысль о

смерти не напоминает нам, что мы здесь лишь странники? И разве не в этом смысл всей философии?

Что могли ответить деревенские бедняки на это вопросоизвержение? Общественность пришла к выводу, что он — философ. Но один вредный деревенский старец заявил: «А по-моему, он просто лентяй».

В первый год он различал звезды и времена года. Он прибыл в летнюю пору, и даже сквозь чавканье грязи и топи до него доносился шелестящий стон, слетающий с пересохших губ земли. Вот земля, думал он, смирившаяся с жаждой и сухостью губ, даже когда ее затопят первые дожди, она не будет знать, прежней ли ее жажде пришло утоление или же той, что еще только должна наступить. Да и почему обязательно болота? То же самое относится и ко всей стране. Перед ее взором проносятся смутные видения, а она не знает, что́ это — грезы или миражи на безводье.

Осенью дожди и белые бабочки, как листопад. Знойную дымку, дрожавшую между небом и землей, сменяла неразрывная пелена туч.

Потом прожилки листьев желтели, а плоть листа становилась дымчато-серой. Проглядывали звезды, рдея, как огни алхимиков в черной дали средневековья. И в созвездиях, заметил он, преобладали очертания драконов.

Декабрь: бурые рощи без бурой листвы; Телец, раскаленный бык, бесчинствует в небесах. На рассвете клекот и кряк пролетной птицы. Острова зимующих уток.

Басант Панчами, праздник весны. Объявились птенцы и рыбешки, запел соловей, горячечный певец. На небо вышел заоблачный пастух, в зарослях завыли шакалы. Поздно ночью, как тайный любовник, выползал Орион.

И наконец, лето, горячие лучи без устали бьют по распростертому болоту. Такая жара, думалось ему, выбелит даже слова. И потому, разговаривая, он не разжимал рта — словно опасался, что, произнеся слово, одарит его отдельной жизнью, сущностью, существованием, подверженным болезни, обесцвечению, смерти. Губы его не шевелились теперь, даже когда он молился. В деревне решили, что он принял обет молчания. Он перестал взывать вслух к богине, ибо, хотя она смугла и неуловима, все-таки страшно: а вдруг и она превратится в нечто хрусткое и серое.

Поставить бы здесь водоподъемное колесо, размышлял он, и наполнить окрестности шумом, а болоту придать движение. А то оно стоит недвижно и гниет, и не бьют в нем придонные ключи. И на дно трясины оседает знание. Если бы установить землечерпалку, глядишь, обнаружились бы остатки палеолитической цивилизации. Как знать.

А месяцы шуршали мимо, как шуршали сухие листья, гонимые апрельскими ветрами. Ему представлялось, будто он сидит посреди проезжей улицы, а хруст и шорох метущейся листвы казался ему грохотом и ревом уличного движения.

Глаза его загноились, взгляд затуманился. Прежние фантазии ожерельем высохших жуков свисали с шеи. Забвение, утрата себя среди чужих, разве это не прекрасно? Забвение грозило поглотить его целиком. Однажды на дерево нападут термиты. Если постараться и сделать глубокий вдох, то вдохнешь их в себя. Но это получится только тогда, когда мох затвердеет и время лишайником повиснет у него на бровях. Теперь он не размыкал губ, даже когда говорил сам с собою. Мысль его блуждала, как сорвавшаяся планета, утратившая представление о своей орбите. Чувства, привязанности, воспоминания — ничто не могло пробиться сквозь наружную кору и взбаламутить глубины. Наступил день, когда он перестал замечать солнечные блики на широких листьях дерева и мангуста, шныряю-

щего в тени. На ветвях его восприятия больше не появлялись живые ростки. Даже прежние сны были ему теперь недоступны. Они свисали вниз безжизненно, как летучие мыши, погибшие на проводах высокого напряжения. Незаметно, исподволь ствол, на который он опирался спиной, слился с его позвоночным столбом. Тело стало волокнистым от старости и срослось с телом дерева, как плющ срастается с прогнившей стойкой. И непонятно было, то ли его ноги — воздушные корни, дотянувшиеся до земли, то ли этот необыкновенный ствол дерева так раздвоенный и поднялся из почвы. А разве борода не мохнатый лишайник, повисший на верхних ветвях?

Его смерть была актом недеяния, безмолвия.

Дело о черном «амбассадоре»

По улице с гулом катили в обгон машины, но Гаури Шанкар не обращал на них внимания. Он ехал в повозке рикши и взирал на звезды. Орион и Большая Медведица расположились друг против друга, как бы поддерживая с двух сторон небесный купол. Небо в начале марта сквозило пронзительной синевой. Орион походил на лесную вырубку, где сжигают свежевыкорчеванные пни. Да, несколько сосновых пней, полыхающих на склоне отдаленного холма,— вот чем представлялось Гаури Шанкару это пламенное созвездие. Ведь, в сущности, что такое пустыня? Состояние духа. Ровно два месяца назад он сам начертал свой одинокий курс и с тех пор то метался, не находя себе места, то тихо тосковал. Да, всего два месяца назад, вот в такую же точно ночь, только было прохладнее и небо в тучах, он провожал на вокзале свою жену Дамаянти и дочь Рекху. Уехали. Рекха, гибкая, девятнадцатилетняя, созревшая для любовных объятий, с распущенными волосами до пояса. И Дамаянти, сорока двух лет, но еще в зареве вчерашнего цветения, быть может, слегка заезженная долгой и беспорочной супружеской жизнью и втайне жаждущая последней встряски, готовая на неверность. В тот январский вечер, неся в себе свою пустоту, он сказал Гирджашарану Баджпаи, приятелю, что на будущей неделе их воскресная газета «Чаттан» выйдет не на восьми страницах, а всего на четырех. Материала не наберется.

— А воображение у тебя на что? — не согласился Баджпаи.— Взять Махабхарату — ничего этого на самом деле не было, а миллионы людей уже сколько веков в нее верят.

Позже, возвращаясь домой, Гаури Шанкар краем глаза заметил за углом в переулке четырех извозчиков, играющих в карты,— составили повозки в ряд, лошадей завели под камышовый навес за домом и сидят, дуются в карты при тусклом свете уличного фонаря. В следующем номере «Чаттана» появилась редакционная статья на целый разворот: «Игорные притоны в городе». И назавтра же к порогу Гаури Шанкара притащилась, оглушив выкриками полицейского, приветственная процессия. Он — разоблачитель пороков и азартных игр, борец за свободу печати! Триумф и слава!

Внезапно его рикшу обогнала телега; возница, подавшись вперед, нахлестывал лошадь, а на дне телеги громыхали бочонки из-под пальмовой водки.

Потом мимо пронесся черный «амбассадор», за рулем сидел шофер, а на заднем сиденье, удобно откинувшись, ехал молодой свами. Гаури Шанкар успел заметить подстриженную черную бороду, красивое лицо, оранжевую одежду, тюрбан. Куда это он, интересно, торопится из города в такую позднюю?

Вот тоска! «Народный экспресс» из Бенареса прибыл пустой — Дамаянти и Рекха так и не приехали. Целый час прождать на пятой

платформе — прокаженный какой-то приставал, совал под нос свою култышку — и все зря. Невыносимо. Он больше и ночи без них прожить не может. Снова долгая, тоскливая езда на рикше обратно в город. И снова припомнился тот вечер, когда он проводил свое семейство. Тот вечер, этот вечер, перестановка членов в долгом ряду отчаяния.

Возле дома возчики играли в карты, на этот раз при свете переносного фонаря — освещение на улице было выключено.

— Вернулись, бабу? В одиночестве? — спросил один. Другой что-то добавил вполголоса, судя по их смешкам, непристойное. Что бы это такое он мог сказать?

Три следующих вечера Гаури Шанкар поглаживал натертый от долгой езды зад и писал. Он дал волю стервятникам своего воображения, пусть их каркают, клюют и терзают сколько угодно. Получалось нечто такое, от чего шибало в нос, как от склянки с эфиром. Мысли, точно летучие мыши, срывались со стен ночи; птицы снижались, тяжело дыша изъязвленными от высоты легкими. Начал он с града вопросов. Кому принадлежал черный «амбассадор» с поддельным номером? Кто таков тот жирный свами, который ехал, развалясь, на заднем сиденье? Глава духовной общины или главарь банды? За одну неделю в городе были похищены и увезены в черном «амбассадоре» пять девушек. Их швыряли на заднее сиденье, затыкали кляпом рот и увозили на лесную виллу куда-то — то ли в Гонду, то ли в Бахраич. Девушка выходила из колледжа, а ее окликали: «Ты меня не знаешь, дочь моя, но я гуру семьи твоей матери. Мы из одной деревни. Я увидел над нею тень богини Кету, дрожащую, точно в отблесках погребального костра, и бросился к ней, чтобы отвести беду. Но опоздал. Она просила привезти тебя к ней в больницу. Она в реанимационном отделении. Несчастный случай».— «Как? Что? Когда?» Слезы, истерика. Позже, на лесной вилле в восьми милях от города, во власти сластолюбивого свами и его молодчиков — снова слезы и снова истерика. В следующем номере новый заголовок: «Ради выкупа или для ублажения плоти?» Под ним фотография лесной виллы. И опять говорилось о похищенных девушках. Приводились показания какого-то человека, якобы сторожа на вилле. Сообщалось также, что редактор намеревался взять интервью у одной девушки, которую похитили, а через три дня отпустили. Но ее мать захлопнула дверь у него перед носом! Все получалось в высшей степени правдоподобно. Целая серия статей, с красочными описаниями, со всякими подробностями, и состряпаны так беззастенчиво, что никому и в голову не приходило усомниться в их правдивости. Город замер, охваченный ледяным ужасом. На улицах избили нескольких духовных лиц. В женских колледжах упала посещаемость.

Трое суток после появления последней статьи Гаури Шанкар сидел затаясь, вне себя от ужаса, что за ним придут из полиции или кто-то возбудит против него дело о клевете. Но ничего такого не случилось. Зато, узнав, что очередной номер «Чаттана» в следующее воскресенье не выйдет, пришел Гирджашаран Баджпаи. Он финансировал газету, и ему же принадлежала типография. Это его осенила год назад мысль сделать Гаури Шанкара, преподавателя хинди в колледже, редактором «Чаттана» на жалованье в двести рупий. «Чаттан» печатался небольшим тиражом и приносил Баджпаи дохода всего каких-то тысячу рупий в месяц. Не считая, конечно, последних номеров, эти расходились, как горячие блины.

— Мне страшно,— сказал ему Гаури Шанкар.— Жуть берет. Я как человек, которого укусила незнакомая собака, и он сидит и ждет, что с минуты на минуту заболеет бешенством. У меня такое чувство, будто мне уже вынесли приговор, только бумаги куда-то задевались.

Баджпаи поставил на стол полбутылки рому, выпил первую рюмку и принялся разглагольствовать о силе мантры, силе слова как «знака реальности». Известно ли Гаури Шанкару, что само слово «мантра» происходит от корня «ман» — «думать». По-гречески это будет «менос», по-латыни — «mens». А «тра» — значит «орудие». Таким образом, «мантра» — это орудие мысли, инструмент мышления. Слово, возникнув, было поначалу как бы сердцевиной действительности. Сказать — значило пережить. Но потом его затаскали, затерли и превратили в общее место. Неужели Гаури Шанкар не чувствует, какая сила затаилась в его словах? Ему же нет равных! Настроение у Гаури Шанкара заметно поднялось. К тому времени, когда Баджпаи закруглялся, редактор уже хохотал и шлепал себя по ляжкам. Баджпаи бросил на него торжествующий и презрительный взгляд. Тщедушное, хилое тело, тощая шея, маленькая голова. Немного же ему надо, чтобы успокоиться. Ну, прямо дитя малое.

Однако поздно вечером, перед тем как лечь спать, Гаури Шанкар записал у себя в дневнике: «Но может ли мантра задержать колесо Кармы? Под силу ли ей приостановить действие физических законов?»

Впрочем, каковы бы ни были его сомнения на сон грядущий, утром они все развеялись как туман. И, готовя очередной материал в печать, Гаури Шанкар, так сказать, пустился во все тяжкие. В новой статье речь шла о том, что ночью, после полуночи, в самом центре города было совершено несколько убийств. Тела едва успели зарыть, как уже забрезжил рассвет. Но на следующую ночь их снова выкопали, подрядили мясника, и он отделил головы, которые засунули по одной в бочонки из-под пальмовой водки, и пьяный человек, нахлестывая лошадь кнутом, вывез бочонки из города. Мясник и человек с кнутом — одно лицо. Но кто же он? Это наемный извозчик, у которого нервы из колючей проволоки, а в жилах течет не кровь, а пальмовая водка. Дальше шло рассуждение на тему об извозчиках и мясниках. В следующем номере появилась статья, где говорилось о том, что в водку, которую пил извозчик, был добавлен наркотик. Он действует на память, человек все забывает. Статья пестрела выражениями вроде: «промывание мозгов», «психотропные средства» — и тому подобными.

Спустя две недели на «Чаттан» был наложен арест — «ввиду того, что еженедельник «Чаттан», редактором коего значится некто Гаури Шанкар, постоянно публикует материалы, по мнению правоохранительных инстанций, лживые, злонамеренные и распространяющие панику, а также навлекающие на администрацию ненависть, неуважение и насмешки. В силу чего, согласно статье 99-А уголовно-процессуального кодекса 1898 года, губернатор настоящим постановляет весь тираж означенного еженедельника подвергнуть конфискации».

— Что же ты сразу и лапки кверху? — сказал Баджпаи.— Возьмись выпускать новый еженедельник, на этот раз на английском. А «Чаттан» пусть пока перезимует в спячке. Как ты назовешь свое новое детище?

— «Дубина»! — воскликнул Гаури Шанкар. Он даже воодушевился. В порыве восторга они обнялись. Гаури Шанкар достал две рюмки, они разлили в них ром, разбавили тепловатой водой из-под крана и с удовольствием выпили. Что из того, если ром от старости прогорк, а льда не было? Зато момент был воодушевляющий, а это главное.

Лишь только Баджпаи ушел, Гаури Шанкар уселся писать свою первую статью на английском языке. Он посвятил ее гнусному заговору, цель которого — гипнотизировать молодых девушек, чтобы они выходили замуж за уродов.

Но, дописав, он снова ощутил прежнее беспокойство. Еще за работой он чувствовал, как его со всех сторон обступает ночь. От Дамаянти и Рекхи не было никаких вестей. На свои письма он ни разу не получил ответа. Тогда он разослал всем родственникам телеграммы — может быть, кто-нибудь знает, где его жена и дочь? Конечно, теперь пойдут толки и насмешки. Но что же делать? Их брак держался на Рекхе. Это признавали и муж и жена. Дамаянти год от году становилась все неласковее. А причина была в том, что он оказался в жизни неудачником. Каждое его поражение наносило ее характеру неисцелимую травму, ей словно всякий раз насильно вливали в рот ложку касторки. Последней каплей оказалось то, что его опять обошли по службе и на должность заведующего отделением хинди назначили человека моложе его пятью годами! Теперь жена чуть ли не презирала его. И он давно бы хлопнул дверью и ушел из семьи, если бы не Рекха, нежная, чуткая, грациозная. Она была как прекрасная мечта, как луч света, пульсирующий в сердцевине его вселенной. Если его теперь еще интересовали деньги, то лишь для того, чтобы накопить к ее свадьбе — величайшему событию в его жизни, которого он так трепетно ждал. Обеспеченный муж, по крайней мере с машиной, из хорошего брахманского рода, на меньшее он не согласен. Кто-нибудь из чиновной элиты, эдакий долговязый юный аристократ, сколько он их встречает — глаза разбегаются.

Так прошла неделя, вечерами его одолевало беспокойство, а по утрам в дом вползали рассветы, хмурые, как похмелье минувшей ночи. В субботу в газетных киосках появился первый номер «Дубины». Воскресным утром Гаури Шанкар проснулся, как и засыпал, думая о Рекхе. В переулке за домом возчики запрягали лошадей. Высунувшись в окно обломить веточку дерева ним, чтобы почистить зубы, он ощутил в воздухе восхитительную свежесть. Ну конечно! Мысли о *ней* были как аромат гвоздики с корицей, свежий и пряный. Стоит только вообразить, что она где-то рядом, и на душе становится легко, спокойно, и ты в согласии со всем миром — с криками птиц и торговцев, с шуршанием опавших листьев под окном и с утренними лучами, что проникают сквозь древесную крону, гудя, как телеграфные провода.

С улицы завернула синяя полицейская машина и остановилась у его дверей. Едва он ее увидел, как сразу понял, что дело плохо. Помощник инспектора, предъявляя ордер, печально покачал головой: «Ладно бы вы болтали про убийства и похищения, Шанкарджи. Но теперь вы еще вздумали выдавать молодых красивых девушек за калек и прокаженных! Вы просто больны, вот что я вам скажу!» На него навесили чуть не половину уголовного кодекса, а потом заперли в кутузку. Для вящей убедительности еще пришили подрыв обороноспособности страны, так что даже выйти под залог удалось только через месяц. Но об аресте сообщили газеты, и потрясенная Дамаянти поспешила домой. Ее муж, эта безобидная козявка, что он такого натворил, чтобы на него замахнулась длинная рука закона? А вот Рекха, та как сквозь землю провалилась. Поехала в Бенарес на поклонение к святой женщине Анандмаи и с тех пор ни слуху ни духу.

На суде защита Гаури Шанкара была построена нетрадиционно. То, что подзащитный писал в своей газете, вовсе не репортаж, а экзистенциальная беллетристика. Слышал ли господин судья про такую? Да нет, черт возьми, покачал головой судья, он в жизни не слыхивал ни про какую экзистенциальную беллетристику. Адвокат поклонился, осклабился и впал в красноречие. Это, ваша честь, свежая струя в современной журналистике. Шри Гаури Шанкар поднялся выше обычной репортерской фактографии. Его пером движет вдохновение. С потрясающей интуицией, или, быть может, правиль-

нее сказать — с проницательностью ясновидца, шри Гаури Шанкар предугадал те беды, которым еще только предстоит взорвать покой нашего общества. Он лишь облек их в наглядную литературную форму, дабы развеять сонную одурь властей. Но на судью все это не произвело впечатления. Кто будет расплачиваться за учиненную панику, за эту нездоровую атмосферу всеобщего страха?

Оглашение приговора было назначено на вторую неделю июня. В пять часов утра слуга судьи Фатех Мохаммад, придя в дом из своей пристройки, застал его милость сидящим с ногами на кровати в самом раздраженном состоянии духа. В чем дело, почему ему не дают спокойно спать у себя в саду? Всю ночь напролет по частной дороге вдоль ограды сновали автомобили. Как, разве господин не знает? Вчера вечером на дом доктора Рама Бхароса обрушилось горе. Хозяйская дочь — ее только в прошлом месяце выдали замуж — первый раз после свадьбы приехала навестить родителей. Под вечер вышла погулять и с тех пор не возвращалась. Потрясенный судья, как был неодетый, бросился к соседу. Доктора дома не оказалось, он уехал и спрятался у знакомых, чтобы ему не докучали бесконечными изъявлениями сочувствия, любопытства, негодования. Мать пропавшей вообще не показывалась, а молодой муж совершенно не знал, как себя вести — то ли беспокоиться, то ли возмущаться, то ли просто принять истомленный вид, какой обыкновенно напускают на себя молодожены. Он еще не разобрался в самом себе. Судья вернулся домой и позвонил в полицию. Да, сэр. Мы делаем все, что в наших силах. Перебрали адреса всех ее знакомых. И даже отправили патрульную машину в Бахраич проверить отдаленные лесные виллы. Судья швырнул трубку. Идиоты! Из-за того, что какой-то газетчик с больным воображением напечатал заведомую ложь, посылать машину за сто миль! Пускают на ветер деньги налогоплательщиков.

К вечеру дочь соседа возвратилась к родителям в белом сари, купленном в магазине готового платья,— полиция нашла ее на одной из вилл совершенно голой. А похитители, надо полагать, отбыли спозаранку выпить по чашке утреннего чаю и прихватили с собой ее одежду.

На следующий день судья велел своей стенографистке повременить пока с перепечаткой приговора Гаури Шанкару, который он ей уже продиктовал. Ему надо еще подумать.

Утром двадцатого мая владелец универсального магазина Дварка Дас поехал в район Маханагар посмотреть, как продвигается строительство его нового дома. Четыре дня назад там начали рыть траншеи под фундамент. Но сейчас никто не работал. Вся строительная бригада столпилась вокруг помощника полицейского инспектора, который разговаривал с ними, держа в руках записную книжку. Поблизости стоял его мотоцикл. Над головой полицейского один из рабочих держал от солнца раскрытый зонт.

— В чем дело, Натху? — спросил Дварка Дас у подрядчика.

— Будь я на вашем месте, сахиб, я бы заказал большое молебствие, поставил угощение брахманам и не возобновлял строительства, пока не пройдут дожди.

— Но что случилось?

— Да вот, сэр, рабочие рыли землю и наткнулись на что-то белое, словно бы кость. Обкопали со всех сторон, а там — два человеческих скелета без голов.

— Значит, какой-то зверь унес черепа.

— Э, нет, сэр,— покачал Натху головой.— Эти головы были отрублены топором или другим острым орудием. А тела лежали на семь футов под землей. Тут явное убийство.

Свое заключение по делу Гаури Шанкара судья полностью переделал. Он прочертил восходящую спираль от вымысла через пророчество к факту. Версия защиты была принята и получила следующее истолкование. Да, бесспорно, существует нечто, именуемое «шестым чувством», «даром провидения». Правомерно ли вымысел, ставший по истечении трех месяцев фактом, по-прежнему квалифицировать как вымысел? Применимы ли к сочинениям подобного рода определения: «лживые», «злонамеренные», «распространяющие панику» и «навлекающие на администрацию ненависть, неуважение и насмешки»? Гаури Шанкар писал о похищенных девушках, которых увозили на лесные виллы в черном «амбассадоре»,— так вот, одна девушка действительно была похищена, а впоследствии обнаружена на лесной вилле, не так ли? Или еще он говорил об обезглавленных трупах, якобы зарытых в каком-то саду,— и действительно были найдены скелеты без черепов. Да и кто знает, если покопать в других садах, мало ли сколько еще скелетов отыщется. Духовного лица с его разбойной братией, человеческих голов в бочонках из-под водки, игорных притонов, извозчиков, которые на самом деле воры, пьяницы, убийцы,— всего этого, о чем также писал обвиняемый, судья вообще не коснулся. Гаури Шанкар был оправдан.

Выйдя на свободу, он не сразу приспособился к новой роли героя. Бесконечные митинги в защиту свободы печати, на которые он приглашался в качестве почетного гостя, приводили его поначалу в смущение. И при этом его постоянно преследовал тайный страх. Страх перед силой слова. А вдруг написанное им сбылось благодаря присущей ему особой опасной способности, которой он в себе до сих пор даже не подозревал? Он достал старую книгу по тибетской мистике. И перепугался еще того больше. Там столько говорилось о могуществе мантры! «*Дхарани* — мантрические формулы для концентрации мысли на идее или видении, обретенных в процессе медитации. *Самадхи* [1] дает возможность поймать истину за волосы; *дхарани* — держать и не отпускать». «*Мантра* пробуждает, умножает и преображает скрытую психическую энергию». Но кто, интересно знать, поймал за волосы Рекху и держит, не отпуская, в своем гареме?

Первый дождь пошел пятого июля. Но в отличие от прежних лет, перед тем как он начался, не было грозы. Просто Гаури Шанкар проснулся среди ночи, а он льет как из ведра. Однако утром небеса опять слепили взор ровным жемчужным сиянием. Из окна Гаури Шанкару не было видно горизонта, но розовый румянец зари разлился до самого зенита, когда в переулок за домом въехал черный «амбассадор» и остановился у порога. По трем ступеням крыльца прошлепали сандалии без задников, и нежный голосок прощебетал: «Папочка!» Рекха! Как был, в нижней рубахе и мятом дхоти, Гаури Шанкар распахнул дверь, и Рекха бросилась к нему на грудь. В проборе у нее на темени виднелась малиновая полоса [2].

— Посмотри, кого я привела!

Вслед за ней на крыльцо взобралось некое создание фута в три с половиной от пола; красивое лицо, борода, широкая грудь, тонкая талия — и все. Остальное, от бедра до лодыжки, занимало не больше фута. Гаури Шанкар выпучил глаза и недоуменно, вопросительно посмотрел на Рекху. Она кивнула. Сердце у него бешено забилось. Этот уродливый гном! Новоявленный зять проворно припал к его стопам. Слава богу, не свысока гнуться, всего на каких-нибудь шесть дюймов. Даже не без грации у него это получилось, отдал

[1] Состояние йогического транса. *(Здесь и далее прим. перев.)*
[2] Знак замужества.

ему должное Гаури Шанкар. Но было уже не до рассуждений: из комнат вышла Дамаянти, с одного взгляда все поняла и рухнула без памяти. Пока он бегал за водой и брызгал жене в лицо, Рекха растирала ей пятки и, плача, сквозь слезы приговаривала: «Мамочка, мамочка!» А зять стоял и сокрушенно улыбался, он ведь так и знал, что добром это не кончится.

Пограничная любовь

Три года подряд в Каче была засуха. Облака, даже когда появлялись на небе, все равно шли стороной, чураясь этой недужной низины. Муссоны проносились не приземляясь. Солончаковая пустыня Качский Ранн лежала, как парализованный ящер, подставив солнцу спину в коросте, шрамах и волдырях. Почва растрескалась, будто ее так, ломтями, испекли в печи, а затем уложили сверху на земляном пироге. Скот отощал и ослаб. Быки пали. Только верблюды благоденствовали, питаясь своей верблюжьей колючкой. А потом в один прекрасный день накатили тучи, подобные наполненным бурдюкам, затрещали молнии, и бурдюки лопнули и пролились. Но хотя с тех пор прошло уже два года, всякий подтвердит, что первый дождь начался, когда в деревне появилась Фатима. А было это так.

Что бы только он не сделал ради нее, дочери торговца специями, ради той, что благоухала гвоздикой и корицей, чей смех звенел звонче, чем бубенцы на лодыжках, чьи брови чернели, как тонкие пряди ночи, а волосы были — сама ночь! Ради нее он скрестил бы мечи с самим сатаной! Ради нее перешел бы в язычество, если она по минутной прихоти дала бы зарок, что раскроет объятия только неверному! Ради нее он пересек солончаковую пустыню!

День он провел на черном холме Кала Дунгар, увенчанном базальтовой шапкой, это — самое возвышенное место во всем Каче. Верблюда Аллахракху он пустил пастись среди колючек. Когда настали сумерки, он низко поклонился следу Панчмаи Пира в базальте. Положил рядом немного съестного и стал бить в миску, как велел местный обычай. И действительно, появились шакалы и поглотили приношение. Это был добрый знак. Если бы он не увидел шакалов, то счел бы это таким дурным предзнаменованием, что, пожалуй, отказался бы от задуманного похода. На вершине холма в честь Пира каждую ночь горел огонь, и свет его был виден даже в Хавде. Лет сто с лишним тому назад по этим солончакам ступал Панчмаи Пир, служа людям, и с ним вместе, как гласила легенда, ходил шакал. Был Пир по натуре необщителен, имел обыкновение забираться в чащу колючего кустарника, где, кроме четвероногих хищников, ни с кем не делил своего ночного одиночества. С тех времен и сохранился обычай кормить на холме шакалов.

Наджаб поклонился огню и отправился в путь. Он оставил позади заросли верблюжьей колючки и открытую равнину, прежде изобиловавшую густой низкой травой, а теперь выжженную до буроты. Давно скрылись из виду обитаемые места, последней деревней на его пути был Куран. Теперь ему трое суток не встретится ни единой *бунги,* как называют здесь глинобитные лачуги, круглые в основании и сходящиеся конусом под камышовую крышу. Впереди расстилались пески, многие мили песчаных просторов. В козьих мехах *чхагалах* плескалась вода. С именем Пира на губах Наджаб Хусейн двинулся через солончаковую пустыню Ранн.

У себя в деревне Наджаб славился своей застенчивостью. Рассказывали, что он краснеет при одном упоминании девичьего имени. Непристойности вызывали у него экзему. Странный такой, замкну-

тый юноша с задумчивыми глазами, вот уж от кого не ждали отчаянных поступков! Его отец Афтаб вздыхал: «Все, что накопил я и мои предки за сто лет, этот парень пустит на ветер. Не промотает, а просто заробеет спрашивать плату за товар».

Наджаб уже четыре раза ходил через Ранн, а ведь всего месяц как ему сровнялось двадцать. Но до сих пор он только сопровождал либо отца, либо этого старого пройдоху Замана, ветерана бессчетных контрабандистских наездов через границу в Синд. Они брали с собой на пятьсот рупий дешевого табачного листа *тенду* и сбывали его на той стороне за тысячу двести. Но тут начиналось: начальству местному дай, посредникам, через которых сбывали товар,— тоже, а еще пастуху, сторожившему верблюда, а еще свояку или знакомому, чьим гостеприимством пользовались, и остается всего-то ничего. Едва хватает купить какой-нибудь ношеной одежки из синтетики и мешочек гвоздики, и уже пора в обратный путь через мертвые солончаки. В один из наездов они заночевали у Кали-Шаха, торговца пряностями. «Он дальний родич твоей матери»,— объяснил Наджабу отец. Был Кали-Шах высок, дороден, мясистые щеки его слегка отливали лиловым, словно кто-то поставил ему под глазами по незаживающему синяку. Он ходил в клетчатом черно-белом *тахмате*. И Наджаб уже к вечеру убедился, что это редкий выжига и негодяй,— он впервые слышал, как отец, доведенный до белого каления, обозвал его дурным словом.

Зато дочь Кали-Шаха Фатима была красавица, ее ясные глаза разогнали бы тьму даже в преисподней. Ей понравился этот милый, смирный юноша, улыбчивый, но молчун — слова не вытянешь. Фатиму родители прочили замуж за одного человека из их деревни, человек этот гундосил и сильно заикался. Везет же мне на разговорчивых, подумала она. Но, скосив глаза и поймав на себе взгляд Наджаба, приветливо ему улыбнулась. Вечером, когда она проделала это второй раз и личико ее так все и вспыхнуло, а ясные глаза блеснули задорно, словно маня, он вдруг порывисто обнял ее и на один головокружительный миг прижал к груди. Да, сказал он, он приедет еще, и увидел, как она вздрогнула от удивления, ведь он ответил ей на вопрос, которого она не задала. Приедет еще, и притом один, без отца, без дяди, сам себе голова. И когда они уезжали, он обернулся в последний раз и увидел, что ее глаза провожают его, словно два маяка в ночи.

Едва вернувшись в Хавду, Наджаб стал рваться обратно. Подумаешь, что такое солончаки, не знает он их, что ли? Да он может пересечь Ранн не только при звездах, но даже и при свете дня, а ведь из старших на это никто бы не отважился. «Горячего жеребчика на привязи не удержишь»,— рассуждал его отец Афтаб, советуясь с матерью. На следующий день он пошел и купил две корзины табачного листа *тенду*, который употребляется для завертки сигарет *бири* и потому высоко ценится в Синде. Утром Афтаба разбудил крик Замана. «Что такое понадобилось старому прохвосту?» — пробормотал он, протирая глаза. Заман спросил его, где Наджаб.

— Где-то здесь, я думаю. Парень последнее время немного не в настроении. Но тебе-то что за дело? — раздраженно отозвался старик.

— Кого ты хочешь провести, Афтаб миан,— возразил старый контрабандист.— Или тебе неизвестно, что Аллахракхи тоже нет на месте?

В этих приграничных деревнях жизнь такая: если человек отсутствует вместе с верблюдом, значит, отправился тайком через пустыню в Пакистан.

Афтаб заглянул в глинобитный загон, где всегда стоял его верблюд,— там было пусто. У него похолодело сердце. Бросился обратно в дом проверить запасы табачного листа.

— О, безмозглый глупец, сын глупца! — закричал Афтаб, трясясь от ярости.— Он забыл взять с собой товар!

— Кому ты думаешь отвести глаза этим представлением? — закричал Заман, который все еще стоял на пороге.— Твой сын вовсе не такое невинное создание, как думают люди. Он свинья и сын свиньи!

Еще бы Заману было не убиваться. Ведь он считался у контрабандистов за «старшего» и налаживал отношения с пограничной охраной. Всякий, кто уходил в солончаки без его ведома и согласия, бросал вызов закону! А тут какой-то цыпленок пустился через границу, не сказавшись ему, и не поклонившись, и не оставив даже сотенной бумажки!

— Да выведет его Аллах из Ранна целым и невредимым! — набожно произнес старый разбойник. Это он так говорит, а подразумевает как раз обратное, подумал Афтаб. Ему бы только того и надо, чтобы мертвое тело Наджаба расклевали стервятники.

— Можешь не волноваться, Заман, Аллах не допустит его до беды,— раздраженно сказал Афтаб старому контрабандисту и захлопнул у него перед носом дверь.

Заман возмущенно зашагал прочь, а Афтаб отправился к жене с известием о выходке сына. Как услышит — сразу хлопнется в обморок, думал он. Жена сидела на полу у глинобитной стены. Она даже не моргнула от удивления. А только втянула голову в плечи, будто он ее ударил и, того гляди, ударит опять. Аллах! Да она все знает. Она с самого начала была посвящена. Вступила в заговор со своим драгоценным сыночком, а ему — ни полслова! Взгляд Афтаба упал на обнаженную руку жены.

— Женщина! Где золотой браслет, который тебе подарил мой отец?

— Ты напрасно беспокоишься. Наджаб вернется и привезет гвоздику.

Аллахракха шел резвым шагом. Сильный южный ветер наполнял ноздри Наджаба гнильем и запахами с залива Кори. Наджаб ориентировался по звездам, по слюдяному Млечному Пути, по Медведице, ковыляющей в сторону севера. И еще перед рассветом добрался до места дневки — песчаной возвышенности, огражденной частоколом из костей животных. От черного холма Кала Дунгара это больше чем в двадцати милях. Государственная граница осталась позади. Здесь он расположился на отдых. Днем двигаться дальше было невозможно. Пограничники просматривают местность с бамбуковых вышек. От зноя в пустыне все приобретает обманчивый вид. Лунка в песке начинает казаться плещущимся озером, жалкий, низкорослый одинокий кактус превращается в тенистую рощу, а верблюд — в крадущегося доисторического ящера. Любое движение будет заметно в бинокль. А еще при свете дня потому лучше не идти в солончаковую пустыню, что жесткая, плоская ее твердь, усыпанная камнями и пестрящая выходами соли, под палящими лучами плавится и становится податливой и зыбучей, а ветер хлещет по глазам.

Первый раз Наджаб попил воды из своего *чхагала*, когда взошло солнце. А поел только в полдень — пожевал сухого, черствого хлеба с луком. К этому времени мысли о Фатиме захватили его прямо как в тиски. Еще целая долгая ночь разделяет их, думал он. А расстояние — всего каких-то десять миль. Солнце только начало ударять огненным молотом по солончаковой наковальне, а он уже прямо корчился от нетерпения. Снова до ноздрей долетел пряный южный ветер. Но на этот раз он потянул за собой на небо тонкую, изодранную облачную кисею. Клочья ее сближались, надвигались один на другой, рябя, как рыбья чешуя. За один час добрую половину

неба закрыло морщинистое облако, удивительно похожее на лежащие внизу обдутые ветрами морщинистые пески. Чего еще ждать? Наджаб встал и отряхнул от песка тюрбан. Ему показалось, когда он седлал Аллахракху, будто мудрый верблюд посматривает на него с недоумением: что это, мол, еще за шутки? Умом он вроде бы и понимал, что затея его — безумие. Он слышал о том, как умирают от усталости обессилевшие верблюды, слышал о пограничных патрулях и с той и с другой стороны и об испещренном миражами мертвом бездорожье пустыни.

Но он поддался горению своей крови, и лицо Фатимы манило его издалека не менее властно, чем мираж.

Наджаб пересек границу у столба № 1066. Он знал, как выбрать направление дальше: надо пройти ровно посередине между двумя заставами. Но все-таки он немного, самую чуточку, отклонился, и пограничники со своей вышки углядели, что по солончакам движется большой верблюд, которого знойное марево преобразило в настоящего левиафана. Подумать только, у них под самым носом прошел какой-то индиец с товаром и не уплатил им обычную лепту за то, чтобы смотрели сквозь пальцы! Этого допустить никак нельзя! А Наджаб был словно во сне, все события проносились мимо него, подобно изображениям на экране. Погоня, выстрелы сзади, пули, на излете подпрыгивающие по песку. А потом вдруг поднялся ветер, ослепил его взвихренной пылью и загородил стеной от преследователей. Когда через полчаса пыль осела, Наджаб был в солончаках один.

Еще несколько часов минули почти в беспамятстве. Наджаб ужасно боялся, как бы не пал от усталости верблюд Аллахракха. Чтобы облегчить верблюду ношу, он слез и пошел пешком. Очень скоро соль до мяса ободрала ему ороговевшую кожу подошв и разъела на них глубокие трещины. Пустынный Ранн добела раскалился под жестяным небом, отбрасывая в глаза слепящие стрелы. В дрожащем мареве возникали прельстительные миражи: пятна, тени, плещущие полукруглые водоемы... Часы обморочного блуждания в погоне за ускользающими соблазнами. Потом дневной свет пошел на убыль, а еще часа через два — сумерки и тонкий дымок от кизячного огня. Хвала Аллаху! Они уже почти на месте.

Наджаб выждал, покуда стемнеет, а тогда двинулся вперед, ковыляя на цыпочках, ибо эта солончаковая одиссея стоила ему пяток. И вскоре он уже очутился перед домом торговца пряностями.

Фатима метнулась со своего ложа, точно вспугнутая лань, когда сквозь оконную решетку ее тихо позвали по имени. И лишь через несколько заполошных мгновений уразумела, что это Наджаб. Она открыла дверь, и сияющие ее глаза осветили тьму. Слава Богу, что у нее отдельная комната, подумал он. А позже — слава Богу, что у нее не скрипучая кровать.

После желчи — мед, после колючего кактуса — лепестки розы, после испепеляющего дня — прохладные струи ночи.

За два часа до рассвета Кали-Шаха разбудил ударами в дверь патрульный.

— К нам через Ранн перешел контрабандист. Тебе о нем ничего неизвестно, Кали-Шах?

— Клянусь, в этот дом не залетал и воробей. Ни в дом, ни в деревню. Сегодня даже собаки не брехали.— Потом подмигнул и добавил с улыбкой: — Да и зачем бы контрабандисту являться ко мне? Что он может от меня получить, кроме заряда красного перца в зад?

Но блюстителю закона было не до смеха.

— Кали-Шах,— произнес он язвительно.— Брюхо у тебя набито серебром, а сердце — нечистотами.

Упреки ночного стража тарахтели у Кали-Шаха в голове, как пустые жестянки в мешке, мешая ему снова забыться сном.

Утром Фатима, как всегда, вошла к нему со стаканом горячего дымного молока и сказала:

— А у тебя гость, Наджаб. Он ночевал сегодня у нас в хлеву.

На какое-то мгновение Кали-Шаха обуял испуг. В доме контрабандист, вокруг шныряет полиция, а он, хозяин, и не подозревает ни о чем! Конопли, что ли, накурился? Беседа его с гостем была краткой. Несчастный глупец не привез ни пачки листа *тенду*.

— Сначала ты являешься ко мне без предупреждения и приводишь за собой на хвосте полицию, а потом еще оказывается, что у тебя в мешках ничего нет! С тобой вести дела — себе в убыток, сын мой, раз ты приходишь с пустыми руками да еще в сопровождении полицейского патруля.

А Наджаб смотрел на Кали-Шаха и думал, что его набедренная юбка в черно-белую клеточку похожа на шахматную доску. Надо тщательно обдумывать свои ходы. Он показал старику золотой браслет.

— Я приехал за пряностями, дядюшка. И заплачу золотом.

Последовавшие двое суток у Кали-Шаха было дел по горло. Он скупал пряности, а Аллахракху пристроил пастись у одного пастуха в нескольких милях от деревни, не то люди увидят чужого верблюда — и не оберешься разговоров. Наджаб вечером ложился спать в хлеву, а с наступлением ночи пробирался к Фатиме.

— Мои хотят, чтобы я вышла за Махфуза Али,— рассказала она ему.— Он приходится нам родней со стороны моей матери. Слышал бы ты, как он заикается, ужас! У него на иных звуках язык прилипает к зубам, словно половина букв в алфавите намазана клеем. Мальчишки на улице, как увидят его, сразу же принимаются передразнивать. Как бесноватого какого-нибудь, того и гляди камнями побьют.

— А тебе не хочется прокатиться на Аллахракхе через Ранн?

Она молчала, молчание же — это согласие. Вот так просто, и все.

Верблюд качнулся, и они поехали. Это было на следующий вечер. Наджаб вышел из деревни загодя и ждал с верблюдом поблизости, а Фатима выскользнула к нему, как только услышала храп отца. Оба были слишком взволнованны и потому молчали. Только мельком подумала Фатима о родной деревне, которую покидала навсегда. А что она бросает родину и уезжает в другую страну, это ей и в голову не приходило. До того ли тут, когда бежишь ночью из дому с любимым и надо пересечь пустыню, что разделяет — и фактически и символически — Индию и Пакистан? Для Фатимы все сводилось к перемене в говоре — чуть подбавить качской краски да соскрести синдской, и больше ничего.

Верблюд шел себе и шел, кивая и спотыкаясь. Наджаб погонял его как только мог. К тому времени, когда добрались до Сарбелы, Фатима совсем умаялась и спала.

Проснулась она за полдень и увидела, что небо обложили тучи. А к вечеру, призванные богом бурь, они уже грозно громоздились одна над другой, обведенные черным ореолом. Еще одну ночь ехали Наджаб с Фатимой по пустыне, навстречу ветру, а он швырял им в лицо сухой песок. Когда показалась Хавда, начал погромыхивать гром, отдаваясь по небу глухими раскатами.

Трижды за эту ночь Афтаб вставал и выходил на порог, думая, что вернулся сын. Но это просто ветер толкался в дверь. Однако теперь стучали явственно и настойчиво. Афтаб отодвинул засов — в этот миг блеснула молния, и он увидел Аллахракху, шарахнувшегося от вспышки.

Упали, взбивая пыль, большие редкие дождевые капли. Афтаб сдержался. Не мог же он допустить, чтобы на его лице выразились облегчение и радость.

— Привез ли ты товар, сын? — спросил он с металлом в голосе.

— Да,— ответил Наджаб и ввел в дом Фатиму.

Тут хлынул дождь и смыл с земли трехлетнюю засуху.

Оленек

Бишамбар лежал, по самый нос закутавшись в одеяло. До рассвета оставалось не больше часа, но комната еще вся плавала в лунном свете. Бишамбар, лежа в кровати, ясно представлял себе, как на заднем дворе протянулись лунные полосы, точно свежевыбеленные мотки пряжи, разложенные для просушки. Он помнил наизусть, в каких местах шелушится штукатурка и в каком из окон разбитое стекло заменено жестью от консервной банки из-под растительного масла, которых так много в его доме. Все он знал: каждое пятно на стене, каждый ржавый потек на дверной филенке. Но потом, как всегда внезапно, все эти пустяки исчезли с экрана его сознания, а взамен послушно нахлынули нарочитые, желанные грезы. Это свято повторялось каждое утро: примерно за час до света вставали образы, выплеснутые отступающим морем ночи, всегда одни и те же — девушки, соученицы по колледжу, каждая в самом нарядном сари или в самой облегающей блузке. Словно царь мертвецов принимает парад призраков. Красавицы либо раскрывали ему объятия, либо презрительно отворачивались — смотря по его настроению, хотелось ли ему начать день с блаженства или с муки. Но в последнее время появились некоторые отклонения — ему стала являться девушка, которая, строго говоря, не могла считаться его соученицей. Не образованная горожанка, а просто соседка, которая жила через улицу напротив, здесь же, в Дхумри, в деревне, недавно вошедшей в черту города. Это была Джанаки, длинноволосая, с припухлыми, будто пчелы накусали, губами, с нежной кожей цвета наливающихся хлебов и такими глазами, что помнились и назавтра после похмелья. Джанаки поступила в колледж в тот год, когда он получил диплом. При мысли о ней в груди у него что-то размягчилось, словно кусок мяса в горячей жаровне. И в тот же миг из его кровати выскочил карликовый оленек Читу и стал царапаться копытцами в дверь, как комнатная собачка. Бишамбар нехотя высвободился из тенет своих грез и открыл ему дверь.

Подозревал ли Бишамбар Мехротра, что именно этот день, двадцать третье мая, окажется для него роковым? Если человеку суждено сегодня пасть жертвой обстоятельств, быть раздавленным трехтонным грузовиком или, скажем, брачной колесницей, разве у него обязательно бывают с утра пораньше тяжелые предчувствия?

Бишамбар пошел в манговую рощу за домом. В этой роще имелся колодец, у которого он всегда совершал предрассветные омовения. Но не прошло и получаса, как он уже вернулся в свою комнату, задыхаюшийся, сухой — он так и не искупался — и перепуганный. Потому что за рощей раздался выстрел, разорвав полог ночи, и под деревья с криками сбежались люди. А через минуту ядовитое лезвие первого света принялось вновь вырезывать утраченные контуры мира.

Оленек ну прямо как прилип к Бишамбару. Он не носил зверька на руках, не думайте. Тот просто жил в нем, в его теле, вроде как кенгуренок в сумке у матери, или просто внутри, в животе, словно разросшийся кусок живой ткани. Вы, конечно, видели современные

скульптурные изображения мадонны с младенцем, где ребенок словно бы растет, как гибридный привой, прямо из материнской груди? Вот в таком же примерно духе. Они срослись. Но все равно, стоило какой-нибудь женщине щелкнуть пальцами, и оленек Читу в тот же миг выпрыгивал из набрюшной сумки или же раздирал ткани грудной клетки и со всех ног бросался к этой женщине, ел земляные орешки у нее из ладони и норовил зарыться в складки ее сари, так что она уж и не чаяла, как от него избавиться. Слова на него не действовали. Уж не возомнил ли Читу, что угощение орешками дает ему право вольничать? Похоже, что ему нравилось шуршание шелка, а может, женский запах — трудно сказать. Но кончалось дело тем, что женщина, чтобы избавиться, даст ему шлепка или запустит сандалией. И только тогда, обиженный, оленек вернется к Бишамбару, и тот возьмет его на руки и побранит любя, как стыдят щенка, оставившего лужицу на ковре.

Ничего удивительного, что дети относились к оленьку плоховато, хоть он и был росточком не больше зайца. Чуть завидят, как его гонит от себя какая-нибудь женщина, и сразу же начинают кричать и дразнить. Швыряются камнями, стреляют из пугачей. Бишамбар, конечно, всегда был поблизости. Он спешил подхватить Читу на руки и смотрел вокруг такими глазами, что кажется, в железе дырку прожжет. А иной раз поймает ближайшего хулигана и трясет за шиворот. Мальчишки отплачивали ему свистом, мяуканьем, бранными словами, даже камнями и загоняли в дом.

Дом его был кирпичный, но обмазанный глиной. Довольно большое желтое двухэтажное строение с внутренним двором. Раньше место, где они жили, было скромной деревушкой Дхумри, расположенной на шоссе в двух милях от города Осаха. Но город, точно опухоль, разрастаясь в сторону Дхумри, поглотил пашни, обнесенный колючей проволокой двор тюрьмы, территорию протезного завода и сиротского приюта Нитьянанда. И теперь этот отрезок шоссе превратился в обыкновенную городскую улицу. Но все-таки что-то деревенское осталось. В манговой роще по понедельникам, как истари, устраивались скотные базары, полы в кухне с утра обмазывали глиной, на заднем крыльце, прямо под навесом, держали коров, и женщины до сих пор ходили босые.

Бишамбара и самого не привлекало мальчишеское общество. Маленьким, он любил сидеть на полу и смотреть, как его тетки занимаются домашними делами — просеивают зерно через тростниковое сито, дробят рис, растирают специи. Даже когда они сушили волосы на зимнем солнышке и болтали между собой о разных неприличных вещах — кто с кем спит и тому подобное,— Бишамбар все равно, бывало, сидел у их ног, трогал пальцем твердые и шершавые ороговевшие ступни, гладил нежный свод подъема или просто лежал головой на женских коленях.

А когда он возмужал, стало того хуже. Вдруг оказалось, ему нравится делать то, что считается женской обязанностью,— взбивать масло, крошить зеленый корм на сенорезке, даже носить воду из колодца, когда бывали перебои с электричеством и не работал водопровод. А если верить слухам, так люди даже якобы видели, как он на заднем дворе лепил на ограду кизяковые лепешки!

Неудивительно, что женщины подступили к его отцу с ножом к горлу: парня надо отправить в город учиться! Летчик Пасван, тот, у которого жена красавица, сказал так: «Слушайте меня, дядя Мехротра, мальчишка ничего в жизни не добьется, попомните мое слово.— Он всегда говорил по-английски высоким, писклявым голосом.— Хорошая школа — вот что сделает из тебя настоящего мужчину, приятель!»

И старый добряк, беженец Какки-Шах, поддержал его в разговоре с отцом Бишамбара: «Оэй, кого ты хочешь вырастить из Би-

шамбара, деревенского дурачка? Отправь его учиться в европейскую школу, да-да!»

Потом шесть горьких лет в городе — два в школе и четыре в колледже. Соученики с презрением относились к деревенскому переростку, простофиле и чудаку. Он был из обеспеченной семьи — поэтому его бессовестно обирали; он был простодушен — над ним издевались; он не давал сдачи — ему мазали лицо сажей. От их острых глаз ничто не укрывалось. Про него было известно, что он всегда трется возле девочек, носит за ними пальто, когда класс выезжает на экскурсию, открывает перед ними двери. Высмеивали его нещадно.

Простодушный человек не понимает, чем он смешон и чем навлекает на себя обиды.

Закончил он учение как раз вовремя, день в день тогда, когда отца хватил удар. Правда, старик все же потом оправился, но по крайней мере половину дел в лавке и в мелкооптовой конторе по продаже растительного масла он переложил на сына. Вот тогда-то Бишамбар и обнаружил в себе карликового оленька. Он все время вспоминал своих одноклассниц и ужасно тосковал. Каждое утро, пока заря еще не расцветила небосвод, они послушно являлись к нему в мечтаниях. Мелькали перед глазами одна за другой, точно кадры телевизионной рекламы. И в эти минуты, когда тело его гудело и трепетало, он чувствовал, как в нем вырастает оленек. Каждое утро повторялась эта симфония умопомрачения. Все портил Читу. Он выпрыгивал навстречу девушкам и начинал тереться боком об их упругие бедра, а если оказывалось, что они сидят на полу, резвился на млечных пастбищах. Но недолго, потому что за этим следовала оленья травля, и Читу даже научился оскаливать зубы, когда в него попадали шутихи и подпаливали ему шкурку.

Так провел Бишамбар три лета, то потихоньку погружаясь в мир фантазии, то снова выплывая наружу. «Нет, не будет от него толку! — говорили его отцу.— Ну, кто, скажите, пойдет замуж за такого растяпу»? Сосед, летчик Пасван, посоветовал: «Пошлите-ка его за границу, дядя». А Какки-Шах, который так и ходил в своей горской одежде — широких шальварах и безрукавке,— вынес решительное суждение: «Женить его надо, вот что! И нечего медлить». «Да кто пойдет за такого дурня?» — не выдержал, наконец, и сам Мехротра-старший. Три лета, одно невыносимее другого. Мглистый зной дрожал на всем, с неба сеялись раскаленные иглы, отскакивали от булыжников, от асфальта и гравия и били прямо в глаза. В древесных кронах свистал песчаный суховей и взбивал с земли пыльные смерчи.

Именно тогда, как дыхание прохлады с холмов, начались его посещения Джанаки. Она не справлялась с новым предметом — экономикой. А он как раз получил диплом по экономике. Ее отец был беден, он продавал бетель. Ему не по карману было нанимать репетиторов. Вот к ней и стал ходить Бишамбар, вооруженный школьными конспектами, и печатными руководствами, и даже газетными вырезками про Четвертый пятилетний план.

В то лето два человека умерли от солнечного удара, один из них работал в дорожной бригаде на шоссе, что проходило через Дхурми. А потом ночью обнаружилась новая опасность.

Двадцать третьего мая ровнехонько в четыре часа утра поднялся невероятный шум и гам. Летчик Пасван, будучи в отпуску, ночевал с женой и двухлетним сыном под открытым небом. Их постели были завешаны одной большой москитной сеткой. Малыша, по счастью, уложили посредине Пасван услышал, что какой-то зверь бродит вокруг и упорно обнюхивает сетку. Но похоже, не может просунуть пасть сквозь частые ячейки. Пасван включил фонарик, смотрит — а это гиена тычет мордой в сетку с той стороны, где спит его же-

на. Вне себя, он выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил не целясь. Животное испугалось и убежало.

Тут нашлись и другие, кому тоже перед самым рассветом случалось видеть гиену: те, кто развозили молоко, и те, кто ночуют на улице, и даже один служитель из местного храма, который ходил совершать омовения к колодцу в манговой роще за домом Бишамбара. У кого-то пропала домашняя птица. Подвергались нападению дети, правда, по счастью, до беды не дошло.

Какки-Шах пользовался в округе уважением. Он был безупречно честен, вежлив и, в отличие от своих собратьев из Кохата, никогда не употреблял бранных выражений. В тот же день в четыре часа пополудни его остановили на улице перепуганные мальчишки, игравшие возле дома Джанаки,— она жила на втором этаже в тесной, затхлой двухкомнатной квартире вдвоем с овдовевшим отцом. Дети утверждали, что только что видели гиену, прямо здесь, на улице, среди бела дня, в четыре часа. Невероятно! Скорее всего это была большая бездомная собака. Но они твердили свое: *«Лаккарбагга! Лаккирбагга! Лаккарбагга!»* Один сорванец рассказал, что, свернув за угол, сначала увидел Читу. Но не сделал он и десяти шагов, как оленек ускакал, а из переулка вышла широкомордая гиена. Он было подумал, что она погонится за оленьком, но она никуда не побежала. А стала у входа в дом Джанаки и стоит, будто в карауле. Другой мальчик уверял, что пасть гиены была вся в крови, в пятнистой яичной скорлупе и жабьих мозгах. А глаза вращались в орбитах и держали под наблюдением сразу всю улицу, от одного конца до другого. Потом вдруг окно Джанаки, выходившее на улицу, со стуком захлопнулось. И раздался приглушенный вскрик. «Приглушенный вскрик!» — возмутился Какки-Шах. Сколько живет на свете, он ни разу не слышал никаких приглушенных вскриков! Ох, не любит он этого — выяснять, совать нос в чужие дела. Мало ли на что можно напороться. Но пришлось уступить наглому давлению обстоятельств.

Сопровождаемый стайкой мальчишек, он поднялся на второй этаж и сначала постучался в комнату Джанаки. Потом стал с силой дергать дверь, а мальчишки у него за спиной подняли шум. Вдруг засов отодвинулся, и в дверях появилась Джанаки. Волосы у нее были распущены по плечам, сари помято. Разговор между ними произошел, мягко говоря, неловкий. Не появлялась ли здесь гиена?

— Гиена? На втором этаже? Ну, знаете, дядя!..

— Я... эти дети уверяют, что видели гиену. Куда она скрылась, никто не заметил, вот они и решили, что она взбежала по лестнице. Вздор, понятное дело.

Какки-Шах уже хотел было повернуть обратно, но в это время один из мальчиков изловчился и проскользнул мимо Джанаки в комнату.

— Вот он, здесь! Бишамбар! — крикнул этот мальчик, и вся детвора ринулась в комнату вслед за ним.

Какки-Шах видел, как на лице у Бишамбара страх сменился злобой. И вдруг молодой Мехротра грохнулся в обморок. Один только Какки-Шах и понял, что это — притворство. Он вытолкал из комнаты мальчишек, вышел сам и закрыл за собой дверь.

А случилось то, что Бишамбар наконец все-таки не выдержал. Он вдруг обнял Джанаки и приглушил ее вскрик поцелуем. Свободной рукой он захлопнул окно — как раз в это время на улице появился Какки-Шах и услышал рассказ мальчишек.

С решительным видом Какки-Шах явился в сопровождении еще двоих к старшему Мехротре.

— Я раскаиваюсь, что как-то назвал твоего сына растяпой. На самом деле он заслуживает самой высокой оценки как практичный

и толковый молодой человек. Да вдобавок еще неплохой актер. Сегодня он нашел себе жену.

— Кого это? — в недоумении спросил отец Бишамбара.

— Джанаки!

— Джанаки!? Да вы знаете, чем торгует ее отец?

— Он продает бетель,— ответил Какки-Шах.— А ты продаешь растительное масло, печенье «Британия», косметику и презервативы. В наши дни торговля бетелем — вполне пристойное занятие. Даже министры его жуют.

— Министры также мочатся. Но это не делает их ночные посудины пристойными предметами,— возмутился Мехротра.

— Эта девушка — такая красавица, ни одному Мехротре за пять поколений не привести в дом невесту вполовину столь же прекрасную!

— Как же! Оттого, наверное, не нашлось до сих пор никого, кто бы вытащил ее из сточной канавы и снял заботу о ней с плеч этого голодранца, ее папаши!

Прения продолжались полчаса. Подготовка к свадьбе заняла семь дней. На восьмой их поженили.

После женитьбы Бишамбара произошло одно любопытное явление, правда оставшееся в ту пору незамеченным. И оленек и гиена как сквозь землю провалились. Больше их никто не видел.

Как Алипур включился в национально-освободительную борьбу

Всякий раз, взглядывая в зеркало, Дэвид Фаулер испытывал легкую печаль. Без усов собственное мясистое багровое лицо казалось ему голым и каким-то чужим. Он сбрил их двадцать лет назад по соображениям тонким и сентиментальным. Потому что усы были связаны с армией, с первой мировой войной, с Галлиполи и Соммой, этими затяжными и бесплодными битвами, участником которых он был.

После войны, выйдя в отставку и поступив на службу, он счел, что носить усы ему теперь не подобает. Правительственным служащим в Индии они не по чину. Начало второй мировой войны всколыхнуло было в нем разнообразные эмоции, и в первую голову желание вновь отпустить усы. Но он поборол соблазн как разведенный муж, который не поддался желанию заново жениться на собственной бывшей жене.

Фаулер вздрогнул и очнулся от своей предзеркальной задумчивости. Решительными шагами он вышел на веранду — там его ждал Кадир, держа поднос со стаканом оранжада. Вообще-то это была привилегия Хафиза, старого слуги, который принимал достоинство господина гораздо ближе к сердцу, чем даже сам господин. Но сейчас, после давешней перебранки, Фаулер предпочитал с ним не сталкиваться.

Повздорили они из-за городской депутации. Обязательно им надо именоваться поторжественнее: «депутация», или «делегация», или еще там как-нибудь. Нет чтобы просто — некая группа лиц, желающих посетить городского управителя.

— Мы хотели бы засвидетельствовать почтение, сэр, и обсудить обстановку,— тонким голосом проверещал телефон.

— Какую еще обстановку? — буркнул Фаулер. Представителю английской администрации в 1942 году задать такой вопрос — это уже было нахальство.

— Ну как же, сэр,— ответил тот же тонкий голос.— Общую обстановку. Уличные беспорядки, саботаж наших совместных военных усилий. Мы хотим заверить вас, что являемся верными последователями Ганди. Мы против насилия — то есть это в борьбе за самоуправление мы против насилия, а на войне насилие необходимо, как же без него. Ведь невозможно добиться победы без кровопролития...

И дальше все в таком же духе. Одышливо, сбивчиво. Полная путаница в головах была одним из симптомов болезни. Все смешалось: народ ведет «справедливую войну» с врагами своих врагов, и в то же время ему запрещено насилие против собственного врага!

Фаулер согласился принять их у себя в пять часов.

Но Хафиз, услышав, что этих лавочников и уличных крикунов надо будет пригласить в парадную гостиную, не постеснялся высказать все, что у него накипело. Для него это было прямое святотатство, как, скажем, допустить неверных в Мекку. Приказать старику, чтобы он им еще и чаю подал, у Фаулера не хватило храбрости. Он решил поручить это Кадиру.

Он взял у Кадира стакан и картинно, залпом осушил. Летом перед верховой прогулкой нет ничего лучше оранжада. И пить надо прямо на веранде, эдакий барственный жест, производит впечатление на обслуживающий персонал. Вообще полезно развивать в себе какую-нибудь эксцентрическую черточку, пусть чернь дивится и трепещет! Он поставил стакан обратно на поднос и увидел, что Кадир и вправду только что не дрожит. Мальчишке едва минуло пятнадцать лет, еще робеет. Да и вообще он больше привык к конюшне, чем к господским завтракам и файф-о-клокам.

Отец Кадира проработал у Фаулера конюхом добрых два десятка лет. Когда он стал стариться, Фаулер предложил ему нечто вроде небольшого пенсиона. Но старик и слышать не пожелал, он продолжал работать и умер, так сказать, в упряжке. А сын, как это ни странно, не проявлял склонности к лошадям. И тогда Фаулер определил его помогать по дому — к великому ужасу Хафиза, который находил, что от малого разит конюшней. «Смотри, чтобы на кухне ноги твоей не было!» — в первый же день наложил он запрет. И запрет этот строго соблюдался.

Было уже половина шестого. Депутация запаздывала. Если ждать еще, то придется пожертвовать прогулкой. Рыжая охотничья сука Шерри тянула поводок и заходилась в лае. Он спустил ее и поспешил взобраться в седло, чтобы избежать ее восторженных объятий.

Настроение у Фаулера было не прогулочное. На душе кошки скребли. И донимали служебные заботы. А ведь у него, надо признать, еще счастливо все складывалось. Неделю назад он тихо-мирно упрятал за решетку все местное руководство Конгресса — и ничего! Вообще-то у него в округе семьдесят процентов населения — за Мусульманскую лигу. Конгрессисты, которые и так были в меньшинстве, оставшись без лидеров, сразу оказались парализованы. Кроме того, многим влиятельным горожанам война и нынешняя политика правительства сулила немалые выгоды — они получали доходные контракты и почетные титулы «хан бахадур» и «рай бахадур», которые были их сердцу милее, чем даже любимые жены. А вот в соседних районах — там творилось бог знает что. Демонстрации, забрасывание камнями, палочные расправы, стрельба — все это вошло в повседневную жизнь, одно тянуло за собой другое.

С того рокового утра 9 августа, когда в ответ на резолюцию: «Уйдите из Индии!» — правительство арестовало руководителей Конгресса, вся страна была охвачена волнениями. Только в Алипуре царили тишина и спокойствие. И правительство, естественно, приписывало это «разумным и дальновидным действиям» Фаулера. А он молил бога, чтобы удача от него и дальше не отвернулась. Один

раз ему уже было отказано в повышении по службе за «грубое и бестактное» обращение с «туземцами». Тогда Фаулера уведомили, что его превосходительство им недоволен.

Зато теперь он свое возьмет! Хорошо бы эта борьба за независимость поскорее прошла и его вообще не затронула. Две мировые войны видели двух совершенно разных Фаулеров. Они различались не только внешне — тем, что один был с усами, а второй без усов. Он с тех пор потерял кураж. Овдовев, он стал совсем равнодушен к службе, упал духом, особенно теперь, когда думал о сыне, воюющем в Африке, и об отце, одиноко доживающем под лондонскими бомбежками.

На улице у ворот остановились две повозки, украшенные гирляндами оранжевых ноготков. Из них вылезли Гаиндамаль и прочие члены депутации. Они подтянули пояса, набрались храбрости и вошли в ворота. Заехать во двор прямо в повозках никому и в голову не пришло. Когда Кадир привел их в парадную гостиную, все были прямо потрясены. Даже Гаиндамаль не мог отрицать, что они представляли собой довольно разношерстное сборище. Сам он и Бхопат Рам были в белоснежных домотканых дхоти. Оба поставляли колючую проволоку для армии и рассматривали войну как личный подарок от богини Лакшми. Сурадж Пракаш, откупщик, был одет в ситцевые брюки и лакированные вечерние туфли, а голову ему солидно венчала свеженакрахмаленная белая чалма. Кишен Чанд, этот пять лет как бросил колледж и вступил в Национальный Конгресс, он до сих пор ходил без работы и носил нечесаные волосы до плеч. Гаиндамаля передернуло, когда тот уселся на стул, скрестив на сиденье ноги, босыми грязными пятками прямо ему под нос.

Присутствовал также Чаран Дас, от неприкасаемых,— без этого никакую депутацию нельзя считать представительной — в белых узких брюках и безрукавке, как у Джавахарлала, хотя и то и другое следовало бы, на взгляд Гаиндамаля, еще вчера отдать в стирку. Ну и конечно, Имамбахш и Мохиуддин в узких сюртуках и широких шальварах, и у обоих — неаккуратно подстриженные шкиперские бороды. Имамбахш среди них старейший и наряду с Кишен Чандом самый убежденный конгрессист. А вот Мохиуддин уже вступил в тайные переговоры с Мусульманской лигой, у него — свое на уме.

Гаиндамаль, возглавив депутацию, очень ловко вышел из всех затруднений. Не в его интересах было раздражать власть, но и прослыть холуем, британским прихвостнем, он тоже не хотел ни в коем случае, в те дни это был самый позорный ярлык. В моду вошел патриотизм, порядочному человеку полагалось быть патриотом. Но он, как проницательный бизнесмен, заглядывал в будущее дальше этого: ну, станет Индия свободной, а откуда тогда брать министров?

Депутация заверила патриотические элементы, что намерена выразить решительный протест против произвола правительства, против репрессий и тому подобного. У здания муниципалитета ко времени отправления депутации собралось человек пятьсот провожающих. Ехать было мили три.

В криках толпы Гаиндамаль услышал свое имя, сопрягаемое с именами славнейших. Обе повозки стояли разукрашенные цветами, делегатов приветствовали громкими возгласами и хлопали по спине, а потом они сели в повозки и в сопровождении сочувствующих на велосипедах двинулись в путь.

В парадной гостиной стояла неловкая тишина. Депутаты лишь украдкой, шепотом, вели отрывочный светский разговор. В полный голос заговорить никто не отваживался. Каково же было всеобщее изумление, когда подали чай! Они просто глазам своим не поверили. Ну и ну, с торжествующей ухмылкой сказал себе Гаиндамаль.

К чаю Кадир принес печенье, толстые кубики с ребристым верхом — словно их граблями выгребали из печки. И цветом тоже ка-

кие-то неаппетитные, желтоватые. Но отказаться, конечно, было никак нельзя, немыслимо с точки зрения элементарной вежливости. Гаиндамаль попробовал одно на зуб: твердое, как сухая глина. Он закрыл глаза и изо всех сил заработал челюстями.

Он ощутил во рту прогорклый печеночный вкус, к горлу подкатил комок, и каждая клеточка его существа сигнализировала о подступающей тошноте. Чтобы усмирить взбунтовавшиеся внутренности, он второпях хватил горячего чаю — и ошпарил глотку. Вокруг все кашляли и кривили рты, будто приняли горького лекарства.

— Спаси нас от сатаны! — выговорил Имамбахш мусульманскую формулу полнейшего омерзения — так говорит почтенный богослов, когда наступит на коровью лепешку или когда ему с верхнего этажа плюнут в глаза соком бетеля.

— Брат Бхопат Рамджи, какие ужасные вещи едят эти англичане! — Сурадж по-английски говорил не без труда, но считал, что долг перед товарищами не велит ему ронять себя и пользоваться родным хиндустани, а то ведь Кадир может услышать.

— Чего же ждать от питающихся мясом коровы, брат Сурадж?

— И мясом свиньи,— гневно добавил Имамбахш.

— Я бы этого не дал и собаке, если бы она у меня была,— сказал Гаиндамаль.

— У них все нечистое,— возмущенно произнес Кишен Чанд, потирая подошву и отковыривая с нее пальцем корку грязи.— В Англии моются раз в месяц и пользуются при этом водой, в которой уже искупались пять или шесть человек.

Со всех сторон раздались возгласы отвращения: «Рам! Рам!», «Тоба! Тоба!»

Хафиз во всем этом безобразии не принимал никакого участия. Что там было им подано, на чем, он даже не интересовался. Не дождутся от него! Так что Кадир и с чаем, и с печеньем, и со всем прочим управлялся самостоятельно. Хафиз просто не мог вынести, чтобы эта шушера вольничала в доме сахиба.

Но услышав, что после чая у них развязались языки, он решил поставить их на место. Распахнул дверь и с мрачным видом остановился на пороге. Этого оказалось достаточно — все замолчали. А он устремил взгляд на Кишен Чанда, сидящего на стуле со скрещенными ногами. Тот продолжал скрести пальцем подошву.

— Спусти ноги! — холодно и величаво проговорил Хафиз, и бунтарь Кишен Чанд поспешно подчинился, не выдержав испепеляющего гофмейстерского взора.

— Эти прислужники важничают больше хозяев,— заметил Имамбахш, когда Хафиз вышел.

— Вот поглядим на них, когда получим независимость,— сказал Бхопат Рам.

— Мы тогда такого им зададим, костей не соберут,— грозно посулил Кишен Чанд.

В это время у крыльца раздался стук копыт. Все встали и приветствовали вошедшего Фаулера, хором возглашая «намасте» и «салам». Он бросил на них беглый взгляд и сразу успокоился. На лицах играли улыбки, а Бхопат Рам чуть ли не хвостом вилял.

Сожалею, что опоздал. Но я тоже прождал добрых полчаса.

Гаиндамаль прокашлялся, придумывая подходящий ответ. Но Бхопат Рам его опередил. В конце концов, у них конкурирующие фирмы, он вовсе не обязан всегда уступать.

— Это мы виноваты в опоздании, сэр, то есть исключительно мы.

Опять этот старый болван стелется перед ними, подумал Кишен Чанд. Предоставил бы объясняться тому, кто хоть по-английски умеет говорить. Но Бхопат Рама уже понесло:

— Мы прибыли, сэр, чтобы заявить, что мы все — последователи

ахимсы[1]. Мы требуем освободить арестованных руководителей Конгресса. И намерены законным порядком просить независимости.

Словно независимость — это блюдо, обозначенное в меню, и надо всего лишь вежливо заказать его у официанта.

— Если нам, сэр, любезно дозволят внести свой вклад в войну, мы с гордостью это сделаем. И повторяю: ни при каких обстоятельствах у нас не будут на улицах швыряться камнями и выкрикивать лозунги. В конце концов, ну что проку в лозунгах?

Бхопат Рам обвел взглядом остальных, ища одобрения. Но лица у всех были ледяные.

Мы не за этим пришли, подумал Имамбахш. Это чистой воды низкопоклонство.

А Кишен Чанд не выдержал и сказал:

— Я считал, что мы явились требовать освобождения наших руководителей. За это мы, со своей стороны, попытаемся убедить народ не саботировать общие военные усилия. Хотя, конечно, за всех жителей города мы поручиться не сможем.

— Не лучше ли нам сначала всем сесть,— пригласил Фаулер с самой обворожительной улыбкой, на какую только был способен.— Я имел в виду предложить вам чаю, но вижу, вас уже напоили.— Он с удовлетворением окинул взглядом стол. И вдруг недоуменно вздернул брови.— Кто это принес сюда собачье печенье? Вы его не ели, надеюсь? Не иначе как этот остолоп Кадир. Кадир, иди сюда!

Но тут уже было не до Кадира. «Собачье печенье?» «Вы накормили нас пищей для собак?» — посыпались негодующие вопросы, одновременно и вразнобой, как плохо срепетированный хор в греческой трагедии.

— Большой же чести мы от вас удостоились,— саркастически произнес Кишен Чанд.

— В собачье печенье подмешивают мясо, потроха и всякую гадость! У меня в роду двенадцать поколений вегетарианцев! — истерически кричал Бхопат Рам.

— Джентльмены, джентльмены, это недоразумение! Уверяю вас, это ошибка, ужасная ошибка!

— Для нас это не новость. Вы всегда обращались с нами как с собаками. Вы и ваше правительство, вы сами хуже собак!

Эту речь, указуя дрожащим перстом и дергая стриженой бородой, произнес возмущенный Имамбахш.

Они пошли к выходу, и Кишен Чанд выкрикнул: *«Гора шахи!»* *«Нахин чалеги!»*[2] — отозвались хором остальные. И потом еще, все вместе: *«Надир шахи нахин чалеги!»*[3]. Толпа, ждавшая за воротами, сразу хлынула во двор. Воздух задрожал от воинственных выкриков: *«Инквилаб зиндабад! Тоди бача хай, хай!»* — «Да здравствует революция! Долой британских прихвостней!»

Кишен Чанд достал свои сандалии и запустил в Фаулера. Все равно они ему были не нужны. И тут же посыпался град камней. Выбежали солдаты охраны — лица напряжены, штыки примкнуты. Камнепад прекратился, но выкрики продолжались. Начальник охраны дал приказ заряжать, и в эту минуту Фаулер осознал, что события вышли из-под контроля.

Алипур включился в национально-освободительную борьбу.

---

[1] Доктрина ненасилия.

[2] Владычество белых — долой! *(хиндустани)*

[3] Тиранию — долой! *(хиндустани)*

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА

Советская переводчица с английского. В ее переводе публиковались романы Г. Мелвилла «Моби Дик», Т. Мэлори «Смерть Артура», И. Во «Возвращение в Брайдсхед», Дж. Гарднера «Осенний свет», повесть Грэма Грина «Десятый» («ИЛ», 1986, № 12) и др.

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ

«Страстная неделя»

Вступление и перевод с каталанского
СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Сальвадора Эсприу, крупнейшего каталонского писателя современности, нет нужды представлять советскому читателю: его стихи и проза публиковались у нас большими тиражами, в том числе и в журнале «Иностранная литература».

Став в 1950—1960-е годы одним из национальных лидеров духовного сопротивления фашистской диктатуре, Эсприу — к этому времени вполне уже сложившийся автор с неузким кругом ценителей его таланта — создает одну за другой три поэтические книги, сделавшиеся для большинства каталонцев своего рода «учебником» неприятия самих основ франкистского режима.

На долю первого из этих сборников — «Бычья шкура» — пришелся шумный успех: уже по его названию, напоминавшему о географических очертаниях Иберийского полуострова, испанский читатель мог предугадать, что речь здесь пойдет о самом наболевшем для каждого соотечественника — о судьбе его многострадальной отчизны, а в конечном счете о его собственной судьбе. Второй сборник («Книга о Синере»), в заглавии которого можно узнать прочитанное «задом наперед» название тихой каталонской деревушки Аренис,— пожалуй, самая «гармоничная» из последних книг Эсприу, сразу же получившая высокую оценку литературоведов и критиков.

За ней последовала «Страстная неделя» — наверное, наиболее жесткая, болевая, «обнаженная» и последняя при жизни книга поэта. Она тоже создавалась в условиях франкистской цензуры, и сюжет ее был внешне благопристоен по представлениям «среднего» фалангиста: еще одна поэтическая притча на новозаветную тему о пути страдальца на Голгофу. Но вдумчивый (и в то же время массовый!) читатель обостренным чутьем своим легко проник сквозь библейскую символику в иносказательную сущность повествования и понял: перед ним выверенная гражданской и творческой позицией поэта четкая концепция недавней истории и нынешнего дня Испании, а каждое слово автора обращено здесь не в надконкретную даль былого или грядущего, а прямо к нему, к современнику.

Почти двадцать лет прошло со времени первой публикации «Страстной недели», а испанцы и поныне числят ее среди самых актуальных и «сегодняшних» книг.

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ — SALVADOR ESPRIU (1913—1985)

Каталонский поэт, прозаик, драматург. Автор поэтических сборников «Кладбище Синеры» («Cementiri de Sinera», 1948), «Песни Ариадны» («Les cançons d'Ariadna», 1949), «Путник и стена» («El caminant i el mur», 1954), «Конец лабиринта» («Final del labirint», 1955), «Бычья шкура» («La pell de brau», 1960), «Книга о Синере» («Libre de Sinera», 1963). Публикуемые стихи взяты из книги «Страстная неделя» («Setmana Santa». Barcelona. Quaderns de poesia», 1971). Несколько стихотворений из этого цикла было напечатано в «ИЛ» (1978, № 10). Полностью «Страстная неделя» войдет в книгу избранных произведений Сальвадора Эсприу, готовящуюся к печати в издательстве «Радуга».

* * *

Надвечное, святое Слово
укоренилось в темь и в сушь.
Когда оно потемки душ
облагородит светом снова?
Угас огонь. И правда стала
бесплотным мифом. Этот миф
подохнет, крылья уронив,
орлом, разбившимся о скалы.
О скалы песни? Ветер страха
в ущельях свищет. Ветер тьмы.
И пляшут флюгерами праха
дурак со шлюхой. Это — мы.
Здесь *не* освобожденных нет ли?
Освободили лепрой нас.
Во льду победных птичьих глаз —
не лес, а только — пли! — да петли.

* * *

Лес виселиц. Всем — руки вверх!
Захлебываясь, мы повисли
на сучьях заскорузлой мысли.
Качает ветер трупы. Вверг
нас ветер смерти и растленья
в пустыню. Тошно. Смысл померк.
Захлебываемся в петле
тщедушия и двоедушья.
В колоде — черный туз удушья.
Все карты биты. Мы — во мгле.

* *

Во мгле тюрьмы, на дне кувшина —
где Слово среди тьмы словес?
Невыносим его нам вес.
Недосягаема вершина.
В муку и в масло обмакни
его и жарь, дабы смогли бы
и мы вкусить столь скользкой рыбы.
Но — ломтиками. Вот в тени
нам шлюха стол накрыть готова.
Убийцы здесь за мудрецов,
и каждому из мертвецов —
кусок, отрезанный от Слова.

* *

Получу
клеймо на душу.
Он — хозяин.
Мы — рабы.
И в мешке
меня потащут
в грязь топочущей
толпы.

Прах процессий.
Словно змеи,
фитили
свечей шипят.
Барабан.
Немые тени
в ночь идут —
за рядом ряд.

Ускользающие тени.
Смрад разверзшихся
могил.
Бледно-вялое
скопленье
ветхих дам,
и драм,
и рыл.
Пересуды,
передрязги,
лязг зубов
и яд слюны.

Похотливый
шепот сплетни,
жаркий шепот
сатаны.
Вздохи,
крестные знаменья,
свечи,
ладан
и ковчег.
Дамам сладок
дым
кадила.
С неба сыплет
стылый снег.

* * *

Все началось с воздетых рук,
с высоких слов, с шаткой победы
визгливых речей, а между тем
уже подступала к горлу смерть
и мы услужливо протаптывали ей
мертвую дорогу, которая нас приведет
на самое дно бездны.

* * *

День за днем, страх за страхом —
без имени, без надежды.
За любым углом забвенья
чьи-то глаза
подстерегают каждый мой шаг.

* * *

Видишь: в потемках
к тебе подступают
колонны теней в капюшонах.
Костлявые пальцы времени
колотят по натянутой коже,
бьют в барабаны.
стучат по черепам,
хрустящим под градом ударов.

* * *

Ушко игольное, изволь
потрафить столь простому чуду
и без усилия позволь
сквозь твой прозор пройти верблюду.
Шагая, впрочем, вкривь и вкось,
он сквозь тебя, как сквозь аркаду,
пройдет и сам — так повелось,
что сможет всякую преграду
не одолеть, а отменить

верблюд, и к этому привык ты.
Он — корень. Ты же — только нить,
былинка. Избегай конфликта
с богатым. Он непобедим.
Он покарает недовольных.
Вон сколько раз он, словно дым,
прошел сквозь тьму ушей игольных,

Но там, где он легко прошел,
запомни: не пройдет осел.

* * *

Стужи нет,
и снега
нет.
Но —
серебряны
оливы.

Свора
не теряет
след.
Сжалься,
боже
милостивый!

Ночь.
Погоня.
Свист свинца.
Факел.
Силуэт
с винтовкой.

Пот
кровавый
беглеца.
Руки
скручены
веревкой.

Вот ведут
его,
ведут.
Факелы
чадят
кострами.

Обещает
жаркий
суд
это
факельное
пламя.

Трижды
учинен
допрос.
Страх
не сладил
с человеком.

Взгляд небес
к нему
прирос.
И —
петух
прокукарекал.

* * *

Вскричал петух, крылом взмахнув,
и расколол короткий клюв
стекло безлунья и божбы,
и обнажилось дно судьбы.
Ты плачешь. Подтвердил рассвет,
что мира и забвенья нет.
Ах, сколь фундамент был хорош,
а все-таки — бросает в дрожь
и в слезы. Даже власть не всласть,
когда и с властью можешь пасть.
Пастух! Снуют туда-сюда
твои бесстыдные стада —
попробуй, шепот улови!
И грязь и золото — в крови.
Окаменелая вина —
ее не выплакать до дна.

* * *

Единственный храм разрушив,
века обративши в ссыльных,
мы гордо бредем тропою
беспамятных и бессильных.
Мы верность храним слепую
тому, чье беззвучно имя.
Грешны и виновны все мы,
оставшиеся живыми.
Послушные кличу рога,
собьемся мы снова в стаи
и раны свои зализжем,
бессовестно уповая
на то, что верность зачтется,
на то, что нам кровь простится.
Но все же сомненья гложут:
и впрямь ли волей провидца
нам вверены чьи-то судьбы,
и можем ли мы по праву
вершить над ближними нашу
неправедную расправу,
к которой мы так привыкли
под крышей дворцов и хижин?
Виновен ли тот, кто нами
казнен или же унижен?

* * *

Ибо вопрос —
это не право на празднословие.
Разве, спрашивая,
ты просто спроваживаешь
косматую тень кошмара?
Твой вопрос оправдан
накопившимся ворохом подлогов
и волчьим пламенем в глазах у лжи.
Нет мочи молчать.
Произнесенное слово
возвратит тебе
зоревую даль морского ветра,
шорох птичьих крыльев,
шуршанье осеннего леса,
перешептывание легких шагов
на трудном твоем пути.

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.)

Советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Леона де Грейффа, Хосе А. Гойтисоло, Хоакина Марко и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе составление, комментарий и предисловие к двуязычной антологии «Испанская поэзия в русских переводах 1792—1976» (М., 1978, 1984).

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

Футурологический конгресс

Из воспоминаний Ийона Тихого

■

Перевод с польского К. ДУШЕНКО

Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Костарикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога: он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал (и это меня задело), что астронавтика стала, в сущности бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствие. И в самом деле, возвращаясь из путешествий особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю — не уподобилась ли она печеной картофелине. Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. И в насосах мало кто разбирается, возразил Тарантога, однако все мы кидаемся к помпам, услышав: «Течь в трюме!»

Правление Футурологического общества выбрало Костарикану потому, что темой конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним, а Костарикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения; предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину: в Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон», между тем на конгресс, кроме самих футурологов, съехалось столько же журналистов. Теперь уже от отеля не осталось камня на камне, так что я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать: «Хилтон» был превосходен. Моя оценка имеет особый вес, ведь по натуре я сибарит, и лишь чувство долга заставило меня предпочесть комфорту каторжный труд астронавта.

Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского «Хилтона» возвышались еще сто шесть этажей. На нижних крышах здания разместились теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир (где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно, на выбор — спецзаказы выполнялись в течение суток), а также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Меня поселили на сотом этаже, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую пелену смога, нависшую над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило — например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. На яшмовой стене ванной, рядом с полотенцами, висел моток

© Copyright by Stanislaw Lem, Kraków 1983

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — STANISŁAW LEM (род. в 1921 г.)

Польский писатель и философ, автор научно-фантастических произведений, переведенных на многие языки мира, а также книг по проблемам кибернетики футурологии, литературоведения. Лауреат Государственной премии ПНР и ряда международных премий (в том числе Государственной премии Австрии за 1985 год). На русский язык переведены книги: «Магелланово облако», «Звездные дневники Ийона Тихого» «Вторжение с Альдебарана», «Солярис», «Возвращение со звезд», «Непобедимый», «Сумма технологии» и др. В «Иностранной литературе» печатались рассказы «Терминус» и «Стиральная трагедия» (1962, № 11), фрагменты книги «Идеальный вакуум» (1975, № 3), «Путешествие двадцать восьмое» из книги «Звездные дневники» (1976, № 10)

Повесть «Футурологический конгресс» впервые опубликована в сборнике «Бессонница» (Lem S. «Bezsenność». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1971).

настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку: «Дирекция гарантирует, что в этом номере БОМБ нет».

Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане — расписание авиарейсов; он не признает подтяжек с металлической пряжкой и портфель закрывает на пластмассовую защелку — а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса, а все потому, что во рту у меня шесть стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их фарфоровыми; увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маскхалата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничная жизнь в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я, по легкомыслию, должного внимания не обратил.

Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов конгресса — художественно оформленных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги, со штампом «Копуляционный талон».

Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва; популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество в целом, так что конгрессы проходят в сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может, знакомиться с ними нужно заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без происшествий, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стэнтор, знакомый журналист из ЮПИ, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Костарикане. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией. Этот инцидент не нарушил, впрочем, дружественной атмосферы приема.

Присутствовал лично посол США, произнесший спич о пользе сотрудничества между народами; правда, говорил он под защитой шести плечистых парней в штатском, которые держали нас под прицелом. Мне, признáюсь, стало как-то не по себе, а тут еще, на беду, стоявший рядом темнокожий делегат Индии полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь Футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как охрана пассажирских самолетов, и посторонние ничем не рискуют — не то что раньше, когда пуля, уложив террориста, прошивала еще пять-шесть ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, которое легко уладить, обменявшись дипломатическими нотами.

Впрочем, вместо того, чтобы рассуждать о человеколюбивой баллистике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел просмотреть материалы конгресса. Во-первых (подробность малоприятная), пришлось спешно менять окровавленную рубашку; к тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в том, что столичные отели становятся все громаднее. Если от кухни до номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты «Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, но sonic boom — грохот при прохождении звукового барьера — в замкнутом пространстве отеля грозил разорвать барабанные перепонки. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек, но так можно додуматься и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар.

Девяносто пять процентов обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Костарикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации издателей Освобожденной Литературы, а также Общества филуменистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне, в знак особого уважения, дирекция выделила апартаменты на сотом этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим музыку Баха; вдобавок оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись; к сожалению, свободных номеров уже не было — пришлось довольствоваться тем, что дают.

Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, как по меню, прочитать обо всем, что он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную окованную двустволку и с радостным гоготом осведомился, какого я мнения о его папинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание — лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом — идеальное оружие для охоты на папу римского. Болтая без удержу, он достал из кармана помятую фотокарточку; на снимке он изготовился к выстрелу — мишенью служил манекен в круглой шапочке, из тех, что носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, уже достиг своей лучшей формы и отправляется в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить Его святейшество на площади Святого Петра. Я не верил ему совершенно, но он, не умолкая ни на минуту, показал поочередно: авиабилет, карманный служебник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял в одну только сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в восторг.

Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета (ибо его двустволка то и дело падала на пол), он объяснял мне, что сам-то он истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция («операция П», как он ее называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит ее сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он обречет на казнь, душу — на вечные муки, а все для того, чтоб открыть глаза человечеству. «Ну, ну,— подумал я,— не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?»

Его филиппика не убедила меня, и я пошел спасать папу, то есть сообщить кому-нибудь об «операции П»; но Стэнтор, который встретился мне в баре на семьдесят седьмом этаже, даже не выслушал меня до конца. Он рассказал, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI делегацией американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стэнтора к судьбе святого отца стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу — неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась; кажется, на Авенида Романа кто-то поджег себя в знак протеста.

В баре на семьдесят седьмом этаже царила совершенно иная атмосфера, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые — при шпагах. У многих косички прикреплялись, по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были, филуменистки или секретарши Освобожденных Издателей, не знаю; судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь скорее всего шла об Освобожденной Литературе. Я спустился на девять этажей ниже, к своим футурологам, и в очередном баре выпил коктейль с Альфонсом Мовеном из агентства Франс Пресс. В последний раз я попробовал спасти папу; Мовен, однако, слушал меня со стоической выдержкой и промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя и по совершенно иным идейным мотивам. Мовен рассчитывал на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол

и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ (отсюда его псевдоним «Бомбардир»), и прямо-таки козырял своей безыдейностью.

Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде ночной кружевной рубашки, продырявленной автоматными очередями — как выяснилось, связная экстремистов; ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощанье Мовен вручил мне рекламную листовку Пирульо. Настала пора, говорилось в ней, покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от мелинита, а гремучую ртуть — от бикфордова шнура; в эпоху узкой специализации смешно кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов. На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран.

Футурологи начинали стекаться в бар, когда вбежал профессор Машкенази, бледный как смерть; его била нервная дрожь: он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал: «В укрытие!» — и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш: в коробку из-под кексов кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином, они обожают такие practical jokes [1]. Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Дж. Стэнтор и Дж. Г. Хаулер, репортеры ЮПИ, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо.

Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению «ястребов» — на насилие ответить насилием. На заседании (правительство заседало непрерывно) было предложено перейти в контрнаступление, то есть вырывать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб и — поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен — посылать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк таймс» обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стэнтор под большим секретом сообщил мне, что правительство конфисковало принадлежащий США поезд с военным снаряжением; он шел транзитом через Коста-рикану в Перу. До сих пор экстремистам не приходило в голову похищать нас, футурологов, что, с их точки зрения, было бы не так уж глупо, ведь футурологов в это время в Коста-рикане насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, стоэтажный отель — организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники; никто не штурмовал бюро путешествий отеля — желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного.

На два часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму. Итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж, в Пурпурный зал. В фойе меня встретили две прелестные девушки в одних шароварах (их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками) и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал; при виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств, нет — шокировали формы всех закусок без исключения; даже салаты имели вид гениталий. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярный в определенных кругах шлягер: «Прочь кретинов и каналий, что не любят гениталий, нынче всюду стало модно славить орган детородный!»

Появились первые гости, густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или без оных; а когда шестеро официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно: я ошибся этажом и попал на банкет Освобожденной Литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, дабы перевести дух в подобающем месте; Пурпурный зал (а не Розовый, куда меня занесло) был уже полон.

Разочарование, вызванное непритязательной обстановкой приема, я, насколько мог, скрыл. Горячих блюд не было, к тому же из огромного зала убрали все кресла

[1] Розыгрыши *(англ.)*.

и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Синьор Кильоне, представитель костариканской секции Футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность кулинарных излишеств: ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, отсюда и бережливость устроителей. Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики; вместо посла США прибыл всего лишь третий секретарь посольства, с мощной охраной, один во всем зале — в смокинге (бронированный жилет трудно укрыть под пижамой). Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились груды изъятого оружия.

Первое заседание было назначено на пять вечера, оставалось достаточно времени, чтоб отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но бар на моем этаже оккупировали динамитчики и бунтари со своими девицами; я же был сыт по горло беседой с бородатым папистом (или антипапистом). Пришлось ограничиться водой из-под крана. Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы я номер ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось — он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей; те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо.

Подобные вещи случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало; но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и переворачивая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масла и зажег. Получилась коптящая, правда, но все-таки плошка; при ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось два с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы; я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно! Я с ходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мною случилось. Мне было ясно как дважды два, что номер «Хилтона», погруженный в кромешную тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанный от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки,— одно из приятнейших мест, какое только можно себе представить. К тому же мне страшно хотелось погладить кого-нибудь по голове, на худой конец, пожать кому-нибудь руку — и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза.

Я в обе щеки расцеловал бы злейшего недруга. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка поминутно гасла; то, что «масло» рифмуется с «погасло», вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль. Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперетт, не замечая, что от чада першило в горле и слезы струились из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было еще возможно. Я покатывался со смеху, почти удушенный едким, вонючим дымом,— даже это ничуть не уменьшило моей беспричинной радости. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было уже далеко за полдень; о нерадивой прислуге я думал как о собственных детях: кроме ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж — о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня как ушат холодной воды.

Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались погладить кого ни попало, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить себя по щекам и с нежностью потягивать за уши; кроме того, я несколько раз подал левую руку правой — для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в глубине моего сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так,— кричал во мне приглушенный, далекий го-

лос,— смотри, Ийон, в оба, берегись! Восторженность твоя подозрительна! Ну, давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Онассис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох!» Тем не менее я пальцем не шевельнул. Только в горле у меня пересохло. Впрочем, сердце уже давно колотилось как бешеное, но я объяснял это внезапно пробудившейся во мне вселенской любовью. Я побрел в ванную, изнемогая от жажды; вспомнил о пересоленном салате, которым потчевали нас на банкете (если шведский стол можно назвать банкетом); потом представил себе для пробы господ Я. В., Г. К. М., М. В. и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного: братски пожать им руки, сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, положив одну руку на никелевый регулятор крана, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды и, скривив лицо в какой-то странной гримасе — в зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица,— выплеснул воду в раковину.

ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да. После нее все это и началось. Что-то такое в ней было! Яд? Но разве бывает яд, который... А впрочем, минутку... Ведь я — постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в «Сайенс ньюс» о новых психотропных средствах из группы так называемых б е н и г н а т о р о в (у м и л н т е л е й). Они вызывают беспричинное ликование и благодушие. Ну конечно! Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гедонидол, филантропин, любинил, эйфоризол, фелицитол, альтруизан и тьма-тьмущая производных! Одновременно, путем замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокомин и прочие препараты б и е л о г и ч е с к о й группы; они побуждают избивать и тиранить все окружающее, вплоть до неодушевленных предметов; особенно славятся врубинал и зубодробин.

Зазвенел телефонный звонок, и тут же включился свет. Голос портье торжественно и подобострастно приносил извинения за аварию: все уже было в порядке. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер — в гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие,— потом, все еще в блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодушия, утопала в сиропе возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом. Я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее,— о бородатом головорезе с противопапской двустволкой, о разнузданных пропагандистах Освобожденной Литературы и их вавилоно-содомском пиршестве, снова о господах Я. В., Г. К. М., М. В. и прочих прохвостах и негодяях — и с ужасом убедился, что всех я люблю, всем все прощаю; мало того, немедленно возникали передо мной аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня; но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать «позывом к добру». Вместо того чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах: с каким наслаждением я утешил бы их! Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор! А голодные, а убогие, а больные, а нищие — боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее — для неимущих.

И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги: «Берегись! Не дай себя заморочить! Борись, бей, спасайся!» — доносился откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в «Хилтоне» нет мышей или хоть пауков — я бы их пригрел, приласкал! Мухи, клопы, комары, крысы, вши — что за милейшие существа, боже милостивый! Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок начал уже возвращаться ко мне, поэтому я изо всех сил ударил кулаком левой руки по правой, раздававшей благословения, и прямо-таки взвыл от боли. Да, это было недурно! Это, пожалуй, могло бы меня спасти!

На мое счастье, позыв к добру был направлен не вовнутрь, а вовне: ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Неплохо, только не останавливаться! Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой;

после серии жестоких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже. Тогда я осторожно попробовал представить себе тумак в спину Г. К. М. Теперь это уже не казалось мне абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить себе даже пинок, адресованный М. В.

Не обращая внимания на острую боль, я продолжал истязать себя. Тут годился любой остроконечный предмет; сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, не надеванной ни разу рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами; чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего, с новой силой прорвался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось: ЧТО-ТО БЫЛО В ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да! В моем чемодане уже давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное настроение, поэтому я им и не пользовался; хорошо, хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом, затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтоб не уснуть, сел и со страхом — но и с любовью к ближнему — стал ожидать исхода химической битвы в своем организме. Любовь еще одолевала меня, я чувствовал себя умиротворенным, как никогда. И все же препараты зла начали превозмогать химикаты добра: я по-прежнему жаждал облагодетельствовать кого-нибудь, но уже не кого попало. Правда, я предпочел бы — на всякий случай — быть последним мерзавцем, по крайней мере какое-то время.

Чéрез четверть часа все как будто прошло. Я принял душ, вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами — профилактики ради; заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки (я и вправду разукрасил себя на совесть), надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал себе под ребро, для поднятия духа и для контроля, и вышел — в самую пору, чтобы успеть к пяти.

В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар — тот почти опустел; прислоненная к табурету, стояла папинтовка, две пары ног высовывались из-под стойки, одна из них босая. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты, еще один бренчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший шлягер. Внизу, в холле, толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем не выходя из отеля: конференц-зал находился в его цокольной части. Все это сначала меня удивило; по некотором размышлении, однако, я понял: в таком отеле воду из-под крана не пьют, жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае — чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода; а тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, заперевшись у себя в номере. Поэтому, решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях; я человек здесь чужой, кто мне поверит? Это все, скажут, аберрации и галлюцинации. Чего доброго, примут за наркомана, дело обычное.

Впоследствии меня обвиняли в том, что я выбрал тактику страуса или улитки: мол, если бы я сразу обо всем рассказал, глядишь, и не дошло бы до известных всем бед. Но те, кто так думает, заблуждаются очевиднейшим образом. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы, однако события в «Хилтоне» никак не влияли на политические перипетии Костариканы.

По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет — такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет.

На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью; первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа, вторым — катастрофа экологическая, затем — климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы. Докладчику отводилось четыре минуты — многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Впрочем, для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры — номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры; между ними должна была завязаться потом основная дискуссия. Стенли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив: 4, 6, 11, откуда следует 22; 5, 9, ergo 22; 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22! Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лета опроверг возражение, разъяснив, что так или этак — кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу.

Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в восемьсот этажей — с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями; предусматривались подземные помещения для погребальных урн, телевидение на сорок каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на манер гимнастических для занятий групповым сексом (свидетельство передовых убеждений проектировщиков), а также катакомбы для нонконформистских социально-культурных групп. Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на другую квартиру — либо ходом пешки, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок, это здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, намечалось снабдить матримониальной ЭВМ садомазохистского образца (по данным статистики, пары садистов с мазохистками, и наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер находит в другом то, чего ищет), а кроме того, центром антисамоубийственной терапии.

Другой японский делегат, Хакаява, продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1 : 10 000, с собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, так как дом был запроектирован с замкнутым циклом: все выделения, не исключая предсмертного пота, подлежали регенерации.

Третий японец, Яхакава, зачитал список деликатесов, синтезируемых из выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, устрицы и даже синтетическое вино, которое, несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам Шампани. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге, но футурологи пригубить вино не спешили, а паштетики потихоньку засовывали под кресло; я поступил так же. Первоначальный план, согласно которому домгигант снабжался пропеллерами (чтобы предоставить жильцам возможность коллективных воздушных экскурсий) — был отвергнут. Во-первых, потому, что таких домов для начала предполагалось изготовить 900 миллионов; во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы дверей была целая тысяча и жильцы выходили бы изо всех сразу, они все равно никогда бы не вышли: прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы.

Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил семь методов борьбы с демографическим взрывом: уговоры, судебные приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, онанизация, строгая изоляция, а для упорствующих — кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешения на ребенка, а затем еще выдержать три экзамена — по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное — каралось пожизненным заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов конгресса. Хейзлтон и Юхас предвидели появление новых профессий, как-то: матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель. Проект нового уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан.

Тут случился прискорбный инцидент: с галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. «Скорая помощь» (она была тут как тут, укрытая в кулуарах) сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла исковерканные кресла и бренные останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами; как видно, устроители заранее обо всем позаботились.

В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты, и, хотя испанский понимал с пятого на десятое, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня никто не догадывался о том, что творится за стенами «Хилтона». В семь объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться — разумеется, за свой счет; возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских «вечерок». Даже при моем, весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви, гарантирующей всеобщее счастье, перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза: часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие — нет. В органе правых воды, естественно, было выпито мень-

ше; сотрудники оплачивались здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и склонные, как известно, к определенному аскетизму во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если учесть, что картсупио (напиток из перебродившего сока растения мелменоле) в Костарикане невероятно дешев.

Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии — произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты кричали, что это всего лишь землетрясение. Я же был склонен полагать, что какая-то из оппозиционных группировок (они пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил куда более сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стаккато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в этап уличных боев.

Первыми сорвались с места журналисты — стрельба подействовала на них, как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое выступление, в общем-то довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что если ничего не изменится, то через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать.

Футурологи в растерянности выходили из зала; в холле они смешались с участниками Конгресса Освобожденной Литературы, которых, судя по их внешнему виду, начало боев застигло в разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской фирмы А. Кнопфа шествовали их секретарши (сказать, что они в неглиже, я не мог бы — кроме нательных узоров в стиле «оп» на них вообще ничего не было), с портативными кальянами и наргиле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, иохимбина и опиума. Как я услышал, адепты Освобожденной Литературы только что сожгли in effigie [1] американского министра почт и телеграфа за то, что он приказал своим служащим уничтожать листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь не добропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг телефонисток; какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя всех гардеробщиц подряд. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше.

Когда на улице появились первые танки (их прекрасно было видно в окно), из лифтов повалили перепуганные филуменисты и бунтари. Растаптывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы гостиницы разбегались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей папинтовки всех, кто стоял на пути, пробивался через толпу бородатый антипапист; он — я видел это собственными глазами — выбежал из отеля для того, чтобы тут же из-за угла открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, как убежденному экстремисту самого крайнего толка, было в общем-то все равно, в кого стрелять. Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов; увидев, что они бегут к выходу, последовал их примеру — в «Хилтоне» и в самом деле становилось не очень уютно.

Несколько репортеров, присев за бетонным барьерчиком автостоянки, с энтузиазмом фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех: как всегда в таких случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал руки от удовольствия — он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий «додж». Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья.

---

[1] В изображении *(лат.)*; имеется в виду средневековый обычай сожжения изображения преступника, приговоренного к смерти заочно.

Какие-то люди — по большей части бедно одетые старички — пытались сбить огонь с пылающих автомашин; воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься. Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Ресурексьон, поблескивали на солнце полицейские каски, но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались; такой энтузиазм показался мне просто невероятным; но тут я вспомнил об утреннем происшествии и немедленно поделился своими предположениями с Мовеном. Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу; подвижное лицо француза выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а! — зарычал он, перекрывая уличный грохот.— Вода! Из-под крана? Боже мой, впервые в истории... т а й н а я х и м о к р а т и я!» С этими словами он как ошпаренный помчался к отелю — разумеется, чтобы занять место у телефона; как ни странно, связь еще действовала.

Я остался стоять у подъезда; ко мне подошел профессор Троттельрайнер из делегации швейцарских футурологов, и тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские в походном строю, в противогазах и черных касках, с черными нагрудными щитами; они оцепили весь комплекс «Хилтона», чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения с немалой сноровкой устанавливал гранатометы; их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были на удивление слабыми, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, решил я; но толпа не бросилась врассыпную и не разразилась яростным воплем — ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит, но я-то уже догадался: полиция, несомненно, применила оружие химического ублаготворения в форме аэрозолей. Но от Авенида дель...— как там ее? — вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали, а может, так только казалось; как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побрататься с полицией, а не разорвать ее на куски, но кого, скажите на милость, могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водяные пушки, наконец, застрекотали пулеметные очереди, и воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот; я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стэнтором и Хейнзом из «Вашингтон пост».

В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к «Хилтону», но вскоре вернулись разочарованные: связи не было. Стэнтор все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с б у м б а м и, то есть Бомбами Умиротворения и Благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже раздали.

Троттельрайнер, который волею случая оказался специалистом по психофармакологии, предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей он теряет защитные свойства: происходит «скачок» отравляющих веществ через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза; надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали там последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям дошли до пожарного пункта. Действительно, здесь не было недостатка в кислородных аппаратах системы Дрегера, с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу — как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о появлении первых б у м б а р д и р о в щ и к о в.

Как известно, «Хилтон» по ошибке подвергся б у м б а р д и р о в к е в первые же минуты воздушной атаки; последствия были катастрофическими. Б у м б ы, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации издателей Освобожденной Литературы, так что никто из постояльцев не пострадал; зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви приняли повальный характер. На моих

глазах полицейские, сорвав с себя маски, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те хорошенько их вздули и всовывали им свои увесистые дубинки; а после второго захода б у м б а р д и р о в щ и к о в, когда концентрация аэрозолей возросла еще больше, наперебой бросались ласкать и голубить первого встречного.

Восстановить ход событий, да и то лишь частично, удалось лишь через несколько недель после трагедии. Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели в водонапорную башню около 700 килограммов двуодури благотворина и суперумилина с фелицитолом; подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно перекрыта. Но все пошло насмарку из-за отсутствия толковых специалистов: не был предусмотрен «скачок» аэрозолей через фильтры, а также то, что разные социальные группы в разных количествах потребляют питьевую воду.

Духовное просветление полиции было особенно неожиданным для правительства потому, что бенигнаторы, как объяснил Троттельрайнер, действуют сильнее всего на людей, чуждых естественным, врожденным благим побуждениям. Когда вторая волна самолетов р а з б у м б и л а президентский дворец, многие из высших полицейских и военных чинов покончили самоубийством, не в силах вынести кошмарных мучений совести. Если добавить, что генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, будет легче понять необычайную ожесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои инструкции, которым и следовало до конца, между тем как полицейские и армейские наблюдатели, укрывшиеся в герметичных бункерах, решили прибегнуть к крайнему средству, ввергнувшему весь Нунас в состояние коллективного помешательства. Обо всем этом мы в «Хилтоне», разумеется, не могли и догадываться.

Около одиннадцати вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполнили приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена; взрывной волной бедняге оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе же нечего и говорить, и если я захочу, он тут же пожертвует мне второе; он даже достал из кармана перочинный нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей-освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение; те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, наголо!

Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их: они напялили на себя старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили им для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько отстегать за прежнюю аморальную деятельность. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись поближе, я узнал в этих флагеллантах [1] сотрудников «Плэйбоя» в полном составе, вместе с главным редактором! Он-то, впрочем, не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Они хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь. В конце концов я уступил, против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось, я боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые с нетерпением ожидали своей очереди. Чтоб отвязаться от них, я велел им собрать цветные плакаты, которые взрыв бумбы в боковом крыле «Хилтона» (там размещался Centro erotico) разбросал по холлу, уподобив его Содому и Гоморре одновременно. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и подожгли ее.

К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача — и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым напал на мысль переделывать детские сказочки в порнографические истории («Красная Шапочка-переросток», «Али-Баба

[1] Флагелланты (бичующиеся) — аскеты-фанатики XIII — XV веков, проповедовавшие публичное самобичевание ради искупления грехов.

и сорок любовников» и пр.), а потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост: любое название начиналось со слов «половая жизнь» («...Белоснежки с семью гномами», «...Аладдина с лампой», «...Алисы в стране чудес», «...Гулливера» и т. д., до бесконечности). Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего — пришлось подчиниться еще раз.

Я был так измотан, что с трудом дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттельрайнер, очень довольный, что выкроил наконец немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем бумбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой (особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями) профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка.

В пресс-центре Стэнтор, Вули из «Геральд», Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в «Пари-матч», не снимая масок, играли в карты — из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссенджер, старейшина американской журналистики; он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды — мы стремглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Мы вышли на улицу; не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже; лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за подростком с криком: «Остановись, ради бога, остановись, я же тебя люблю!» — но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез.

Грохот понемногу стихал; журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала; над ней возвышался плакат: «НЕ ЖАЛЕЙТЕ НАС, ПРОВОКАТОРОВ!» Судя по числу обращенных иуд, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Костариканы. Вернувшись к «Хилтону», мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора. В самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни — вперемежку подрывные и верноподданнические.

Я заглянул в подвал; но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже подобрал трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза; это до такой степени разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать; в дверь заглянул Чарки, чтобы сообщить о переданной по радио речи генерала Акильо: тот грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний, канализационный ярус «Хилтона», располагавшийся под бомбоубежищем.

Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего; проголодавшиеся филумены, издатели и бунтари набивали рот шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию,— все это они нашли в опустевшем Centro erotico. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любенцы смешивались в их крови с бенигнаторами (о последствиях этой химической реакции страшно было подумать), видел братание футурологов с индейцами — чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами; вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы.

Мы медленно пробирались сквозь толпу; эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий и нежностей, я упорно пробивался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич Стэнтора: он нашел вход в канал! Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лесенки; я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что

пробудило мои подозрения, и точно — оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы (это была идея Хаулера). Придя в себя — о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств,— профессор последовал за остальными.

Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала; мы несказанно обрадовались: целых десять метров земли отделяли нас от поверхности бумбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что кто-то подумал об этом убежище еще раньше. На бетонной приступке восседала в полном составе дирекция «Хилтона»; рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не могло бы прийти поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии мы принялись за разделку омаров; этот непредусмотренный программой ужин и завершил первый день футурологического конгресса.

Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со следами ее канализационного назначения. Поэтому первым встал вопрос о честном дележе шести надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция «Хилтона». Их хватило бы на двенадцать персон, ибо шестеро менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами; нас же, спустившихся в канал со Стэнтором во главе, было двадцать. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Тротельлрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании Си-би-эс, а также двое присоединившихся по дороге: никому не известный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плэйбоя». Стэнтор намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров.

При таком миожестве претендентов обстановка сразу же накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных спальных мест, глядя друг на друга исподлобья; впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом, по сигналу, сняли маски — и в самом деле, тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли наконец к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон; жребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек (тех самых) — кое у кого они сохранились.

Мне выпало спать в первой смене, с профессором Троттельрайнером, гораздо более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе (точнее, кресло). Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, мы же примостились на коленках у самой воды, с тревогой следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно: запаса хватит на пару часов; перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я уже вкусил это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо,— но без особого энтузиазма.

Нас клонило ко сну; чтобы не свалиться в канал, мы привязались, кто чем мог, к железной лесенке. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме (все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены). На бетонную дорожку вылезали громадные, толстые крысы. Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя — вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен; он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания; во всяком скучае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом — воздух скорее всего был чист.

Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от меня спали как убитые; крысы по-прежнему прохаживались на задних лапах, мы же с профессором расчихались, уж очень защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся — об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше — зазеленел. Теперь даже руки у меня

покрывались почками. Они росли на глазах, набухали и распускались, белесые, правда, как обычно бывает с подвальной растительностью; я чувствовал: еще немного — и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос, так громко я шелестел. Спящие тоже напоминали подстриженную живую изгородь, усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать; как дерево я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения, что-то осыпалось, гудело, прокатывалось по коридорам, я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я, так скоро?

Но тогда пора собираться в поход; я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть — труба зовет! Крыса с поводьями и под седлом — экземпляр исключительный даже для породистого скакуна — повернула голову и посмотрела из-под косых ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе: если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится, если же это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. Но труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Только эта зловонная ванна отрезвила меня.

Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну конечно, мелькнуло у меня, галлюциногены! Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей! Я вслепую искал кислородный аппарат: побыстрей бы надеть его! Нащупав маску, натянул ее на лицо и все-таки вдыхал кислород с тревогой: откуда мне знать, настоящая это маска или всего лишь фантом?

В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и увидел открытый люк, а в нем сержанта американской армии — он протягивал ко мне руку.

— Скорее! — кричал он.— Скорее!

— Что, вертолеты прислали?! — вскочил я.

— Наверх, поторапливайся! — надсаживался он.

Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке.

— Наконец-то! — пыхтел подо мною Стэнтор.

Снаружи было светло от пожара. Я огляделся — никаких вертолетов, только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь.

— Что это? — в недоумении спросил я.

— Живее, живее! — торопил сержант.

Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» — решил я.

— Ничего подобного,— отозвался сержант,— это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину,— он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку ранца.— Пошел!

Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий, протяжный свист, мои ноги окутал пар, а может быть, дым — он вырывался из сопла в ранце,— и я взлетел, словно перышко.

— Но мне же не справиться с управлением! — кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое грозным заревом.

— Разберешься! Азимут на По-ляр-ну-ю!! — орал снизу сержант.

Я поглядел вниз. Подо мною проносилась гигантская груда обломков — еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа, дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени; на их фоне появилось черное круглое пятнышко — это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся постромки и ремни. Ранец булькал, пищал, свиристел, пар из сопла все сильней обжигал мне икры, я поджимал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий, тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу же перешел на горизонтальный курс. Это было даже довольно приятно, и стало бы еще приятней, знай я, куда лечу. Поворачивая рукоятку, я в то же время пытался окинуть взглядом лежащую подо мною поверхность. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли, что-то просвистело возле ушей — да ведь это по мне стреляют! Ну, скорей же, скорей! Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне

кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство.

Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи, попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами и, не переставая шипеть, гудеть, свиристеть,— летел. Попытался найти Полярную, чтобы выправить курс; когда же мне это, наконец, удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент — я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши — ранец выплюнул последнюю порцию пара; я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко.

Рядом, в канаве, кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор! Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупывал себя в поисках очков; впрочем, сам он был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения — какие-то стальные трубки и колесо.

— А теперь ваш...

Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул:

— По местам! Едем.

— Что такое? Куда? — удивился я.

— Тандемом. В Вашингтон,— коротко объяснил профессор; ногу он уже держал на педали.

«Галлюцинация!» — промелькнуло у меня.

— Вот еще! — возмутился профессор.— Обычное десантное снаряжение.

— Допустим; но вам-то откуда все это известно? — спросил я, устраиваясь на заднем сиденьице.

Профессор оттолкнулся, мы покатили сначала по траве, потом по асфальту.

— Я работаю на USAF [1],— выкрикнул он, энергично перебирая ногами.

Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме.

— Мы не дотянем на велосипеде! — заорал я против ветра.

— Только до сборного пункта! — крикнул в ответ профессор.

Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю... И что мне там делать, в Вашингтоне? Я притормозил.

— Вы что? Шевелите ногами, коллега! — отчитывал меня Троттельрайнер, пригнувшись к рулю.

— Нет! Остановка. Я выхожу! — решительно возразил я.

Тандем вильнул в сторону и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту.

— Как хотите. Бог в помощь!

Он уже отъезжал.

— Вашими молитвами! — бросил я ему вслед.

Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колена. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. Если это м о и побеги — сказал я себе,— тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую! Я наклонился, чтобы проверить,— и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет облекал стройные ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки-ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне, на пальцах, сжимавших баранку, сверкнули брильянты.

— Подвезти?

Я сел. И даже забыл о своих ростках — до того я был ошарашен. Украдкой провел по ногам ладонью — и нащупал чертополох.

— Что, уже? — раздался низкий чувственный голос.

— В каком смысле? — растерянно отозвался я.

Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся, она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса

---

[1] ВВС США.

асфальта; из передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то, размышлял я. Что-то не то. Ни рук, ни ног. Правда, не ветки — чертополох, но все-таки, все-таки!

Я присмотрелся к незнакомке внимательней. Она, несомненно, была красива — что-то в ней было манящее, демоническое и нежное одновременно. Но вместо юбки у нее торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация?.. С другой стороны, нынешняя женская мода... Я терялся в догадках. Шоссе было пусто; мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок — не жестоко, а скорее игриво.

— Что это? Кто там? — Я хотел обернуться, но не смог.— Пустите!

Впереди показались огни, какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась.

Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное,— бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись.

— Где мы? — спросил я.

Не ответив, они взялись за меня: первая выталкивала меня из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики; освещаемый из окна, у стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон.

— Но мне некогда.— пробормотал я.

Они будто не слышали. Та, в черном, наклонилась и горячо дохнула мне в ухо:

— Хо!

— Простите, что?

Мы были уже у дверей; их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня; к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет — ноги у них покрывались перьями. Ага — облегченно вздохнул я,— все-таки, значит, галлюцинация!

— Какая еще галлюцинация, недотепа! — прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли.

— Поглядите-ка на этого галлюцинанта! — кричала другая.

Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл глаза. С зонтом в руке надо мною склонился профессор. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы, как ни в чем не бывало, ходили парочками.

— Где, где болит? — допытывался Троттельрайнер.— Здесь?

— Нет, здесь...— Я показал на вспухший затылок.

Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту.

— Спасите! — взмолился я.— Ради бога, довольно! За что...

— Это и есть спасение! — ответил безжалостно футуролог.— К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия!

— Но хотя бы не набалдашником, прошу вас!

— Так вернее.

Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло — профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колена, куда-то несли.

— Куда? — закричал я.

Щебенка сыпалась мне в лицо с шатающихся перекрытий; я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда вы меня несете?» — тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от пожара; мы были уже на поверхности, какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы — мелькнули огромные белые буквы: «US ARMY COPTER [1] 1 109 849», и я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет.

— Простите, Тихий! — кричал он.— Тысячу извинений! Но так было нужно!

Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами,—

[1] Вертолет армии США.

и тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь. Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться: понимая все благородство его поведения, я, однако же, с удовлетворением наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка.

— Куда мы летим?

— На конгресс,— ответил, все еще морщась от боли, профессор.

— То есть... как это на конгресс? Ведь конгресс уже был?

— Вмешательство Вашингтона,— коротко объяснил Троттельрайнер.— Будем продолжать заседания.

— Где же?

— В Беркли.

— В университете?

— Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?

— Нет.

Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину, мы вылетели из нее друг за другом — в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился! Мне слышались стонущие голоса сирен, мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и подбрасывало на ухабах, над головой белел потолок «скорой помощи», рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия; по притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив...— пронеслось у меня в голове.— Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье». Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. «Что, опять?» — сверкнула последняя мысль, а потом — черное, непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собою стеклянный купол; какие-то люди в белом, с масками на лице и руками, воздетыми в благословляющем жесте, переговаривались полушепотом.

— Да, это был Тихий,— донеслось до меня.— Сюда, в банку. Нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз.

Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет, я хотел закричать, позвать на помощь, вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить век, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле.

— Успокойтесь! Не шевелитесь, пожалуйста! — услышал я мелодичный женский голос.

— А? Где я? Что со мной?..— пролепетал я. У меня был совершенно чужой рот и, наверное, чужое лицо.

— Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть...

«Да мне же нечем...» — хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица. Стало светлей. Два санитара (я удивился их громадному росту) крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука — маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле-коляске, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул — не своим, тоненьким голосом:

— Боже праведный!

Медсестра отчитывала кого-то за то, что зеркало не было занавешено. Потом она обратилась ко мне:

— Вы Ийон Тихий, не так ли?

— Ну да. То есть — да! да!! Но что это значит? Вон та девушка — та негритянка?

— Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни — то есть вашего мозга! — быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки.

Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург; его лицо выражало крайнюю степень негодования.

— Это еще что такое,— загремел он.— Только шока ему не хватало!

— Он уже в шоке! — сообщила сестра.— Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему: занавесь зеркало!

— В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную! — распорядился профессор.

— Нет! Больше не надо! — закричал я.

Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться — куда там. Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот, с резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя.

— Экстремисты! Экстремисты! — надрывался кто-то, стекло хрустело под ботинками убегающих, я хотел сорвать с себя ненавистную марлю, не смог, почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.

Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось — это матрац. Битый кирпич больно впивался в колени. Выплевывая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накренены внутрь, кровать повалена набок, ее сетка опалена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами.

«Дорогой Пациент (имя, фамилия)! Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая Тебе жизнь, оказалась серьезной — очень серьезной (ненужное зачеркнуть). Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали Тебе одну — две — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять (ненужное зачеркнуть) операций. Ради Твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части Твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами конгресса («Законодат. вестн.», публ. № 1 989/0 001/89/1). Дружеское наставление, которое Ты в настоящую минуту читаешь, поможет Тебе адаптироваться к новым условиям Твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у Тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы (ненужное зачеркнуть). За судьбу вышеуказанных бренных останков Ты можешь быть совершенно спокоен: мы позаботились о них, как велит Твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освящения, высыпки в помойную яму (ненужное зачеркнуть). Новый облик, в котором отныне Тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может оказаться для Тебя неожиданным, но мы заверяем Тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, Ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали Твой организм при помощи наилучших — полноценных — удовлетворительных — таких, какие нашлись под рукой,— органов (ненужное зачеркнуть). Мы гарантируем работу указанных органов в течение одного года, шести месяцев, квартала, трех недель, шести дней (ненужное зачеркнуть). Ты должен понять, что...»

На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: «ИЙОН ТИХИЙ. Опер. 6, 7 и 8. КОМПЛЕКТ». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не осмеливался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся как в лихорадке; встал, опираясь о стену; перед глазами плыло. Бюста не было, и то слава богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. Нашла тоже время чирикать! КОМПЛЕКТ. Что значит КОМПЛЕКТ? Кто я? Ийон Тихий. В этом я был уверен. Следовательно? Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые — буквой «икс». Живот — непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира... брр! Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. «Скорая помощь». Мина, а может, граната. Потом — та маленькая негритянка — потом экстремисты — в коридоре — гранаты? Выходит, ее тоже, бедняжку...? И еще раз... Но что означает этот погром, эти обломки?

— Эй! — закричал я.— Есть тут кто-нибудь?

Я осекся, пораженный собственным голосом — настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось посмотреть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. Боже милостивый! Кудлатые, свалявшиеся патлы... Наклонившись, увидел бороду, закрывавшую половину пижамы,— растрепанную, косматую, рыжую. Ахенобарбарус! Рыжебородый! Ладно, можно побриться... Я выглянул на террасу. Птичка чирикала

как ни в чем не бывало — дура. Тополя, сикоморы, кусты — что это? Сад. Больничный?.. На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы.

— Эй там! — позвал я.

Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. Да ведь это мое лицо, это я! В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные черты. Сомнений не было — на скамье сидел я!

— Чего это вы так уставились? — отозвался тот неуверенно, моим голосом.

— Откуда это — у вас? — через силу выдавил я.— Кто вы? Кто дал вам право...

— А-а! Это вы!

Он встал.

— Перед вами профессор Троттельрайнер.

— Но почему же... бога ради, почему... кто...

— Я тут совершенно ни при чем,— произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали.— Ворвались сюда эти, как там их — йиппи [1]. Бунтари. Граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом, в соседней палате.

— Как это «безнадежным»! — возмутился я.— Ведь я не слепой. И как вы только могли!

— Но я же был без сознания, уверяю вас! Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил: сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому...

— Да как вы смеете! Присвоили мое тело да еще охаиваете его!

— Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера! Сначала вот это,— он ткнул себя пальцем в грудь,— сочли непригодным, но потом, за неимением лучшего, решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены...

— Я? Пересажен?.

— Ну да. Ваш мозг.

— Тогда кто же это? То есть кто это был? — указал я на себя.

— Один из тех экстремистов. Какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем и его садануло в череп осколком — так я слышал. Ну и...— Троттельрайнер пожал моими плечами.

Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные — ни малейших признаков интеллигентности.

— Что же будет? — прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались.— Нет ли у вас карманного зеркальца?

Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии, двойной подбородок. Нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Я хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей — его дело; теперь уж, во всяком случае, не мое!

— Куда же мне идти? — спросил я потерянно.

Троттельрайнер оживился. Его (его?) умные глаза с сочувствием остановились на моем (моем?) лице.

— Не советую идти куда бы то ни было! Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявления о розыске на каждом углу; приказано стрелять без предупреждения!

Я вздрогнул. Только этого мне еще не хватало. Боже мой, все это, наверное, галлюцинация.

— Да что вы! — живо возразил Троттельрайнер.— Явь, дорогой мой, самая что ни на есть явь!

— А почему больница пуста?

— Так вы не знаете? Ах да, вы же потеряли сознание... Забастовка.

— Врачей?

— Да. Всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера. А взамен требуют выдать им вас.

— Выдать м е н я?

---

[1] Молодежные группировки в США, сочетающие мистицизм с насильственными акциями против «истеблишмента».

— Ну да, они же не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Ийон Тихий...

Голова у меня шла кругом.

— Я покончу с собой! — заявил я хриплым басом.

— Не советую. Чтобы вас снова пересадили?

Я лихорадочно размышлял, как узнать, галлюцинация это или нет.

— А если бы...— сказал я, вставая.

— Что?

— Если бы я на вас прокатился? А? Что вы скажете?

— Про... что? Вы, верно, спятили?

Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей — какое же это было облегчение! Я вылез на берег; крыс поубавилось — наверное, разбрелись кто куда. Остались всего четыре. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттельрайнера его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов — возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной из них. Она метала их как попало. Какой уж там бридж! Ну и слава богу... Я облегченно вздохнул.

На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала: всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии. А то опять привидится невесть что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась?

— Что касается меня,— произнес профессор, не открывая глаз,— то я порядочная девушка и надеюсь, вы будете вести себя должным образом.

Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил:

— О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни.

«Ага,— догадался я,— похоже, и этот не прочь искупаться в канале!» Теперь я слушал профессора спокойнее — его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке.

— Спеть я могу — отчего бы не спеть,— произнес между тем профессор,— скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?

Но может быть, он просто разговаривает во сне; в таком случае снова ничего не известно. Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я, вообще-то, мог и без его помощи.

— Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня! — категорически заявил Троттельрайнер.

Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа вповалку у самой стены. Рядом, на надувных креслах, лежали репортеры вперемешку с администрацией «Хилтона». Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. Если это галлюцинация, то удивительно правдоподобная, сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху?

Взрывы бомб, или б у м б, раздавались нечасто и приглушенно. Где-то рядом послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся.

— Ну и сон же я видел...

— Девичий, да? — нехотя бросил я.

— Черт побери! Значит, я все еще галлюцинирую?!

— Почему вы так думаете?

— Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится.

— Просто вы говорили во сне,— объяснил я.— Профессор, вы ведь по этой части специалист — нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?

— Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите?

— Возможно, ваш препарат так и действует,— хмыкнул я,— но вряд ли так действует ф а н т о м вашего препарата.

— Если мы галлюцинируем, то очнемся, если же нет, решительно ничего не случится,— заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку.

Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рявкнула:

— Живо наверх! Давай торопись, подымайся!

— Вертолеты или мини-ракеты? — понимающе спросил я.— Что касается меня, господин сержант, идите куда подальше.

И я уселся под стеной со скрещенными на груди руками.

— Тронулся? — деловито спросил сержант Троттельрайнера, который уже начал взбираться по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стэнтор попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку.

— Предпочитаете остаться? Ради бога...

— Нет, не так. «Бог в помощь!» — поправил я его.

Один за другим они исчезали в открытом люке; я видел вспышки огня, слышал команды десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. «Странно,— размышлял я.— Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую з а н и х? Per procura [1]. И что, теперь мне торчать здесь до судного дня?

И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся, я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне; тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь значит, подумал я, но лучше не ломать голову попусту.

В канале послышались всплески. Ну, ну, чья же теперь очередь? Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов — водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне, по-лягушачьи хлюпая ластами.

— Habla usted español? —обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками.

— Нет,— ответил я.— Но вы наверняка говорите по-английски, так ведь?

— Какой-то нахальный гринго,— бросил этот, с усиками, второму. Все, как по приказу, сдернули маски и взяли меня на мушку.

— Что, в канал? — спросил я с готовностью.

— К стенке! Руки вверх, да повыше.

Дуло уперлось мне под ребро. Ну, до чего же подробная галлюцинация, подумал я: даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтоб не промокли.

— Их тут больше пряталось,— заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. Видно, он-то и был у них главный. Они осветили наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла; наконец офицер спросил:

— Оружие?

— Обыскал, господин капитан. Нету.

— Можно опустить руки? — спросил я, по-прежнему стоя у стены.— А то затекли уже.

— Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?

— Ага,— кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей.— Хотя нет! Оставить! — скомандовал он.

Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно похоже на правду!» — подумал я.

— Где остальные? — спросил офицер.

— Вы меня спрашиваете? Вы галлюционировали через люк. Да вы и так знаете.

— Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается,— сказал тот, с усиками, и взвел пусковой крючок через полиэтиленовую оболочку.

— Не так,— остановил его офицер.— Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой? Ножом его.

— Извините, что вмешиваюсь,— заметил я, немного опустив руки,— но мне все же хотелось бы пулю.

— У кого есть нож?

Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется! — размышлял я.— А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал:

— В расход его. Пошли.

---

[1] По доверенности *(лат.)*.

— Да, да, пожалуйста! — торопливо поддакнул я.

Это их удивило. Они подошли ко мне.

— На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь как упрашивает, каналья! А может, пальцы ему отрезать и нос? — переговаривались они.

— Нет-нет! Прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело! — ободрял я их.

— Под воду! — скомандовал офицер.

Они опять натянули на себя маски; офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене; он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз, с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма, я задыхался — долго, очень долго, что-то тормошило меня, подбрасывало, «хорошо бы, не «скорая помощь» и не вертолет»,— думал я; окружающий мрак стал еще чернее, наконец и эта тьма растворилась, так что не осталось совсем ничего.

Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати, в комнате с низким окном; стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле — пижама в полоску. «Слава богу, хоть что-то новенькое,— подумалось мне,— хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится». Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял, окруженный молодыми людьми в больничных халатах, приземистый бородач. На нем были золотые очки, поседевшая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.

— Любопытный случай,— произнес бородатый.— Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. Четыре месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно уже прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающее галлюцинацией. В своей аберрации он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших каналами из президентского дворца занятого мятежниками, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. Его удалось спасти благодаря трем сложнейшим операциям — из желудочков сердца мы извлекли две пули,— а он не верит, что живет наяву.

— Это шизофрения? — пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей.

— Нет. Это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный — до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента.

— В самом деле, профессор?! — Студентка не находила себе места от любопытства.

— Да. Как вам известно, безнадежных больных уже можно замораживать в жидком азоте на срок от сорока до семидесяти лет. Пациента помещают в герметичный контейнер — наподобие сосуда Дьюара — вместе с подробной историей болезни; по мере новых открытий в хранилищах, где содержатся замороженные, проводят переучет и всех, кому уже можно помочь, воскрешают.

— Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию? — спросила меня студентка, просунув голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом.

— С привидениями не разговариваю,— отрезал я.— Самое большее, могу сказать, как вас зовут: Галлюцина.

Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки: «Ледяной сон! Витрификация! Да это же путешествие во времени, ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности?

На другой день вечером два санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар—такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционном столе и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью — глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился. Я называл его Галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!»

Я не мог ответить ему, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время — долгие недели! — я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем

я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились — последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.

*

Ничего.

*

Ничего.

*

Ничего, ну, совсем ничего.

*

Показалось, что-то есть, да где там. Ничего.

*

Нет ничего — и меня тоже.

*

Ну, долго еще? Ничего.

*

Вроде бы что-то, хотя кто его знает. Нужно сосредоточиться.

*

Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего.

*

Ледники, голубые и белые. Все изо льда. Я тоже.

*

Красивые эти ледники, вот только бы не было так дьявольски холодно.

*

Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? Какой там мозг — чистый, прозрачный лед. Холодный и жесткий.

*

Ледышка — это я. Но что значит «я»? Вот вопрос.

*

В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще — неизвестно, что значит «мне». Кому это — мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки?

*

Я — парниковая цветная капуста под солнцем. Весна! Все уже тает. Особенно я. Во рту — сосулька или язык.

*

Все-таки это язык. Мучат меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной — лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены.

*

Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник — сразу, как только смогу удержать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский, но теперь уже можно согреться.

27.VII. Говорят, реанимировали меня целых три недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача две головы. Еда самая обыкновенная — манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. Замерзаю, индевею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном.

28.VII. Безгрудые девушки — это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине — то есть кровати. На потолке мне показывают, как на экране, зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка?

29.VII. Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше, в начале оттаивания, бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна: с большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженника (первое новое слово, которое я узнал) вводят в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра по имени Эйлин Роджерс, голубоглазая, двадцати трех лет. Я появился на свет вторично в ревитарии под Нью-Йорком. Или в воскресильне — так теперь говорят. Это целый город, весь в садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова — это такая машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. Откуда же молоко? Из травы. Само? Само из нее берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, другое животное? О нет, не животное. Так откуда же молоко! И так далее, без конца.

30.VII.2039. Очень просто — чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал. Но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать — и на кресло-коляску. Сегодня был у пруда — лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать — подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что, что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нет, вымерли в начале XXI века — от смога. Это, по крайней мере, понятно.

31.VII.2039. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. «После узнаешь». Уже тридцать лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много, и самых разных, только не в ревитарии — чтобы не пугать размороженников. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине, перед диспетчерским пультом. Слова, картинки и трехмерные проекции.

5.VIII.2039. Через четыре дня выхожу из ревитария. На Земле уже 29,5 миллиарда людей. Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. Слово «психический» вышло из употребления — вместо него говорят «психимический». Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животных, и новым мозгом. Старый мозг — инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое — туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым. Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все что нужно: примиряют, убеждают, гармонизируют — изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют — они считаются неприличными. Вместо этого следует принять какой-нибудь препарат, а тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Впрочем, это уже и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат — я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая.

8.VIII.2039. Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант! Высота, на которой плывут облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как

попугаи, но выглядят достойно, друг к другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как всегда, малость шальная: на лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или пуговки. Кроме натуральных рук можно иметь деташки — добавочные, пристяжные руки. Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело — подержать что-нибудь, открыть двери, почесать между лопатками. Завтра выхожу из ревитария. В Америке их уже двести, и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот трещит по швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку; по воскрешении вклад размораживается.

9.VIII.2039. Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко: «терикать» и «коптать». Смысла этих глаголов я не улавливаю. Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по солнцепроводам (соледуктам). А какие здесь дети — неизбалованные, послушные! В мое время такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы — Бюро регистрации ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в которых за бесценок продаются шедевры — только оригиналы, с гарантией подлинности; есть даже Рембрандт и Матисс! В цокольной части моего небоскреба — школа пневматических мини-компьютеров. Иногда оттуда доносятся (через вентиляционные шахты?) их шипение и сопение. Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство. Много хожу по городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку — спереди белая, сзади малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, вышитым золотом. Чего-нибудь менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета, платье, которое съеживается под мужским взглядом или наоборот — распускается ко сну, как цветок, юбки и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом гидропоники, но можно, к счастью, их не выращивать и не носить. Решил ничего не втыкать ни в уши, ни в нос. Беглое впечатление: люди, такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные, отличаются чем-то еще. какие-то они особенные, необычные, есть в них нечто такое, что меня удивляет, во всяком случае, настораживает. Только вот что — не могу понять.

10.VIII.2039. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом — старинный Луна-парк на Лонг-Айленде. Развлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное — но что? Никак не возьму в толк. Детская мода: мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится!

11.VIII.2039. Только что был клибисцит относительно сентябрьской погоды. Погода выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону соответствующий код. В августе будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. Радуги бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. Представитель Метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля — недосмотр техконтроля! Обедаю в городе, иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера — из библиотеки ревитария, ведь книг теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснений не понял, признаться же в этом неудобно. Еще один ужин с Эйлин — в «Бронксе». Милая девушка! Всегда у нее есть что сказать, не то что у этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные мини-компьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля: сперва они беседовали спокойно, потом перессорились. Что же касается прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу,— они как будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято?

12.VIII.2039. Набрался смелости и начал расспрашивать встречных о книжном магазине. Те пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось: «Какой-то закоснелый м е р з л я н т р о п». Неужели к размороженникам относятся с предубеждением? Записываю новые слова, услышанные на улице: смысленыш, внедрец, внутреха, самичник, дворцовать, хрусти́ть, па́лкать, синтезить. Газеты рекламируют такие продукты, как братанций, чуванций, ванилянт, ласкомобиль (ласканчик, ласкетка). Заголовок заметки в городской хронике «Геральд»: «От полуматери к полуматери». Это о яйценоше, который перепутал яйницы. Выписываю из большого «Вебстера»: «П о л у м а т ь (ср.: полубрат, полуштоф). Одна из двух женщин, коллективно производящих на свет ребенка». «Я й ц е н о ш а — от «книгоноша» (устар.); евгенщик, доставляющий лицензионные яйцеклетки на дом». Не скажу, чтобы очень ясно. «Б р а т а н ц и й — см. сестронций». «Э н ц и к — см. пенцик, а также Ватикан». Идиотский словарь — дает синонимы, которые для меня что китайская грамота. «П о д в о р ц о в а т ь, з а д в о р ц о в а т ь, п р и д в о р ц о в а т ь — временно иметь (не нанять!) дворец». «В а н и л я н т — духороб». Хуже всего слова, с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. «П р о м ы с л о в и к — охотник за чужой мыслью». «С и м у л я н т — несуществующий объект, который прикидывается существующим». «М а з у р и к — робот-смазчик». «М н о ж и т е л ь — многожитель, возвращенная к жизни жертва убийства». Ну и ну! А дальше: «В с т а в а н ь к а — от «ванька-встанька». Выходит, оживить труп проще пареной репы? А люди, почти все, посапывают. В лифте, на улице, всюду. Выглядят превосходно — румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я — нет. Значит, это не обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросил Эйлин — она меня высмеяла; ничего, говорит, подобного. Неужели мне только кажется?

13.VIII.2039. Хотел просмотреть позавчерашнюю газету — не нашел, хотя перевернул живальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла (впрочем, премилым образом): газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин (мы танцевали с ней фокстрип в небольшом ресторанчике), спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил — просто не понял ее, а чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин потратился на действизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно: какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют прыщами, поскольку они напрыскиваются на тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Живать» от «жить», как «бывать» от «быть». Ведь жить можно не один раз, отсюда многократный вид. А также: читать — чтиво, смотреть — смотриво, страшить — страшиво. Понятия не имею, что это значит, а превращать свидания с Эйлин в уроки как-то неловко. Сниво — это управляемый сон по заказу. Изготовляется он электросниксером, а заказы принимаются в местной с о н т е з а т о р н о й мастерской. Вечером приносят готовые пастилки-приснилки. Я никому уже не говорю, но теперь для меня несомненно: у них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания — ни малейшего. Особенно люди постарше — те просто сопят. Все же, наверное, такой здесь обычай, ведь воздух в городе исключительный, о духоте и речи не может быть. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта,— он хватал воздух ртом как рыба, а лицо у него посинело. Но, присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки пышет здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело? Некоторые дышат только носом.

Сегодня я выснил (выснул?) проф. Тарантогу — потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или сонтезатор ошибся? Диктор вместо «большая ошибка» говорит «ошиба». Как «шубка» и «шуба»? Странно. Оказывается, «действизор», как я написал раньше,— неправильно. Я перепутал. Правильно будет «ревизор» (от латинского res — вещь). Эйлин сегодня дежурит, вечер я провел один, в своей квартире, то есть живальне. Смотрел беседу «за круглым столом» о новом уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом — ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется многожителем. Только лишь прецидив — предумышленное повторное преступление — грозит тюрьмой (за многократное убийство одного и того же лица). А наиболее тяжкой провинностью

считается злонамеренное лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно — завещания в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласия на участие в заговоре. Мне было очень трудно следить за ходом этой ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что «тюрьма» означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него нечто вроде корсета, или, скорее, оболочки из тонких, но прочных прутьев; такой экзоскелет находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра (юридического мини-компьютера). Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминол. На лбу у дискутантов — их имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато.

1.IX.2039. Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы приготовиться к свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля («Лежанка мутанга») — жуткая помесь атлета и клена, с сучковатой, вывороченной, зелено-коричневой пастью,— не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их о мою голову. Я буквально остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало полкоробки тартинок, остальные высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр, которые выжгли множество дырок в моих разложенных на кровати рубашках. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу же все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками: «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть гибрид нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что — как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до трех минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, того же рода, что энергия шаровых молний. К подруге Эйлин вломился интерферент из палеонтологической передачи, скрещенный с Нероном; девушку спасло редкое самообладание: она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремоитировать. Правда, можно экранировать передачи, но это довольно дорого; а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати: «лежанка мутанга» — не лежбище некоего мустанга, а наложница человека, который, благодаря программированной мутации, обладает врожденным умением исполнять аргентинское танго.

3.IX.2039. Был у своего адвоката — и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость; обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими, поскольку дела теперь записываются при помощи электроники. На голове у него был мемнор — приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие; когда же я объяснил, что в моем положении бережливость необходима, удивился еще больше:

— Ведь в бральне вы можете взять любую сумму!

Оказывается, достаточно подписать чек, и банк (теперь — бральня) немедленно выплатит деньги. Причем это не ссуда — получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму — скорее морального свойства; расплачиваются обычно годами. Я спросил, почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников. Кроли смотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучей субстанцией, вызывающей угрызения сове-

сти и прилив трудолюбия; таким образом бральня получает свое. Попадаются, конечно, и необязательные должники; те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Но ведь нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью сто тридцать девятую («психимическое воздействие на физические или юридические особы без их ведома и согласия карается...» и т. д.). Моя осведомленность приятно удивила его; он разъяснил мне все тонкости подобной ситуации: обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно, ведь если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие — дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в «Бронксе» — мы встречаемся там девятого сентября.

Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету лобовой атакой, но застрял уже на середине передовицы о роботрутнях и роботрясах. С заграничными новостями дело пошло не лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев; тамошний Центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп симкретинов разоряет государственную казну. В «Вебстере», разумеется, ничего путного. Десимулянт — объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Десимулов я не нашел. Тайный уроженец — подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Демовзрывы сдерживает демопрессионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка: либо сдав необходимые экзамены и документы, либо угадав главный выигрыш в инфантерее (инфант-лотерее). В ней участвует масса людей — из тех, что не имеют никаких шансов получить лицензию обычным путем. Симкретин — искусственный идиот; больше я ничего не узнал. И то слава богу, если принять во внимание язык, которым пишутся статьи в «Геральд». Выписываю для примера отрывок:

«Ошибочный или недоиндексированный будильник подрывает не только конкуренцию, но и рекурренцию; на таких будильниках наживаются жирократы, благодаря тайнякам, которые почти ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решения по делу Геродотоуса. Уже не первый месяц общественность задается вопросом: кто же, в конце концов, отвечает за борьбу с киберрастратами — контрпьютеры или суперпьютеры?» и т. д.

Из «Вебстера» я узнал лишь, что жирократ — это заимствованное из сленга, но теперь уже общепринятое обозначение взяточника (дать взятку — «подмазать», подмазывают обычно ж и р о м, отсюда жирократия, т. е. коррупция). Выходит, жизнь и теперь не так идиллична, как могло бы казаться. Знакомый Эйлин, Билл Хомбургер, хочет взять у меня ревизионное интервью, но это еще не решено окончательно. Не на дейстанции, а в моей живальне — ревизор, оказывается, может служить передатчиком. Я сразу же вспомнил о книгах, изображавших будущее в черном свете, как антиутопию, где за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла мои опасения рассмешили; он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, если уж повезет, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, правду он говорит или шутит. Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ — фармацевтилища. Люди в белых одеждах и серебряных митрах — не священники и не монахи, но аптека́рии. Хотя — странное дело — нигде ни одной аптеки.

4.IX.2039. Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя — в трех пузырьках. Купил в научной химоглотеке. Книги теперь не читают, а поедают, и делают их не из бумаги, а из информационной субстанции, политой глазурью. Зашел я и в глотеку с деликатесами. Полное самообслуживание. На полках — аргументан и кредибилин в изящных коробочках, мультипликол в потемневших от времени флаконах, эгоуплотнитель, пуританиды и экстазиды. Жаль только, нет у меня знакомого лингвиста. «Глотека», наверное, от «глотать»? Тогда теоглотека на Шестой авеню, должно быть, теологическая библиотека? Похоже, так и есть, судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам: индульгины, теодиктины, метамории — целый зал, и немалый; торговля идет под тихую органную музыку. В продаже психимикаты любых религий: христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-нирванки, антимортин, буддин, перпетуан и сакрантол (в упаковке, окруженной мерцающим ореолом). Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах

и каплях, есть даже леденцы на палочке — для детей. Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв четыре таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий овладел высшей математикой; знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, но уже два первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не засорять голову лишними сведениями: ведь ее вместимость не безгранична! К счастью, имеются средства, прочищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнестан. Избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотеке я видел пастилки-фрейдилки, мементан, монстрадин, а также превозносимое до небес новейшее средство из группы былиногенных препаратов — аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, чего клиенту не довелось пережить. После дантина, например, человек глубоко убежден, что именно он написал «Божественную комедию». Я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно. Появились новые научные дисциплины — например, психодиетика и коррупти стика. Во всяком случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я уже знаю, что ребенок действительно появляется на свет от двух матерей: одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рожает. Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь проще нельзя? С Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых.

5.IX.2039. Можно обойтись и без знакомых: для этого есть дуэтин. Он расщепляет сознание и позволяет беседовать с самим собой на любую тему (которая задается особым психимикатом). Но безграничные возможности психимии пугают меня, и я не намерен глотать все, что подвернется под руку. Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно «упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них — гроботы. Видел похороны. Покойника положили в так называемый «склеп с обратным ходом», поскольку еще неясно, воскресят его или нет. Последней волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей опротестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям — с юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскресений, остается, наверное, прибегнуть к бомбе? Мне как-то не приходило в голову, что можно не хотеть воскресения. Видимо, можно — если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, настоящий зеленый парк, только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс? Впрочем, в псивилизации, кажется, все возможно.

6.IX.2039. Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а протезы идут на свалку. Неужели они протезированы до такой степени? По ревизору — захватывающая дискуссия о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют: их мозги, в свою очередь, перейдут к подросткам и так далее,— а поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то есть навсегда обезмозжен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов окрестили пересадистами. Возвращаясь с кладбища — пешком, чтобы подышать свежим воздухом,— я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые шутки? Надгробот рассыпался в извинениях: это, мол, выходка какого-то хаманта. Дома — сразу к «Вебстеру». Х а м а н т — робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или дурного обращения На ночь читал «Дамекена с камелиями». Прямо не знаю — может, проглотить весь словарь сразу? Опять ничего не понятно! Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу ясно. Ну вот, например. У героя романа какие-то там амуры с надуванкой (они выпускаются двух типов: кассетные и развращенки). Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться к подобной связи: пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой — все равно что кромсать на куски мяч? Или это аморальный поступок?

7.IX.2039. И все-таки великое дело — настоящая демократия! Сегодня был либисцит: сначала по ревизору показали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В заключение Верховный комиссар Евгенплана заверил, что

избранные модели войдут в моду уже в следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски! В улучшальнях (калотехнических салонах) действительно можно изменять рост, пропорции, формы тела. Интересно, могла бы Эйлин... мне-то она нравится какая есть, но ведь женщины рабски следуют моде... Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я, как нарочно, принимал ванну. «Чуждак» — это чужой робот. Впрочем, то был роботряс — с фабричным дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически безработник. Такие субъекты увиливают от работы; среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в чем дело, и дал тому от ворот поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет: мояк — всего лишь купьютер (купальный компьютер). Я написал «мояк» — так теперь говорят,— но все же не буду злоупотреблять нынешними словечками; они оскорбляют мой вкус, а может быть, это ностальгия по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем Симингтоном, хозяином того дефективного робота.

После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектрическая история». Кто бы мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-ученому — «правило Шапюлье» (или закон наименьшего сопротивления). Машина тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышленая сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от нее отвертеться. Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум — это внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление симкретинизма. Симкретин — это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Наконец-то я выяснил, что такое десимулы: они просто-напросто притворяются, будто не притворяются дефективными. А может, наоборот. Все это очень сложно. Лишь примитивный робот (примитивист) может быть роботягой; но придурист (придуривающийся робот) — отнюдь не придурок. В таком вот афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька голова трещит от избытка сведений. Электронный мусорщик — это компостер. Будущий робофицер — компьюнкер. Деревенский робот — цифранин, или цифрак. Коррумпьютер — продажный робот, контрпьютер (counterputer) — робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и даже пожары. Робунт — взбунтовавшийся робот. А озвероботы (одичавшие роботы), а их сражения — робитвы, электросечи, а электротика! Суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы — подводные роботы, а автогулены, или автогуляки (les robots des voyages), а человенцы (андроиды), а ленистроны с их обычаями, с их самобытным творчеством! История интеллектроники повествует и о синтезе искомых (искусственных насекомых), которые включались даже в боевой арсенал, например, програмухи. Тайняк, он же внедрец,— робот, выдающий себя за человека, «внедряющийся» в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу,— явление, увы, нередкое, этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для облавной охоты, но Общество защиты роботов добилось закона, запретившего подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы — автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее, изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не оплачивался, так что его торпедировали. Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного ГЛУПИНТа (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютенёром.

Это, конечно, явления крайние, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом умысле, о заранее обдуманном намерении здесь и речи не может

быть; компьютер всегда делает то, что легче дается, так же как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить плотиной; уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее. Впрочем, подчеркивает автор «Интеллектрической истории», все, в общем-то, идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при помощи орфографического сиропа, любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и дешевы, в ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпьютеров, а их специализация доходит до того, что один занимается только пирожными, другой соками, желе, фруктами (так называемый компотер) и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто неслыханный.

ДОПИСАНО ПОСЛЕ УЖИНА У СИМИНГТОНА. Вечер прошел очень мило, но надо мной жестоко подшутили. Кто-то из гостей — узнать бы кто! — всыпал мне в чай щепотку кредибилина, и я немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же, с ходу, изложил новую теодицею. После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало — в лампу, в ложку, в ножку стола; мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени перед сервировкой, и только тогда хозяин поспешил мне на помощь. Двадцать капель трынтравинила отрезвили меня: он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь. Симингтон горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженники вызывают какую-то неприязнь, иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку. Чтобы дать мне время прийти в себя, Симингтон проводил меня в свой кабинет. И снова я сделал глупость: включил кассетный аппарат, стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил «Прурительное скерцо» Уаскотиана. Ей-богу, это новое, осязательное искусство выше моего понимания. Билл, старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. Фривольное асемантическое искусство, близкое к музыке! Ох уж эта неистощимая человеческая изобретательность! Молодой Симингтон обещал свести меня в тайный клуб. Неужели оргия? Во всяком случае, в рот я ничего не возьму.

8.IX.2039. Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, притон неслыханного разврата, а очутился в затхлом, грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком терпеливо стояла длинная очередь.

— Видите? Настоящая о ч е р е д ь! — с гордостью подчеркнул Симингтон-младший.

— Ну, хорошо,— сказал я, отстояв около часу,— а когда же оно откроется?

— То есть что? — удивились они.

— Ну, как же... окошко....

— Никогда! — радостно отозвался хор посетителей.

Я остолбенел. До меня не сразу дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же противоположностью их жизненному укладу, как черная месса в старые времена — противоположностью белой. Ведь ныне (и это совершенно логично) выстаивание в очередях может восприниматься только как и з в р а щ е н и е. В другом клубном подвале я увидел обычный трамвайный вагон; внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, трещали ребра, отдавливались каблуками ноги — в такой вот натуралистической манере эти любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители — растерзанные, помятые и все-таки сияющие от удовольствия, пошли потом подкрепиться, я же отправился домой, прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкою на лице. О, наивная молодость! Острых ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно. Впрочем, историю теперь мало кто изучает: в школе ее заменил новый предмет, б у с т о р и я, то есть наука о будущем. Как обрадовался бы профессор Троттельрайнер, если б узнал об этом! — грустно подумал я.

9.IX.2039. Обед с адвокатом Кроли в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар, пришлось хвалить, хотя я не переношу спагетти в таком количестве, даже с приправой из базилика. Кроли — настоящий, прирожденный адвокат, сожалеющий об

упадке судебного красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло, все решает подсчет штрафных пунктов. Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее тяжкие преступления — это майнднэпинг (похищение разума), ограбления банков особо ценной спермы, убийство, предусмотренное восьмой поправкой к конституции (убийство наяву, в убеждении, что оно иллюзорное, а жертва — всего лишь псивизионный или ревизионный фантом), а также тьма разновидностей психимического порабощения. Майнднэпинг обнаружить непросто. Жертва, одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, даже не подозревая об этом. Некая миссис Вандейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного зверя. Не один месяц провел мистер Вандейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не догадываясь, что все это время он торчал на чердаке, в садке для домашней птицы, напичканный психимикатами. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, мистер Вандейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, полагая, будто заблудился в пустыне. Такие операции часто проводит мафия. Один мафиози похвалялся перед мистером Кроли, что за последние шесть лет он распихал по сундукам, куриным садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых семей четыре с лишним тысячи человек; всех их постигла незавидная участь! Затем речь зашла о семейных делах адвоката.

— Милостивый государь! — произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским жестом.— Перед вами — известный защитник, светило адвокатуры — и несчастнейший из отцов! У меня было двое талантливых сыновей...

— Как, и оба умерли?! — ахнул я.

Он отрицательно покачал головой.

— Живы, но стали эскалантами!

Видя, что я не понимаю его, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал большие надежды в области архитектуры, младший — на поэтическом поприще. Первый от реальных заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбафантин и конструктол и теперь возводит целые города — увы, воображаемые. Точно так же протекала эскалация у младшего отпрыска: лиронал, поэматол, сонетал, и теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикаты, навсегда потерянный для реального мира.

— На какие же средства они оба живут? — полюбопытствовал я.

— И вы еще спрашиваете? На мои, разумеется!

— И ничего нельзя сделать?

— Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Псивилизация требует жертв. Все мы через это прошли — даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед несуществующим трибуналом!

Смакуя молодое и терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой: если можно писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся:

— О, это нам не грозит, господин Тихий! Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду!

Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей-эскалантов, все же вздохнул с облегчением. Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит преграду психофармакологической эскалации. Между прочим: адвокат тоже подозрительно громко дышит.

О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные конфликты принадлежат истории. Случаются, правда, локальные, небольшие робитвы — обычно из-за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают кооперии и мирятся, их роботы, с обычным для автоматов запаздыванием восприняв флюиды враждебности, бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает страховая компания. Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он — интроверт и скуп на слова, она — женщина неописуемой красоты; неописуемой, потому что меняется каждый день. Все совершенно другое — глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняжка. Она уже три года как умерла.

11.IX.2039. Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга — просто неслыханно — квадратная! Настроение хуже некуда. Я опять одержим все той же навязчивой идеей. Засыпая, все думаю: не галлюцинация ли это? К тому же очень хочется заказать сниво о седлании крыс. Седла, подпруга, мягкая шерсть все время перед глазами. Тоска по утраченным навсегда временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии? Неисповедима душа человеческая! Фирма, где работает Симингтон, называется «Прокрустикс инкорпорейтед». Сегодня у него в кабинете листал иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее уж архитектором, чем инженером. По ревизору интереснейшая передача; похоже, назревает конфликт между ревизией и псивизией. Псивизия — это «программы почтой», доставляемые на дом в таблетках. Себестоимость намного ниже. По учебной программе — лекция по военной истории профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее сверхоружие в виде аэрозоля — к р и п т о б е л л и н; тот, кто его вдохнул, сам бежал за веревкой и вязал себя по рукам и ногам. К счастью, при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно, фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, а пользы от этого не было никому. После тактических учений 2004 года и «красные» и «синие» валялись на поле боя вповалку — все до единого в путах. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоруженни; но об этом — ни слова. Сегодня пошел наконец к психоднетику. Тот посоветовал изменить рацион и прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни? Вышел на улицу и выкинул все препараты. Можно еще купить духостат, его теперь вовсю рекламируют, но что-то мешает мне; никак не могу решиться. Через открытое окно — модный, глупейший шлягер: «Мы безродные ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина! Вата в ушах ничуть не хуже, если хорошенько скатать.

13.IX.2039. Познакомился с Барроузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую упаковку. Странные заботы современного бизнесмена: упаковке разрешено завлекать клиентов, громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки в газетах оживают, если на них посмотреть.

В «Геральд» одну полосу неизменно занимает «Прокрустикс инк.». Я обратил на это внимание, когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется огромная надпись «ПРОКРУСТИКС», потом — отдельные слоги и слова: «Ну?.. Ну!!! С м е л е й ж е! ЭХ! ЭЙ! УХ! ЫХ! О-о-о, именно ТАК. АААааа...» И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику. К Симингтону пришел сегодня монах, отец Матриций из ордена безлюдистов,— забрать какой-то заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриций рассказывал, в чем заключается миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. Безлюдный разум существует уже столетие, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется. Оказывается, энцик — это автоматически запрограммированная энциклика! Никого не заботят душевные муки компьютеров, возникающие перед ними вопросы, смысл их бытия. В самом деле: быть компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о Косвенном Сотворении. Один из них, отец Шасси, автопереводчик, перелагает Писание на современный язык. Пастырь, паства, агнец, овечки Христовы — эти слова уже никому не понятны. Главный распределитель, следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность — вот что действует на воображение! Глубокие, вдохновенные глаза отца Матриция, его холодное, стальное рукопожатие. Но типично ли это для новой теодицеи? С каким презрением отзывался он о теологах-ортодоксах, именуя их граммофонами Сатаны! Потом Симингтон робко предложил мне попозировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не механик! Я согласился. Сеанс продолжался около часа.

15.IX.2039. Сегодня позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, левой, свободной, рукой он что-то положил себе в рот — украдкой, но я-то заметил. Он застыл, всматриваясь в меня и бледнея; на висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось мгновение; он сразу же извинился — как всегда, вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе. Эйлин все еще у тетки, по ревидению — дискуссия

о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давным-давно нет, но ведь можно воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны — стоит ли рабски копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника фантастической зоологии: нужно, мол, заселить заповедники не плагиатами, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне показались грабасты и лемминарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой. Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами,— гармоническое сочетание новых животных со специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть люминодрамонты — гибрид светлячка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю — все это оригинально, а может быть, и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я сознаю неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения творога. Устранение с пастбищ коров — мера, пожалуй, вполне разумная, а все же без этих флегматичных, интровертно пережевывающих существ луга как-то пусты и печальны.

16.IX.2039. Странная заметка в утренней «Геральд» — о проекте закона, по которому старение объявляется наказуемым. Спросил Симингтона, как это понимать; тот лишь усмехнулся. Выходя из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, а на его лице сами собой появились красные пятна, образовавшие четкий контур ладони. Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. Как мало я все-таки знаю! Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну, не чудесио ли это — современная техника у любви на посылках! Мы, наверное, поженимся. У Симингтонов — только что прибывший из Африки левак (ловец синтетических львов). Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто? Получил рекламную бандероль — внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психиматы. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать? Этот вывод меня ободрил.

29.IX.2039. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили начистоту! Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он буквально сиял: проект был готов.

— Тихий,— сказал он мне,— вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии. Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей — но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя: «Недостаточно, чтобы мы были счастливы,— нужно еще, чтобы несчастны были другие!»

— Пасквильный афоризм! — возмутился я.

— Нет. Это правда. Знаете, что производит «Прокрустикс инк.»? Наш товар — это зло.

— Вы шутите...

— Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости — без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вирусы, из которых приготовляют вакцины. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прикажете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу.

— Но разум нам говорит, что надо быть добрыми,— не сдавался я.— Это же всем известно! Впрочем, теперь, я вижу, все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо...

— И как раз потому-то,— прервал он меня,— тем сильней искушение врезать — наотмашь, со смаком, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья!

— Как, как, повторите?

— Ну, будьте же наконец искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это уже ни к чему. Мы свободны — благодаря сонтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастий, побольше позора — для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень под седло! Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в момент; помню — люди рвались в музеи, в картинные галереи, каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а при случае накостылять и самому маэстро, если б осмелился встать на пути... Вам это странно?

— Странно? Мягко сказано! — взорвался я.

— А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка — и вскачь! Шестерней, в упряжке, барышни-милашки — с бубенцами, с высоким плюмажем. Резво девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут...

— Да вы что! — кричал я срывающимся от ужаса голосом.— Взнуздать? Запрячь? О с е д л а т ь?!

— Ну конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии — впрочем, это необязательно, в общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит чужое благородство, достоинство, красота — достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после.

Теперь я уже понимал анонсы «Прокрустикс» в «Геральд», а также в «Вашингтон пост». Но — лихорадочно и тревожно размышлял я — почему он именно так? Откуда эти намеки на упряжь, эти кавалерийские ассоциации, почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал — мой будильник, мой оселок, моя гарантия возвращения к яви? Но инженер-проектировщик (проектировщик чего?) не заметил моего смятения или неверно истолковал его.

— Своим освобождением мы обязаны химии,— продолжал он.— Ведь все существующее — не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите — но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул — и любая фантазия покажется явью. Да вы, впрочем, сами знаете,— добавил он тише и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как драже для детей.— Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.

Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трынтравинила, не запивая проглотил ее и заметил:

— Я попросил бы вас держаться ближе к делу.

Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него.

— Как вам будет угодно. Я говорил о модели Т новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию [1], это было felicitas per extractionem pedum [2]. Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы хотите — выдумки не хватало, не было образцов! Ведь в истории только добро практиковали открыто, а зло — под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну, а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно было по реакции публики; в заказах без конца повторялось одно и то же: налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык. А ведь людям мало просто творить зло — им подавай еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись (а это всегда может случиться), начинает голосить «за что?!» или «как не стыдно?!». Неприятно, когда крыть нечем. Дубина — недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Все дело в том, чтобы неуместные эти претензии презрительно отклонить с единственно верных позиций. Каждый не прочь попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего — под видом мести, но чем виновата перед тобою Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя? Тогда, значит, ты хуже, разве что с дубиной. Но этого никто себе не желает! Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного висельником и кромешником, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным — прямотаки бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже, тем бесподобнее. Это почти невозможно и потому-то заманчиво. Мало клиенту навытворять невесть что со вдовами и сиротами — он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью, во имя закона — но это ведь так банально, так скучно, и без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспри-

---

[1] Флагелляция — бичевание; дефенестрация — выбрасывание из окна.

[2] Счастье путем вырывания ног *(лат.)*.

мерную святость, но так обработанную, чтобы он мог разгуляться вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство — примирять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело — всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса — биологии мирской и сакральной. Ну, знаете,— Долина Иосафата [1], из которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе судного дня господь бог лично причисляет его к сонму святых, и даже с подобострастием. Некоторые (но это снобизм кретинов) домогаются, чтобы под конец господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни,— он с отвращением помахал толстым каталогом,— что за убожество! Ближние — это вам не бубен какой-нибудь, это инструмент деликатный!

— Погодите,— сказал я, проглотив очередную таблетку трынтравинила,— так что же вы, собственно, проектируете?

Он с гордостью усмехнулся.

— Безбит-композиции.

— А биты — единицы информации?

— Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед — это количество горя, которое ощущает pater familias [2], когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале всевышний оторопил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были господними сорокабедами. Но довольно о цифрах. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался — из ложного стыда, а в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно, без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний,— в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биологий; все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет — suum malum cuique! [3]

— И много у вас клиентов?

— Все без исключения — наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете,— источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки, и эдипова комплекса как не бывало!

Я вышел от него, израсходовав трынтравинил до последней таблетки. Вот оно, значит, что. Ну и общество! Не оттого ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами.

30.IX.2039. Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала:

— А ты закажи себе его упадлинку! Я ее подарю тебе, хочешь?

Другими словами, она предлагала заказать в «Прокрустикс» сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло — омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу, который сам себя обесславит! Эйлин этого не понимает. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом, душа гораздо важнее, как говорил этот монстр. Насколько же я был слеп в мире, в котором обречен жить! А я-то думал, что постигаю его все лучше и лучше! Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик; я знаю: если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно верный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии! И так поступают особы из высших химократических сфер! А я этих гадостей даже не замечал, ослепленный изысканной вежливостью! Подкрепившись ложкой геркулеидина на сахаре, я поломал все бомбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюлечницы, которые надарила мне Элин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента — уж я бы на нем отыгрался! Рассудок говорит мне, что с тем же успехом я мог бы

[1] По христианским легендам — место страшного суда.
[2] Отец семейства *(лат.)*.
[3] Каждому свое зло! *(лат.)*.

и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках — купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамекен? Если же дамекен — почему бы не человенца? А если, сто чертей побери, человенца — почему бы не заказать у Гопкинса, в филиале «Прокрустикс инк.», подходящую казнь, не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и закавыка, что не могу. Я все должен сам, все сам — сам! Ужасно.

1.X.2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она протянула мне две пилюли, белую и черную — чтобы я посоветовал, какую из них ей принять. Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов! Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще и подлила масла в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался оскорбиновой кислоты (так она и сказала). То были тягостные минуты, но я остался верен себе. Отныне буду есть только дома и лишь то, что сам приготовлю. Никаких снив, никакого парадизина, долой аллилулоидное желе. Гедонизаторы я разбил — все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В мое окно заглядывает большая птица с печальным взглядом, очень странная — на колесиках. Компьютер говорит, педеролла.

2.X.2039. Почти не выхожу из дому. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же, раздражают меня в ревизии юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки. «Нет спасенья без пилюль, говорил святой Илюль». Какая пошлость! Одни названия передач чего стоят... Например, «С надуванкой на эротоцикле» — криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил — был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер (но где же мой канал? где?!): «В ридикюлях у фемин распустин и нимфомин». Неужели и в XXI веке нельзя изолировать живальню как следует?! Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора; в конце концов я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, даже почта — предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию, обещают устроить в первую очередь, как гостю из тяжелого прошлого. Ей-богу, я лопну от злости! Кроме шуток! Подозрительная листовка с рекламой «тайных пилюль, которых нет в обычной продаже». Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать снекулянтов — торговцев запрещенным снивом. И тут же — призыв не смотреть стихийные, неуправляемые сны; это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал себе сниво из Столетней войны: проснулся — все тело в синяках.

3.X.2039. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная бустория» (я только что на него подписался), с изумлением обнаружил в нем имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все то, что со мной происходит,— лишь непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе это возможно. Разве «Психоматикс» не расхваливает сейчас слоистые пилюли (стратилки), вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго»; сражение выиграно, но к яви жаль возвращаться, и здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто там еще из старой гвардии преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю, тоже иллюзорную, правда, но это неважно — главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию, и так ad libitum [1]. Гордиевы узлы я привык разрубать сам; поэтому, проглотив телефонную книгу, чтоб узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином.

3.X.2039. Третий час ночи. Пишу смертельно усталый, даже душа моя, кажется, поседела. Профессор запаздывал, пришлось его подождать. В ресторан он пришел пеш-

[1] Сколько угодно *(лат.)*.

ком. Я узнал его издали, хоть теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался.

— Почему же,— спросил я,— вы не на машине? Что, автобрык? (самовзбрыкивание автомобиля, это случается).

— Нет, — ответил профессор.— Я уж лучше per pedes apostolorum...[1] — Но как-то странно усмехнулся при этом.

Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается,— и тут же проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций.

— Да что вы, Тихий, ей-богу! Какие галлюцинации? — возмутился профессор.— С тем же успехом я мог бы подозревать, что это вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня разморозили. Меня еще к тому же омолодили, ну, реювенил, десенилизин, вам это ни к чему, а я, если бы не основательное омоложение, не мог бы уже работать бустериком.

— Футурологом?

— Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего — лингвистическая прогностика!

— Не слышал. И в чем же она состоит?

Хотя я спрашивал скорее из вежливости, он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, я ее потому и выбрал, что очень люблю.

— Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка,— объяснил Троттельрайнер.

— Не понимаю.

— Человек в состоянии овладеть лишь тем, что может понять, а понять он может лишь то, что выражено словами. Не выраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаем, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить.

— Очень странно. А на практике как это выглядит?

— Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров: человек не может перепробовать все варианты. Дело тут главным образом в вариативности языка — синтагматически-парадигматической, но квантованной...

— Профессор!

— Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Легче всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово.

— Я.

— Как? «Я»? Гм-м... Я. Хорошо. Мне придется в некотором роде заменять собою компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак: Я — явь. Ты — тывь. Мы — мывь. Видите?

— Ничего я не вижу.

— Ну, как же? Речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-вторых — мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. Пожалуйста, какое-нибудь другое слово.

— Нога.

— Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или же гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. Разножение. Изноженный. Но-о-гом! Ногола! Ногнем? Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика.

— Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла?

— Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в XV веке, а будь у них языковая футурология, они, глядишь, и додумались бы до автоматов.

— Так что же такое ногист?

— Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм — новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого homo sapiens monopedes.

— Одноногого?

— Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше.

— Но это же чепуха!

---

[1] «Апостольскими стопами», то есть пешком *(лат.)*.

— Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацелькляцер и Фёшбин — ногисты. Вы ведь об этом не знали, предложив мне слово «нога», не так ли?

— Нет. А что значат другие ваши словечки?

— Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, а лишь изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово.

— Интерферент.

— Отлично. Интер и феро, fero, ferre, tuli, latum[1]. Раз слово заимствовано из латыни, в латыни и следует искать варианты. Flos, floris. Интерфлорентка. Пожалуйста — это девушка, у которой ребенок от интерферента, отнявшего у нее венок.

— Венок-то откуда изялся?

— Flos, floris — цветок. Лишение девичества — дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец»— ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту — от конституанты,— ведь тут открывается целый мир будущей нравственности!

— Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор.

— Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак... мусор. Гм-м... Намусорить. Астрономически много мусора — космусор. Мусороздание. Мусороздание! Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий! Подумать только, мусороздание!

— А что тут такого? Это же ничего не значит.

— Во-первых, теперь говорят: не фармачит. «Не значит» — анахронизм. Вы, я заметил, избегаете новых слов. Нехорошо! Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых: мусороздание п о к а еще ничего не значит, но можно догадываться о его будущем смысле! Речь, знаете ли, идет ни больше ни меньше, как о новой психозоической теории. Да, да! О том, что звезды — искусственного происхождения!

— А это откуда следует?

— Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину: за миллиарды лет мироздание заполнилось мусором — отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, между тем он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям; так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой, и поэтому сами притягивают космусор; постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды, те самые космические костры, и темные туманности — еще не убранный хлам.

— Вы что же, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность? Вселенная как всесожжение мусора?

— Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто, благодаря лингвистической футурологии, мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений! Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез; несомненно, однако, что такую гипотезу можно словесно выразить! Обратите внимание: если бы в двадцатые годы существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать б у м б ы — вы их, я думаю, помните! — образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и небезграничны. Например, «утопиться»: представив, что это слово восходит к «утопии», вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов!

Наконец, речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но выслушал внимательно и — добрая душа! — посочувствовал мне. Он даже потянулся в карманчик жилета за сострадалолом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я кончил, лицо его приняло строгое выражение.

— Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим «Прокрустикс» и вся остальноя псивилизация — мелочь!

Я не верил своим ушам.

— Но... но...— заикался я.— Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?

Он наклонился ко мне через столик.

---

[1] Различные формы латинского глагола «нести».

— Тихий, я открою вам профессиональную тайну. Обо всем, на что вы тут жаловались, знает каждый ребенок, это же ясно. Развитие и не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и прагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы, или пуантогены,— то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а лишь изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают!

— Масконы... масконы...— повторил я за ним.— Знакомое слово. А-а, концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?..

— Ничего. Теперь это слово значит — то есть фармачит — нечто совершенно иное. Оно образовано от «маски». Вводя в мозг масконы определенного рода, любой реальный объект можно заслонить иллюзорным, и притом так искусно, что захимаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальны, а какие — всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете *на самом деле* — а не этот, припудренный и нарумяненный масконами,— вы бы слетели со стула!

— Погодите. Какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?

— Где угодно — хоть здесь! — выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал: — Это очухан, из группы отрезвинов, сильнейшее противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уже о прочем,— тягчайшее преступление! Откройте флакон под столом и вдохните носом, один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом... Ради всего святого! Помните: нельзя терять голову!

Трясущимися руками я отвернул пробку, и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах: я смахнул их кончиком пальца и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и укрытой от глаз капеллой, под музыку которой мы смаковали жаркое,— исчез. Мы сидели в бетонированном бункере, за грубым деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему — из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр — голые, запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла; серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке — ибо старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной кожи и разрезаемой гренки — сверху отлично подсушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшей неподалеку, оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами — не на антресоли, а скорее на полке, настолько она была узкой. Ибо давка царила невероятная! Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями, помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную кадку, грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого; где положено, выросли у него ножки и крылышки; старинным серебром заблестел алюминий, фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги — солома обернулась персидским ковром, и я, опять окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось...

— Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности,— доверительно шептал Троттельрайнер; при этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасаясь слишком уж бурной реакции.— А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстракласса! Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел; в другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок!

— Как? Значит... есть... еще отвратительнее?

— Да.

— Не может быть.

— Уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы

лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из подвозимых конвейером чанов. То, что скрывается под маскою куропатки, там еще несъедобнее.

— Что же это?!

— Да нет, Тихий, не отрава какая-нибудь — просто концентрат из травы и кормовой свеклы, намоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой; обычно туда добавляют витамины и костный клей и все это сдабривают смазочным маслом, чтоб не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?

— Почувствовал! Да еще как!

— Вот видите.

— Ради бога, профессор... что это? Ответьте, заклинаю вас! Обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?

— Да что вы, Тихий. Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут двадцать с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня «Геральд»? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция — что шесть миллионов. Откуда же взять в таком мире шабли, куропаток, закуски в соусе беарнэ? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир — давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. Мы научились маскировать эту смерть.

— Погодите! Дайте собраться с мыслями... Так это значит, что...

— Что никто не желает вам зла, напротив — как раз из жалости, из соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцвечивание действительности красками, которых она лишена...

— Профессор, выходит, это жульничество повсюду?

— Увы.

— Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам, так как же, когда же?..

— Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете? Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки, все равно что монгольфьер по сравнению с ракетой.

— И все знают об этом? И все-таки живут как ни в чем не бывало?

— Ничего подобного. Об этом не знает никто.

— И ни слухов, ни разговоров?

— Слухи есть всюду. Не забывайте, однако, об амнестане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть; скрытая гораздо важнее.

— Не может быть.

— О! Почему же?

— Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку! И все, все!

— Ну, конечно. Все должно быть изготовлено, но что же из этого?

— Те, кто занимается этим, видят и знают!

— Необязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею; у проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.

— И все же работают?

— Приняв дозу сакрофицина — с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей целью, самопожертвованием; после смены — глоток амнестана или мемнолизина, и все увиденное забывается напрочь!

— До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком! Боже, как я хочу вернуться! За это я все бы отдал!

— Вернуться? Куда?

— В канал под отелем «Хилтон».

— Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать — глупо. Будьте как все, ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в превосходнейшем настроении.

— Значит, вы тоже адвокат дьявола?

— Будьте благоразумны. Что ж тут дьявольского, если врач обманывает больного для его же пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить — лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним-единственным исключением, так что в них плохого?

— Я не в силах вам возражать,— уже спокойнее сказал я.— Только ответьте, пожалуйста, мне как старинному другу: о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?

— Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне уже пора.

Мы договорились встретиться завтра; на прощание я опять спросил об изъяне масконов.

— Сходите-ка в Луна-парк,— ответил профессор вставая.— Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что при вращении фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность, перемещаются — словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры... Вы увидите, что появляется тогда вместо дивных иллюзий...

Я пишу это ночью, в третьем часу, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать ли от псивилизации куда-нибудь в самую глушь? Даже Галактика больше не манит меня, как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.

5.X.2039. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене продает за бесценок оригинальные полотна Рембрандта и Матисса. Рядом предлагают великолепную мебель в стиле рококо, мраморные камины, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы — дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе «подворцовать»! Бюро регистрации самозваных кандидатов в нобелевские лауреаты на Пятой авеню тоже открыло передо мной свое истинное лицо: премию может получить кто угодно и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, раз и то и другое — лишь щепотка раздражающего мозг порошка! А всего коварнее вот что: каждый знает о ч а с т и коллективных галлюцинаций и поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального; а различие между искусственным и естественным чувством стерлось, ведь непроизвольно никто уже ни на что не реагирует — учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокомин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство! По-охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом, для развития личности, контестан и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы — субординал и кооперин. Полиции нет — и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает «Прокрустикс инк.». Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки — там тоже всего лишь набор вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, фарморалин, грехогон, абсолюцид, а при помощи сакросанктола можно стать даже святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзен-окись буддина, мистициновый нирваний или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в Долине Иософата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О фармадонна! Парадизол для святош, адомин и сатанций для мазохистов... я с трудом удержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонина. А то, чего доброго, меня угостили бы амнестаном. Ну, уж нет. Только не это! Я отправился в Луна-парк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож. Эксперимент не удался — стенка кабины оказалась удивительно твердой, наверное из закаленной стали.

Троттельрайнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессора не застал; впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свист для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и исписанными листками бумаги.

От нечего делать — или, скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри,— я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «ревиденец», «чуждинник», «чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудно́й футурологии... «Плодотворня», «вырыванец», «вырыванка». «Рекордительница» — родительница-рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось восемьдесят тысяч детей. Или восемьсот тысяч. Что за разница?

«Мыслист», «мыслянт», «мысéль», «коренная», или «дышловая мысль», «мыслина» — «дышлина». Чем же он занимался! Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает! — чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло — противогаллюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг.

Удивительно: комната почти не изменилась! Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями — все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, украшавшая комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую «буржуйку» с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене, а пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро, по-воровски, поставил флакон на место — в передней послышался свист, и вошел Троттельрайнер.

Я рассказал ему о Луна-парке. Он удивился, попросил показать ему ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать и мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора — он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттельрайнер положил на письменный стол пачку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул.

— Тихий,— сказал он,— поймите: экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством...

— Какая еще экспансия?

— Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, ведь подлинные уже недоступны,— объяснил он, явно озабоченный чем-то другим.— На этой карусели я катался месяца три назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара (лунапаркина) из распылителя; это было бы, впрочем, гораздо экономичнее. Да, да, Тихий, сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в новом «Хилтоне», но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик, нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах — ведь меня поселили в номере на восьмом этаже, за 90 долларов в сутки. Места, обыкновенного места, катастрофически не хватает! Проводятся опыты с псивидимками — психимическими невидимками; но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдалеке, начнется всеобщая давка; тут наука пока бессильна.

— Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это? — Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол», «уплотнитель множелина».

— А, это... Видите ли, существует план или, скорее, концепция хинтернизации (по имени автора, Эгоберта Хинтерна) — возрастающую нехватку внешнего пространства заменять иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам, должно быть, известно, что благодаря различным зооморфинам можно на время стать — то есть почувствовать себя — черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином (при помощи инфлоризирующего преботанида). Кроме того, можно расщеплять свою личность на две, три, четыре и больше частей, а если дойти до двузначных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви: тут уж не явь, а мывь, множество «я» в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир, таковы времена, коллега! Omnis est Pillula[1]. Фармакопея теперь — основа основ, книга судьбы, энциклопедия бытия; никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтомид, оппозиционал в глицериновых свечах и экстремин, а доктор Гопкинс рекламирует содомастол и гоморретки — можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность господа бога тоже вполне доступна, цена ей семьдесят пять центов.

— А еще появилось такое искусство — зудожество,— заметил я. — Я слышал... нет, осязал «Скерцо» Уаскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах.

— Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушенье во времени,— меланхолически подтвердил Троттельрайнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он

---

[1] Все существующее — Пилюля! *(лат.)*

откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал: — Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия о бустории человечества. Это LXXVI Всемирный съезд; сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями...

— Странно! Я читаю газеты довольно внимательно — нигде ни строчки об этом конгрессе...

— Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю: ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки!

— И что? Дело плохо?

— Ужасно! — произнес профессор с нажимом. — Хуже и быть не может!

— А вчера вы пели другую песню,— заметил я.

— Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение — я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня... это, знаете ли... впрочем, вы сами можете убедиться.

Он достал из папки большую связку информационных леденцов на палочке, перевязанных разноцветными леиточками, и протянул ее мне через стол.

— Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия — это психимократия, основанная на жирократии. Вот девиз Новой эры. А проще сказать — всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения.

— Наконец-то я узнаю, как это случилось!

— Да очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта залежалых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена — загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков — вы, наверное, о них слышали.

— Слышал, но что такое реализ?

— Буквально — растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разразился скандал с киберрастратами, все свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни,— актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения! Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана; легче всего было делать это только на бумаге.

— Позвольте, но это сразу бы обнаружилось! — удивился я.

— Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже 980 миллиардов, между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет.

— А как же проверочные комиссии?

— Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам.

— Ага!

— Вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали; то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противо-противо-противо-противоракеты (в арсеналах уже шестое их поколение), летающие танки (летанки) — но все это пуантогенное.

— Извините, какое?

— Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопастилки?

— То есть?..

— Пастилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит — для чего же тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? «Проглоти, запей водицей — превзойдешь Клаузевица». Слышали?

— Нет.

— Потому что эти препараты секретные, во всяком случае в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла: достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя; это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, атаконы, бомбоны — твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан — в виде обыкновенного порошка.

— И все это масконы?

— А как же! Так что реальная армия оказалась излишней. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было невозможно. Вот и вся тайна разоружения. Впрочем, не только разоружения. Вы видели последние модели «кадиллака», «доджа» и «шевроле»?

— Видел — очень красивые.

Профессор подал мне флакончик.

— Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям.

Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье между домами, вид на которое открывался с двенадцатого этажа, неслась река новеньких, с иголочки, автомашин, сверкающая на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и заморгал; когда же я снова обрел зрение, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откидывая корпус назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток лакированных крыш, белых, изумрудных и желтых, величественно плывущий по Манхэттену.

— Кошмар! — ошеломленно произнес я. — Но тем не менее pax urbi et orbi [1] достигнут, так что все это, может быть, окупилось?

— Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось, ведь такое галопирование — прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и сердца. Не каждый рождается марафонцем.

— Так вот почему у вас нет машины! — догадался я.

Профессор лишь криво усмехнулся.

— Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь 450 долларов,— сказал Троттельрайнер,— учитывая, однако, ее себестоимость (около одной восьмой цента), это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертозольный мелотропин.

— Это, конечно, безнравственно,— заметил я,— но так ли уж вредно для общества?

— Пока еще — нет. Впрочем, смотря как оценивать. Благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой в убеждении, что перед вами Венера Милосская; научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть ведь некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а тем временем реализ пожирает сферы реальной жизни одну за другой. К тому же угрожающе быстро растет число побочных явлений, а это вынуждает применять дегаллюцины, неосупермасконы, фиксаторы — с сомнительным результатом.

— Что это такое?

— Дегаллюцины — это новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но людей, усомнившихся в реальности окружающего, все больше и больше. Амнестан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка. Понимаете? Ну, если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает — или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия — ее называют еще многоярусной,

[1] Всеобщий мир *(лат.)*.

или n-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговеют уши, а то вдруг хвост исчезает...

— Вы хотели сказать — вырастает.

— Да нет, исчезает — хвост есть у каждого лет уже тридцать. Побочное следствие орфографина. Мгновенное обучение грамоте достается не даром.

— Не может быть — я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста!

— Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого в свою очередь чернеют ногти и портятся зубы.

— И это опять-таки маскируется?

— Ну конечно! Масконы вводятся милиграммами, но в общей сложности на человека приходится около ста девяноста килограммов в год; оно и понятно — ведь нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безустанного галопирования. Все это приходится маскировать — вот почему нужны неосупермасконы.

— Какой ужас! И ничего нельзя сделать?

— Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только и разговору что о необходимости коренных перемен. Представлено уже восемнадцать проектов.

— Спасения?

— Если хотите — спасения. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролижите эти материалы. Но я попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное.

— Буду рад вам помочь.

— Я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы очуханов (отрезвинов). Он прислал их утренней почтой и пишет,— Троттельрайнер взял письмо со стола,— что мой очухан (вы его пробовали) не настоящий. Вот, послушайте: «Федеральное управление псипреции (психопреформации) старается отвлечь внимание действидцев от целого ряда кризисных явлений, и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзионные средства, содержащие неомасконы».

— Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое действидец?

— А, это такое высокое звание; я его тоже удостоен. Действидение означает право и возможность пользоваться очуханами — чтобы знать, как все выглядит на самом деле. Кто-то ведь должен быть в курсе, не так ли?

— Пожалуй.

— А что касается того препарата, то он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против других, особенно новейших, бессилен. В таком случае вот это,— профессор поднял флакончик,— не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон, короче, волк в овечьей шкуре!

— Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал...

— «Нужно», вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действидцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума; вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники — чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее!

— Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите?

— Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно.

— Только-то? С удовольствием.

Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на конгресс бусторические доклады. Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу тысячи тонн инверсина — препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи — станут всем ненавистны, а давка,

бедность, убожество и уродство — пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хужетроны — для снижения уровня жизни. Однако инверсин инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно, на одни сутки, приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через девять месяцев — за счет естественного прироста.

Не могу сказать, чтобы этот план привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта в качестве действида будет постоянно под воздействием контрпрепарата, а значит, всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости. Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10 000 тонн ретротемпорина — реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять: люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы — обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодел бы, набирался сил и здоровья; уйдя с работы, по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и роддома надлежало посылать стариков; в проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в «государственном эвтаназиуме». После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим.

Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был гораздо более радикален. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в элегантной упаковке из дюропласта, что-то наподобие глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологически совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и т. д. Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного деташизма: ненужные органы оставляются дома; например, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующей десятилетке намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку — печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания, и вообще какое-либо передвижение, ибо все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами (чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут катиться сами, ради забавы).

Я прервал чтение (или, точнее, лизание) рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись. Суждение слишком поспешное, сухо возразил Троттельрайнер. Каша заварена — нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в двадцатом веке бичом городов, отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех колесах, а люди предпочтут погибать в ней, устремляясь лавиной за город, чем спокойно сидеть дома? Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать.

— Пока не знаю,— ответил профессор. — Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят — подпольно рожденных детей. А кроме того, я побаиваюсь химинтригантства.

— То есть?

— Может пройти проект, который получит кредибилиновую поддержку.

— Думаете, вас обработают психимикатами?

— Почему бы и нет? Чего проще — взять и распылить аэрозоль через климатизатор конференц-зала.

— Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно.

— Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В XX веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, теперь же все области жизни развиваются под диктовку. Если конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?

— Тогда знаете что? — сказал я.— Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в Скалистые горы. Каналы «Хилтона» помните? Разве плохо там было?

— Вы это серьезно? — как будто заколебавшись, переспросил профессор.

Я — видит бог, машинально! — поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней. От резкого запаха слезы выступили у меня на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но, ошеломленный увиденным, ни слова не понимал. Стены почернели от грязи; небо, перед тем голубое, стало иссиня-бурым, оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевшие покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосами.

Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Оцепенев, я боялся взглянуть на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застряла щебенка и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я застонал.

— Что, голова болит? Может, таблеточку? — дошел до моего сознания сочувственный голос. Я превозмог себя и поднял глаза на профессора.

Немного осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами,— обрывки ветхого, гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках — одно стеклышко треснуло. На шее, из отверстия после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вокодер[1], сотрясавшийся в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку; помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части — там колотился серо-фиолетовый комочек сердца в рубцах и швах. Левой руки я не видел, правая — в ней он держал карандаш — оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью: «Мерзляк 119 859/21 транспл. — 5 брак». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор — он вбирал в себя мой ужас, как зеркало,— осекся на полуслове.

— Что?.. Неужели я так изменился? А? — произнес он хрипло.

Не помню, как я вскочил, но я уже рвал на себя дверную ручку.

— Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий! Тихий!!! — отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь поддалась, и тут же послышался страшный грохот — профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и теперь рассыпался по полу с костяным хрустом проволочных сочленений. Этого я никогда не забуду; душераздирающий визг, ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету, серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии.

Кругом было полно людей — начиналось время ленча. Из контор выходили служащие; оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было; заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо приобретенной с годами, карабкались по сетке ограждения. Их лица заливал пот, а они как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, добирались до кафе на крыше здания. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с терпеливыми восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни

[1] Здесь — аппарат для усиления голоса.

конторы. За поворотом стены светлело открытое настежь окно; остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа — но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами, в жалких обносках, нередко в бандажах, перевязанные бумажными бинтами, в одних рубашках; действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторых, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам; безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона; я видел уши дам в слоновьих складках, ороговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией; а те, что покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы — с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получил свою порцию аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивались. За влюбленной парой, шедшей под руку (ее спина в роговой чешуе, его — в пятнистой сыпи), тяжело ступал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те — ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно он или как? Но размышлять я уже был не в силах. Вцепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни — единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе — его режиссере; он придал бы этим жанровым сценам смысл, как верховный распорядитель блаженной агонии,— чудовищный, но все-таки смысл. Маленький авточистильщик обуви, суетясь у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колена; старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше, он валил ее снова, и так они скрылись из виду, он — механически упрямый, она — энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим — должно быть, для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безроботники и роботрясы, откуда-то сбоку, из фабричных ворот, после смены высыпали на улицу роботяги кретинги, прароботы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха что попадется; вместе с трупьем он швырнул в мусорный бак старушку; я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, нетронутую еще ампулу — и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало, заволоклось светлой пеленой — бельмом, которое постепенно снимала с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену, в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку; как видно, ее маскировка началась настолько давно, что более сильное средство могло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев — и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары — обледенелый, утоптанный сотнями ног; зимним стал колорит городского пейзажа; витрины магазинов исчезли, вместо стекол — подгнившие, приколоченные крест-накрест доски. Между стенами в грязных подтеках царила зима; с притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки; в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо вверху; в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор, кое-где чернели длинные тюки или, скорее, кучи гряпья. бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону, туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры, валялись консервные банки и смерзшиеся опилки; снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова; я вдруг понял, кто исчез с улиц: роботы Исчезли все до единого! Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах — застывший железный хлам, рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости. Какой-то оборванец садился в сугроб, устраиваясь как в пуховой постели. Лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте; он вытянул ноги, рылся босыми стопами в снегу — так вот что значил тот странный озноб, та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вы шли серединой улицы в солнечный полдень (он уже приготовился к долгому-долгому сну), так вот оно, значит, что. Вокруг него, как ни в чем не бывало, копошился людской муравейник, одни прохожие опыляли психимикатами других, и по их поведению было легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто — роботом. Выходит, и роботы были обманом? И откуда эта зима в разгар лета? Или фата-морганой был весь календарь? Но зачем? Ледяной сон как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей,

а мне придется исчезнуть, до него не добравшись? Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон; позади меня стало тихо: ленч кончился. Улица — это конец, зрячие глаза мне ничуть не помогут, толпа захлестнет и поглотит меня, нужно найти хоть кого-нибудь, сам я смог бы разве что прятаться какое-то время, как крыса; я теперь вне иллюзии, а значит в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна; я дрожал всем телом, ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно; да, я уже скрывал свое присутствие здесь, сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался — бессознательно, еще не успев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей: по мне видно, что́ я вижу, и это не может пройти безнаказанно. Я шел по коридору шестого или пятого этажа; вернуться назад, к Троттельрайнеру, я не мог, ему нужна была помощь, а я был не в силах ему помочь. Я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело — при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор — дорогу загораживало тело какого-то старика; чтобы идти, ему не хватило сил, он только судорожно дрыгал ногами и дружески улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор — тупик, матовые стекла какой-то конторы, за ними — полная тишина. Я вошел, завибрировала стеклянная дверь-вертушка, это было машинописное бюро — пустое. В глубине — еще одна приоткрытая дверь, а за ней — большая светлая комната. Я отпрянул — там кто-то сидел,— но услышал знакомый голос:

— Прошу вас, Тихий.

Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили его слова — как будто он ждал моего прихода; спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью.

— Садитесь,— сказал Симингтон.— Поговорим.

Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди всеобщего запустения — ни пронизывающих сквозняков, ни наметенного ветром снега. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон; над головой хозяина — цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая, в сущности, мысль: лишая на них не было вовсе.

— Вот вы и доигрались,— назидательно произнес Симингтон.— А ведь жаловаться вам не на кого! Лучшая медсестра, единственный на весь штат действидец — всем вам старались помочь, а вы? Вы решили докопаться до «истины» на свой страх и риск!

— Я? — отозвался я ошеломленно; но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня:

— Только, ради бога, не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет «галлюцинаций»! «Канал», «подвальные крысы», «седлать», «запрягать». И такими убогими штучками вы хотели нас обмануть! Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком!

Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно — он все равно не поверит, это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой! Но тогда и его беседа со мной о тайнах «Прокрустикс инк.» преследовала одну лишь цель — развязать мне язык; вот для чего он вставлял в разговор слова, которые так меня поразили; быть может, он принял их за какой-то секретный пароль — но чего, антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром... Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты.

— Так вы здесь ждали меня? — спросил я.

— А как же! Все это время вы, со всеми вашими хитростями, были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок.

Старик, умирающий в коридоре,— мелькнуло у меня. Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда привели.

— Хорош порядок,— заметил я.— А во главе его — уж не вы ли? Поздравляю.

— Приберегите свои остроты для более подходящего случая! — огрызнулся Симингтон. Значит, мне удалось-таки задеть его за живое. Он разозлился.— Вы всё искали «источники демонизма», мерзлячик вы этакий, ледышка моя допотопная... Так вот — их нет. Ваша любознательность удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себе опротивела бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего, это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее, мы ведь обязаны трезво смотреть на вещи — ради вас же.

— Так вы это из альтруизма? Ну да, понятно, жертва во имя общего блага.

— Если вы и впрямь так цените эту ужасную свободу мысли,— заметил он сухо,— советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете.

— А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю.

— В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит! Что у меня на глазах? — добавил он быстро, испытующе.

— Темные очки.

— Значит, мы видим одно и то же! — воскликнул Симингтон.— Химик, давший Троттельрайнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и ни в чем уже не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно?

— Позвольте,— прервал я его.— Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем?

— Затем, что действидцы — не демоны! Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы даем утешенье, покой, облегчение последним еще доступным нам способом, мы с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы — последний Атлас этого мира. Если мир должен погибнуть, так пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хотя бы заслонить ее чем-то. Это наш п о с л е д н и й гуманный, человеческий долг.

— Неужели совсем ничего нельзя изменить?

— Сейчас 2098 год,— сказал Симингтон. — 69 миллиардов людей живут на Земле легально и еще, надо думать, 26 миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на четыре градуса в год; лет через пятнадцать — двадцать здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах, мы можем только замаскировать его.

— Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами?

— Именно так. Мы — последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами — случайно это оказался я.

— Да, да, припоминаю: esse homo [1]. Но... погодите... сейчас... Я понял, чего вам надо! Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического наркотизатора, не обойтись. Раз нет хлеба — наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть? Если средства, которые вы применяете, и вправду так хороши, к чему заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредибилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения, если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятней беседовать, чем хвататься за распылитель! Вы, как видно, прекрасно знаете: психихическая победа — всего лишь жульничество, на поле боя вы останетесь в одиночестве — триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство — вот чего вы хотите. Не выйдет? Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется, без щетины?

Его лицо исказила гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел:

— У меня найдутся не только аркадийские средства! Есть и химический яд!

Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда

---

[1] Се — человек! *(лат)*. Так, согласно евангельской легенде, сказал Пилат, посылая на казнь Иисуса Христа.

вместе» вцепился ему в горло. Сила инерции, как я и рассчитывал, бросила нас к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него, он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул; в ушах засвистело, мы кувыркались, вцепившись друг в друга; вращаясь, воронка улицы стремительно надвигалась на нас, я приготовился к сокрушительному удару, между тем падение оказалось мягким, брызнула черная жижа, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой — и опять расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза, с резким привкусом помоев во рту, но счастливый, как никогда! Профессор Троттель-райнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. Отзвуки б у м б а р д и р о в к и стихали. Дирекция «Хилтона» спала вповалку на надувных креслах (вот откуда взялись надуванки!), секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стэнтор, храпя и ворочаясь с боку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана; перепугались и он и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса; при этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла — в неизведанное грядущее.

Ноябрь 1970

ДУШЕНКО КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский историк и переводчик, автор работ по истории общественной мысли. Переводит произведения польских фантастов.

Станислав Лем о «поддельном мире» XXI столетия

Для советского читателя имя Станислава Лема не нуждается в дополнительных верительных грамотах. Из 36 его книг по крайней мере добрая половина переведена на русский язык, а также на многие другие языки народов нашей страны. Лучшие из его научно-фантастических романов и рассказов, даже написанные 20—30 лет тому назад, продолжают переиздаваться и поныне. Многие из них стали хрестоматийными образцами этого жанра и заслуженно вошли отдельными томами в такие антологии, как «Библиотека современной фантастики» (в 25-ти томах), «Библиотека польской литературы» и издающаяся сейчас «Библиотека фантастики» (в 20-ти томах).

Из современных польских писателей С. Лем, пожалуй, наиболее популярный как у себя на родине, так и за ее пределами. Общий тираж его сочинений уже перешагнул за 10 млн. экземпляров. В 1969 году ему был вручен специальный диплом Министерства иностранных дел Польской Народной Республики за заслуги в распространении польской культуры за рубежом. Когда-то, в начале творческого пути, Станислава Лема называли польским Жюлем Верном или Уэллсом, теперь же других начинающих писателей-фантастов, желая их поощрить, сравнивают с ним. В Польше даже учрежден специальный приз золотой и серебряной «Сепульки» за вклад в научную фантастику. Творчеству Лема посвящаются международные семинары и литературоведческие исследования, его произведения экранизируются. В 1979 году за роман «Насморк» ему был присужден во Франции Большой приз детективной литературы, а в 1986-м — государственная премия Австрии в области европейской литературы.

Творчество С. Лема впечатляет, однако, не столько количеством написанных им книг, сколько их тематическим и жанровым многообразием: среди вышедших из-под его пера сочинений несколько солидных науковедческих работ, утопии и антиутопии, циклы научно-фантастических рассказов как романтического, так и сатирического содержания, романы, сочетающие в себе и фантастику и детектив, а также книги, которые общепринято называть реалистическими, например трилогия о движении Сопротивления в оккупированной Польше в годы второй мировой войны «Непотерянное время» (названная так по аналогии с многотомной эпопеей Марселя Пруста «В поисках утраченного времени») и воспоминания о своем детстве «Высокий замок». Впрочем, правомерно ли противопоставлять эти традиционно реалистические сочинения Лема его научной фантастике? Он сам категорически отвергает подобное противопоставление и в пространном интервью с польским литературоведом О. Бересем, опубликованном недавно в журнале «Одра», решительно настаивает на том, что остается реалистом и в своей научной фантастике, ибо затрагивает в ней реальные проблемы современной социальной действительности.

Блестяще «испытав себя» во всех традиционно сложившихся формах и жанрах научной фантастики, Станислав Лем в 70—80-е годы создает свой оригинальный ее жанр: одну за другой он публикует книги «Идеальный вакуум» (1971), «Мнимая величина» (1973), «Провокация» (1983), «Библиотека XXI века» (1986), которые заполняет рецензиями на несуществующие научные трактаты, предисловиями к ним, речами вымышленных им будущих лауреатов Нобелевской премии, философическими рассуждениями, приписываемыми им искусственному интеллекту сверхкомпьютеров и прочими литературными эссе-мистификациями, в чем-то напоминающими маленькие шедевры аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, но вместе с тем отличающимися от них типично лемовским своеобразием. Объясняя свое обращение к этому специально созданному им жанру, Лем отмечал, что его главное достоинство в сравнении с так называемой «сюжетной фантастикой» заключается в экономности изложения новых идей, призванных рационально и эмоционально готовить читателя к столкновению со стремительно надвигающимся парадоксальным и во многом непредсказуемым будущим.

В своем обращении к «Моим читателям», напечатанном в журнале «Польша», Лем писал: «Мы чувствуем, что цивилизация в могучем движении отрывается, ее отрывают от традиционных исторических корней, а раз так, то она **должна** зондировать свое будущее, **должна** принимать сейчас решения, результаты которых спасут или погубят наших детей и внуков. Такое положение свыше наших сил, его иногда называют «футурошоком», то есть потрясением при виде картины непостижимого, раздираемого противоречиями, а вместе с тем неотвратимо приближающегося будущего». В этих условиях, продолжал он, научная фантастика может сыграть как прогрессивную, так и реакционную роль: «Она может быть усыпляющим или пробуждающим средством, может быть или наркотиком и питательной средой для несбыточных мечтаний и снов, наркозом или постоянной попыткой разобраться в делах человеческих и предвосхитить их дальнейшее развитие»[1].

Вот почему, не претендуя ни на «спасение мира», ни на «предсказания будущего», научная фантастика, по убеждению Лема, призвана в первую очередь расширить интеллектуальный горизонт своих читателей, а не прельщать их «картинками усовершенствованного технологического рая и пугать их тысячами воображаемых форм техногенного апокалипсиса цивилизации». Свои книги, написанные в своеобраз-

[1] «Нева», 1975, № 7.

ном литературном жанре, сочетающем в себе постановку серьезных проблем с их шутливой интерпретацией, Лем, по его собственному признанию, рассматривает как идейно-художественное средство приобщения читателей к стремительному процессу обновления, в который ввергнут современный мир, раскрепощения их сознания и усвоения ими нового мышления.

Мы намеренно воспроизводим эти рассуждения Лема о социальном призвании научной фантастики, ибо они, в частности, помогают лучше понять как замысел романа «Футурологический конгресс», который был написан в этот период его творчества, так и его идейное содержание, его сюжетное развитие. Так, например, кошмарный сон, в который автор периодически погружает героя романа в клоаке под отелем «Хилтон»,— это, конечно, не архаический для современной научной фантастики способ «путешествия в будущее», который Лем использует за неимением лучшего, а аналогия со «сном разума, порождающим чудовищ», характерным для западной футурологии, «поддельный мир» XXI столетия — это грядущее, напрашивающееся из многих футурологических сочинений нашего времени, и т. п.

Новый жанр, в котором Лем с увлечением работал в 70—80-е годы, отнюдь не положил конца его сюжетной фантастике, как опасались многие читатели. Именно в эти годы им были написаны также романы «Насморк» (1976) и «Фиаско» (1987); в последнем из них, как нельзя более злободневном в наши дни, речь идет о том, как гонка вооружений на отдаленной планете завела ее цивилизацию в тупик социального и технического прогресса. К сожалению, этот «поздний» Лем, столь же увлекательный, как «ранний» или «зрелый», несравненно меньше известен советскому читателю. И потому будем надеяться, что публикация «Футурологического конгресса» станет своего рода прологом для дальнейшего знакомства с литературным творчеством этого польского писателя.

Роман Ст. Лема представляет собой острую и яркую сатиру на современную буржуазную футурологию. Как известно, в конце 60-х годов на Западе начался своеобразный «бум прогнозов»: социальное прогнозирование непосредственного и отдаленного будущего стало повсеместной модой, учреждались многочисленные комиссии и комитеты «2000 года», создавались различные футурологические институты и издания, регулярно стали проводиться международные футурологические конгрессы.

Этому повальному увлечению футурологией знаменитый польский писатель-фантаст посвятил свою двухтомную монографию «Фантастика и футурология» (1970), в которой на основании обстоятельного изучения вышедшей к тому времени литературы по социальному прогнозированию пришел к убеждению, что, хотя она и отражает настоятельную потребность общества в предвидении своего будущего, тем не менее по своему содержанию мало чем отличается от научной фантастики и даже во многом уступает ей.

Роман «Футурологический конгресс» можно рассматривать как своего рода литературно-художественный вариант упомянутой выше монографии. И это не случайное тематическое совпадение в творчестве Лема. Его серьезные науковедческие книги «Диалоги» (о кибернетике), «Сумма технологии», «Философия случая», как правило, предшествовали научно-фантастическим произведениям на аналогичные темы, придавая им незаурядную научную основательность.

В романе мы вновь встречаемся с одним из любимых лемовских персонажей — Ийоном Тихим, от лица которого ведется повествование. Вот уже три десятилетия, со времени выхода в свет «Звездных дневников» (1957), описывающих галактические странствования этого неутомимого звездопроходца, почетного доктора наук университетов обеих Медведиц, Лем сохраняет неизменную привязанность к этому колоритному образу, извлекая из приписываемого ему 87-томного собрания сочинений все новые удивительные похождения и объявляя при этом некоторые из прежде публиковавшихся путешествий апокрифическими.

При этом сам образ Ийона Тихого претерпел существенную трансформацию: из космического барона Мюнхгаузена, с которым его первоначально сравнивал сам писатель, он постепенно превратился в несравненно более сложный и многогранный персонаж — в склонного пофилософствовать раблезианского Панурга. Одновременно сам Ийон Тихий перестал умещаться в тесном для него переплете «Звездных дневников» и стал требовать от автора новых ролей и иных сюжетов. В новых книгах об Ийоне Тихом его все меньше прельщают космические похождения в нелепых цивилизациях отдаленных галактик и все больше заботят судьбы его родной планеты и будущее земной цивилизации. В этой новой для себя роли он и выступает в «Футурологическом конгрессе», а также в большой повести «Профессор Донда» (1976) и в только что законченном «Мире на Земле» (1987); оставаясь столь же находчивым и остроумным, он приобретает вместе с тем бóльшую серьезность и гуманность, а главное — социальную проницательность.

Лишь на первый взгляд, при беглом чтении роман «Футурологический конгресс» может показаться просто забавной фантасмагорией, в которой экскурсы буржуазных футурологов в будущее служат лишь формальным поводом для неистощимого юмора Ст. Лема. В действительности же описываемая в романе фантастическая цивилизация будущего, которую автор называет «псивилизацией» и проецирует в середину XXI века, отнюдь не является досужим домыслом самого Лема. Массовое производство всевозможных химических препаратов для решения, вернее псевдорешения, настоятельных социальных проблем — одна из популярных тем буржуазной футурологии как в то время, когда писался роман «Футурологический конгресс», так и сейчас. Упоминаемые в романе различные галлюциногены, вроде ЛСД, для погру

жения человека в мир иллюзий; растворение в водопроводной сети химических препаратов с целью массового изменения поведения людей; создание химических средств для преображения внешнего вида «цветных» в «белых» в качестве панацеи от расизма; таблетки для усвоения знаний в процессе пищеварения; «черный рынок» запрещенных научных открытий и технических изобретений — все эти, как и многие другие, упоминаемые в романе химические средства манипуляции сознанием и поведением людей отнюдь не выдумка автора: они широко обсуждаются футурологами в их книгах и статьях.

В частности, приводимое в романе изречение (или двустишие): «Нет спасенья без пилюль, говорил святой Иллюль» — явно отсылает к книге известного французского социолога Жака Эллюля «Технологическое общество», которая была опубликована в английском переводе в 1965 году и оказала значительное влияние на западных футурологов как консервативного, так и радикального направлений. Собственно говоря, можно даже утверждать, что основная сюжетная линия «Футурологического конгресса» Ст. Лема начинается там, где завершается книга Эллюля, в которой подвергаются острой критике распространенные и поныне на Западе технократические взгляды на решение социальных проблем.

На последней странице своей книги Эллюль пишет: «Специалисты уверяют нас, что станет возможным воспроизводить убеждение или впечатление о счастье без какого-либо реального основания для него. Итак, наш человек золотого века будет способен к «счастью» среди худших лишений. Зачем же тогда обещать нам экстраординарные комфорт, гигиену, знания и питание, если благодаря простому манипулированию нашей нервной системой мы можем быть счастливы и без них? Последний жалкий мотив, приписываемый нашему техническому авантюризму, таким образом, растворяется в воздухе благодаря существованию самой технологии».

В романе «Футурологический конгресс» технократическая идея, ставящая своей целью модифицировать сознание и поведение людей, включая их эмоции, желания и мысли, доводится до логического конца: она предстает перед нами как бесчеловечная фармокократия, заставляющая людей жить в «поддельном мире».

Написанный семнадцать лет тому назад роман Ст. Лема не утратил своей актуальности и в наше время. При этом речь идет не только о том, что интуиция автора во многом предвосхитила последующее развитие событий на Западе — от покушения на папу римского и разгула терроризма вплоть до отдельных технических изобретений.

Наряду с увлекательным и остроумным сюжетом, несомненным достоинством романа Лема является обличение технократизма, во всех его антигуманных воплощениях! А эта опасность не только остается вполне реальной в наше время, но и еще более возросла со времени написания романа. Арсенал технических средств воздействия на человеческую личность ныне включает в себя не только все более действенные химические препараты, но такие потенциально могущественные и трудно предсказуемые по своим последствиям средства, как генная инженерия и биотехнология в целом.

Вместе с тем, конечно, следует отметить, что описываемый в романе «поддельный мир» не просто иллюзорен и нереален в смысле несоответствия объективной действительности и представлений о ней живущих в нем людей. Он нереален и в том смысле, что практически недостижим. Химические препараты, маскирующие чудовищную действительность, заслоняющие ее от восприятия людей — всякого рода масконы, неомасконы, супермасконы и неосупермасконы — конечно, никогда не смогут поместить все человечество в сумасшедший дом. Ибо одно дело — избирательно корректировать реакции сумасшедших так, чтобы они соответствовали реальной среде их жизни, и совсем другое — заставить всех разумных людей вести себя психически ненормально, вопреки окружающей их действительности.

И возникает далеко не риторический вопрос: если для поддержания людей в мире иллюзий, по приводимым в романе расчетам, требуется по 119 кг масконов в год на человека, или почти по фунту в день на душу, включая младенцев, то разве не проще технически и не гуманней обеспечить их всех таким количеством высококачественных продуктов питания?

Э. АРАБ-ОГЛЫ

■

Из американской фантастики

Научная фантастика XX века — в отличие от фантастики как таковой, восходящей к глубокой древности человечества,— сравнительно молодая разновидность художественной литературы. Однако она уже успела обзавестись собственными «бродячими сюжетами» — набором неких изначальных типовых ситуаций, которые каждый оригинальный писатель-фантаст развивает, «поворачивает» и обыгрывает на свой лад. Скажем, тема оживления и извлечения из прошлого какой-нибудь великой личности не единожды привлекала авторов и ныне представлена в весьма широком диапазоне — от высокопатетического у Брэдбери, обращавшегося к образам своих старших современников, соотечественников и собратьев по ремеслу, Томаса Вулфа («О скитаньях вечных и о Земле») и Эрнеста Хемингуэя («Машина до Килиманджаро»), до гротескно-комического у Азимова, поведавшего о том, как Уильям Шекспир «провалился» у американского шекспироведа на экзамене по собственному творчеству («Бессмертный бард»). Кит Рид преподносит эту сюжетную модель в бытовом, даже семейном освещении; а кто именно вносит смуту в дом деловитого изобретателя-самородка, мечтающего о лаврах доктора философии,— об этом нетрудно догадаться уже по названию ее рассказа.

Не менее, если не более разработан в современной фантастике сюжет о непредсказуемых, чтобы не сказать — зловещих последствиях для души человеческой однонаправленного развития коммерческой индустрии массовых зрелищных развлечений. Тут сказали свое проницательное слово и Брэдбери («451° по Фаренгейту»), и Шекли («Премия за риск»), и Саймак («Театр теней»), и Азимов («Мечты — личное дело каждого»), и многие другие маститые авторы. Но и в их ряду А. Д. Фостер отнюдь не теряется — он сумел предложить новую трактовку темы. В рассказе «На суд зрителей» почти буквально воплощена классическая метафора Бориса Пастернака, созданная, впрочем, в совершенно ином контексте,— метафора Древнего Рима, который

Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

/«О, знал бы я, что так бывает...»/

И логика этого воплощения неоспоримо свидетельствует о порочности обманного постулата, что широковещание насилия и кровопролития средствами массового искусства якобы выполняет в обществе роль своего рода эмоционального ассенизатора, давая «безобидный» выход темным, садистическим и агрессивным инстинктам.

Наконец, рассказ Шекли опирается на сюжетную ситуацию, в фантастике сверхосвоенную,— контакт с инородной цивилизацией. Речь здесь идет о чуждом и несущем тотальное порабощение всему земному разуме. Новелла, разумеется, именно фантастика, а не аллегория, но фантастика послевоенного времени, и ассоциации с недавней историей, когда фашизм практически приступил к насаждению «нового порядка» во всемирном масштабе, возникают при чтении сами собой. Но особо актуально этот написанный более четверти века тому назад рассказ воспринимается в наши дни, отмеченные усиленной пропагандой доктрины «неоглобализма» на родине писателя.

Новеллы, понятно, разные, но есть в них и нечто общее. Все авторы — американцы, и призрак «американской мечты» дает о себе знать, толкая их персонажей на поиски удачи, «золотого дна», причем спектр таких поисков достаточно обширен: от милого чудачества кладоискателей до заведомого мошенничества. В любом из рассказов нетрудно уловить характерную тему присвоения чужого — чужой биографии, чужой боли и смерти, чужой цивилизации, и присвоение не всегда осуществляется с беззастенчивой нахрапистостью: оно происходит и на вполне законном основании, и даже во имя некоей космической целесообразности. Но в каждом случае ему способствуют недоразвитость чувств, ущербность нравственного самосознания персонажей, вызывающие у авторов тревогу.

Надеемся, что нашим читателям небезынтересно будет познакомиться с тремя образцами добротной, серьезной американской фантастики.

ВЛ. АНДРЕЕВ

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Поединок разумов

■

Перевод с английского В. СКОРОДЕНКО

Часть первая

Квидáк наблюдал с пригорка, как тонкий сноп света опускается с неба. Перистый снизу, золотой сноп сиял ярче солнца. Его венчало блестящее металлическое тело скорее искусственного, чем естественного происхождения. Квидак пытался найти ему название.

Слово не вспоминалось. Память затухла в нем вместе с функциями, остались лишь беспорядочные осколки образов. Он перебирал их, просеивал обрывки воспоминаний — развалины городов, смерть тех, кто в них жил, канал с голубой водой, две луны, космический корабль...

Вот оно! Снижается *космический корабль.* Их было много в славную эпоху Квидака.

Славная эпоха канула в прошлое, погребенная под песками. Уцелел только Квидак. Он еще жил, и у него оставалась высшая цель, которая должна быть достигнута. Могучий инстинкт высшей цели сохранился и после того, как истончилась память и замерли функции.

Квидак наблюдал. Потеряв высоту, корабль нырнул, качнулся, включил боковые дюзы, чтобы выровняться, и, подняв облачко пыли, сел на хвост посреди бесплодной равнины.

И Квидак, побуждаемый сознанием высшей цели Квидака, с трудом пополз вниз. Каждое движение отзывалось в нем острой болью. Будь Квидак себялюбивым созданием, он бы не вынес и умер. Но он не знал себялюбия. Квидаки имели свое предназначение во Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом в другие миры, к планетам, где Квидак смог бы обрести новую жизнь и послужить местной фауне.

Он одолевал сантиметр за сантиметром и не знал, хватит ли у него сил доползти до корабля пришельцев, прежде чем тот улетит с этой пыльной и мертвой планеты.

Йенсен, капитан космического корабля «Южный Крест», был по горло сыт Марсом. Они провели тут десять дней, а результат? И ни одной стоящей археологической находки, ни единого обнадеживающего намека на некогда существовавший город — вроде того, что экспедиция «Полариса» открыла на Южном полюсе. Тут были только песок, несколько чахоточных кустиков да пара-другая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время стали три глиняных черепка.

Йенсен поправил кислородную маску. Над косогором показались два возвращающихся астронавта.

— Что хорошего?— окликнул их Йенсен.

— Да вот только,— ответил инженер-механик Вейн, показывая обломок ржавого лезвия без рукоятки.

РОБЕРТ ШЕКЛИ — ROBERT SHECKLEY (род. в 1928 г.)

Автор многих сборников рассказов: «Гражданин вселенной» («Citizen in Space», 1955), «Лавка бесконечности» («Store of Infinity», 1960), «Ловушка для людей...» («The People Trap...», 1968) и др., романов и повестей, в том числе переведены на многие языки, на русском вышли сборники «Паломничество на Землю» (М., 1966), «Рассказы. Повести» (М., 1968, 1984).

Новелла «Поединок разумов» («Meeting of the Minds») впервые была опубликована в журнале «Гэлакси» («Galaxy») и включена автором в его сборник «Осколки пространства» («Shards of Space», 1962).

— И на том спасибо,— сказал Йенсен.— А что у тебя, Уилкс?

Штурман пожал плечами:

— Фотографии местности и больше ничего.

— Ладно,— произнес Йенсен.— Валите все в стерилизатор и будем трогаться.

У Уилкса вытянулось лицо:

— Капитан, разрешите одну-единственную коротенькую вылазку к северу — вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему...

— Исключено,— возразил Йенсен.— Топливо, продовольствие, вода — все рассчитано точно на десять дней. Это на три дня больше, чем было у «Полариса». Стартуем вечером.

Инженер и штурман кивнули. Жаловаться не приходилось: как участники Второй марсианской экспедиции, они могли твердо надеяться на почетную, пусть и маленькую сноску в курсах истории. Они опустили снаряжение в стерилизатор, завинтили крышку и поднялись по лесенке к люку. Вошли в шлюз-камеру. Вейн задраил внешний люк и повернул штурвал внутреннего.

— Постой!— крикнул Йенсен.

— Что такое?

— Мне показалось, у тебя на ботинке что-то вроде большого клопа.

Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурманом оглядели со всех сторон его комбинезон.

— Заверни-ка штурвал,— сказал капитан.— Уилкс, ты ничего такого не заметил?

— Ничегошеньки,— ответил штурман.— А вы уверены, кэп? На всей планете мы нашли только несколько растений, зверьем или насекомыми здесь и не пахло.

— Что-то я видел, готов поклясться,— сказал Йенсен.— Но может, просто почудилось... Все равно надо продезинфицировать одежду перед тем, как войти. Не стоит рисковать — не дай бог, прихватим с собой какого-нибудь марсианского жучка.

Они разделись, сунули одежду и обувь в приемник и тщательно обыскали голую стальную шлюз-камеру.

— Ничего,— наконец констатировал Йенсен.— Ладно, пошли.

Вступив в жилой отсек, они задраили люк и продезинфицировали шлюз. Квидак, успевший проползти внутрь, уловил отдаленное шипение газа. Немного спустя он услышал, как заработали двигатели.

Квидак забрался в темный кормовой отсек. Он нашел металлический выступ и прилепился снизу у самой стенки. Прошло еще сколько-то времени, и он почувствовал, как корабль вздрогнул.

Весь утомительно долгий космический полет Квидак провисел, уцепившись за выступ. Он забыл, что такое космический корабль, но теперь память быстро восстанавливалась. Он погружался то в чудовищный жар, то в ледяной холод. Адаптация к перепадам температуры истощила и без того скудный запас его жизненных сил. Квидак почувствовал, что может не выдержать.

Он решительно не хотел погибать. По крайней мере до тех пор, пока существовала возможность достичь высшей цели Квидака.

Прошло время, и он ощутил жесткую силу тяготения, почувствовал, как снова включились главные двигатели. Корабль садился на родную планету.

После посадки капитана Йенсена и его экипаж, согласно правилам, препроводили в Центр медконтроля, где прослушали, прозондировали и проверили, не гнездится ли в них какой-нибудь недуг.

Корабль погрузили на вагон-платформу и отвезли вдоль рядов межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на Дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса обработали, задраив люки, сильными ядохимикатами. К вечеру корабль переправили на Дегазацию второй ступени, и им занялась спецкоманда из двух человек, оснащенных громоздкими баллонами со шлангами.

Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой. Начали они с носовой части, методично опрыскивая помещения по мере продвижения к корме. Все как будто было в порядке: никаких животных или растений, никаких следов плесени вроде той, какую завезла Первая лунная экспедиция.

— Неужели все это и вправду нужно? — спросил младший дегазатор (он уже подал рапорт о переводе в Диспетчерскую службу).

— А то как же,— ответил старший.— На таких кораблях можно завезти черт знает что.

— Пожалуй,— согласился младший.— А все-таки марсианская жизнь, если она, конечно, есть, вряд ли на Земле уцелеет. Или нет?

— Откуда мне знать?— изрек старший.— Я не биолог. Да биологи, скорее всего, и сами не знают.

— Только время даром тра... Эге!

— В чем дело?— спросил старший.

— По-моему, там что-то есть,— сказал младший.— Какая-то тварь вроде пальмового жука. Вон под тем выступом.

Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком приказал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к выступу, отстегивая второй шланг от заплечного баллона, и, нажав на спуск, распылил облако зеленоватого газа.

— Ну вот,— произнес он,— на твоего жука хватит.— Став на колени, он заглянул под выступ: — Ничего нет.

— Видно, померещилось,— сказал помощник.

Они на пару обработали из распылителей весь корабль, уделив особое внимание маленькому контейнеру с марсианскими находками, и, выйдя из заполненной газом ракеты, задраили люк.

— Что дальше?— спросил помощник.

— Дальше корабль простоит закупоренным трое суток,— ответил старший дегазатор,— после чего мы проведем вторичный осмотр. Ты найди мне тварь, которая протянет три дня в эдаких условиях!

Все это время Квидак висел, прилепившись к ботинку младшего дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился и, прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку человеческих голосов, следил, как удаляются двуногие темные фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество.

Но его поддерживала мысль о высшей цели Квидака. Остальное не имело значения. Первый этап в достижении цели остался позади: он успешно высадился на обитаемой планете. Сейчас ему требовались вода и пища. Затем — отдых, основательный отдых, чтобы восстановить уснувшие способности. И тогда он сможет дать этому миру то, чего ему так явно недостает,— сообщество, которое способен основать один лишь Квидак.

Он медленно пополз через темную площадку, мимо пустых махин космических кораблей, добрался до проволочной ограды и ощутил, что по проволоке пропущен ток высокого напряжения. Тщательно рассчитав траекторию, Квидак благополучно проскочил в ячейку.

Этот участок оказался совсем другим. Квидак почуял близко воду и пищу. Он торопливо пополз вперед — и остановился.

Ощущалось присутствие человека. И что-то еще, куда более грозное.

— Кто там?— окликнул охранник. Он застыл с револьвером в одной руке и фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли воры и сперли три ящика с частями для ЭВМ, ожидавшими отправки в Рио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено.

Охранник приблизился — старик с зорким взглядом и крепкой хваткой. Луч фонарика пробежал по грузам, вспыхнул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков повышенной точности для Южной Африки, скользнул по водозаборному устройству (получатель — Иордания) и куче разносортного груза назначением в Рабаул.

— Выходи, а то хуже будет,— крикнул охранник. Луч выхватил из темноты мешки риса (порт доставки Шанхай), партию электропил для Бирмы — и замер.

— Тьфу ты, черт,— пробормотал охранник и рассмеялся. Перед ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса. В зубах она держала какого-то необычно большого таракана.

— Приятного аппетита,— сказал охранник и, засунув револьвер в кобуру, возобновил обход.

Большой черный зверь сцапал Квидака, и твердые челюсти сомкнулись у него на спинке. Квидак попробовал сопротивляться, но внезапный луч желтого света ослепил его, и он впал в прострацию.

Желтый свет удалился. Зверь сжал челюсти, пытаясь прокусить Квидаку пан-

цирь. Квидак собрал последние силы и, распрямив свой длинный в сегментах, как у скорпиона, хвост, нанес удар.

Он промахнулся, но черный зверь сразу же его выпустил. Квидак задрал хвост, изготовившись для второго удара, а зверь принялся кружить вокруг него, не желая упустить добычу.

Квидак выжидал подходящий момент. Его переполняло ликование. Это агрессивное существо может стать первым — первым на всей планете,— приобщенным к высшей цели Квидака. Эта ничтожная зверушка положит начало...

Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Квидак увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился концевыми шипами зверю к спине. Зверь метался и прыгал, но Квидак упорно держался, сосредоточившись на первоочередной задаче — пропустить через хвостовой канал белый кристаллик и вогнать его зверю под шкуру.

Но эта важнейшая из способностей Квидака все еще к нему не вернулась. Не в силах добиться желаемого, Квидак втянул шипы, старательно нацелился и ужалил черного зверя точно между глаз. Удар, как он знал, будет смертельным.

Квидак насытился убитым противником. Особой радости он при этом не испытывал — Квидак предпочитал растительную пищу. Окончив трапезу, он понял, что ему жизненно необходим долгий отдых. Только отдых мог полностью восстановить способности и силы Квидака.

В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на площадке. Обследовав несколько тюков, он наконец добрался до штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие, в которое как раз смог протиснуться.

Квидак вполз в ящик и по блестящей, скользкой от смазки поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. Там он погрузился в глубокий, без сновидений сон Квидаков, безмятежно положившись на то, что́ принесет с собой будущее.

Часть вторая

I

Большая остроносая шхуна держала курс прямо на остров в кольце рифа, приближаясь к нему со скоростью экспресса. Могучие порывы северо-восточного ветра надували ее паруса, из люка, закрытого решеткой тикового дерева, доносился грохот ржавого дизеля марки «Элисон-Чемберс». Капитан и помощник стояли на мостике, разглядывая надвигавшийся риф.

— Что-нибудь видно?— спросил капитан, коренастый лысеющий человек с постоянно насупленными бровями. Вот уже двадцать пять лет он водил свою шхуну вдоль и поперек юго-западной Океании с ее не обозначенными на картах мелями и рифами. И хмурился он оттого, что никто не брался страховать его старую посудину. Их палубный груз, однако, *был* застрахован, и часть этого груза проделала путь от самого Огденсвилла, перевалочной базы в пустыне, где приземлялись космические корабли.

— Ничего,— ответил помощник.

Он впился глазами в ослепительно белый коралловый барьер, высматривая синий просвет, который укажет узкий проход в лагуну. Для помощника это было первое плавание к Соломоновым островам. До того, как им овладела страсть к путешествиям, он работал в Сиднее мастером по ремонту телевизоров; сейчас он решил, что капитан спятил и собирается учинить эффектное смертоубийство, бросив судно на рифы.

— По-прежнему ничего! — крикнул он.— Банки по курсу!

— Пусти-ка меня,— сказал капитан рулевому. Он крепко сжал штурвал и уперся взглядом в сплошную стену рифа.

— Ничего,— повторил помощник.— Капитан, лучше развернуться.

— Нет, а то не проскочим,— ответил капитан. Он начинал тревожиться. Но он обещал группе американцев-кладоискателей доставить груз на этот самый остров, а капитан был хозяином своего слова. Груз он получил в Рабауле, заглянул, как обычно, к поселенцам на Нью-Джорджию и на Малаиту и заранее предвкушал тысячемильное плавание к Новой Каледонии, которое ожидало его после захода на этот остров.

— Вот он!— заорал помощник.

В коралловом барьере прорезалась узенькая голубая полоска. Их отделяло от нее менее тридцати ярдов, и старая шхуна шла со скоростью около восьми узлов.

Когда судно входило в проход, капитан резко крутанул штурвал, и шхуну развернуло на киле. По обе стороны мелькнул коралл, едва не задев обшивки. Раздался металлический скрежет: верхний рей грот-мачты, спружинив, чиркнул по скале, и они очутились в проходе со встречным течением в шесть узлов.

Помощник запустил двигатель на полную силу и вспрыгнул на мостик помочь капитану управиться со штурвалом. Под парусом и на дизельной тяге шхуна одолела проход, царапнув левым бортом о коралловый риф, и вошла в спокойные воды лагуны.

Капитан вытер лоб большим платком в горошек.

— Чистая работа,— произнес он.

— Ничего себе *чистая*! — взвыл помощник и отвернулся. По лицу капитана пробежала улыбка.

Они миновали стоящий на якоре маленький кеч[1]. Матросы-туземцы убрали парус, и шхуна ткнулась носом в рахитичный причал, отходивший от песчаного берега. Швартовы привязали прямо к стволам пальм. Из начинавшихся сразу над пляжем джунглей появился белый мужчина и быстрым шагом направился к шхуне под полуденным солнцем.

Он был худой и очень высокий, с узловатыми коленями и локтями. Злое солнце Меланезии и наградило его не загаром, а ожогами — у него облезла кожа на носу и скулах. Его роговые очки со сломанной дужкой скрепляла полоска лейкопластыря. Вид у него был энергичный, по-мальчишески задорный и невероятно простодушный.

Тоже мне охотник за сокровищами, подумал помощник.

— Рад вас видеть!— крикнул высокий.— А мы уж было решили, что вы совсем сгинули.

— Еще чего,— ответил капитан.— Мистер Соренсен, познакомьтесь с моим новым помощником, мистером Уиллисом.

— Очень рад, профессор,— сказал помощник.

— Я не профессор,— поправил Соренсен,— но все равно спасибо.

— Где остальные?— поинтересовался капитан.

— Там, в лесу,— ответил Соренсен.— Все, кроме Дрейка, он сейчас подойдет. Вы у нас долго пробудете?

— Только разгружусь,— сказал капитан.— Нужно поспеть к отливу. Как сокровища?

— Мы хорошо покопали и не теряем надежды.

— Но дублонов пока не выкопали? Или золотых песо?

— Ни единого, черт их побери,— устало промолвил Соренсен.— Вы привезли газеты, капитан?

— А как же,— ответил тот.— Они у меня в каюте. Вы слыхали о втором корабле на Марс?

— Слышал, передавали на коротких волнах,— сказал Соренсен.— Не очень-то много они там нашли, а?

— Можно сказать, ничего не нашли. Но все равно, только подумать! *Два* корабля на Марс, и, я слыхал, собираются запустить еще один — на Венеру.

Все трое огляделись и ухмыльнулись.

— Да,— сказал капитан,— по-моему, до юго-западной Океании космический век еще не добрался. А уж до *этого места* и подавно. Ну ладно, займемся грузом.

«Этим местом» был остров Вуану, самый южный из Соломоновых, рядом с архипелагом Луизиада. Это был остров вулканического происхождения, довольно большой — около двадцати миль в длину и несколько в ширину. Когда-то тут располагалось с полдюжины туземных деревушек, но после опустошительных налетов работорговцев в 1850-х годах население начало сокращаться. Эпидемия кори унесла почти всех оставшихся, а уцелевшие туземцы перебрались на Нью-Джорджию. Во время второй мировой войны тут устроили наблюдательный пункт, но корабли сюда не заходили. Японское вторжение захватило Новую Гвинею, самые северные из Соломоновых островов и прокатилось еще дальше на север через Микронезию. К концу войны Вуану оставался все таким же заброшенным. Его не превратили ни в птичий заповедник, как остров Кантон, ни в ретрансляционную станцию, как остров Рождества, ни в заправочный пункт, как один из Кокосовых. Он никому не понадобился даже под полигон для испытания атомной, водородной или иной бомбы. Вуану представлял собой никудышный, сырой, заросший участок суши, где мог хозяйничать всякий, кому захочется.

[1] Небольшое двухмачтовое парусное судно грузоподъемностью 100—200 тонн

Уильяму Соренсену, директору-распорядителю сети виноторговых магазинов в Калифорнии, захотелось похозяйничать на Вуану.

У Соренсена была страсть — охота за сокровищами. В Луизиане и Техасе он искал сокровища Лафитта, а в Аризоне — Забытый Рудник Голландца. Ни того, ни другого он не нашел. На усеянном обломками берегу Мексиканского залива ему повезло несколько больше, а на крошечном островке в Карибском море он нашел две пригоршни испанских монет в прогнившем парусиновом мешочке. Монеты стоили около трех тысяч долларов, экспедиция обошлась много дороже, но Соренсен считал, что затраты окупились с лихвой.

Много лет ему не давал покоя испанский галеон «Святая Тереза». По свидетельствам современников, судно отплыло из Манилы в 1689 году, доверху груженное золотом. Неповоротливый корабль угодил в шторм, был снесен к югу и напоролся на риф. Восемнадцать человек, уцелевших при крушении, ухитрились выбраться на берег и спасти сокровище. Они закопали золото и в корабельной шлюпке отплыли под парусом на Филиппины. Когда шлюпка достигла Манилы, в живых оставалось всего двое.

Островом сокровищ предположительно должен был быть один из Соломоновых. Но какой именно?

Этого не знал никто. Кладоискатели разыскивали тайник на Бугенвиле и Буке. Поговаривали, что он может оказаться на Малаите. Добрались даже до атолла Онтонг-Джава. Никаких сокровищ, однако, не обнаружили.

Основательно изучив проблему, Соренсен пришел к выводу, что «Святая Тереза», по всей вероятности, умудрилась проплыть между Соломоновыми островами чуть ли не до архипелага Луизиада и тут только разбилась о риф Вуану.

Мечта поискать сокровища на Вуану так бы и осталась мечтой, не повстречай Соренсен Дэна Дрейка — еще одного из той же породы кладоискателей-любителей и к тому же, что важнее,— владельца пятидесятипятифутового кеча.

Так в один прекрасный вечер за рюмкой спиртного родилась экспедиция на Вуану

Они подобрали еще несколько человек. Привели кеч в рабочее состояние. Скопили деньги, собрали снаряжение. Продумали, где еще в юго-западной Океании мог быть захоронен тайник. Наконец согласовали отпуска, и экспедиция отбыла по назначению.

Они вот уже три месяца работали на Вуану и пребывали в добром настроении, несмотря на неизбежные в такой маленькой группе трения и разногласия. Шхуна, доставившая припасы и груз из Сиднея и Рабаула, была их единственной связью с цивилизованным миром на ближайшие полгода.

Экипаж занимался выгрузкой под надзором Соренсена. Он нервничал, опасаясь, как бы в последнюю минуту не грохнули какой-нибудь механизм, который везли сюда за шесть с лишним тысяч миль. О замене не могло быть и речи, так что, если они чего не досчитаются, придется им без этого как-то обходиться. Он с облегчением вздохнул, когда последний ящик — в нем был детектор металла — благополучно переправили через борт и втащили на берег выше отметки максимального уровня прилива.

С этим ящиком вышла небольшая накладка. Осмотрев его, Соренсен обнаружил в одном углу дырку с двадцатицентовую монету; упаковка оказалась с брачком.

Подошел Дэн Дрейк, второй руководитель экспедиции.

— Что стряслось?— спросил он.

— Дырка в ящике,— ответил Соренсен.— Может, попала морская вода. Весело нам придется, если детектор начнет барахлить.

— Давай вскроем и поглядим,— кивнул Дрейк. Это был низкорослый, широкоплечий, дочерна загоревший брюнет с редкими усиками и короткой стрижкой. Старая шапочка яхтсмена, которую он натягивал до самых глаз, придавала ему сходство с упрямым бульдогом. Он извлек из-за пояса большую отвертку и вставил в отверстие.

— Не спеши,— остановил его Соренсен.— Оттащим-ка сперва его в лагерь. Ящик нести легче, чем аппарат в смазке.

— И то верно,— согласился Дрейк.— Берись с другого конца.

Лагерь был разбит в ста ярдах от берега, на вырубке, где находилась брошенная туземцами деревушка. Кладоискатели сумели заново покрыть пальмовым листом несколько хижин. Стоял тут и старый сарай для копры под кровом из оцинкованного железа — в нем они держали припасы. Сюда даже долетал слабый ветерок с моря. За вырубкой сплошной серо-зеленой стеной поднимались джунгли.

Соренсен и Дрейк опустили ящик на землю. Капитан — он сопровождал их и нес газеты — посмотрел на хилые лачуги и покачал головой.

— Не хотите промочить горло, капитан?— спросил Соренсен.— Вот только льда у нас нет.

— Не откажусь,— сказал капитан. Он не мог понять, что за сила гонит людей в такую забытую богом дыру в погоне за мифическими испанскими сокровищами.

Соренсен вынес из хижины бутылку виски и алюминиевую кружку. Дрейк, вооружившись отверткой, сосредоточенно вскрывал ящик.

— Как на вид?— спросил Соренсен.

— Нормально,— ответил Дрейк, осторожно извлекая детектор.— Смазки не пожалели. Повреждений вроде бы нет...

Он отпрыгнул, а капитан шагнул и с силой вогнал каблук в песок.

— В чем дело? — спросил Соренсен.

— Похоже, скорпион,— сказал капитан.— Выполз прямо из вашего ящика. Мог и ужалить кого. Мерзкая тварь!

Соренсен пожал плечами. За три месяца на Вуану он привык к тому, что кругом кишат насекомые, так что еще одна тварь погоды не делала.

— Повторить?— предложил он.

— И хочется, да нельзя,— вздохнул капитан.— Пора отчаливать. У вас все здоровы?

— Пока что все,— ответил Соренсен и, улыбнувшись, добавил:— Если не считать запущенных случаев золотой лихорадки.

— Здесь вам ни в жизнь золота не найти,— убежденно произнес капитан.— Через полгодика загляну вас проведать. Удачи!

Обменявшись с ними рукопожатиями, капитан спустился к лагуне и поднялся на шхуну. Когда закат тронул небо первым розоватым румянцем, судно отчалило. Соренсен и Дрейк провожали его глазами, пока оно одолевало проход. Еще несколько минут его мачты просматривались над рифом, потом скрылись за горизонтом.

— Ну,— сказал Дрейк,— вот мы, сумасшедшие американцы-кладоискатели, и снова одни.

— Тебе не кажется, что он что-то почуял?— спросил Соренсен.

— Уверен, что нет. Мы для него — безнадежные психи.

Они ухмыльнулись и взглянули на лагерь. Под сараем для копры было зарыто золотых и серебряных слитков примерно на пятьдесят тысяч долларов. Их откопали в джунглях, перенесли в лагерь и снова аккуратно закопали. В первый же месяц экспедиция обнаружила часть сокровищ со «Святой Терезы», и все указывало на то, что найдутся и остальные. А так как по закону никаких прав на остров у них не было, они совсем не спешили трубить об успехе. Стоит известию просочиться, как алчущие золота бродяги от Перта до Папеэте все как один ринутся на Вуану.

— Скоро и ребята придут,— сказал Дрейк.— Поставим мясо тушиться.

— Самое время,— ответил Соренсен. Он прошел несколько шагов и остановился:— Странно.

— Что странно?

— Да этот скорпион, которого раздавил капитан. Он исчез.

— Значит, капитан промазал,— сказал Дрейк.— А может, только вдавил его в песок. Нам-то что за забота?

— Да, в общем, никакой,— согласился Соренсен.

II

Эдвард Икинс шел по зарослям, закинув на плечо лопату с длинной ручкой, и задумчиво сосал леденец. Первый за много месяцев леденец казался ему пищей богов. Настроение у него было прекрасное. Накануне шхуна доставила не только инструменты и запчасти, но также продукты, сигареты и сладости. На завтрак у них была яичница с настоящей свиной грудинкой. Еще немного — и экспедиция приобретет вполне цивилизованный облик.

Рядом в кустах что-то зашуршало, но Икинс шел своей дорогой, не обращая внимания.

Это был худой сутуловатый человек, рыжеволосый, дружелюбный, с бледно-голубыми глазами. Он не умел располагать к себе и понимал, как ему повезло, что его взяли в экспедицию. Хозяин бензоколонки, он был беднее других и не смог полностью внести в общий котел свою долю, из-за чего его до сих пор грызла совесть. В экспедицию его взяли потому, что он был страстным и неутомимым охотником за сокровищами и хорошо знал джунгли. Не меньшую роль сыграло и то, что он оказался опыт-

ным радистом и вообще мастером на все руки. Передатчик на кече работал у него безотказно, несмотря на морскую соль и плесень.

Теперь он, понятно, мог внести свой пай целиком. Но раз они и в самом деле разбогатели, это *теперь* уже не считалось. Вот если б найти какой-нибудь способ...

В кустах снова зашуршало.

Икинс остановился и подождал. Кусты дрогнули, и на тропинку вышла мышь.

Икинс остолбенел. Мыши, как большинство диких зверушек на острове, боялись человека. Они хоть и кормились на лагерной помойке, когда крысы первыми не добирались до отбросов, однако старательно избегали встречи с людьми.

— Шла бы ты себе домой,— посоветовал Икинс мыши.

Мышь уставилась на Икинса. Икинс уставился на мышь. Хорошенький светло-шоколадный зверек величиной не больше четырех-пяти дюймов вовсе не выглядел испуганным.

— Пока, мышенция,— сказал Икинс,— некогда мне, у меня работа.

Он переложил лопату на другое плечо и повернулся, чтобы идти. Поворачиваясь, он краем глаза уловил, как метнулось коричневое пятнышко, и инстинктивно отпрянул. Мышь проскочила мимо, развернулась и подобралась для повторного прыжка.

— Ты что, спятила? — осведомился Икинс.

Мышь ощерила крохотные зубки и прыгнула. Икинс отбил нападение.

— А ну, вали отсюда к чертовой матери,— сказал он. Ему подумалось: может, она и вправду сошла с ума или взбесилась?

Мышь изготовилась для новой атаки. Икинс поднял лопату и замер, выжидая. Когда мышь прыгнула, он встретил ее точно рассчитанным ударом. Потом скрепя сердце осторожно добил.

— Нельзя же, чтобы бешеная мышь разгуливала на воле,— произнес он. Но мышь не походила на бешеную — она просто была очень целеустремленной.

Икинс поскреб в затылке. А все-таки, подумал он, что же вселилось в эту мелкую тварь?

Вечером в лагере рассказ Икинса был встречен взрывами хохота. Поединок с мышью — такое было вполне в духе Икинса. Кто-то предложил ему впредь ходить с ружьем — на случай, если мышиная родня надумает отомстить. В ответ Икинс только сконфуженно улыбался.

Два дня спустя Соренсен и Эл Кейбл в двух милях от лагеря заканчивали утреннюю смену на четвертом участке. На этом месте детектор показал залегание. Они углубились уже на семь футов, но пока что накопали лишь большую кучу желтовато-коричневой земли.

— Видимо, детектор наврал,— сказал, устало вытирая лицо, Кейбл, дородный человек с младенчески-розовой кожей. На Вуану он спустил вместе с потом двадцать фунтов веса, подхватил тропический лишай в тяжелой форме и по горло насытился охотой за сокровищами. Ему хотелось одного — поскорей очутиться у себя в Балтиморе, в своем насиженном кресле хозяина агентства по продаже подержанных автомобилей. Об этом он заявлял решительно, неоднократно и в полный голос. В экспедиции он единственный оказался плохим работником.

— С детектором все в порядке,— возразил Соренсен.— Тут, на беду, почва болотистая. Тайник, должно быть, ушел глубоко в землю.

— Можно подумать, на все сто футов,— отозвался Кейбл, со злостью всадив лопату в липкую грязь.

— Что ты,— сказал Соренсен,— под нами базальтовая скала, а до нее самое большое двадцать футов.

— Двадцать футов! Зря мы не взяли на остров бульдозер.

— Пришлось бы выложить круглую сумму,— примирительно ответил Соренсен.— Ладно, Эл, давай собираться, пора в лагерь.

Соренсен помог Кейблу выбраться из ямы. Они обтерли лопаты и направились было к узкой тропе, что вела в лагерь, но тут же остановились.

Из зарослей, преградив им дорогу, выступила огромная безобразного вида птица.

— Это что еще за диковина? — спросил Кейбл.

— Казуар.

— Ну так наподдадим ему, чтоб не торчал на дороге, и пойдем себе.

— Полегче,— предупредил Соренсен.— Если кто кому и наподдаст, так это он нам. Отступаем без паники.

Это была черная, похожая на страуса птица высотой в добрых пять футов, на мощных ногах. Трехпалые лапы заканчивались внушительными кривыми когтями. У птицы были короткие недоразвитые крылья и желтоватая костистая головка; с шеи свешивалась яркая красно-зелено-фиолетовая бородка.

— Он опасный? — спросил Кейбл.

Соренсен утвердительно кивнул:

— На Новой Гвинее эти птицы, случалось, насмерть забивали аборигенов.

— Почему мы до сих пор его не видали?

— Обычно они очень робкие,— объяснил Соренсен,— и держатся от людей подальше.

— Этого-то робким не назовешь,— сказал Кейбл, когда казуар шагнул им навстречу.— Мы сможем удрать?

— Они бегают много быстрей,— ответил Соренсен.— Ружья ты с собой, конечно, не взял?

— Конечно нет. Кого тут стрелять?

Пятясь, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В кустах хрустнуло, и появился муравьед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесня их к плотной завесе зарослей.

— Они нас гонят,— голос Кейбла сорвался на визг.

— Спокойнее,— сказал Соренсен.— Остерегаться нужно одного казуара.

— А муравьеды опасны?

— Только для муравьев.

— Черта с два,— сказал Кейбл.— Билл, на этом острове все животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?

— Помню,— ответил Соренсен. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром, за спиной были джунгли и то неизвестное, к которому их оттесняли.

— Придется рискнуть и пойти на прорыв,— сказал Соренсен.

— Проклятая птица загородила дорогу.

— Придется ее сбить,— решил Соренсен.— Берегись лапы. Побежали!

Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар замешкался, не в силах выбрать, потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся по касательной. Раздался звук вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь.

Соренсен взмахнул лопатой и заточенным ее краем почти снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед и свинья. От них он отбился лопатой. Затем — и откуда только силы взялись? — наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе.

Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Соренсен занялся пострадавшим.

Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена. Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало.

— Где Дрейк? — спросил Соренсен.

— На той стороне, удит рыбу на северном берегу,— ответил Том Рисетич.— Сбегать позвать?

Соренсен подумал, потом сказал:

— Нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие. А уж *затем* попробуем найти Дрейка.

— Послушай, что у нас тут происходит? — спросил Рисетич.

И Соренсен рассказал им о том, что случилось на четвертом участке.

В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на ловлю с маской и гарпунным ружьем. Но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он скрепя сердце отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега.

Закрепив лесы, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Оро был

добродушным существом неопределенной породы — отчасти эрдель, отчасти терьер, отчасти бог весть что. Вдруг он зарычал.

— Не лезь к крабам,— крикнул Дрейк,— доиграешься: снова клешни отведаешь.

Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона.

— Оро, брось эту гадость...

Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Оро на шее и ударило своим членистым хвостом. Оро коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли.

— Тихо, старина,— сказал Дрейк.— Смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Дай-ка мы ее вскроем.

Он крепко обнял пса — тот часто и быстро дышал — и извлек кортик. Однажды ему уже приходилось оперировать Оро — в Центральной Америке, когда того ужалила змея; а на Адирондаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся.

На этот раз собака вцепилась ему в руку.

— Оро!

Свободной рукой Дрейк сжал псу челюсти у основания, сильно нажал и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Высвободив руку, он отпихнул Оро. Пес поднялся и пошел на хозяина.

— Стоять! — крикнул Дрейк. Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды.

Обернувшись, Дрейк увидел, что «скорпион» снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем пес носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на «скорпиона».

Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в «скорпиона», но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и могла прыгнуть в любую секунду.

Дрейк ринулся к океану. Оро попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги, бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы.

III

В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы. Извлекли и повесили на грудь полевые бинокли. Разделили патроны. Мигом разобрали все имевшиеся ножи, мачете и топоры. Распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками.

Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным выводам.

— Уж не хочешь ли ты сказать,— вопросил Кейбл,— что все это вытворяет какая-то *букашка?*

— Похоже на то,— ответил Соренсен.— Приходится допустить, что насекомое способно управлять чужим сознанием — с помощью там гипноза или, может быть, телепатии.

— Сперва ему нужно ужалить,— добавил Дрейк.— С Оро так и случилось.

— У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим стоит скорпион,— сказал Рисетич.

— Это не скорпион,— возразил Дрейк.— Я его видел вблизи. Хвост напоминает скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и тельце другое. Присмотреться, так он вообще ни на что не похож, мне такого не доводилось встречать.

— Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова? — спросил Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса.

— Вряд ли,— ответил Дрейк.— Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?

— Верно,— сказал Соренсен.— Все беды начались после прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла откуда-то эт... Постойте!

— Что такое? — спросил Дрейк.

— Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан, он еще выполз из ящика с детектором? Тебе не кажется, что это та самая тварь?

Дрейк пожал плечами:

— Вполне возможно. Но по-моему, для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть.

— Она управляет зверьем,— сказал Бирнс.— Интересно, а человеком она сможет управлять?

Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появления зверя или «скорпиона».

Соренсен произнес:

— Имеет смысл попросить по радио о помощи.

— Если попросим,— сказал Ричетич,— кто-нибудь мигом разнюхает про сокровища «Святой Терезы». Нас обставят — чихнуть не успеем.

— Возможно,— ответил Соренсен.— Но и на самый худой конец наши затраты окупились, набегает даже маленькая прибыль.

— А если нам не помогут,— добавил Дрейк,— мы, чего доброго, и вывезти-то отсюда ничего не сумеем.

— Не так уж все страшно,— возразил Бирнс.— У нас есть оружие, со зверями как-нибудь да управимся.

— Ты еще этой твари не видел,— заметил Дрейк.

— Мы ее раздавим.

— Это не так-то легко,— сказал Дрейк.— Она дьявольски юркая. И как, интересно, ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь? Выставляй часовых — они ее даже и не заметят.

Бирнс невольно поежился:

— М-да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по радио.

— Ладно, ребята,— сказал, поднимаясь, Икинс,— я так понимаю, что это по моей части. Дай бог, чтоб аккумуляторы на кече не успели сесть.

— Туда идти опасно,— сказал Дрейк.— Будем тянуть жребий.

Предложение развеселило Икинса:

— Значит, тянуть? А кто из вас сможет работать на передатчике?

— Я смогу,— заявил Дрейк.

— Ты не обижайся,— сказал Икинс,— но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь — как ты отстучишь сообщение? А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее наладить?

— Нет,— ответил Дрейк.— Но дело очень рискованное. Пойти должны все.

Икинс покачал головой:

— Как ни крути, а самое безопасное — если вы прикроете меня с берега. До кеча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась.

Икинс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками наизготовку. Икинс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны.

Они видели, как он пришвартовался к кечу, с минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку люка и исчез внизу.

— Все в порядке? — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству.

— Пока что да,— ответил Икинс; голос его звучал тонко и резко.— Включаю передатчик. Через пару минут нагреется.

Дрейк толкнул Соренсена:

— Погляди-ка.

На рифе по ту сторону кеча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к кечу.

— Стреляйте! — скомандовал Соренсен.— Икинс, выбирайся оттуда!

— У меня заработал передатчик,— ответил Икинс.— Минута-другая — и я отстучу сообщение.

Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две уцелевшие успели доплыть до кеча и укрыться за ним. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду, дикая свинья — за ним следом.

В устройстве послышался треск атмосферных помех.

— Икинс, ты отправил сообщение? — спросил Соренсен.

— Нет, Билл,— отозвался Икинс.— И послушай, никаких сообщений *не надо!* Этому «скорпиону» нужно...

Звук оборвался.

— Что там у тебя? — крикнул Соренсен.— Что происходит?

Икинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме.

— Раки-отшельники,— объяснил он,— взобрались по якорному канату. Я думаю возвращаться вплавь.

— Не стоит,— сказал Соренсен.

— Придется,— возразил Икинс.— По-моему, они припустят за мной. А вы все плывите сюда *и заберите передатчик.* Доставьте его на остров.

В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников — серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Икинсом. С кеча лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Икинсом, пытаясь первыми добраться до берега.

— Живей,— бросил Соренсен.— Не знаю, что там выяснил Икинс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик.

Они подбежали к воде и столкнули баркас. За две сотни ярдов от них, на дальнем конце пляжа, Икинс выбрался на сушу. Звери почти что настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к себе аппарат.

— Икинс,— позвал Соренсен.

— У меня все в порядке,— ответил тот, с трудом переводя дыхание.— Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы!

Кладоискатели поднялись на кеч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу. Последним поднялся Дрейк с двенадцативольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал — и спустился еще раз.

— Дрейк! — заорал Соренсен.— Хватит, ты всех задерживаешь!

Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас он прыгнул следом.

— Порядок,— сказал он.— Отчаливай.

Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Икинса.

— Меня окружили,— сообщил тот вполголоса.— Похоже, мне-таки доведется узнать, что нужно мистеру «скорпиону». Правда, может, я первый его припечатаю.

Наступило продолжительное молчание, затем Икинс произнес:

— Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал. Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к чер...

Они услышали, как он вскрикнул — скорее от удивления, чем от боли.

Соренсен спросил:

— Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?

— Он и *вправду* верткий,— отозвался Икинс своим обычным голосом.— Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков...

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Соренсен.

— Хорошо. Было почти не больно.

— Где «скорпион»?

— Удрал в заросли.

— А звери?

— Ушли. Знаешь,— сказал Икинс,— может, людей эта тварь не берет. Может...

— Что? — спросил Соренсен.— Что с тобой происходит?

Наступило долгое молчание, потом раздался негромкий, спокойный голос Икинса:

— Мы поговорим позднее. А сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать.

— Икинс!

Ответа не последовало.

IV

В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом, а размышлять на эту тему никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце, отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились; казалось, они, как огромный сонный зеленый дракон, исподволь подбираются к людям, тесня их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться; вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов.

Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать.

Затем наступит черед последней линии обороны — хижин и сарая для копры. Далее — берег и океан.

Три с половиной месяца они были на острове полновластными хозяевами, теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной полоске берега.

Через плечо Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со своим проклятым зверинцем, они смогут удрать на кече. Если повезет.

Подошел Соренсен и присел рядом.

— Что поделываешь? — спросил он.

Дрейк кисло усмехнулся:

— Разрабатываю генеральный стратегический план.

— Ну и как?

— Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно, не дадим этой твари выставить нас с острова.— Дрейк на минуту задумался: — Но искать сокровище станет безумно сложно.

Соренсен кивнул.

— Хотел бы я узнать, что ей нужно.

— Может, узнаем от Икинса,— заметил Дрейк.

Пришлось подождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно-резко:

— Соренсен? Дрейк?

— Слушаем,— отозвался Дрейк.— Что тебе сделала эта проклятая тварь?

— Ничего,— ответил Икинс.— Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидак.

— Господи,— обратился Дрейк к Соренсену,— видно, «скорпион» его загипнотизировал!

— Нет. Вы говорите не с Икинсом под гипнозом. И не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком. И не с прежним Икинсом — его больше не существует. Вы говорите со многими особями, которые суть одно.

— Я что-то не пойму,— сказал Дрейк.

— Это очень просто,— ответил голос Икинса.— Я Квидак, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Оро, свинья, муравьед, казуар...

— Погоди,— перебил Соренсен,— я хочу разобраться. Значит, я сейчас разговариваю *не* с Икинсом. Я разговариваю — как это — с Квидаком?

— Правильно.

— И вы — это Икинс и все другие? Вы говорите устами Икинса?

— Тоже правильно. Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются. Совсем наоборот. Квидак — это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимое мироощущение Квидаку как целому. Квидак — координирующий и управляющий центр, но знания, постижение, специфические навыки — все это обеспечивают индивидуальные составляющие. А все вместе мы образуем Великое Сообщество.

— Сообщество? — переспросил Дрейк.— Но вы же добиваетесь этого принуждением!

— На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как другие существа узнают про Великое Сообщество?

— А они в нем останутся, если вы отключите контроль? — спросил Дрейк.

— Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать?

— Это не одно и то же.

— Одно и то же,— произнес голос Икинса.— Мы единый организм. Мы находимся в процессе роста. И мы от всего сердца приглашаем вас в наше Великое Сообщество.

— К чертовой матери! — отрезал Дрейк.

— Но вы просто обязаны влиться,— настаивал Квидак.— Высшая цель Квидака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретете! Вам откроются мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Квидака вы сможете полностью реализовать свои потенциальные...

— Нет!

— Жаль,— произнес Квидак.— Высшая цель Квидака должна быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь?

— Ни за что! — ответил Дрейк.

— В таком случае *мы* сольемся с *вами*,— сказал Квидак.

Раздался щелчок — он выключил устройство.

Из зарослей вышли несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули. Вверху появилась райская птица; она парила над расчищенным участком совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели, крысы, петляя, рванулись к лагерю.

— Открывайте огонь,— скомандовал Дрейк,— но берегите боеприпасы.

Началась стрельба. Целиться в юрких крыс да еще на фоне серовато-коричневой почвы было очень трудно. К крысам тут же присоединилась дюжина раков-отшельников. Выказывая недюжинную хитрость, они бросались вперед именно тогда, когда в их сторону никто не глядел, а в следующую секунду замирали, сливаясь с защитным фоном.

Из джунглей вышел Икинс.

— Гнусный предатель,— сказал Кейбл, ловя его на мушку.

Соренсен ударом по стволу сбил прицел:

— Не смей!

— Но ведь он помогает этой твари!

— От него это не зависит,— сказал Соренсен.— К тому же он безоружный. Оставь его в покое.

Понаблюдав с минуту, Икинс скрылся в зарослях.

Атакующие крысы и раки одолели половину расчищенного участка. Однако на близком расстоянии прицеливаться стало легче, и рубеж в двадцать ярдов им так и не удалось взять. Когда же Рисетич подстрелил райскую птицу, наступление вообще захлебнулось.

— А знаешь,— сказал Дрейк,— мне кажется, мы выкрутимся.

— Возможно,— ответил Соренсен.— Не понимаю, чего Квидак хочет этим добиться. Он же знает, что нас так просто не возьмешь. Можно подумать...

— Глядите! — крикнул кто-то из обороняющихся.— Наш корабль!

Они оглянулись и поняли, зачем Квидак организовал нападение.

Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл к кечу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе, кеч дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударилось — сперва легко, потом крепче и через минуту, резко накренившись, прочно засело в кораллах.

В устройстве затрещало, и Соренсен поднял его с земли. Квидак сообщил:

— Кеч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность.

— Черта с два,— огрызнулся Дрейк.— А если в нем, чего доброго, пробило сквозную дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидак? Или вы намерены так здесь и осесть?

— В свое время я непременно отбуду,— сказал Квидак.— И я хочу сделать так, чтобы мы отбыли все вместе.

V

Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их черных, плоских снизу, как наковальня, массивов жаркий неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и безучастно скатывалось в плоский океан.

Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая райская птица. Она поднялась минут через десять после того, как Рисетич подстрелил первую.

Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю расчищенного участка. Ему выпало первому нести караул. Остальные наскоро обедали в сарае для копры. Снаружи Соренсен и Дрейк обсуждали сложившееся положение.

— На ночь придется всех загнать в сарай,— сказал Дрейк.— Рисковать слишком опасно — в темноте может напасть Квидак.

Соренсен кивнул. За один день он постарел лет на десять.

— А утром разработаем какой-нибудь план,— продолжал Дрейк.— Мы... Я что-то не то говорю, Билл?

— По-твоему, у нас есть какие-то шансы? — спросил Соренсен.

— А как же! Отличные шансы.

— Ты рассуждай практически,— сказал Соренсен.— Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверья Квидак сможет на нас натравить. Какой у нас выход?

— Выследить его и убить.

— Проклятая тварь не крупней твоего большого пальца,— раздраженно возразил Соренсен.— Как прикажешь его выслеживать?

— Что-нибудь да придумаем,— сказал Дрейк. Соренсен начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего, и нечего Соренсену дальше его подрывать.

— Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу,— сказал Соренсен, поглядев в небо.

Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи, и, не успевал караульный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту.

— Мне она тоже на нервы действует,— признался Дрейк.— Может, ее для того и запустили. Но рано или поздно мы...

Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Эла Кейбла произнес:

— Внимание, внимание, вызывает Вуану. Нам нужна помощь.

Дрейк и Соренсен вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил в микрофон:

— Мы в опасности, мы в опасности, вызывает Вуану, нам нужна...

— Черт побери, ты хоть соображаешь, что делаешь?! — оборвал его Дрейк.

Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому розоватому телу Кейбла струйками лился пот.

— Прошу по радио о помощи — вот что я делаю. По-моему, я вышел на контакт, но они мне еще не ответили.

Он повертел ручку настройки, и из приемника прозвучал скучающий голос с английским акцентом:

— Значит, пешка d2 — d4? Почему ты ни разу не попробовал другое начало?

Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом:

— Твой ход. Заткнись и ходи.

— Хожу, хожу,— произнес голос с английским акцентом.— Конь f6.

Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители — плантатор с Бугенвиля и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый вечер они на час выходили в эфир — поругаться и сыграть партию в шахматы.

Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону.

— Внимание,— произнес он,— вызывает Вуану, экстренный вызов...

Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук, осторожно положил на стол.

— Мы не можем просить о помощи,— сказал он.

— Что ты мелешь! — закричал Кейбл.— Мы должны просить!

Дрейк почувствовал, что смертельно устал.

— Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет, но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Квидак их захватит и использует против нас.

— А мы объясним им, что происходит,— возразил Кейбл.

— *Объясним? Что именно?* Что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что все мы свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует между островами, направят к нам врача.

— Дэн прав,— сказал Соренсен.— В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами.

— А к тому времени,— добавил Дрейк,— будет уже поздно. Икинс все понял, прежде чем до него добрался Квидак. Поэтому он и сказал, что никаких сообщений не надо.

Кейбл все еще сомневался:

— Тогда зачем он сказал, чтоб забрали передатчик?

— Затем, чтобы *он* не смог отправить сообщение, когда Квидак его охомутает,— ответил Дрейк.— Чем больше народа кругом, тем легче Квидаку делать свое дело. Будь у него передатчик, он бы в эту самую минуту уже вопил о помощи.

— Да, так оно вроде и выходит,— безнадежно признал Кейбл.— Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться.

— Придется справляться. Если Квидаку удастся нас захватить, а потом выбраться с острова — конец Земле-матушке. Крышка. Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления. Все и вся превратится в составляющие этого квидачьего сообщества.

— Так или иначе, а помощь нам нужна,— стоял на своем Кейбл.— Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтобы корабль не подходил к берегу...

— Не выйдет,— сказал Дрейк.— К тому же, если б и захотели, мы все равно не сможем просить о помощи.

— Почему?

— Потому что передатчик не работает. Ты говорил в бездействующий микрофон.

— А принимает нормально,— возразил Кейбл.

Дрейк проверил, все ли включено.

— Приемник в порядке. Но видимо, где-то что-то разъединилось, когда мы вытаскивали рацию с корабля. На передачу она не работает.

Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за партией между рабаульцем и плантатором с Бугенвиля.

— Пешка с4.

— Пешка е6.

— Конь с3.

Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи, сошли на нет, потом снова прозвучали тремя отчетливыми «очередями».

— Как ты думаешь, что это? — спросил Соренсен.

Дрейк пожал плечами:

— Может быть все, что угодно. Собирается шторм и...

Он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились.

— Любопытно,— сказал он.— Ты видел, Билл? Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась.

— Видел,— ответил Соренсен.— Думаешь, это не случайно?

— Не знаю. Нужно проверить.

Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, который происходил за три-четыре сотни миль от острова:

— Ну, давай, ходи!

— Дай же подумать минуту.

— Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим треклятым передатчиком. Ходи...

Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли четыре свиньи. Они продвигались медленно — как разведгруппа, которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи остановились — помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи затрещали опять — райская птица спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи окончательно прекратились.

Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай.

— Точно,— сказал он.— Помехи связаны с Квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей.

— По-твоему, он управляет ими по радио? — спросил Соренсен.

— Похоже на то,— ответил Дрейк.— Либо впрямую по радио, либо посылает приказы на длине радиоволн.

— В таком случае,— сказал Соренсен,— и сам он что-то вроде маленькой радиостанции?

— Конечно. Ну и что?

— А то,— пояснил Соренсен,— что его можно запеленговать.

Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвилем, включил и стал в дверях.

Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул мелкомасштабную карту юго-западной Океании.

— Ну как? — поинтересовался Соренсен.— Это Квидак?

— Должен быть он,— ответил Дрейк.— Я засек твердый нуль почти точно на юге. Он прямо перед нами, в джунглях.

— А это не отраженный сигнал?

— Я взял контрольный пеленг.

— Может, это какая-нибудь радиостанция?

— Исключено. Следующая станция прямо на юге — Сидней, а до него тысяча семьсот миль. Для нашего пеленгатора многовато. Нет, это Квидак, можно не сомневаться

— Стало быть, у нас есть способ его обнаружить,— сказал Соренсен.— Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами...

— И расстанутся с жизнью,— закончил Дрейк.— Мы можем запеленговать Квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрей. Нет, в джунглях у нас нет ни малейшего шанса.

— Выходит, это нам ничего не дает,— сказал Соренсен с убитым видом.

— Дает, и много,— возразил Дрейк.— Теперь у нас появилась надежда.

— То есть?

— Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы.

— Ты уверен?

— *Уверен?* Конечно нет. Но я знаю, что две радиостанции в одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся на частоту Квидака и сумеем забить его сигналы...

— Понимаю,— сказал Соренсен.— Может, что-нибудь и получится! Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет нетрудно.

— Хороший план,— сказал Дрейк,— но с одним маленьким недостатком: передатчик у нас не работает. Без передатчика нет передачи, а без передачи — глушения.

— Ты сумеешь его починить? — спросил Соренсен.

— Попробую,— ответил Дрейк.— Но особенно не надейся. Всеми радиоделами в экспедиции заведовал Икинс.

— У нас есть запчасти,— сказал Соренсен.— Лампы, инструкции...

— Знаю. Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя. Вопрос в том, сколько времени намерен нам дать Квидак.

Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан. Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись укреплять на ночь дверь и окна сарая.

VI

Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были скорее всего конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? И с чего начать?

Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели все лампы — одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал.

Итак, с поверхностным осмотром покончено. Следующий вопрос: получает ли рация достаточно питания?

Он выключил ее и проверил батареи аккумулятора вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты, прошептал льстивую молитву и включил передатчик.

Передатчик все так же молчал.

Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно. С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запчастей и принялся за дело.

Все остальные тоже были в сарае — заканчивали подготовку к ночи. Дверь заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха — в противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме прибили по сложенной вдвое крепкой противомоскитной сетке, а у окон поставили часовых.

Через плоскую крышу из оцинкованного железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был хорошо утрамбован, все же вызывал опасения. Оставалось одно — не сводить с него глаз.

Кладоискатели устраивались на ночь, которая обещала быть долгой. Дрейк продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза.

Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен ответил на вызов:

— Что вам нужно?

— Мне нужно,— произнес Квидак голосом Икинса,— чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение, и вы должны понимать, что другого выхода нет.

— Мы не хотим с вами сливаться,— сказал Соренсен.

— Вы должны,— заявил Квидак.

— Вы собираетесь нас заставить?

— Это сопряжено с трудностями,— ответил Квидак.— Мои звериные составляющие не годятся как инструмент принуждения. Икинс — замечательный механизм, но он у нас один. Сам я не имею права подвергаться опасности — это поставит под угрозу высшую цель Квидака.

— Получается тупик,— заметил Соренсен.

— Нет. Нам сложно только вас захватить. Убить вас совсем не трудно.

Все, кроме Дрейка, поежились, он же, занятый передатчиком, даже не поднял головы.

— Мне бы *не хотелось* вас убивать,— продолжал Квидак.— Но все решает высшая цель Квидака, а она подвергнется риску, если вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров. Поэтому вы или вольетесь, или будете ликвидированы.

— Мне это видится по-другому,— сказал Соренсен.— Если вы нас убьете — допустим, вы в состоянии нас убить,— вам ни за что не выбраться с острова. Икинс не справится с кечем в одиночку.

— Отплывать на кече нет никакой необходимости,— возразил Квидак.— Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Икинсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не будет в живых.

— Вы нас запугиваете,— сказал Соренсен.— С чего вы взяли, будто сможете нас убить? Днем у вас не очень-то получилось.

Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел руками и вернулся к работе.

— Днем я и не пытался,— сказал Квидак.— Я займусь этим ночью. *Этой* ночью — чтобы не дать вам найти более действенную систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я убью одного из вас.

— Одного из вас?

— Да. Одного человека. Через час — другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете.

Дрейк наклонился и шепнул Соренсену:

— Потяни резину, дай мне еще минут десять. Я, кажется, нашел, в чем загвоздка.

Соренсен произнес:

— Нам бы хотелось побольше узнать о Сообществе Квидака.

— Лучший способ узнать — это слиться.

— Но сперва мы бы все-таки хотели узнать немного больше.

— Это нельзя описать,— произнес Квидак убедительно, горячо и настойчиво.— Попытайтесь вообразить, что вы — это именно вы и в то же время вас подключили к совершенно новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом, ориентируясь по запаху, и этот запах для нее — и для вас тоже — так же ясен, как дорожный указатель. Совсем по-другому воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке суши и моря. У него очень замедленное чувство времени. А вот у райской птицы наоборот — она воспринимает мгновенно и все пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде, а их множество, имеет свое собственное, особое восприятие реальности, и оно, как я обнаружил, не очень отличается от мировосприятия животных, некогда обитавших на Марсе.

— А что случилось на Марсе потом? — спросил Соренсен.

— Все формы жизни погибли,— скорбно ответил Квидак.— Все, кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до этого на всей планете долгие века царили мир и процветание. Все живые существа были составляющими в Сообществе Квидака. Но доминантная раса оказалась генетически слабой. Рождаемость все время падала; последовала полоса катастроф. В конце концов вся жизнь прекратилась, остался один Квидак.

— Потрясающе,— заметил Соренсен с иронией.

— Это был дефект расы,— поспешил возразить Квидак.— У более стойкой расы, такой как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно.

— Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам просто-напросто надоедает цепляться за жизнь.

— Вы не будете рабами. Вы будете функциональными составляющими в Сообществе Квидака.

— А править этим сообществом будет, разумеется, Квидак,— заметил Соренсен.— Как пирог ни режь, а начинка все та же.

— Вы судите о том, чего не знаете,— сказал Квидак.— Мы достаточно побеседовали. В ближайшие пять минут я готов умертвить одного человека. Намерены вы слиться со мной или нет?

Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик.

Пока передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок.

— Работает,— сказал он.

В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка провисла: в ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей крохотными красными глазками.

— Забейте окно!— крикнул Соренсен.

Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру влетели еще четыре крылана. Дрейк остервенело от них отбивался, однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить. Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола.

Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза.

Через несколько минут они прикончили еще двух крыланов, а уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился и осмотрел передатчик.

— Есть надежда наладить?— спросил Соренсен.

— Ни малейшей,— ответил Дрейк.— Они выдрали все провода.

— Что же нам теперь делать?

— Не знаю.

Раздался голос Квидака:

— Вы должны немедленно дать ответ.

Никто не сказал ни слова.

— В таком случае,— произнес Квидак,— я вынужден, как ни жаль, одного из вас сейчас умертвить.

VII

Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее. Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к центру, подальше от стен, и стали спинами друг к другу, что натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в круг для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят.

Кейбл сказал:

— Послушайте, может, попробовать это Сообщество Квидака? Может, оно не такое уж страшное, как...

— Заткнись!— отрезал Дрейк.

— Сами подумайте,— увещевал Кейбл,— это все-таки лучше, чем помирать, скажете нет?

— Пока никто еще не умирает,— возразил Дрейк.— Сделай милость, заткнись и гляди в оба.

— Меня сейчас, кажется, вырвет,— сказал Кейбл.— Выпусти меня, Дэн.

— Блюй, где стоишь,— посоветовал Дрейк.— И не забывай смотреть в оба.

— Нет у тебя права мне приказывать!— заявил Кейбл и шагнул было к двери, но сразу же отскочил.

В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый скорпион. Рисетич припечатал его каблуком, растоптал в кашу тяжелым ботинком и завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли через забитое окно.

— Плевать на ос!— крикнул Дрейк.— Следите за полом!

Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались на земле, а Дрейк и Рисетич лупили по ним прикладами. Бирнс заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка. Он попробовал на нее наступить, промахнулся, многоножка мигом очутилась у него на ботинке, потом выше — на голой икре. Бирнс взвыл: вокруг ноги у него словно обвилась раскаленная стальная лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем потерял сознание.

Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал.

К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием тигра.

Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей. Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая внимания на ос, которые вились вокруг, он в колеблющемся свете фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень.

Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и приготовился отразить нападение.

Змеи не стали нападать. Они уползали, отступая к крысиной норе, через которую проникли. Одна быстро проскользнула в нору, вторая двинулась следом, но остановилась на полдороге.

Соренсен тщательно прицелился из винтовки. Дрейк отвел ствол:

— Постой-ка минутку!

Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила по направлению к ним.

Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад и, извиваясь, исчезла в норе.

— В чем дело?— спросил Соренсен.— Они испугались грозы?

— Нет, вся хитрость в молнии!— ответил Дрейк.— Вот почему Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел закрепиться на острове.

— Что ты хочешь сказать?

— Молния,— объяснил Дрейк.— Электрическая буря! Она глушит его радиокоманды! А когда его заглушают, звери снова становятся обычными зверями и ведут себя как им и положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время.

— Буря когда-нибудь кончится,— сказал Кейбл.

— На наш век, может, и хватит,— сказал Дрейк. Он взял пеленгаторы и вручил один из них Соренсену.— Пойдем, Билл. Мы выследим эту тварь прямо сейчас.

— Эй,— позвал Рисетич,— а мне что делать.

— Можешь пойти поплавать, если мы через час не вернемся,— ответил Дрейк.

Дождь сек косыми струями, подгоняемый яростными порывами юго-западного ветра. Гром грохотал не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Соренсену, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились.

— Здесь мы разойдемся,— сказал Дрейк.— Так больше шансов сойтись на Квидаке.

— Верно,— согласился Соренсен.— Береги себя, Дэн.

Соренсен нырнул в джунгли. Дрейк прошел пятьдесят ярдов вдоль опушки и тоже шагнул в заросли.

Он продирался напрямик; за поясом у него был револьвер, в одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое удовольствие.

Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курса. Но Квидаку, конечно, достается еще и не так, напоминал он себе. В перерывах между разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака.

Через некоторое время он отметил, что промежутки между вспышками увеличиваются. Буря уносилась к северу. Сколько еще молнии будут ему защитой? Десять, пятнадцать минут?

Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему приближался его пес Оро. Его ли? А может, Квидака?

— Давай, старина.— подбодрил Дрейк. Он подумал, не бросить ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал, будет ли тот стрелять после такого ливня.

Оро подошел и лизнул ему руку. Его пес. По крайней мере пока не кончилась буря.

Они двинулись вместе. Гром переместился на север. Сигнал в пеленгаторе звучал во всю силу. Где-то тут...

Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел запыхавшийся Соренсен. В зарослях он порядком ободрался и поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с фонариком.

Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели Квидака.

В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился. Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который зашевелился и прыгнул...

На шею Соренсену, точно над правой ключицей.

Соренсен вскинул и опустил руки. Он повернулся к Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни.

Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он упал, выронив винтовку.

Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля вошла как раз над правой ключицей. Рана была скверная. Но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что с пяток черных капель на рубашке Соренсена.

Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину. Он спрашивал себя, как бы он поступил, очутись Квидак над сердцем Соренсена, или на горле, или на лбу.

Лучше не думать об этом, решил Дрейк.

Он двинулся назад в лагерь, и его пес затрусил с ним рядом.

СКОРОДЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (род. в 1937 г.)
Советский критик, литературовед. Автор книги «Английская поэзия 1945—1970» (1972), статей об английской литературе, предисловий к книгам англоязычных авторов; выступает как переводчик.

■

АЛАН ДИН ФОСТЕР

На суд зрителей

■

Перевод с английского АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА

Однажды был изобретен аппарат, внешне напоминавший обыкновенный телевизор, который позволял наблюдать на экране тысячи различных событий. Работа этого аппарата, названного тривизором, с трудом поддается описанию.

Все передачи строились по определенным, давно известным схемам. Вот, к примеру, один из сюжетов. Несколько солдат в синих мундирах сооружают оборонительное укрепление из тесаных бревен. Рядом беснуется толпа пестро одетых индейцев, которые напирают на солдат...

За развитием событий на экране в богато обставленной гостиной наблюдали несколько представительных мужчин — видных специалистов в области шоу-бизнеса.

Индейцы и солдаты вдруг исчезли, и на экране появилась бойкая блондинка с пышными формами. Часть экрана занимали красочные схемы и цветные фотографии.

— Добрый вечер, дорогие зрители! — сказала блондинка.— Снова наступил волнующий момент, когда нашей постоянной аудитории, то есть вам, предстоит решить, чем закончится сегодняшний эпизод передачи «Команчи» из цикла «Правдивые истории Старого Запада». Как вы знаете, алчные золотоискатели, которые много раз нарушали давнишний договор с индейцами, покушаясь на их земли, спровоцировали нападение команчей под водительством храброго и неустрашимого вождя — Красного Ястреба на форт Резолюшн. Красный Ястреб со своими жестокими соплеменниками неожиданно атаковал форт, где укрылись его мужественные защитники. От вас, дорогие зрители, зависит исход дела. Удастся ли предводителю команчей и его храбрецам одолеть солдат? А может быть, полковник Джепсон вместе с осажденными защитниками форта сможет отразить этот яростный натиск? Кто возьмет верх?..

© Alan Dean Foster, 1979

АЛАН ДИН ФОСТЕР — ALAN DEAN FOSTER (род. в 1946 г.)
Автор романов «Темная звезда» («Dark Star», 1974), «Среднемир» («Midworld», 1975), «Конец материи» («The End of Matter», 1977) и многих рассказов.
Новелла «На суд зрителей» взята из антологии фантастических произведений «Пульсар 2» («Pulsar Two». Penguin Books, 1979).

Специалисты в области шоу-бизнеса, в безукоризненно сшитых костюмах, сидели за длинным столом и с интересом внимали соблазнительной дикторше, хотя подобные обращения к зрителям с экрана давно уже перестали быть новостью. Стол, за которым они сидели — красного дерева, с инкрустацией,— был сработан неизвестным мастером во Франции в XVI веке. На его полированной поверхности были изображены крылатые херувимы, порхающие среди облаков. В последние годы поверхность стола сильно пострадала от горячего пепла сигар и пролитого виски.

На дальнем конце стола, где он еще местами сохранял прежнее великолепие, сидел молодой человек, казавшийся здесь лишним. Прежде всего он выделялся своей молодостью; кроме того, заметно было, что разыгрывающаяся на экране драма его не трогает. Во всяком случае, он смотрел не на экран, а на свои руки.

Раздался мелодичный звон. Дикторша с соблазнительными формами заглянула в лежащий перед ней текст и подняла голову. Взгляд ее был устремлен в бесконечность— вероятно, туда, где у стен форта Резолюшн должна была разыграться кровавая битва.

— Наше время, увы, истекло,— сказала дикторша.— Надеюсь, все уже приняли решение? Хорошо! Те из вас, кто отдает предпочтение Красному Ястребу, должны нажать красную кнопку на пульте вашего тривизора. Это — кнопка номер один. Те, кто желает победы полковнику Джепсону, должны нажать кнопку номер два — зеленую. Если вы еще не проголосовали, прошу нажать кнопки немедленно.

На экране возник благородный профиль предводителя команчей. Его сменил другой кадр: рука молодой женщины на подлокотнике кресла тянется к пульту тривизора и нажимает красную кнопку. Потом появился доблестный полковник Джепсон, и зрители видели, как противниками команчей была нажата зеленая кнопка. При нажатии кнопки слегка вспыхивали.

— Запомните,— повторила молодая женщина,— первая кнопка приносит победу Красному Ястребу и его храбрецам. Вторая кнопка спасает полковника и его солдат.

Молодой человек — звали его Дэвид Тексас — бросил быстрый взгляд на экран тривизора. Справа от него располагался полный, облысевший человек с толстой сигарой во рту, источавшей дым с явным запахом наркотика. Это был дядюшка Дэвида — Дон Тексас. Судя по всему, молодой человек многое бы изменил в передаче, но, видимо, он не имел здесь решающего голоса.

Грузный Дон Тексас привалился к столу и насмешливо прошептал, обращаясь к племяннику:

— Индейцы победят! Обычно происходит изрядная потасовка. Но на этот раз внутри форта находятся женщины и дети. Драки не будет

На экране тривизора появилось изображение карты североамериканских Соединенных Штатов. В каждом штате начали вспыхивать красные и зеленые огоньки.

— Сейчас мы узнаем результаты голосования, леди и джентльмены,— скороговоркой произнесла блондинка.— Ваши голоса молниеносно вводятся в память новейших компьютеров Си-би-си и тут же суммируются! Окончательный результат может появиться в любой момент... внимание!

На экране засветились две колонки цифр. Красная индикация показывала: ИНДЕЙЦЫ — 32.657.894. Зеленая: СОЛДАТЫ — 19.543.255.

— Вот наконец и результаты, дорогие зрители! Мы получили их так быстро благодаря вычислительной системе Си-би-си и компании «Фрости-О», которая выпускает корнфлекс для завтраков, содержащий все витамины, микроэлементы и транквилизаторы, необходимые нормальному, здоровому взрослому человеку. А сейчас вы увидите захватывающее зрелище — финал «Команчей» в том виде, в каком вы сами пожелали.

...На экране тривизора продолжалась схватка между индейцами и солдатами. Но обстановка быстро изменилась — индейцы неожиданно получили подкрепление от соседнего племени, вождем которого был двоюродный брат Красного Ястреба — мужественный воин по прозванию Воробышек. Конница полковника Джепсона не смогла отразить новый натиск команчей. Сопротивление солдат ослабло, ворота форта открылись, и битва превратилась в кровавую резню, жертвами которой стали защитники форта. Отдельные эпизоды побоища оператор показывал в мельчайших подробностях, словно смакуя их. Резня продолжалась. Кадры повторялись, давался крупный план, замедленная съемка. Время от времени на экране снова вспыхивали красные и зеленые цифры. Звучали знакомые мелодии Старого Запада, использованные в серии «Команчи».

Постепенно атмосфера за инкрустированным столом стала менее принужденной. Место индейцев на экране тривизора занял разведчик космоса Рок Стил. Но тут три-

визор был выключен. Дело в том, что в этой ярко освещенной гостиной Рок Стил считался чем-то вроде парии, одним из нечистых. Си-би-си не имела никакого отношения к космическому сериалу, и никто из присутствовавших не пожелал его смотреть.

В конце длинного стола вдруг поднялся худощавый пожилой джентльмен с морщинистым лицом и седыми волосами, похожими на взбитые сливки. Его голубые глаза излучали мягкий свет. Сидевшие за столом смолкли, вглядываясь в его лицо. Здесь были как его единомышленники, так и тайные недоброжелатели. Старик напоминал мудреца с иллюстрации к священному писанию.

— Джентльмены,— начал он.— Мне кажется, что мы стали обладателями настоящего шедевра...

В ответ раздался одобрительный гул голосов.

— ...Мы только что просмотрели очередную серию «Правдивых историй Старого Запада» под названием «Команчи», выпущенную на прошлой неделе,— продолжал пожилой джентльмен.— За последние три недели число зрителей, принимавших участие в голосовании по нашим программам, иными словами, смотрящих их, превысило пятьдесят миллионов. Что вы об этом скажете?

— Тут все предельно ясно, Р. Л.! — выкрикнул специалист, ответственный за выпуск «Команчей».— Публика заглатывает нашу продукцию, как рыба — наживку! Вокруг «Команчей» сложилась благоприятная обстановка, и наш престиж неуклонно растет...

— Согласен с вами, Сэм. Таково же мнение представителей компании «Фрости-О», и они готовы вести переговоры о заключении нового трехгодичного контракта. Что вы об этом думаете, Уилл?

— Наши затраты на создание «Команчей», конечно, немалые, но все же доходы несколько превышают запланированные.

— Прекрасно, Уилл! Ваше мнение, Марпл?

— Великолепная работа, Р. Л.! Без ложной скромности можно сказать, что каждый, кто так или иначе связан с этим шоу, заслуживает самой большой похвалы за прекрасное воплощение первоначального художественного замысла.

— То, что вы сказали, Марпл, не более как замысловатый набор слов,— вмешался Дэвид.— Если мне память не изменяет, именно вы несете непосредственную ответственность за запуск в производство «Правдивых историй Старого Запада»?

— Да, эта честь принадлежит мне,— скромно ответил Марпл.

— А вас не беспокоит то, что десятки актеров и актрис получают увечья и даже гибнут ради воплощения вашего, с позволения сказать, первоначального художественного замысла? Равно как ради коммерческих интересов рекламного отдела захудалой фирмы «Фрости-О», производящей корнфлекс?

С Марплом, видимо, никогда не разговаривали в подобном тоне, и он был настолько обескуражен, что лишь едва слышно произнес:

— Как вы сказали?

Дэвид резко поднялся и смерил взглядом перепуганного Марпла.

— Я спрашиваю,— повторил Дэвид,— неужели вы не испытываете угрызений совести, зная, что ежегодно гибнут десятки актеров?

— Послушайте, Р. Л.,— промямлил Марпл,— я протестую. Я... я...

Он постарался придать своему лицу внушительное выражение и, взглянув на Дэвида, сказал:

— Хочу довести до вашего сведения, мистер Техсас, что я лично беседую с каждым исполнителем, занятым в «Правдивых историях Старого Запада». Все они знают, на что идут. Правила профсоюза нами скрупулезно соблюдаются. Могу добавить, что Си-би-си располагает самым современным электронным оборудованием и квалифицированными кадрами реставраторов человеческого организма. Актеры изредка получают небольшие шрамы, но это профессиональный риск...

— А как насчет шрамов душевных, Марпл? Разумеется, никто из актеров не получает травм ежедневно. Но они ведь ощущают, как пули и стрелы пронзают их тела, чувствуют удары, боль...

— Вы достаточно ясно высказались, мистер Техсас,— строго официально произнес Р. Л.— Мы, как вы знаете, живем уже не в двадцатом веке. Да, небольшие болевые ощущения имеют место. Но никто никого насильно не заставляет становиться актером. Они могут получить небольшие травмы за довольно высокое вознаграждение. Марпл здесь совершенно справедливо напомнил, что случаев полной потери трудоспособности

не было. Если бы дело обстояло иначе, мы бы за месяц лишились всех исполнителей. В индустрии развлечений времена изменились. Я помню годы, когда в трехмерном телевидении не допускалось даже намека на насилие. Но в конце концов публика всегда получает то, чего она хочет. Во всяком случае, мы более умеренны, чем наши конкуренты. Вам когда-нибудь приходилось видеть «Клавдия, императора Рима»? Зрелище не для слабонервных. Мне кажется, вам следует извиниться перед Марплом!

Марпл сидел с видом оскорбленной невинности.

— Глубоко сожалею, джентльмены,— сказал Дэвид, отодвигая кресло,— но я неважно себя чувствую...— Дэвид слабо улыбнулся.— Так что прошу меня извинить.

Он резко повернулся и направился к выходу, делая вид, что не замечает обращенных на него пристальных взглядов.

Следом поднялся Дон Тексас.

— Извините маленький демарш моего племянника, джентльмены,— сказал он.— В последнее время ему порядком достается в связи с выпуском серии... И потом...— Он выразительно улыбнулся.— Дэвид молод, а с этим тоже кое-что связано!

Постепенно разговор вошел в нормальное русло.

— Ладно, Дон,— примирительно сказал Р. Л.— Но ты побеседуй с парнем.

— Разумеется, Р. Л. И немедленно.

■

Дэвид очутился в просторном вестибюле, освещенном люминесцентными лампами. Всюду сновали озабоченные люди, которые зарабатывали здесь свои доллары и центы. Дэвид вошел в лифт и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Девяносто пятый, пожалуйста.

Встроенное в стенку лифта переговорное устройство, закрытое ажурной металлической сеткой, ответило приятным женским голосом:

— Лифт идет вниз, сэр.

Возле переговорного устройства находилась панель с двумя рядами миниатюрных цифр от — 15 до +160. Во время движения лифта цифры на панели одна за другой вспыхивали. Вот загорелась зеленым светом цифра 95, раздался мелодичный звон.

— Девяносто пятый этаж, сэр!

— Спасибо.

Дэвид вышел из лифта, пересек зеркальный холл и вошел в другой подъемник.

— Одиннадцатый сектор, пожалуйста,— сказал он.

Пока Дэвид преодолевал очередной отрезок пути, в его голове проносились мысли далеко не коммерческого свойства.

В одиннадцатом секторе Дэвид вышел из лифта и углубился в лабиринт коридоров. По пути он рассеянно раскланивался со встречными.

Он вошел в претенциозно обставленную приемную своего офиса. За столом сидела его секретарша, пухленькая мисс Ли, которая просматривала микропленку, манипулируя клавишами новейшего проектора.

— Добрый день, мисс Ли.

— Здравствуйте, мистер Тексас! Как прошло...

Однако он, не отвечая, проследовал в кабинет.

— ...Обсуждение?

Кабинет Дэвида был отделан нержавеющей сталью и пластиком. В разных углах стояли скульптуры из какого-то прозрачного материала. Вокруг них туго обвились живые плети виноградных лоз и других вьющихся растений. Странно но кабинет выглядел как-то очень уж по-домашнему Рядом с миниатюрными джунглями расположилось несколько резных деревянных шкафов, низкий письменный стол и казавшаяся здесь лишней тахта, а также непременный компьютер в нише.

Лицо Дэвида было хмурым. Он неуклюже опустился за стол, на котором не было привычных бумаг. Посидев немного, он нажал какую-то кнопку. Перед ним появилась папка с документами, которые он начал торопливо просматривать. Потом нажал другую кнопку и сказал в переговорное устройство:

— Мисс Ли, зайдите на минутку!

Дверь открылась.

— Слушаю вас, сэр.

— Отмените, пожалуйста, все назначенные на сегодня встречи. Я не в состоянии

ни с кем беседовать. Скажите, что я работаю над сценарием. По телефону меня тоже не соединяйте — только если что-нибудь очень важное.

— Хорошо сэр.

Мисс Ли повернулась, чтобы уйти, но задержалась:

— Мистер Техсас...

— Да? — спросил Дэвид, не поднимая головы.

— Снова заходил тот джентльмен... мистер... мистер Слэппи Уильямс. Он уже несколько раз сегодня наведывался. Он очень настойчиво просит о встрече с вами.

— Опять он? Нет, мисс Ли, сегодня я никого не принимаю.

Секретарша хотела что-то добавить, но Дэвид уже углубился в свои записи За мисс Ли бесшумно затворилась пневматическая дверь.

Дэвид нажал еще одну кнопку — появился микрофон. Молодой человек начал диктовать:

— В связи с работой над новой серией под названием «Как делают президентов» считаю необходимым отметить, что вступившее в силу четвертого июня решение конгресса делает для нас в настоящее время неприемлемыми условия эксплуатации в части, предусмотренной статьями седьмой, восьмой и девятой...

Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет ворвался грузный, неопрятный человек в поношенном костюме. Мужчина тяжело дышал. На его небритом, опухшем лице застыло выражение решимости и отчаяния.

Дэвид отодвинул бумаги и взглянул на незваного гостя.

— Ваша манера вламываться без спроса ни к чему хорошему не приведет. Уильямс.

— Не умничай, Дэвид! Я уже несколько недель пытаюсь к тебе прорваться...

В дверях появилась взволнованная мисс Ли. Она боязливо сторонилась тучного посетителя.

— Извините, пожалуйста, мистер Техсас. Он не стал меня слушать и сам открыл дверь! — обиженным тоном произнесла она.

— Ничего страшного, мисс Ли. Свяжитесь, пожалуйста, с охраной и попросите прислать сюда двух человек.

Секретарша послушно кивнула и, прежде чем исчезнуть в приемной, бросила на Уильямса уничтожающий взгляд.

— Ну, Слэппи, в твоем распоряжении несколько минут, пока не явились охранники...

Актер подошел к столу и обеими руками уперся в его сверкающую поверхность. Его губы были крепко сжаты.

— Дэвид! Я хочу расторгнуть контракт с вашей компанией!

— И только-то?

Дэвид откинулся на спинку кресла, тут же изменившую форму, чтобы соответствовать его новой позе.

— Тебе хорошо известно, что это не в моих силах, Слэппи. Дела о контрактах решаются на заседании правления большинством голосов. До следующего заседания еще целых три недели.

— Взгляни на меня, Дэвид! Как следует посмотри!

Уильямс отошел от стола и принялся исполнять какой-то пародийный танец.

— Я — славненький, счастливенький Слэппи Уильямс! — приговаривал он.— Подходит мне этот образ, Дэвид? Если бы зрители могли ощущать винный перегар с экрана тривизора, меня бы выгнали еще несколько месяцев назад. Хочешь знать, почему я так выгляжу? Совсем не похож на того молодого, подающего надежды комедийного актера, с которым ты подписал контракт восемь месяцев назад? Боже, всего восемь месяцев!

Дэвид смотрел на него не отрываясь.

— Тебе известно, какие оценки получило мое шоу? — явно волнуясь, спросил Слэппи.— Ты следишь за обшими результатами голосования? У меня, Дэвид, оценки низкие, очень низкие. Можно сказать, просто незаметные: чтобы разглядеть их, нужен свет вольтовой дуги! Но не это главное. Несмотря ни на что, мое шоу *возобновили!*

Слэппи застыл на месте и снова склонился над столом. На полировке были видны отпечатки его потных ладоней.

— Шоу возобновили несмотря на низкие оценки... Ты можешь мне объяснить, что происходит? — Актер заговорил, подражая голосу известного телекомментатора: — «Мы считаем, что шоу Слэппи Уильямса нравится зрителям... однако в нем есть су-

щественный недостаток... который...» — Слэппи неожиданно умолк. Потом снова заговорил собственным голосом: — Поверь, Дэвид, я не в силах это вынести! Все так скверно — эти заумные остроты, эти вымученные шутки! Некоторые соглашаются на увечья, на регенерацию после каждого представления новых рук и ног... Но я уже не в состоянии выносить такую боль, Дэвид. Ты же знаешь, сперва они не дадут мне закончить работу в этой серии, затем выгонят по всем правилам! Их ничто не остановит — ведь на следующей неделе я им больше не нужен. Душа моя протестует, не давай им...

— Знаю я, что это значит, будь оно неладно! — взорвался Дэвид.— Думаешь, моя душа не протестует? Но ты же знал, на что шел, когда подписывал контракт! Однако тебе было мало успеха на подмостках ночного клуба. Нет, тебе захотелось стать звездой тривидения! И тебе понадобился контракт, достойный звезды. Так чего же ты теперь ждешь от меня? Если бы я мог что-либо предпринять, то сделал бы это еще несколько недель назад, когда ты сломался... Надеюсь, тебе известно, что я пытался найти выход?

У Слэппи задрожали губы, он сделал шаг назад.

Тут в кабинете появились двое рослых молодых людей и быстро подошли к Уильямсу с двух сторон. Спокойно, но крепко они взяли актера под руки.

— Привет, мистер Уильямс! — сказал один из них.— Пройдите, пожалуйста, с нами. Мы не причиним вам боли...

Слэппи мрачно взглянул сначала на одного, затем на другого здоровяка. Те начали подталкивать его к выходу.

— Ты должен что-нибудь предпринять, Дэвид! — срывающимся голосом крикнул Уильямс.— Я не выдержу, я погибну! Я не могу выносить такую боль! Ради всего святого, Дэвид!..

Еще долго после того, как обитая толстым пластиком дверь абсолютно звуконепроницаемого кабинета плотно затворилась, Дэвиду казалось, что он слышит стенания актера. Но это была лишь иллюзия. Дэвид тяжело вздохнул, отодвинул микрофон, начал перекладывать бумаги и как попало рассовывать их по ящикам стола.

— Куда вы, сэр? — спросила мисс Ли, когда Дэвид вышел из кабинета.

— Отправился поразмышлять о смысле жизни, бренности земного существования, о своей принадлежности к огромному, космических масштабов предприятию, частицей которого я имею несчастье быть. Короче, хочу как следует напиться. Будьте добры, запишите это и подшейте в дело.

К сожалению, мисс Ли ничего не поняла.

■

У нового Нью-Йорка было что-то общее со старым Нью-Йорком. В частности, такое же обилие баров. Правда, они были чище и лучше освещены, но их посетители, как ни странно, почти ничем не отличались от тех, которые встречались в подобных заведениях в старые добрые времена.

Дэвид растворялся в алкоголе и таял в ярком свете ламп. Он твердо решил не принимать антиалкогольную таблетку, лежавшую у него в кармане пиджака. Молодой человек наслаждался блаженным состоянием бездумья, которое, как оказалось, было приятнее сновидений.

Дэвид потерял счет злачным местам, где он побывал, и разнообразным напиткам, которые испробовал. Он помнил, как стоял пошатываясь и смотрел на игриво подмигивавшие ему красные неоновые буквы:

КЛУБ «ВСТРЕЧИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ».

Согласные буквы то гасли, то вспыхивали вновь так заманчиво, что устоять было невозможно. Дэвид спустился по ступенькам в зал, где его окутали облака дыма, пахнувшего духами и наркотиками. Этой смесью здесь дышали вместо воздуха. Дэвид безошибочно определил направление и быстро добрался до бара. Известно, что утят вначале приходится подталкивать к воде, но, едва в нее попав, они тут же начинают плавать самостоятельно. Требовательным жестом Дэвид подозвал бармена, у которого, как у джинна, появившегося из старинного сосуда после шести тысяч лет заточения, на лице застыло выражение готовности служить своему повелителю.

— Виски с содовой, мой милый Брут! Но содовой поменьше...

Дальше все произошло как в сказке о волшебной лампе Аладина. Джинн исчез и тут же появился снова, неся на подносе стакан, наполненный субстанцией, видом

напоминавшей расплавленную слюду. Дэвид пригубил напиток и не без усилия повернулся к залу.

Большинство присутствовавших смотрело на экран огромного тривизионного приемника, подвешенного к потолку так, чтобы всем было видно. Шли заключительные эпизоды четырехчасового исторического фильма о второй великой войне. То и дело камера обстоятельно, со всеми подробностями показывала агонию умирающих.

Дэвид, которому алкоголь принес было желанное облегчение, снова нахмурился. Он еще несколько раз подзывал бармена, и тот безотказно наполнял его стакан, получая взамен очередную зелененькую бумажку. Дэвид продолжал с мрачным видом потягивать виски.

...Экран тривизора озарился яркой, красноватой вспышкой мощного взрыва. Кто-то из зрителей даже застонал от удовольствия. Раздался приглушенный одобрительный гул — зрелище нравилось.

Дэвид обернулся к посетителям бара и раздраженно крикнул:

— Эй вы, скоты!

И хотя мало кто обратил внимание на эту выходку, некоторые были явно шокированы.

— Волнующее зрелище, уважаемые собутыльники, не правда ли? — не унимался Дэвид.— Выпьем же за человеческую кровь, да будет она всегда красной и льется рекой!

Он запрокинул голову и залпом выпил новую порцию спиртного.

— Изображение смерти всегда служило развлечением, а мы всего лишь подвели под это коммерческую основу. Добавили сцены насилия, чтобы скрасить ваше прозаическое существование. Созерцание увечий, получаемых другими, массирует кору вашего головного мозга!

Дэвид резко отвернулся.

Но тут перед ним вырос здоровенный детина с туповатой физиономией. По всему было видно, что от него так просто не отделаешься.

— Ты кого обзываешь скотами?

Дэвид засмеялся.

— Я гляжу, у тебя тонкий слух. А я думал, алкоголь притупляет все ощущения. Нынче все люди — скоты, мой недогадливый толстячок! Все пляшут под одну дудку, под один мотив — всеобщего уничтожения,— сказал он, пристально глядя в глаза верзиле.— Вот лучшее доказательство того, что человек в самом деле произошел от обезьяны.

Верзила пьяным жестом указал на экран.

— Ты обругал мою любимую программу, приятель.

Дэвид ответил с деланным изумлением:

— Неужели это твоя любимая программа? О боже, как же я не догадался! И должным образом не отреагировал... Минутку! Попытаюсь сымпровизировать...

Он завертелся на месте, словно дискобол перед броском, и метнул в экран тривизора свой стакан. Эффект получился впечатляющий: цель была поражена! Экран разлетелся вдребезги...

Детина двинулся на Дэвида со сжатыми кулаками.

— Ну, ты у меня попляшешь!

— Ты что? Вызываешь меня на поединок? — спросил Дэвид.— Что ж, сцепимся, как две обезьяны, которые дерутся не на жизнь, а на смерть. В конце концов, можно разок и пострадать, если выступаешь с собственным шоу! Как просто: пять стаканов — и из администратора превращаешься в актера! Вот так превращение! За «Фрости-О»!

Он стал лицом к разбитому тривизору и отсалютовал, словно римский гладиатор:

— Идущие на смерть приветствуют тебя!

Затем стремительно развернулся и ударил противника в челюсть. Однако верзила устоял и тут же бросился на Дэвида. Вокруг них моментально сгрудились посетители, жаждавшие нового развлечения.

Тут бармен решил, что настало время вмешаться. Он сделал знак двум здоровякам, которые резались в карты в дальнем углу. Те оставили игру и умело разняли дерущихся.

Бармен, конечно, не обладал мудростью Соломона, но дело знал.

— Тощего вытолкайте через парадный вход! — распорядился он.— А толстого — в заднюю дверь!

Покрытых ссадинами и синяками противников вытолкали вон, так что они оказались на разных улицах. Разочарованные зрители неторопливо разошлись к своим столикам.

Дэвид чудом удержался на ногах и, обернувшись, обругал вышибалу последними словами. Тот пропустил ругательства мимо ушей, словно они его не касались.

Неожиданно Дэвид ощутил во рту какой-то странный привкус. Ощупав голову руками, он обнаружил на лбу глубокую кровоточащую ссадину. Дэвид достал носовой платок и, оглядываясь по сторонам, принялся старательно вытирать кровь.

Он проглотил быстродействующую антиалкогольную таблетку и вскоре начал приходить в себя. Затем отыскал телекоммуникационную кабину. Каждое движение причиняло ему боль. Дэвид не без труда извлек из кармана кредитную карточку и сунул ее в прорезь переговорного устройства. Пока он дожидался ответа автомата, трубка больно давила ему на поврежденное плечо.

— Частный номер. Код четыре шесть два. Назовите, пожалуйста, номер абонента,— прозвучало в трубке.

— Семь шесть семь четыре четыре пять три три,— сказал Дэвид.

Свободной рукой он обхватил голову, лицо его исказила гримаса боли. Перед ним засветился экран, как бы заштрихованный зигзагами помех.

Зигзаги вдруг исчезли, на экране появился дядюшка Дон Тексас. В шелковой домашней пижаме, он сидел на широкой тахте, со стаканом мартини в руках. Где-то «за кадром» звучала негромкая музыка и звенел женский смех. Общий план неожиданно сменился крупным: теперь на экране была только голова Дона Тексаса.

— На моем экране почему-то нерезкое изображение. Это ты, Дэвид?

— Да. Послушай, дядюшка Дон, мне нужно немедленно с тобой поговорить!

Сбоку в поле зрения появилась женская рука с длинными пальцами и узкими, покрытыми лаком ногтями. Дон шлепнул по ней ладонью, и рука исчезла. Снова раздался женский смех.

— Что случилось, Дэвид? Ты в своем уме? — спросил дядюшка.

— Дело не терпит отлагательств, дядюшка Дон. Я... я думаю выйти из игры.

Сказанное явно произвело впечатление на собеседника. Лицо дядюшки Дона приняло озабоченное выражение.

— Что? Да ты с ума сошел!

Взгляд его, устремленный на передающую камеру, приобрел привычную твердость.

— Что у тебя с лицом?

Дэвид дотронулся до засохших кровоподтеков на лбу.

— Да так, пустяки. Поспорили о достоинствах нынешних тривизионных программ. Критикам доставалось во все времена.

Дядюшка Дон неодобрительно хмыкнул.

— Тебя самого сейчас можно показывать в любой развлекательной программе. Ладно, приезжай. Но если ты задумал меня разыграть, берегись!

Дядюшка беззвучно повесил трубку. Дэвид еще немного постоял перед погасшим экраном, потом вышел из кабины.

Был третий час ночи. С восточного побережья дул холодный ветер, шел дождь. Дэвид почувствовал, что вымок до нитки.

■

Дом, в котором обитал дядюшка, был оснащен новейшей электронной аппаратурой, делавшей его неуязвимым для злоумышленников. Дэвид вступил в холл, стены которого были отделаны под дерево — ель и сучковатую сосну,— и задержался возле чучела райской птицы.

Он увидел, как дядюшка Дон мягко, но решительно выпроваживает из кабинета прелестное юное создание.

— Ну, пупсик!..

— Не беспокойся, Шейла! С продюсером я все улажу.

— Ну... ладно. Но получается как-то смешно. Я надеялась...

— Надеялась не только ты, дорогая. Помешали серьезные обстоятельства.

Дядюшка встретился взглядом с Дэвидом, который с интересом наблюдал за этой сценой.

— Ба, да ты уже здесь! Прощай, крошка...

Дядюшка демонстративно чмокнул Шейлу, и юное создание нетвердой походкой проследовало мимо Дэвида к выходу.

Дэвид подмигнул Дону.

— Привет, дядюшка Пупсик!

Дон внимательно оглядел племянника.

— Эге! Слушай, а тебя правильно собрали после оказания первой помощи? Входи, входи же!

У дядюшки Дона были роскошные, просторные апартаменты. Он усадил Дэвида за низкий стол, на котором стояли три металлических сосуда причудливой формы. Дэвид сделал вид, что не замечает их.

— Посиди здесь и отдышись, а я поищу, чем бы заделать твой череп.

Дядюшка встал, подошел к овальной двери, но на пороге обернулся.

— Вот здесь,— он указал на сосуды,— ром, водка и выдержанный бренди. Что-нибудь тебе подойдет.

Дэвид плеснул себе в рюмку бренди и сделал небольшой глоток. Действие антиалкогольной таблетки, видимо, уже закончилось. Дэвид огляделся по сторонам.

В дядюшкином доме все было по-старому. Обстановка, выдержанная в навязчивых эротических тонах — красном и розовом,— как и прежде, совершенно не сочеталась со старой рухлядью вроде стоявшего в дальнем углу письменного стола периода колонизации Америки. Стол был завален бумагами, на краю примостился магнитофон для микрокассет, который словно приклеился к тонкому пластику.

Вернулся Дон с дезинфицирующими салфетками и баллончиком обезболивающего средства в руках.

— Вот! Кое-что нашлось.

Дядюшка принялся обрабатывать рану на голове Дэвида, не обращая внимания на его стоны и вздохи.

— Прежде чем ты испустишь дух, расскажи ради бога, что у тебя там случилось? Из-за чего мне пришлось прервать... э-э-э... деловое свидание?

Дэвид усмехнулся, потом начал серьезным тоном:

— Дон, с тех пор как умерли мои родители, ты был мне отцом...

Дядюшка перебил его:

— Если ты явился сюда для пьяной болтовни, вставай и выкатывайся, племянничек! А если догонишь красивую девушку... с которой мы... э-э... беседовали о делах, скажи ей, чтобы возвращалась...

Дэвид улыбнулся:

— Ладно, Дон. Извини. Я уже сказал тебе, что окончательно решил выйти из игры.

Дон окинул его пристальным взглядом.

— Ты что, серьезно? Я думал, ты просто валяешь дурака. Мне даже захотелось хлебнуть чего-нибудь покрепче!

Он наполнил свою рюмку и уселся в большое мягкое кресло.

— Итак, почему ты задумал выйти из игры? Мне кажется, твоя нелепая выходка нынче утром на заседании правления была вызвана именно этим... Мне чертовски долго пришлось уламывать старика Мусфейса и прочих.

— Дон, тебе никогда не приходило в голову, что сейчас на тривидении показывают слишком много сцен насилия?

— Ах, вот что не дает тебе покоя! Послушай, Дэвид. Мы лишь поставляем публике то, чего она хочет. Домашние пульты для голосования, установленные на тривизорах, позволяют нам узнать желания зрителей, а мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы обеспечить их вожделенным зрелищем. Этим занята вся наша индустрия шоу-бизнеса и так называемые независимые компании, готовящие программы для тривидения! Разве ты согласился бы, чтобы наша аудитория свелась к горстке замшелых консерваторов, как это произошло в кинематографе? В кино теперь практически никто не ходит. Там нет живых актеров и ничего интересного там не увидишь! Хочу обратить твое внимание еще на одну особенность,— продолжал дядюшка.— Как ты думаешь, почему современное тривидение пользуется таким успехом? Как известно, было время, когда в эфир шли только передачи, записанные на пленку. Можешь ты такое вообразить?

— Но почему, дядюшка Дон, так необходимо стрелять в живых актеров боевыми патронами?

— Прежде всего нужно помнить,— без тени улыбки отвечал Дон,— что люди легко отличают робота от живого актера. Это доказано не единожды. Тривидение дает в высшей степени реалистическое зрелище. Ни один робот не способен так неподдельно корчиться от боли, как живой человек. Из робота не может так натурально сочиться кровь, он не может так естественно плакать, как бы умело он ни был запрограммирован. И когда зрители голосуют за то, чтобы человек умер, что ж, ему приходится умереть... Что поделаешь? Мы незамедлительно доставляем убитых актеров в специальные отделения клиник, где их буквально воскрешают. Процент смертности очень низок, даже ниже, чем у рабочих-строителей. Возможность такого риска оговорена в каждом контракте. Все актеры об этом знают. Разве ты согласился бы, чтобы конкурирующая компания Эф-си-си взяла над нами верх?

Дэвид, как всегда, убежденный логикой дядюшкиных доводов, почувствовал себя сбитым с толку.

— Нет... разумеется.

— Конечно же нет! Люди получают то, чего они жаждут, в чем нуждаются. Известно ли тебе, что с тех пор, как тривидение получило распространение во всем мире, нигде не было зарегистрировано даже незначительных вооруженных конфликтов? Потому что теперь каждый может безопасно для окружающих удовлетворить свое нормальное, естественное стремление убивать себе подобных с помощью собственного тривизора, не выходя из своего удобного, привычного жилища. Разве ты согласился бы, чтобы снова вспыхивали войны? Променял бы тривизионные камеры на пушки?

— Нет,— со вздохом признался Дэвид и залпом осушил рюмку.— Конечно же нет!

— Ну что ж, отлично.

Дядюшка пожал Дэвиду руку и проводил его до двери.

— Поезжай домой, прими сильное снотворное и выпей добрый глоток чего-нибудь согревающего, а утром ты как раз поспеешь к началу работы над двумя новыми сериями, которые мы обсуждали. Договорились?

— Да, конечно.

Они стояли уже у двери.

— Между прочим,— вдруг вспомнил Дон,— ты смотрел вечером передачу «Час Слэппи Уильямса»?

— Нет. Когда мне было? Я ведь напился.

— Великолепная программа, великолепная! Этот парень — актер милостью божьей. Зрители проголосовали против, и его выперли. А он напоследок влез в пасть льву, и тот задохнулся! Публика билась в истерике! Коэффициент смеха перевалил за восемьдесят пять. К сожалению, Слэппи Уильямса больше нет. От него осталось мокрое место — реставраторы в клинике ничего не могли сделать. Сам он и виноват. Не во всем был на высоте Есть подозрение, что ему перед выступлением подсыпали наркотик. Не повезло парню... Такова кухня тривизионных шоу. Ну, до завтра, малыш!

Дверь затворилась, но потрясенный Дэвид еще несколько мгновений стоял неподвижно.

■

Весь стол Дэвида был завален бумагами. Едва он взял в руки одну из них, прозвенел сигнал и из крышки стола выдвинулся миниатюрный микрофон.

— В чем дело, мисс Ли?

— Прибыл ваш дядюшка, мистер Техас. С ним — молодая особа.

— Пригласите их войти.

Микрофон исчез, а Дэвид стал бегло просматривать бумаги.

— Привет, Дэвид!

— У тебя что, горит с самого утра?— не очень приветливо отозвался Дэвид, не поднимая головы от бумаг.

— Кажется, мы нашли девушку на роль героини для нового шпионского цикла. Познакомься: Ориел Вэнити [1].

[1] Vanity — тщеславие, суетность *(англ.)*.

Дэвид поднял голову.

Перед ним стояла девушка с лицом мадонны и сказочной фигуркой. На лице, обрамленном рыжеватыми волосами, застыло самое невинное выражение. Дэвид засмотрелся на Ориел и не сразу встал.

— Я тебя понимаю, мой мальчик,— сказал дядюшка Дон.— Внешность нашей малышки многих лишает дара речи.

— Здравствуйте, мистер Техсас.— Девушка протянула руку. Дэвид пожал ее и тут только окончательно пришел в себя.

— Добрый день, рад вас видеть.

Дядюшка Дон с нескрываемым удовольствием наблюдал за этой сценой.

— Вот что, молодые люди, я оставлю вас вдвоем, чтобы вы получше познакомились. Не держи ее слишком долго за руку, Дэвид. Через полчаса у нее начинается проба.

Дэвид жестом пригласил Ориел сесть.

— Прошу вас.

— Благодарю,— сказала Ориел и опустилась в кресло.

Последовала пауза.

— Вам известно, зачем мой дядюшка привел вас ко мне?

— Он сказал, что вы ведаете контрактами с актерами, которые будут заняты в новой серии... Дэвид.

— Так оно и есть. Между прочим...— Он начал рыться в ящике стола. Постепенно его движения все замедлялись, наконец он поднял взгляд на Ориел.

— Слушаю вас...— ободряюще сказала она.

— Вы свободны сегодня вечером?

Она утвердительно кивнула головой.

— Да? Прекрасно! Мне хотелось бы обсудить с вами некоторые детали контракта. На то есть несколько причин. Может, поужинаем вместе?

Ориел вся подалась вперед, кокетливо заулыбалась.

— С удовольствием.

— В семь тридцать?

— Вполне подходит. Думаю, все у нас получится хорошо...

■

При свете ночника силуэт Дэвида едва угадывался. Он лежал на спине в первозданной наготе. Сложен он был пропорционально, хотя соперничать с Зевсом ему было бы трудно. Взор его блуждал по лепным украшениям на потолке.

— Который час? — вдруг спросил он.

Рядом с Дэвидом зашевелилась полусонная огненнокудрая Афродита.

— Хм. Какая разница?

— Мне важно знать.

— Что может быть сейчас важнее того, что мы вместе? — с напускным неудовольствием возразила Афродита.

— Нет, в самом деле. Если утром твой контракт не будет подписан и одобрен, Гильдия вправе требовать, чтобы на пробу пригласили другую актрису. Даже если вчерашняя проба прошла успешно.

— Ты что, сомневаешься в моей интуиции? — засмеялась Ориел.— Вчера вся съемочная группа так суетилась вокруг меня, что у них линзы запотели от усердия и им пришлось делать второй дубль.

Дэвид погладил волосы Ориел, но взгляд его по-прежнему был рассеян.

— Пойми, в наши дни контракт на участие в сериале — документ необыкновенно серьезный. Его можно сравнить разве что со средневековыми кабальными договорами, ставившими слуг в рабскую зависимость от хозяев.

— Да брось ты свои контракты, лучше обними меня!

— Ориел, я не могу позволить тебе подписать такой контракт,— сказал Дэвид, высвобождаясь из ее объятий.

— А почему бы и нет? — с вызовом произнесла Ориел.— Ты же знаешь, что меня не остановишь!

— Черт побери! — взорвался Дэвид.— Ты понятия не имеешь, через какие муки тебе придется пройти, если ты подпишешь такой контракт! Пожалеешь, что не продала душу дьяволу!

— Послушай! — твердо сказала Ориел.— Я прекрасно понимаю, на что иду. Но контракт заключается всего на три года. Когда он кончится, я выйду из игры, заработав кучу денег — больше, чем смогу потратить до конца своих дней. Я не из пугливых. По-моему, ты сам боишься больше моего.

— Зачем только я в тебя влюбился! — в отчаянии воскликнул Дэвид.

— Милый...— нежно сказала Ориел, склоняясь к нему.

— Я не могу тебе это позволить, Ориел, давай сделаем по-другому... Одну секунду!

— Тук-тук-тук! Все! Твоя секунда уже прошла...

Дэвид спустил ноги с постели и принялся рыться в ящике ночного столика. Достал какие-то бумаги, катушки с пленкой... Наконец он отыскал нужный бланк и принялся энергично его заполнять.

Ориел приподнялась на локте и с интересом наблюдала за Дэвидом.

— Что ты еще там придумал?

Дэвид продолжал писать без остановки, заполняя графу за графой. Над последней строчкой он задумался, склонив голову набок.

— Готово. Я составил для тебя контракт — правда, не так тщательно, как хотелось бы, но не это главное.

Он отложил бумагу и взглянул на Ориел.

— Я составил краткосрочный контракт, предусмотрев в нем, так сказать, пути к отступлению. Формулировки даны не столь жесткие, как принято у нас. Если режиссеру или сценаристу захочется вдруг внести в сценарий какие-то существенные и неприемлемые для тебя изменения, ты благодаря этим формулировкам всегда сможешь отказаться.

— О, Дэвид, какой ты заботливый, какой предусмотрительный! Ты обо всем подумал: даже контракт у тебя под рукой, в ящике ночного столика, вот это да!

Дэвид вдруг спохватился и принялся еще что-то вписывать в контракт. Пробежав глазами документ в последний раз, он вручил его Ориел.

— Держи! Отдашь этот контракт председателю комиссии, который будет руководить завтра символическим ритуалом заковывания актеров в кандалы. Его наверняка никто и не подумает прочесть заранее, а когда его подпишут, будет уже поздно вносить изменения.

Ориел грациозным движением приняла контракт, бросила на него беглый взгляд и отложила в сторону. Ее руки обвились вокруг шеи Дэвида.

■

В зале заседаний правления было сравнительно немноголюдно. Со времени последнего заседания никто из его членов внешне не изменился. В зале царила атмосфера светского приема: некоторые женщины были в вечерних туалетах, мужчины — в отлично сшитых костюмах. Густой, терпкий табачный дым причудливыми кольцами висел в воздухе, хотя кондиционеры работали на полную мощность.

Туалет одной дамы был особенно блистательным. Ее хотелось сравнить с бриллиантовой подвеской, в то время как другие напоминали всего лишь полудрагоценные камни. Женщины тонко это чувствовали и держались на расстоянии от счастливицы.

Блистательную даму сопровождали двое: уже знакомый нам лысый толстяк— дядюшка Дон Тексас и высокий, довольно молодой человек с мефистофельской бородкой. Лицо его было сосредоточенным, говорил он мало, иногда улыбался. Ориел была неотразима в своем наряде, усыпанном драгоценностями, сиявшими радугой хрустального тумана. Она казалась воздушной, словно фея, лицо ее светилось. Косметика была тут ни при чем: Ориел сама по себе сияла, подобно звезде.

В зал вошел Дэвид и начал оглядываться, отыскивая кого-то. Первым его заметил дядюшка Дон.

— Дэвид! Мой мальчик! Иди к нам!

— Привет, дядюшка Дон! Здравствуйте, Юханссон!

При виде Дэвида Ориел немного смутилась, но тут же оправилась и приветствовала его:

— Дэвид, милый! Рада вас видеть! Вот приятная неожиданность!

— Я только что прилетел из Ниццы. Мне сказали, что вы тут.

— Так оно и есть! — весело откликнулась Ориел.— Дэвид, дорогой, как вы поживаете?

— Теперь я и сам не знаю.

Дэвид взял Ориел под руку и отвел в сторону.

— Мы ведь ни разу не виделись с тобой с той самой ночи,— понизив голос сказал он.— Как прошла контрактная комиссия?

— Какая комиссия?

— Ты что, забыла про контракт, который я для тебя составил? Вероятно, он уже подписан, раз ты о нем не помнишь...

Ориел звонко рассмеялась.

— Ах, вот ты о чем! Все получилось удивительно просто! Я захватила с собой контракт на заседание комиссии, как ты велел. Но твой дядюшка Дон... он такой замечательный... и любезный мистер Пеллигрини предложили мне более выгодные условия. Намного больше денег, ты даже не поверишь — по высшей ставке!

Лицо Дэвида вдруг исказилось, словно от боли.

Ориел не ожидала такой реакции.

— Дэвид, что тут страшного? Ведь по новому контракту я получаю намного больше, чем по твоему! Разве это плохо?

Говорила она уверенно, однако вид у нее был озабоченный.

— Ориел, Ориел! — простонал Дэвид, крепко схватив ее за руки.— Неужели ты не понимаешь, что натворила? На время действия контракта твоя жизнь тебе не принадлежит! Она — в руках владельцев нескольких сотен миллионов ящиков, начиненных медной и серебряной проволокой! Почему ты меня не послушалась, Ориел, почему?

— Дэвид, мне больно!

Он разжал пальцы.

Подошли дядюшка Дон и высокий молодой человек.

— Что случилось? — поинтересовался дядюшка Дон.— Мы собрались здесь, чтобы отметить радостное событие! А у тебя, мой милый племянник, такой вид, будто произошло какое-то несчастье.

— Можно тебя на минутку, дядюшка? — Дэвид отошел с Доном к стене.— Черт побери! Почему ты позволил изменить контракт Ориел — тот, что я для нее составил?

— Я позволил изменить?.. А... ты имеешь в виду ту бумажонку, которую она принесла нам на подпись? Но ты же понимаешь, что ребята из юридического отдела никогда не пропустят документ, составленный в таких туманных выражениях. Особенно когда речь идет о новых кадрах. А тем более о смазливой бабенке. Я бы взглянул на этот контракт сквозь пальцы, но Пеллигрини и старик Мусфейс сразу подняли бы скандал. К тому же они заключили с ней самый обычный, стандартный контракт, не предусматривающий каких-либо ограничений. Все по справедливости. Что тебя гложет?

Дэвид огорченно вздохнул.

— Будем считать, что ничего. Ты сделал все, что мог. И все как будто согласны с тобой. Я просто... о, эти проклятые контракты!

— Дэвид!

— Хватит об этом,— отмахнулся тот и направился к столу с напитками.— Послушай, Ориел,— сказал он, подойдя к девушке.— Давай поужинаем вместе и поговорим обо всем.

— Ах, Дэвид! Какая жалость! Но я не ожидала тебя сегодня встретить и приняла приглашение Лейфа. Это мой будущий партнер по всему сериалу. Вечером мы с ним идем на грандиозный прием, который студия устраивает в рекламных целях.

— Извини, старик,— сказал Лейф, оказавшийся поблизости.

— Вы что, сговорились?! — взорвался Дэвид и, резко повернувшись, направился к выходу.

— Ну и дела,— пробормотал Лейф и отпил из бокала.

— О боже,— вздохнула Ориел,— умчался как сумасшедший! Я совсем не хотела его обидеть...

Подвыпивший дядюшка Дон между тем заметил вполне трезвым тоном:

— Обошлись с ним, конечно, жестоко, но я уверен, что он останется в здравом

уме.— Затем он улыбнулся, глядя на хмурое личико Ориел, и спросил:— Еще мартини, дорогая?

■

Рабочий стол Дэвида, как обычно, был завален грудами бумаг. Но теперь здесь появились два новых предмета: небольшой настольный календарь и крохотный стеклянный аквариум овальной формы. На дне аквариума лежал камень и зеленела синтетическая травка, в которой затаилась изумрудная черепашка.

Из стола выдвинулся микрофон, прозвенел сигнал.

— Слушаю вас, мисс Ли.

— Молодая дама просит принять ее, мистер Техсас. Ее имя — Ориел Вэнити.

Дэвид мрачно улыбнулся.

— Та самая Ориел Вэнити? — переспросил он.

— Да, сэр.

— Пусть войдет...

В то же мгновение дверь с силой распахнулась и в кабинет вбежала Ориел, преследуемая по пятам секретаршей.

— Не беспокойтесь, мисс Ли,— не повышая голоса, сказал Дэвид.

Мисс Ли послушно кивнула и затворила за собой дверь.

— Здравствуй, Ориел. Давно мы не виделись! Как твоя работа в шпионском сериале?

Вид у Ориел был измученный, волосы в беспорядке; Дэвид сразу почувствовал, что она встревожена. И все же она по-прежнему была прекрасна.

— Дэвид, ты должен мне помочь!

— Вот как?

— Сейчас оценки зрителей меняются каждую неделю! В прошлую пятницу мы были в первой пятерке, в эту — едва попали на пятидесятое место. Но меня не это беспокоит. Они пригласили еще одну актрису на роль героини!

— Я с ней знаком. Она очень мила...

— Весь ее талант заключается в величине ее бюста! Дэвид, я боюсь, что... они намерены отстранить меня от роли! Умоляю, помоги мне!

Дэвид уставился на черепашку и задумался. Эта крошечная амфибия, возможно, так же мудра, как ее взрослые сородичи, но посоветовать все равно ничего не может. Только сопит, выставив голову над поверхностью воды.

Дэвид заметил, что Ориел на грани истерики. Он взял ее за руку.

— Я сделаю все, что в моих силах, Ориел.

Она зарыдала и прильнула к нему всем телом. Они обнялись, но не так, как прежде, совсем не так.

Свет в кабинете померк, и глаза у черепашки потускнели.

■

В огромном здании компании Си-би-си было сто шестьдесят этажей и пятнадцать вспомогательных уровней, не считая паркинга для автомобилей. На нескольких этажах здесь размещались и люди, принимавшие решения, в том числе руководители компании. Дэвид беседовал о судьбе Ориел с большинством из них. Просил. Приводил веские аргументы и льстил. Угрожал и обещал. Нередко отчаянно спорил со своими собеседниками.

В конце концов Дэвид добрался до последней инстанции, которая была ему хорошо знакома,— до Дона Техсаса. Не особенно надеясь на успех, Дэвид тем не менее долго убеждал помочь Ориел.

— Но почему, Дон, почему? Почему ты не можешь для нее ничего сделать? Неужели это так трудно? Ведь речь идет всего лишь об одной актрисе. Ты знаешь, что произойдет, если оценки зрителей не станут более стабильными. А если руководство Си-би-си пойдет дальше и решится на ее замену?

Дядюшка Дон терпеливо слушал доводы племянника. Дэвиду, как родственнику, многое позволялось и прощалось. Дядюшка сочувствовал Дэвиду, но не шел ни на какие уступки.

— Даже речи быть не может,— твердо сказал он.— И не только потому, что она исполнительница главной роли. Контракт изменить невозможно. Таков принцип. Пойми, создавать прецедент опасно. Если бы я мог что-либо предпринять, я бы это

сделал. Но мне вовсе не улыбается стать козлом отпущения. И ты бы тоже не согласился...

Дядюшка Дон зябко передернул плечами.

— Значит, надежды никакой? — со вздохом спросил Дэвид, откидываясь на спинку кресла.

— Ну, почему же никакой! — бодро возразил дядюшка Дон.— Они, конечно, возьмут еще одну актрису. Так всегда делается. Если в течение ближайших недель голосование зрителей пройдет благоприятно, Ориел будет свободна от обязательств по контракту еще до конца сезона. Не принимай ничего близко к сердцу и не расстраивайся. К сожалению, и сегодня людям приходится голодать. Вообще, поводов для огорчения больше чем достаточно.

■

Дэвид принимал дома гостей — сестру с мужем и детьми. Квартира его была обставлена с комфортом, хотя при доходах Дэвида могла быть намного роскошнее. Освещенная мягким светом гостиная была отделана натуральным деревом и пластиком под дерево. Дэвид беседовал с мужем сестры Ником — молодым человеком, его ровесником. Сестра Уилла была очень миловидна и немного застенчива, даже в общении с братом.

— Пожалуй, надо идти, дорогая,— сказал Ник, взглянув на хронометр.— Детям уже пора в постель. А мне завтра лететь в Мадрид.

Он хотел было подняться.

— Погоди, Ник,— остановил его Дэвид.— Сейчас я позову детишек.

В спальне, тоже отделанной деревом и пластиком, племянники Дэвида, двойняшки-семилетки Джейми и Джоди, сидели на кровати, впившись глазами в экран тривизора.

Дэвид невольно взглянул на большой, встроенный в стену экран, сделанный по специальному заказу. По какой-то из дополнительных программ показывали новый детский фильм из популярной серии о приключениях Супермена, который совершал свои необыкновенные подвиги, единоборствуя с силами зла. Дэвид приблизился к детям и тронул их за плечи:

— Ребятишки, пора домой!

— Ой-ой-ой! Еще рано, дядя Дэвид!

— Пожалуйста, дядя Дэвид, еще минутку,— взмолилась Джоди, убирая кудряшки со лба.— Мы только что проголосовали!

— Ладно,— согласился Дэвид, бросая взгляд на часы.— Но только одну минуту.

Детишки снова жадно уставились на экран.

Широкоугольная камера неторопливо показывала обильно обагренные кровью развалины вражеского замка. Супермен, рядом с которым без всяких видимых усилий летел его верный пес, унесся к горизонту под ликующие аккорды гимна компании «Фрости-О». На экране начали вспыхивать цифры — зрители давали оценку новому фильму.

— Вот и все...

— Спасибо, дядя Дэвид!

Дети спрыгнули с кровати и побежали в гостиную. Дэвид в задумчивости последовал за ними.

Ник и Уилла, уже в пальто, поджидали детишек возле пестро раскрашенной двери. Детишки шумно суетились, пока взрослые помогали им надеть курточки.

— Спокойной ночи, Ник.— Дэвид протянул руку.— Счастливого полета и успешного завершения дел в Мадриде! Если встретишь там спортивного комментатора Эктора Родригеса из Би-си-и, передай от меня привет.

— Непременно. Спасибо за приятный вечер!

Все направились к лифту; дети махали на прощание руками, звонко переговаривались. Как только лифт пошел вниз, Дэвид неторопливым движением запер дверь. По лицу его блуждала улыбка.

Кухонный автомат выдал ему большой стакан холодного пива и несколько сандвичей, приготовленных по специальному рецепту. Дэвид взял пиво, сандвичи и пошел в спальню. Еду и пиво он поставил на ночной столик. Потом снова включил тривизор, разделся и лег. Постель сразу же приобрела соответствующую форму, при-

способливаясь к очертаниям его тела. Дэвид сделал большой глоток из запотевшего стакана и принялся переключать программы.

Он прошелся по всем каналам, остановился и не спеша начал нажимать кнопки в обратном порядке, пока не настроился на программу, которую сначала пропустил. На экране с воплями металась полуобнаженная девушка, которую два свирепого вида стражника волокли вниз по ступеням каменной лестницы.

Дэвид замер со стаканом в руке. В девушке он неожиданно узнал Ориел. Стражники втащили девушку в застенок, бросили на деревянный стол и привязали к нему кожаными ремнями. На стенах были развешаны средневековые орудия пытки. Оператор с явным удовольствием показывал их, каждое в отдельности, а диктор за кадром объяснял, как этими страшными орудиями пользовались в старину. Затем появился обнаженный человек в одной набедренной повязке, украшенной драгоценностями. Мускулы у него так и играли. Это был палач. Он стоял возле пылающей жаровни и коротким железным прутом помешивал раскаленные угли. Ориел начала биться в неподдельной истерике.

...На экране возникла бойкая молодая брюнетка с дежурной улыбкой, так хорошо знакомой зрителям. Сзади, над ее оголенным левым плечом, появилась крупномасштабная карта Северной Америки. Дикторша нараспев произнесла:

— Итак, уважаемые зрители, наступила решающая минута! Захваченная в плен красавица — тайный агент Джейд Грин — отказалась выдать жестокому диктатору, генералиссимусу Бору, местоположение штаба борцов сопротивления. От вас, дорогие зрители, зависит решение ее судьбы! Успеет ли агент Марк Крэг вместе с повстанцами спасти красавицу Джейд от ужасной смерти?..

Тут оператор очень кстати показал крупным планом лицо Ориел, по которому градом катились слезы.

—...Или жестокому диктатору и его подручным удастся вырвать из нее нужные сведения? Если вы хотите, чтобы красавица Джейд была спасена, пожалуйста, нажмите первую кнопку на пульте вашего тривизора — она красного цвета. Если вы желаете, чтобы генералиссимус Бор и его люди добились успеха в своей бесчестной игре, нажмите зеленую кнопку — номер два. Выбор за вами, друзья!

Дэвид, не мигая, смотрел на экран. Лицо его было бесстрастно. Потом он неторопливо перевел взгляд на розовый ящичек рядом с кроватью. В полутьме он не мог различить очертаний ящичка, но ясно видел две небольшие кнопки, выступавшие над его поверхностью,— красную и зеленую.

Рука Дэвида потянулась к кнопкам и замерла. У него еще было достаточно времени для принятия решения...

■

КИТ РИД

Синьор да В.

■

Перевод с английского АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА

Все началось однажды вечером за ужином, с разговора между папой и мамой, а до этого никто из нас и не подозревал о планах папы, которые он вынашивал целых пятнадцать лет. Но даже знай мы заранее о давнишних папиных планах, вряд ли, как мне кажется, все сложилось бы хоть чуточку удачнее.

КИТ РИД — KIT REED (псевдоним Лилиан Крэг Рид — Lillian Graig Reed; род. в 1932 г.). Автор многих книг, в том числе научно-фантастических произведений, составивших сборники «Синьор да В. и другие рассказы» («Mr. da V. and Other Stories», 1967), «Мыши-убийцы» («The Killer Mice», 1976) и др.

Сам я за ужином размышлял о своей работе, а также о том, откуда у других детей, с которыми я прежде ходил в школу, берется новая, модная одежда. Мои младшие братья-близнецы тем временем кидались консервированным горошком и норовили перепачкать друг дружку картофельным пюре с подливкой. Словом, каждый из нас был занят своим делом и не смотрел по сторонам, пока папа вдруг не сказал:

— Представь себе, Лилиан, что в нашем доме живет Леонардо да Винчи (он произнес: «Лей-он-аррр-дддо да Ви-ин-чи») и рассказывает мне о шедеврах Ренессанса! А я — я знакомлю его с чудесами современной цивилизации!

Для уборщика папа выражался слишком уж высокопарно. Работал он в колледже, на другом конце нашего городка (там он официально значился в числе «технического персонала»), и, как я догадывался, заработок у него был более чем скромный. В прошлом году, когда мне исполнилось шестнадцать, он взял меня из школы и устроил на работу, дабы я помогал семье. Теперь у меня не было времени общаться со сверстниками, поскольку я мог бывать в школе разве что ночью. Папиного заработка и денег, которые приносил домой я, едва хватало, чтобы сводить концы с концами, но это не мешало папе строить грандиозные планы.

Мама произнесла привычным тоном что-то вроде:

— Давай я добавлю тебе масла в горошек...

Но по голосу ее я понял, что она заинтригована, к тому же у нее было такое выражение лица, будто она хотела предупредить папу: «Не говори при детях!»

И точно, после десерта она отправила близнецов гулять, мне же удалось остаться только потому, что я упорно не двигался с места. Тогда-то папа и начал рассказывать.

— Поверишь ли, Лилиан,— обратился он к маме,— я мечтаю об этом с тех самых пор, как я солдатом попал в Италию. Если б только ты могла увидеть уникальные фрески, полотна, рукописи этого человека... чертежи военных машин, орудия... Какую я мог бы написать книгу! — Он ласково погладил маму по руке и продолжал: — Спасибо, что ты позволила мне отложить немного денег. Это даст мне возможность увидеть Леонардо...

Я сидел за столом и пытался понять, о чем идет речь. Потом в конце концов решил, что папа, должно быть, собирается посетить могилу Леонардо.

Но тут папа сказал:

— Представь себе, я разговариваю с ним и вижу его ну прямо как тебя сейчас...

Потом родители заговорили о той машине, которую папа давным-давно собирал в комнате на втором этаже. Оказывается, раньше он уже построил одну машину, вроде нынешней, которую изобрел, когда еще служил в Италии. Возвращаясь в Штаты, он сошел с поезда в Клу, во Франции, где да Винчи умер и погребен, и установил там свою машину в укромном месте, предварительно настроив ее на 1519 год. Когда же папа вернулся домой, он потратил пятнадцать лет жизни и все наши сбережения на постройку другой машины, которая каким-то образом взаимодействовала с первой. С помощью новой машины папа мог направить первую машину куда и когда ему заблагорассудится.

— Дезинтеграция и воссоздание материи,— сказал папа, беря меня за руку.— Прости, Моди, я не должен был заставлять тебя работать, но уже сегодня вечером ты увидишь результаты этого самопожертвования...

Папины глаза засверкали, он энергично развел руки в стороны, смахнув при этом с буфета светло-синий кофейник. Тот грохнулся на пол, но папа ничего не заметил.

— ...Сегодня вечером я представлю вам великого Леонардо во плоти!

Папа поднялся и величественно, словно был по меньшей мере лордом-мэром, отправился к себе наверх. Мы с мамой последовали за ним. Когда он закрылся в комнате на втором этаже, мы уселись перед дверью и принялись тихонько переговариваться. Мама рассказала уже известную мне историю о том, как перед войной папа работал уборщиком в инженерной лаборатории, как по ночам он бродил вокруг здания университета, как занимался на подготовительных курсах и еще во время войны брал уроки итальянского. (Даже близнецам было известно, что папа давно таскал домой обрывки проводов, осколки стекла и всякие железки, но никто из нас — даже мама — не знал, что происходило в комнате на втором этаже. Пока не было оснований думать, что нынче вечером что-то наконец прояснится.)

Мы слышали, как папа разговаривал сам с собой за дверью. Через некоторое время оттуда донеслись шипение и грохот, потом на полчаса все стихло. Когда я уже засыпал, за дверью послышались голоса. Один из них, несомненно, принадлежал отцу. Он громко и возбужденно говорил что-то на незнакомом мне языке. Они болтали без

умолку, так что только около пяти утра мы с мамой наконец спустились по скрипучей лестнице и легли спать.

Утром папа сошел вниз и, прихватив из кухни какую-то еду, накрытую тарелкой, отнес ее в свою комнату. Потом снова спустился и сел завтракать вместе с нами. При этом он так много говорил и так быстро работал челюстями, что трудно было разобрать, ест он или говорит.

— Лилиан, это изумительный человек... он не простой смертный... Он вовсе не удивился, очутившись в моей комнате, увидев машину. Его не смутило то, что он перенесся сюда через столетия, за тысячи миль... А самое главное — мы без труда смогли беседовать друг с другом. Конечно, со времени, когда он жил, язык немного изменился, но уже несколько минут спустя мы с ним болтали словно закадычные друзья. Ему хочется со всеми здесь познакомиться, поглядеть на все своими глазами.

Мама положила папе на тарелку еще кусочек омлета и поинтересовалась:

— Радость моя, как долго он у нас пробудет? Я должна знать, когда мне отправляться за продуктами к бакалейщику.

— Лилиан, неужели ты не понимаешь, насколько все это важно? — многозначительно произнес папа.— И пяти минут не прошло, а он уже успел порассказать много интересного, сделал несколько набросков, заговорил о будущих экспериментах... Разве не ясно, как много все это для меня значит?

Мама спросила:

— Когда ты позволишь ему спуститься вниз?

Папа неторопливо дожевывал омлет. Наконец он сказал:

— Мне кажется, на втором этаже ему будет уютнее. Он согласился, что пока ему лучше не показываться на людях. Сначала его следует подстричь по-современному, а также подобрать ему приличествующую одежду. Вы бы видели его бороду!

Сейчас мне представляется, что папа хотел использовать синьора да Винчи исключительно в личных целях. Он без устали записывал все, что говорил гость, так что вскоре в нашей столовой всюду лежали исписанные листки бумаги. Папа даже сказался больным на работе, лишь бы все время неотступно находиться при синьоре да Винчи. Насколько мне известно, он никогда не давал гостю никаких технических справочников, которые тот просил. Действительно, у нас в Штатах раздобыть такие книги на итальянском языке трудновато. Кроме того, у бедного синьора да Винчи не было ни металла, ни красок, ни другого подручного материала. В конце концов мы с близнецами начали украдкой таскать в дом разные вещи, нужные в работе.

Если бы все произошло так, как было задумано, папа осуществил бы свой план и отправил синьора да Винчи обратно в Клу, во Францию, в его могилу, так никому его и не показав. Первые несколько недель мы знали о синьоре да Винчи только то, что рассказал нам папа. Мы слышали, как по ночам он пел очень грустные песни. Один из близнецов ухитрился передать гостю в комнату маленькую гавайскую гитару, спрятав ее под подносом, и с тех пор да Винчи аккомпанировал себе во время пения.

Синьор да Винчи тем временем не сидел без дела: из простыни он соорудил небольшую ловушку, и когда однажды близнецы играли под его окном, они увидели, как простыня опустилась на землю. К ее уголкам были привязаны прочные веревочки. Братья видели, как в ловушку попал воробей, которого соблазнили хлебные крошки, насыпанные внутри. Вдруг кто-то дернул за веревочки, они затянули простыню, и синьор да Винчи — не сомневаюсь, что это было его изобретение,— начал быстро поднимать ловушку. После этого близнецы принялись ловить жуков, светлячков, бабочек и отправлять наверх синьору да Винчи в его ловушке. Однажды, когда он спустил простыню вниз, внутри оказался изумительно красивый рисунок с изображением цветка. На близнецов рисунок не произвел особого впечатления, а я приклеил его к задней обложке учебника истории, с которым ходил в вечернюю школу.

Тем временем папа по-прежнему проводил с да Винчи каждую свободную минуту. Ночи напролет он рассказывал, спрашивал, советовался. Потом спускался вниз, в столовую и записывал, дополнял, исправлял. Однажды я заглянул в его тетрадь и прочел там:

ДОПОЛНЕНИЯ
К БИОГРАФИИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,
СОСТАВЛЕННЫЕ
УИНСТОНОМ К. САНДЕРСОНОМ, ДОКТОРОМ ФИЛОСОФИИ.

При виде такого заголовка, да еще с такой ученой степенью, мне стало не по себе,

тем более что наш папа никогда в колледжах не учился и даже близко к ним не подходил, разве что ночью.

После того как синьор да Винчи прожил в комнате наверху около двух недель, папа, спустившись однажды к ужину, сказал маме:

— Ну вот, теперь я собрал все необходимые материалы. Сегодня вечером отправляю его восвояси.

— Ты же хотел познакомить его с нашей современной жизнью!..— вырвалось у меня.

— Не лезь не в свое дело, Моди,— был ответ.

— Ты хотел показать ему все чудеса современности! Надо, чтобы с ним встретился кто-нибудь из ученых...

— И прославился за мой счет? Украл замысел моей книги?

Такого выражения лица я у папы никогда прежде не видел.

— Идея книги — моя, с начала до конца! — с ударением изрек мой родитель.

— Папа...— начал было я, но тут вмешалась мама.

— Я рада, что наконец пришло время расстаться с нашим гостем,— сказала она.— Мне надоело его пение, оно мешает спать... Кроме того, я не знаю, что еще можно ему приготовить из овощей...

Папе, видимо, пришлось не по вкусу то, что сказал я, и он решил отыграться на маме:

— А думаешь мне с ним легко?

— Ничего, Уин, зато за твою книгу наверняка дадут кучу денег,— ободряющим тоном сказала мама.

— Надеюсь, черт возьми.— Папа резко отодвинулся от стола и наконец успокоился.— И это — только начало. Я могу воскресить Александра Македонского, Наполеона...

Вдруг на мамином лице появилось брезгливое выражение.

— Из-за его жучков и прочей живности, которую он держит наверху, провонял весь дом!

Папа обнял ее за плечи и сказал:

— Настало время расставания.

Я, признаться, даже немного обрадовался такому обороту дела: уж очень печально звучали теперь песни синьора да Винчи. Наверное, он истосковался по родине.

Отужинав, папа отправился наверх. Мы с мамой, крадучись, последовали за ним и, как в ночь появления гостя, расположились перед дверью. До нас долетали обрывки разговора синьора да Винчи с папой; похоже, что они спорили, но утверждать не стану, поскольку спор происходил на иностранном языке. Потом синьор да Винчи что-то сказал, и я мог бы поклясться, что это означало: «Скорее домой!» Для меня не имело значения, на каком языке это было произнесено. Тут мы услышали позвякивание папиной машины и продолжительное шипение, однако вместо ожидаемого звонкого удара машина издала глухой. Мы с мамой промаялись почти до пяти утра и только тогда отправились спать, хотя шум в комнате гостя продолжался и разговор не затихал.

За завтраком все держались чрезвычайно натянуто. С папиного лица не сходила нервная улыбка, он то и дело скалил зубы. В конце концов он не выдержал и сказал:

— Лилиан, дело серьезнее, чем я предполагал.

Мама подозрительно взглянула на него.

— Какое дело? — спросила она.

— Похоже, что Леонардо остался с нами... навсегда! Я свожу его к парикмахеру и куплю новый костюм, и мы разрешим ему проводить эксперименты в сарае. Кто знает, на какие чудеса он еще способен!

Мама окинула папу ледяным взглядом.

— Я сделал все возможное, Лилиан. Трудился всю ночь не покладая рук, но дезинтегратор...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я не могу отправить его обратно.

На мгновение мама лишилась дара речи, но тут же принялась ругать папу — неторопливо и проникновенно... Мы знали, что теперь ее ничто не остановит до самого вечера. Папа, будто не слыша ее, продолжал доказывать, что деньги, которые

он выручит за книгу о Леонардо, с лихвой окупят все расходы по его содержанию. Может, удастся пристроить старика в музей, поскольку книга уже закончена. Ему, как и ей, все случившееся не по душе, так что не стоит горячиться. Голос его становился все громче, звучал все резче, но мама не обращала на это внимания и продолжала его поносить. Было очевидно, что в этот день никакая сила не заставит ее замолчать.

Вначале я их слушал, а близнецы улизнули сразу, посреди одной из папиных гирад. Они выбежали в палисадник, и вскоре оттуда до меня донесся их радостный смех. Они смеялись так, словно кто-то сказал, что им больше никогда не нужно будет ходить в школу. Я вышел вслед за ними взглянуть, что происходит.

А они расположились на травке и играли с этим старым чудаком, обросшим длинными седыми волосами. Костюм на нем был вроде тех, в которых ставят Шекспира в любительском театре, но куда смешнее. Старик что-то оживленно говорил, обращаясь к ребятишкам, смеялся и ловко изображал какие-то фигурки с помощью переплетенных пальцев. Тут только до меня дошло, что это синьор да Винчи собственной персоной. Он как-то умудрился спуститься со второго этажа и теперь сидел на нашей лужайке и забавлял близнецов.

Я подошел и сказал «чао» (Тони Макаронник с рынка уверял меня, будто по-итальянски это означает «привет»). Синьор да Винчи поднялся и с улыбкой поклонился мне. Потом он отошел на два шага в сторону и принялся рассматривать меня в профиль. Я догадался, что ему захотелось тут же, не сходя с места, меня нарисовать. Мимо пролетала стая птиц, и старик сразу же обо всем забыл. Он стоял, запрокинув голову, и смотрел вслед птицам, смеялся и делал плавные движения руками, подражая взмахам крыльев.

Как раз в этот момент из парадной двери как ошпаренный выскочил папа, бормоча что-то себе под нос. Вслед за ним показалась мама и сказала:

— Уведи его из палисадника, Уин. Люди бог знает что скажут.

В конце концов папа увел синьора да Винчи в дом и сказал маме решительным тоном:

— Раз уж он тут застрял, нам придется считаться с его чудачествами, Лилиан, ничего не поделаешь.

Мама косо взглянула на папу:

— Ну, если ты собираешься держать его в нашем доме, так хоть постриги его по-человечески и купи наконец ему новый костюм.

И она удалилась, чтобы сварить синьору да Винчи чечевичную похлебку.

Во время этого обмена любезностями да Винчи сидел на кушетке и внимательно наблюдал за происходящим. Его борода и волосы излучали какое-то сияние. Вид у него был решительный, но в то же время сам он словно бы стал миниатюрнее: очевидно, двухнедельное сидение взаперти начало его утомлять.

Мне хотелось его чем-нибудь подбодрить, сказать, как я ему сочувствую, но нужные слова не приходили.

Отец проговорил что-то по-итальянски, и они с да Винчи отправились наверх.

Когда старик снова спустился вниз, он словно стал ниже на целую голову. Он был аккуратно подстрижен, одет в модный серый костюм в мелкий рубчик и походил на киноактера Адольфа Менжу. Свой первый день на свободе он посвятил обстоятельному осмотру дома, изучил электрические предохранители, пылесос и стиральную машину. Закончил он знакомство с нашим жилищем в подвале. Близнецы показали старику свои механические игрушки, и он возился с ними, стоя на четвереньках, пока не сели батарейки. Особенно его поразили модели самолетов: он не мог оторвать от них взгляда.

Несколько последующих недель да Винчи был счастлив: он вникал буквально во все, рылся в иллюстрированных журналах и книгах, которые попадались ему под руку, разбирал на составные части самые разные вещи и без устали рисовал. Уже на второй день близнецы вывели да Винчи на дорогу и показали ему первый проехавший мимо автомобиль. Старик пришел в такой восторг, что замахал руками и кинулся вслед за машиной, пытаясь ее остановить.

На следующий день, когда папа отправился на работу, я прокатил синьора да Винчи на машине. Прежде мне никогда не доводилось видеть, чтобы кому-нибудь это доставляло такую радость. Когда мы возвратились домой, он сунул голову под капот, и довольно скоро на полу сарая выросла горка деталей, снятых с двигателя.

Когда да Винчи вновь собрал двигатель, на полу осталось около половины деталей. А двигатель заработал лучше прежнего.

Когда я продемонстрировал все эти усовершенствования папе, он устроил мне взбучку за то, что я без его разрешения повез синьора да Винчи прокатиться. Я объяснил, что всего-то проехал по автостраде туда и обратно и вовсе не намеревался возить старика в город или еще куда-нибудь. Папа сказал, что стремится уберечь да Винчи от посторонних влияний, дабы выяснить, какие изобретения тот способен сделать самостоятельно, а потому старого синьора следует изолировать. Папа сказал также, что ему особенно не хотелось бы, чтобы синьор да Винчи встречался с кем-либо из ученых, поскольку те либо поднимут вокруг него шум и объявят его самозванцем, либо раньше времени расскажут о нем в печати и папины планы станут всем известны. У меня складывалось впечатление, что судьба синьора да Винчи вообще папу не волновала: он ничем, кроме своей книги, не интересовался.

А синьора да Винчи, кажется, вовсе не беспокоило столь быстрое прекращение автомобильных прогулок. Он уже успел соорудить миниатюрную сенокосилку, в которую впрягся наш пес-боксер Вауз. С его помощью старик решил подстригать газон. Добрался он и до детских цветных карандашей и нарисовал мой портрет. Кроме того, у него созрел грандиозный замысел перестройки парадной лестницы в нашем доме.

Я догадывался, что маме нелегко столько времени терпеть в доме гостя, но, по-моему, она все-таки была слишком бесцеремонна с синьором да Винчи. Так, она настояла на том, чтобы он ел в своей комнате — его манеры могли дурно повлиять на близнецов. К тому же она постоянно напоминала папе о том, что ей приходится готовить отдельно для постороннего человека. После обеда гость обычно пел, аккомпанируя себе на лире, которую он смастерил из маминого посеребренного чайного подноса. Песни его при этом день ото дня звучали все печальнее.

Мама не стала ходить вокруг да около, а сразу взяла быка за рога:

— Уинстон, я больше так не могу!

Папа, который в этот момент обдумывал одну из наиболее сложных глав своей книги о Леонардо, лишь что-то невнятно пробормотал. Мысли свои он записывал прямо на скатерти.

— Я, конечно, понимаю, какой это великий человек и какая высокая честь принимать его в своем доме, но любая женщина на моем месте не потерпела бы такого.— Голос у мамы задрожал. Это не предвещало добра, и папа должен был бы насторожиться, однако он слишком был увлечен своей работой.— Этот человек рисует всякие непристойности...— не унималась мама.— Что, если их увидят дети?

Тут папа поднял голову.

— Лилиан, его интересует анатомия. Неужели он не может спокойно делать обычные анатомические рисунки? — Папа выпятил челюсть.— Эти рисунки нужны для моей книги.

— Вероятно, поэтому ты позволил ему резать на куски несчастных зверушек? — спросила мама, едва сдерживая слезы.

— Да, именно поэтому я позволил ему резать на куски несчастных зверушек,— передразнил ее папа.

В ответ мама швырнула на стол доску для разделки мяса и крикнула:

— Уин, сегодня я обнаружила в холодильнике мышиные потроха! Я в ужасе закричала, а он с улыбочкой спрятался за кухонную дверь. Это он нарочно ждал, когда я туда полезу, честное слово, хотел посмеяться надо мной!

Высказав все это, мама ушла на кухню, чтобы близнецы не видели, как она плачет.

Подобные сцены повторялись чуть ли не каждый день. Тем временем синьор да Винчи начал рисовать на стене нашего холла изумительную картину, изображавшую ангелов и демонов, души грешников и тому подобное. Поначалу мама этого не замечала: всякий раз, когда синьор да Винчи спускался по лестнице, она уходила в слезах — до того у нее сдали нервы. Но однажды, в воскресенье, она как следует присмотрелась к картине и так рассердилась, что схватила полное ведро белой краски «Супер Кем Тон», валик на длинной палке и замазала всю картину. Два дня синьор да Винчи ходил надутый, и я его понимаю. Потом он вроде бы забыл о случившемся и целую неделю наблюдал за птицами и рисовал их крылышки. Как сказал

мне папа, синьору да Винчи едва ли не первому пришло в голову, что человек может летать.

Однажды мы с да Винчи отправились на прогулку и по привычке наблюдали за птицами, как вдруг над нашими головами с ревом пронесся реактивный авиалайнер. Признаться, тут я испугался, что старик спятит,— так он разволновался. С большим трудом мне удалось его успокоить. Дома я отыскал детскую книжку об авиации и с помощью картинок и жестов — старик при этом тоже делал разные движения руками — объяснил ему, что такое самолеты. Он долго сидел в раздумье на лужайке. Наверное, он был сильно расстроен — ведь ему и здесь хотелось быть первооткрывателем. Потом он снова начал жестикулировать, и я догадался, что его интересует, удалось ли кому-либо из людей подняться в воздух без помощи летательных аппаратов. На это я с помощью рисунков, жестов и отдельных слов ответил, что это еще никому не удавалось. Старик несказанно обрадовался, вскочил и начал махать руками и рисовать разные вещи, которые были ему необходимы и которые, как он надеялся, я ему достану.

Вместе с близнецами мы принялись таскать в дом алюминиевую фольгу и синтетическую пленку, обрезки дерева и полоски металла — добывали мы их главным образом в кабинете труда седьмого класса средней школы. Синьор да Винчи прятал все это богатство на чердаке сарая. Вскоре раздался стук его молотка, старик что-то начал пилить, а потом снова запел.

Папа никогда даже близко не подходил к сараю. Он был слишком занят своей книгой и, думается, рад, что синьора да Винчи нет рядом, так как общение с ним отвлекало бы его от работы. Кроме того, старик мог сказать отцу что-нибудь такое, что вынудило бы его переписывать целые главы. У папы сложилось свое собственное представление о синьоре да Винчи, и ему не хотелось, чтобы что-то на него повлияло. Кроме того, у папы были нелады с мамой. У мамы постоянно дрожали руки, она то и дело хватала папу за рукав, не обращая внимания на то, что он пишет, и не переставала твердить ему, что все в доме идет вкривь и вкось.

— ...И он задумал превратить нашу собаку в боевую машину...

Старший из близнецов, Ричард, пытался объяснить, что синьор да Винчи решил научить Вауза косить траву, но мама и слушать не желала.

— Лилиан, когда мы получим, наконец, деньги за книгу,— говорил обычно папа,— мы подыщем для старика подходящее местечко. Может быть...— При этом ему удавалось придать своему лицу озабоченное выражение.—...Может быть, нам удастся его куда-нибудь пристроить... Он никогда не сможет жить среди современных людей...

Близнецы ничего толком не понимали, но меня подобные рассуждения очень огорчали, и я поклялся, что не допущу, чтобы с синьором да Винчи случилась какая-нибудь беда.

— Как бы мне хотелось, чтобы в нашей семье снова воцарились мир и покой,— часто повторяла мама.

При этом она принималась тихонько плакать, а папа продолжал трудиться над книгой.

Однажды вечером, сидя у ручья, синьор да Винчи извлек откуда-то забавного игрушечного тигра, которого он смастерил для близнецов. На бид тигр был словно из чистого золота. Старик положил игрушку на камень, и она начала двигаться, жужжа и потрескивая. В руках синьора да Винчи вдруг оказалась небольшая палочка, и он легонько прикоснулся ею к игрушке.

Тигр тут же распался на две половинки; на изломе он был дивной сапфировой голубизны, а посередине белели крохотные лилии. Близнецы так обрадовались, что бросились обнимать старика, и он едва не заплакал. Некоторое время спустя ребятишки отправились домой спать, а мы с синьором да Винчи остались сидеть у ручья. Над нами снова пролетел реактивный лайнер, и старик раскинул руки в стороны, желая показать, что готов последовать за самолетом. Говорят, нигде нет такого голубого неба, как в Италии, и в этот момент мне показалось, что синьор да Винчи хочет взмыть вверх и обрести свое прежнее пристанище в небесной голубизне.

Самолет улетел, сделалось совсем тихо, и в надвигающихся сумерках небо начало быстро темнеть. Некоторое время спустя синьор да Винчи взглянул мне в лицо, и в его глазах отразились все его надежды и планы. Затем в них возник недоуменный вопрос: «В чем я провинился?»

Мне захотелось, чтобы отцу, который вырвал этого человека из привычного окружения, тоже стало не по себе.

День ото дня синьор да Винчи выглядел все более усталым. Наверное, он догадывался, как относится мама к его пребыванию в доме. Всякий раз, когда старик пытался поговорить с папой, он уходил ни с чем — папа был так занят книгой, что у него не было времени для гостя.

Мы с близнецами старались уделять старику как можно больше времени, но ему этого было недостаточно. Старик продолжал петь свои печальные песни, запершись в комнате, а потом шел в сарай и работал. Бывало, он трудился ночь напролет при свете одной-единственной лампочки, свисавшей со стропила.

Когда старик не был ничем занят, он мог часами рассказывать мне разные разности на языке, которого я не понимал. Одновременно он рисовал мой портрет. Игрушечного тигра близнецы потеряли летом в дождливый день, а вот портрет хранится у меня по сию пору.

Иногда я находил синьора да Винчи в подвале, где он с грустью рассматривал свои многочисленные машины и механизмы. Видимо, он догадывался, что жить ему здесь осталось недолго и он не успеет завершить начатое. Случалось, я заставал его, когда он перелистывал детскую книгу об авиации, взятую у близнецов, или поглаживал рукой крыло нашего автомобиля. Взгляд у него при этом бывал отрешенный. Ему так много хотелось сделать!

Я до сих пор считаю его проект подводной лодки довольно удачным. Среди прочих механизмов и приспособлений он смастерил компактную герметичную капсулу с отделениями для рук и ног, в которой мог поместиться человек. То был прототип гидрокостюма для передвижения под водой.

Однажды в субботу — помнится, был теплый день — мы с синьором да Винчи, захватив близнецов, отправились к ручью, в то место, где он особенно глубок. Старик помог Ричарду надеть гидрокостюм, и тот спустился в воду.

Конечно, мама сильно переволновалась, когда мы на руках внесли Ричарда в кухню, положили на стол и начали делать ему искусственное дыхание. И все же ей не следовало так себя вести. Она бросилась вверх по лестнице в комнату да Винчи и принялась швырять оттуда пожитки гостя прямо в холл.

— Пришел конец моему терпению! Слышите? — кричала она, наскакивая на старика и размахивая рулоном, в который были свернуты его рисунки.— Вы... вы — убийца! — тонко выкрикнула она. Она не замечала, что старик пытается сунуть ей в руку какой-то листок. В конце концов она взяла листок — это был новый рисунок гостя — и, не выпуская из рук рулон, разорвала, даже не удосужившись на него взглянуть. А Леонардо нарисовал специально для нее необыкновенно красивого ангела... Мама принялась между тем таскать вещи гостя к парадному входу, а когда старик потянул ее за рукав, желая успокоить, она резко обернулась к нему и визгливо крикнула:

— Убирайся вон!

Потом она убежала в библиотеку и разрыдалась — наверное, понимала, что грубо вела себя с гостем, который был таким великим человеком.

Синьор да Винчи, обескураженный и оскорбленный, направился тем временем к папе. Ему и нужно-то было всего ничего — несколько приветливых слов, но папа был занят книгой и не желал отрываться от нее ни на минуту, даже ради синьора да Винчи. Так что гостю пришлось повернуться кругом и выйти вон через боковую дверь. Мне хотелось последовать за стариком и утешить его, но тут в комнату с воплями ворвалась мама. Я стал невольным свидетелем семейной сцены.

— Уинстон, он должен куда-нибудь уехать, куда угодно... Пожалуйста, Уинстон!...— рыдала она.

Но папа не соизволил поднять голову от рукописи, он даже не заметил маминого присутствия. Тогда мама издала новый душераздирающий вопль — так кричат глубоко уязвленные женщины — и заявила:

— Уинстон! Он хотел утопить нашего ребенка!

Тут папа насторожился.

— Вот неблагодарный! — сказал он.— Если бы не моя книга...

— Твоя книга...— передразнила мама, близкая к истерике.

— Хорошо, хорошо, Лилиан! — торопливо согласился папа, который готов был на все, лишь бы успокоить маму.— Мы что-нибудь придумаем...

И они начали прикидывать, как им ловчее отделаться от синьора да Винчи. Мне стало настолько не по себе, что я поспешил выйти из комнаты.

Я уселся на заднем крыльце и постарался успокоиться. Вдруг двери сарая с силой распахнулись, и я увидел в чердачном окне силуэт, походивший очертаниями на птицу феникс. Огромные яркие крылья оглушительно хлопали. По всей их поверхности шли небольшие отверстия, которые то открывались, то закрывались. Сквозь них виднелась алюминиевая фольга, синтетическая пленка, перья и какие-то блестящие штуковины, которые переливались, словно драгоценные камни Я смотрел на вздымавшиеся и будто дышавшие, как у какой-то фантастической бабочки, крылья, на человеческую фигуру в обрамлении этих крыльев, в богатом, украшенном драгоценностями костюме, и не сразу сообразил, что передо мной — синьор да Винчи, решивший покинуть нас навсегда.

Его седые волосы успели снова отрасти — папа не удосужился подстричь старика вовремя,— и теперь эти белые пряди развевались по ветру. Глаза старика сверкали, на лице застыло горделивое выражение. Думаю, меня он даже не заметил, когда ступил на подоконник и сделал широкий взмах крыльями, от которого затрепетали кусты на заднем дворе. Затем он с громким шумом взлетел и быстро исчез в вышине.

Куда старик улетел, неведомо, но сделал он это как-то очень по-своему. Я представил себе, как он все выше и выше поднимается в голубое небо, до самой верхней границы, где начинается эта голубизна. И куда бы он ни попал, он найдет себе миллион разных дел и сделает их первым, непременно раньше других. Он отыщет место, где люди его поймут и где он сможет беспрепятственно завершить все начатое.

Мама была так расстроена случившимся, что изорвала все черновики папиной книги, чему я очень обрадовался. Сам папа никогда не узнает, куда девался синьор да Винчи, и поделом ему. Первые несколько дней после исчезновения нашего гостя близнецы по привычке выносили во двор золотого тигра, играли с ним и плакали. Но они еще маленькие и скоро обо всем забыли.

Я по-прежнему храню карандашный портрет, выполненный синьором да Винчи. Иногда мне хочется показать его учителю рисования в вечерней школе, но я опасаюсь, как бы с рисунком чего не случилось. Поэтому я не спешу извлекать его из потайного места, и, кроме того, мне ведь все равно никто не поверит.

■

МЕЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1930 г.)

Советский переводчик и журналист. Переводил с английского произведения австралийской поэтессы Кэт Уокер, рассказы валлийских авторов («ИЛ», 1979, № 5); с польского роман Юлиана Кавалеца «Танцующий ястреб» (совместно с М. Игнатовым; «ИЛ», 1969, № 1—2), произведения Ярослава Ивашкевича, Казимежа Брандыса и др.

АЙРИС МЕРДОК

Сон Бруно

РОМАН

Перевод с английского ОЛЬГИ ТАТАРИНОВОЙ и ИГОРЯ ШВАРЦА

Глава VIII

Денби поправил галстук и нажал на кнопку звонка. Дверь открыла крупнолицая женщина с бледно-песочными волосами, гладко зачесанными назад.

Денби тут же забыл о Майлзе.

— Я... Здравствуйте... Я...

— Вы Денби.

— Да. А вы — Диана.

— Да, вот и хорошо. Очень хотела с вами познакомиться. Входите. К сожалению, Майлза нет.

Откуда-то из глубины дома доносилась тихая музыка.

Денби прошел следом за Дианой через темный холл в комнату, которую слабо озаряли последние лучи заходящего солнца. За большими двустворчатыми окнами виднелась асфальтовая площадка, мокрая от недавнего дождя, густые заросли дымчатой, голубоватой зелени. От нагретого солнцем асфальта поднимался легкий пар. Денби не сводил глаз с Дианы.

Денби узнал мелодию, это была старая танцевальная музыка, фокстрот времен его юности, и Денби словно окутал туман прошлого. Медленный фокстрот. Диана убавила звук, и музыка стала едва слышна.

— Как это мило, что вы заглянули.

— Можно было и позвонить. Но я шел мимо и подумал: дай-ка зайду.

На самом же деле Денби мучительно хотелось снова увидеться с Майлзом.

— Вы насчет встречи Майлза с Бруно? Я так рада, что Майлз собирается пойти к отцу, а вы?

— И я рад. Хотел вот узнать, подойдет ли субботнее утро. Майлз по субботам не работает?

— Иногда работает, но может освободиться, если нужно.

— Что-нибудь к одиннадцати.

— А знаете, вы совершенно не такой, каким я вас себе представляла.

— Каким же вы меня представляли?

— Таким каким-то... Ну, трудно сказать.

— Что, Майлз не очень-то лестно отзывался обо мне?

— Нет-нет-нет, не то. Я полагала, вы старше и не такой...

Продолжение. Начало см. в № 6.

— Красивый?

Они рассмеялись.

В убранстве гостиной с мягкими круглыми креслицами, обтянутыми ситцем, смело сочетались яркие тона. Высокий белый камин в стиле «ар нуво» [1] был уставлен блестящими фарфоровыми статуэтками. На стенах в желтую и белую полоску висели вперемежку небольшие картины поздней викторианской поры, рисованные силуэты и миниатюры. Продуманная эклектика, стилизация, комната в духе этакого строгого гедонизма, которая могла существовать в XIX веке в Кембридже, в тех пасмурных болотистых местах.

Девочка, как сразу же мысленно назвал он Диану, была в шерстяном коротком голубом платье без пояса. Это строгое, элегантное платье плотно облегало ее округлую грудь, бедра, живот, отчего Диана выглядела очень женственной. У нее были чистые темно-карие глаза, правильный прямой нос, длинные, гладко зачесанные назад волосы, которые сейчас, на солнце, отливали серебристо-золотым блеском. Лицо — непроницаемое, сосредоточенное, как бы жаждущее чего-то. Денби тотчас уловил ее неудовлетворенность, ее готовность к решительным поступкам. Чувственная, соблазнительная девочка, каких теперь не часто встретишь. Истинная гедонистка.

— А меня вы такой себе представляли?

— Признаться, я вообще не много о вас думал. Зато буду думать теперь.

— Вы очень любезны.

Они снова рассмеялись.

— Хотите выпить? — спросила Диана.— Майлз бросил пить. Вот ужас, правда?

Она достала из белого буфета бутылки с джином, вермутом, ликером и небольшие хрустальные бокалы.

Денби был благодарен Диане за приглашение. Выпивка в этот час дня была для него ритуалом; после первой вечерней порции всегда наступали минуты блаженства, которое разливалось по всему телу. А сейчас ему было приятно вдвойне, поскольку он не ждал ничего подобного.

— Я люблю выпить вечером, но только не в одиночестве.

— В таком случае я рад, что зашел и могу составить вам компанию.

— И я рада, что вы зашли! А то Майлз совсем оторвался от своей семьи.

— От семьи? Да, а я у них вроде связного.

— По-моему, семейные узы очень важны.

— Смотря какая семья. А чем вы занимаетесь, Диана?

— Чем? Я домохозяйка. А вот чем вы занимаетесь, я знаю.

— Наверное, я бизнесмен. Или печатник. Все не пойму как следует, кто же я такой.

— Я тоже не пойму как следует, кто я такая. Но кажется, это потому, что я вообще никто.

— И вы нигде не работаете?

— Да нет же. Я сижу дома.

— Пылинки сдуваете?

— Да, с кресел. Слежу за садом, готовлю, навожу красоту.

— Творите.

— Не валяйте дурака. Выпейте еще.

— Майлз когда придет?

— Он вернется поздно. У них какое-то сборище на работе, от которого он не смог отвертеться. Он терпеть не может этих сборищ.

— Майлз не очень-то общителен, да?

---

[1] Стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX века.

— Да, он не выносит людей.

— А вы, по-моему, наоборот.

— Да, я гораздо общительнее Майлза. Можно мне тоже навестить Бруно?

— Конечно. Он очень хочет вас увидеть.

— Правда? Я думала, он и не подозревает о моем существовании.

— Ну что вы, ему не терпится с вами познакомиться.

— Это меня радует. Только пусть сначала Майлз сходит к отцу. А мне всегда хотелось познакомиться с вами и Бруно. Он очень страдает?

— И да и нет. У него нет болей, и он в здравом уме. Он вас полюбит.

— И я его полюблю.

Какой же я дурак, думал Денби. Даже представить себе не мог, что встречу здесь такую девочку. Просто счастье для Бруно. Она найдет подход к старику. Женщины в этом смыслят гораздо больше. Он снова оглядел комнату. Девочка, которая ничем не занята, сидит в обитом ситчиком кресле и читает. Он увидел книгу на одном из кресел. Джейн Остин. Женщина, которая, наверное, немного скучает. Которая чего-то ждет.

— Очень рад, что мы наконец познакомились,— сказал Денби.

Господи, какая сексуальная музыка, подумал он. Что же это такое? Очень знакомая мелодия.

— Что это за пластинка?

Диана усилила звук. Это был медленный фокстрот, классический, благородный, чрезвычайно сладкозвучный, всколыхнувший в душе Денби драгоценный, хотя и не очень уместный отзвук прошлого. Ноги его сделали заразительное скользящее движение по устилавшему пол гладкому ковру. Он шагнул к Диане, обвил рукой ее талию; они танцевали молча — вперед, назад, кругом, медленно, ритмично, слаженно, их тени, слитые воедино, порхали по стенам следом за ними.

Музыка кончилась, и они отстранились друг от друга. Взгляд голубых глаз погрузился в карие, и карие потупились.

— Вы прекрасно танцуете, Диана.

— Вы тоже.

— По-моему, медленный фокстрот — это самый лучший танец на свете.

— Да. И самый трудный.

— Сто лет не танцевал.

— Я тоже. Майлз не выносит танцев.

— В свое время я побеждал на танцевальных состязаниях.

— Я тоже.

— Диана, а что, если я приглашу вас как-нибудь днем в танцевальный зал, знаете, в такой, для всех. Вы придете?

— Конечно нет.

— Майлз ведь не будет возражать, как вы думаете?

— Денби, не валяйте дурака.

— Диана, медленный фокстрот?

— Нет.

— Медленный фокстрот?

— Нет.

— Слоу фокс?

— Нет.

Глава IX

Босоногий Найджел сидит на корточках у ограды и смотрит куда-то вниз. Руки в ржавчине, ноги заляпаны грязью. Случайный в этот поздний час прохожий подозрительно оглядывается на него. Найджел, не меняя позы, улыбается, его зубы блестят в полутьме, от-

ражая свет отдаленного уличного фонаря. Прохожий, постояв в нерешительности, пятится и бросается прочь. Продолжая улыбаться, Найджел возвращается к прерванным наблюдениям. За незашторенным окном жилец полуподвальной квартиры укладывается спать. Вот он снимает брюки, небрежно бросает их на пол, подходит к умывальнику, оправляется. Стягивает с себя рубашку с обмахрившимися краями и принимается деловито чесать подмышки. Вот он перестает чесаться и с серьезным видом нюхает пальцы. Прямо поверх грязного нижнего белья надевает мятую пижаму и неуклюже забирается в постель. Некоторое время он лежит, равнодушно уставившись в потолок и почесываясь, потом выключает свет. Найджел поднимается на ноги.

Вот они, достопримечательности его ночного города, места, куда стекаются паломники, места, где грешат, места, где отпускаются грехи. Босоногий Найджел бесшумно скользит по тротуару, прикасаясь к каждому фонарному столбу. Он видел людей попранных, обессиленных, проклинающих, молящихся. Он видел, как человек, подложив мягкую подушечку, становится на колени, складывает в молитве ладони и закрывает глаза. Повсюду из человеческих сот священного города исторгаются молитвы любви и ненависти. Отрешившийся от собственного «я», Найджел тихо обходит семимильными шагами город, а вокруг него со слабым шелестом устремляются ввысь молитвы. Какую бы религию ни исповедовал человек, она всегда возвышает душу. По темным проулкам смуглые почитатели культа в белоснежных одеждах безмолвно несут белые благоухающие гирлянды, дабы прикрыть ими наготу Великого Шивы.

Найджел неслышно ступает, перешагивает через улицы, его босые ноги не касаются земли, он невидимый зритель в театре жизни. Вот он у священной реки. Она течет у его ног, черная и полноводная, река слез, уносящая человеческие трупы. Река слез, но Найджел не из тех, кто плачет. Широкая река, исполинская, черная, несет свои воды под звуки надтреснутых церковных колоколов. Эти звуки взлетают стаями летучих мышей, застилая темно-бурое небо. Мутная река покрыта рябью, набухла, вспучилась у берегов. Найджел совершает жертвоприношение: цветы. В каких садах под покровом ночи собирал он их? Он бросает цветы во вздыбившиеся воды, вслед за ними бросает все, что есть у него в карманах: перочинный нож, носовой платок, пригоршню монет. Река принимает со вздохом и цветы, и белый платок, медленно унося их в тоннель ночи. Найджел — бог, раб — стоит прямо, он страдалец за грехи больного города.

Он ложится на тротуар, и волны подносят к его зорким глазам иллюминатор баржи. На кровати сидят мужчина и женщина, женщина — голая, мужчина одет. Он ругается, грозит женщине кулаком. Она отрицательно качает головой, с усилием отводит его руку, от натуги и страха лицо ее искажается. Мужчина начинает раздеваться, срывает с себя с проклятиями одежду. Он откидывает одеяло, и женщина ныряет в постель как зверек в нору, скрывается в ней, натянув одеяло до самых глаз. Мужчина стаскивает с нее одеяло и выключает свет. Найджел лежит на мокром тротуаре, скорбя о грехах человечества.

Вот он приподнимает голову, чтобы заглянуть в другое незашторенное окно над самой землей. За неубранным столом бранятся Уилл и Аделаида. Уилл держит за руку Аделаиду, она упрямо пытается вырваться. Уилл отшвыривает ее руку. Тетя вяжет оранжевый пуловер.

— Ну так есть у него «Треугольный Мыс»?

— Да, их несколько.

— Ты должна будешь взять тот, что мне нужен. Я тебе покажу, как он выглядит.

— Ничего я не собираюсь брать.

— Нет, ты возьмешь, Ади.
— Нет, не возьму.
— Прямо убил бы тебя, Аделаида.
— Отпусти руку, больно.
— Так тебе и надо.
— Ух, и гад же ты.
— А зачем ты приходишь мучить меня?
— Отпусти руку.
— Тебе доставляет удовольствие меня мучить.
— Отпусти.

Тетя не впервые замечает лицо Найджела, застывшее за окном, как луна, она загадочно улыбается и продолжает вязать.

А вот Найджел в другом месте простерт перед стеклянной дверью среди густой дымчатой зелени. Сквозь просвет между гардинами ему удается разглядеть худощавого бледного мужчину с узкими продолговатыми глазами, залысиной в густых темных волосах, он спорит о чем-то с худенькой женщиной, у которой руки словно тростинки и лицо изможденное, упрямое, страстное. Это лицо окружают бесформенным темным облаком растрепанные каштановые волосы.

— Мир совершенно независим от моей воли, и поэтому я не в силах его изменить.

— Да, он, должно быть, замыслен извне. И в нем все идет как идет и происходит как происходит. Без какого-нибудь особенного смысла.

— А если бы он и был, этот смысл, то и в нем не было бы ни малейшего смысла.

— Если добрая или злая воля и меняет что-то в мире, то только его границы. Он либо увеличивается, либо уменьшается.

— Мир счастливого совершенно иной, чем мир несчастного.

— Здесь, как со смертью, мир не меняется, а прекращает свое существование.

— Смерть — не факт жизни. Ее нельзя пережить.

— Но если вечность понимать не как бесконечную временную длительность, а как отрицание времени, то всякий, живя в свой век, одновременно живет и в вечности.

— Загадка не в том, что и как в нашем мире, а в том, что он вообще существует.

— А уж об этом не нам судить.

— А значит, нам остается умолкнуть.

В комнату входит прекрасная женщина с лицом крупным и ласковым, как рассвет, в длинном пеньюаре цвета полуночной синевы. Она ставит поднос перед спорящими, садится между ними и примирительно гладит по плечу одного и другого. Глядя на нее с любовью, они маленькими глотками потягивают горячее какао и едят пирожные с заварным кремом.

Найджел идет домой. Он становится на колени на мокром скользком мху и видит, как Денби рассматривает себя в зеркале. Денби, улыбаясь, любуется своими ровными белыми зубами. Стоящий на коленях рядом с ним невидимый Найджел тоже улыбается нежной, прощающей, бесконечно грустной улыбкой всемогущего бога.

Глава X

Медленный фокстрот.

Обнявшись, с полузакрытыми глазами, мечтательно кружатся в танце Денби и Диана. В зале множество отрешенно скользящих немолодых пар, все танцуют очень хорошо. В красноватом приглушенном свете едва различимы сквозь облака сигаретного дыма мраморные колонны, увенчанные позлащенными рогами изобилия, как бы

изливающимися на танцующих. Бархатный пурпурный занавес между колоннами спадает мягкими складками, на стенах золоченая мозаика с бирюзово-голубым цветочным орнаментом. Пышные пальмы и папоротники расставлены по углам, скрывают вход. В зале стоит тяжелый приторный дух дешевой косметики и парфюмерии. Отдельные посетители расположились в стороне за столиками, но большинство молча танцуют, полузакрыв глаза, щека к щеке. Переговариваются шепотом. Все это происходит днем.

— Денби!

— Да.

— Мы здесь моложе всех.

— Да.

— Вы думаете, все эти женщины танцуют со своими мужьями?

— Нет, конечно.

— А они расскажут об этом своим мужьям?

— Нет, конечно. А вы расскажете своему мужу?

— Странно думать, что на улице еще день и светит солнце.

— Да.

— Грешное время. Наверное, в аду всегда это время дня.

Диана говорила едва слышно, будто во сне, она вся растворилась в своих ощущениях: щека Денби, прижавшаяся к ее щеке, его правая рука, которая лежала у нее на спине, мягко, легко и уверенно направляя ее в танце.

Диана сама не знала, как и почему она оказалась здесь, в танцевальном зале с Денби. Он позвонил. У нее возникло вдруг чувство фатальной неотвратимости их встречи, ее охватило властное, острое и отчетливое желание, чтобы уверенное, как у музыканта, прикосновение пальцев Денби к ее спине повторилось снова. Все было очень необычно. Столько лет прошло в ожидании детей, и лишь недавно она решила, что ждать больше нечего. Чем-то ведь были заполнены эти годы — так чем же? Они были заполнены Майлзом: одиночеством Майлза, неуверенностью Майлза в себе, его нервным истощением, его неспособностью хоть как-то примениться к жизни. Она очень скоро рассталась с честолюбивыми помыслами относительно его карьеры. Но ей хотелось как можно дольше не утратить своего стремления опекать его, согревать ему жизнь. Между тем она немножко кокетничала с друзьями. Она сознавалась себе, что моногамия не в ее натуре, и в то же время хранила верность мужу. Диана замечала, что порой она мечтает о ком-то неведомом, но не о Майлзе. И в то же время она была всецело поглощена им, постоянно, самозабвенно, страстно. Пуповина ее ранней влюбленности в него не обрывалась никогда. Она по-прежнему считала себя счастливой. Хотя со временем, размышляя вечерами на кухне, она обнаружила, что видит их жизнь уже несколько в другом свете, ощущала необходимость перемен и чувствовала, что начинает скучать.

Она жила своей неистощимой любовью к Майлзу. Еще она жила какой-то другой, воображаемой жизнью, хотя воображение ее не было столь уж неистощимо. Годами она занималась благоустройством дома и все эти годы сама себе позировала. Позировала в гостиной в шелковом вечернем платье, позировала в нейлоновом пеньюаре в спальне. Составляя букет, она изображала леди, составляющую букет. Она часами красилась, сидя дома одна. Майлз терпеть не мог общества, и они почти не знали развлечений. Она была как проститутка, которая проводит время в ожидании мужчины среди безделушек, сопутствующих ремеслу, только мужчина, которого ждала Диана, был ее муж.

Долгие годы она фанатично верила, что для нее было огромным счастьем встретить Майлза. Она и не чаяла заполучить такого незаурядного, аристократического мужа. Ее бы устроила и гораздо более скромная партия. Отец Дианы умер, но она по-прежнему навещала

мать в родительском доме; она была ласкова со старушкой, хотя с удовлетворением отмечала, какая пропасть между жизнью матери и ее собственной. Майлз, не помышляя о том, перетащил ее через эту пропасть. И она принялась создавать красивый, элегантный дом, где они сживались годами, как два зверька, уже неотделимые друг от друга.

Уяснив себе, что она теперь для Майлза вторая самая любимая, Диана лучше осмыслила свою роль любящей женщины, завоевавшей ответное чувство. Мысли о Парвати не угнетали ее, наоборот. Диана увлеклась этой своей ролью — ролью исцелительницы: она не героиня, заточенная в замке, нет, она таинственная дева у родника, исцеляющая странствующего рыцаря от ран, которые не залечишь никакими снадобьями. Ролью тем более благодарной, что незабвенная героиня из замка давным-давно умерла, милосердно сойдя со сцены. Осталась только дева у родника. Неистребимость же памяти о Парвати была гарантией верности мужа. Покойная Парвати счастливо покровительствовала их союзу.

Лиза, бедняжка Лиза, тоже требовала заботы, как и в те далекие дни детства, когда Лиза с ее идеализмом и нехваткой здравого смысла постоянно попадала в затруднительные положения, доставлявшие Диане массу хлопот. Диана была предана сестре, восхищалась ею, опекала ее, и Лиза отвечала ей такой же искренней любовью, что помогало Диане жить, поддерживало ее. Она отдыхала душой, ощущая всем своим естеством близость и родство Лизы, чего в отношениях с Майлзом добилась лишь через долгие годы. В зрелом возрасте жизнь разлучила сестер, и во время редких встреч у них все меньше находилось о чем говорить друг с другом, хотя чувство прежней близости все же сохранилось. Диана радовалась, что Майлз полюбил Лизу; когда Лиза заболела, со стороны супружеской четы было естественно предложить ей, по крайней мере на время, поселиться у них. Они так спорили друг с другом, Лиза и Майлз! Это была какая-то новая, счастливая жизнь.

Диане было бесконечно жаль Лизу, однако к ее сочувствию примешивалось понимание того, что сестра — полная ей противоположность, и убежденность в том, что собственная ее удачливость является прямым следствием характера. Приветливая, спокойная, привлекательная Диана казалась всем довольной. Легкая загадочная улыбка купидона, которая не сходила с ее уст, и была улыбкой довольства, лучащимся знамением благополучия, здоровья, удовлетворенности, олицетворением радости бытия. Лиза, никогда не блиставшая красотой, с болезнью утратила и прежнюю свою миловидность. Она была умной, конечно, и, по всей видимости, не такой уж слабой, если справлялась с работой учительницы в одной из ист-эндских школ, от посещения которой Диане сделалось дурно. И все же, несмотря на это, Диана ощущала в Лизе какую-то обреченность. Диана диву давалась, что сестра выздоровела. «Лиза ищет себе смерти»,— сказала как-то Диана Майлзу. «Лиза ищет себе страданий,— ответил Майлз,— что далеко не одно и то же». «Она настроена мистически и стремится к самоуничтожению»,— заключила Диана. «Мазохистка она, это уж точно»,— согласился Майлз.

«Я уже пожилая женщина»,— думала Диана, оглядывая скользящие мимо, словно погруженные в сон пары. Такая же, как они. Оживление, привнесенное появлением в доме Лизы, улеглось. Уж не дожила ли она, Диана, до того возраста, когда остывшие чувства постоянно требуют обновления? Или сказывается ее испорченность? Она не могла разобраться в себе. Ясно было одно: в ней проснулось волнующее ощущение молодости, которым она обязана неожиданному, чудесному появлению Денби. Конечно, у нее и раньше возникали мысли о Бруно, о Денби, но Денби безотчетно представлялся ей именно таким, каким рисовал его Майлз. Даже после первого появления

Денби в их доме она доверчиво выслушивала восклицания Майлза о жирном дураке и клоуне, скалящем зубы. Она не ждала, что будет мгновенно очарована Денби. Это был настоящий сюрприз, в нее словно вдохнули жизнь. Загорелое веселое лицо Денби, его пышная седая шевелюра, подкупающая улыбка уверенного в себе человека стояли у нее перед глазами, пока она молча выслушивала поток саркастических восклицаний Майлза, которому сдержанно сообщила о визите Денби. Образ Денби преследовал ее и в постели.

— Соприкосновение тел — это соприкосновение умов.

— Вы философ, Денби.

— Подумать только, что все эти дурацкие годы мы не знали друг друга.

— У меня такое ощущение, что я знаю вас всю жизнь.

— У меня тоже. Мне кажется, мы с вами одного склада люди. Правда?

— Может быть. С вами мне так легко, никаких тревог. Ведь для женщины моего возраста вовсе не просто позволить себе такой... праздник.

— Легко. То есть что-то легкомысленное, несерьезное?

— Нет, легко — это значит легко. Вы меня смешите.

— Ну и замечательно. Давайте заведем роман.

— Нет, Денби, никакого романа. Я люблю мужа. Я не свободна.

— Ох. А по-моему, это дурной тон — вести такие речи, тайно танцуя с другим мужчиной.

— Боюсь, вы правы, дорогой.

— Позвольте ответить искренностью на искренность: вы причинили мне боль.

— Позвольте отплатить вам признанием, что я взираю на вашу боль с удовольствием.

— Это уже кое-что для начала.

— Нет-нет...

— Вы уже говорили «нет», потом «да», так что я не теряю надежды.

— Напрасно. Мне было приятно, что вам захотелось со мной потанцевать, вот и все.

— Нет, не все, раз уж мы оказались в этом прелестном вертепе.

— Ну, мы же не грешим на самом деле.

— Так давайте грешить на самом деле.

— Денби, у вас есть кто-нибудь?

— Женщина? Нет.

— Со здоровьем неладно?

— Боже упаси. Это от вас у меня голова кругом идет, Диана.

— Значит, так-таки и никого?

— Так-таки и никого. Была одна девочка, но она уехала в Австралию. Я скучаю.

— Бедный Денби. Только, по-моему, не стоит придавать значения всем нашим чувствам и помыслам.

— Моим стоит, поскольку они обращены к вам. И как вы собираетесь с ними обойтись? Вы же понимаете, что я увлечен вами?

— Мне уже под пятьдесят. Такого не бывает.

— А мне за пятьдесят. Значит, бывает.

— Вы все осложняете. Просто на какое-то мгновение я почувствовала себя снова молодой.

— Это из-за музыки. Здесь все принадлежит прошлому. Мы встречаемся с нашей молодостью. Я тоже чувствую себя молодым, точнее, человеком без возраста.

— Без возраста? Да. Вы очень привлекательны.

— Ну так заведем роман?

— Нет-нет.

— Не собираетесь ли вы рассказать обо всем Майлзу и после

этого написать мне записку, что мы не должны больше видеться? Если вы это сделаете, вот тогда я действительно все осложню.

— Нет, конечно, я этого не сделаю, это вам не грозит. Но все должно быть спокойно, пристойно, романтично.

— Не понимаю я этих слов. Вы имеете в виду шоколад, цветы?

— Я имею в виду что-то вроде романтической дружбы.

— Романтической дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Я хочу тебя в постели.

— Вы не влюблены в меня по-настоящему, и я в вас — тоже. Мы слегка увлеклись друг другом.

— Нам пока рано говорить о любви. А что же плохого в том, что мы увлеклись друг другом? Откровенно говоря, я не из тех, кто часто увлекается.

— Поддавшись искушению, мы потеряем самое существенное друг в друге, а получим самое несущественное.

— Ну вот, теперь уж ты ударилась в философию. Я провожу тебя домой?

— Нет.

— Майлза еще не будет, слишком рано.

— Нет.

— Диана, мне бы хоть на минутку остаться с тобой наедине. Я хочу тебя поцеловать.

— Нет.

Глава XI

— Найджел!

Три часа, страшный омут ночи. Бруно спал. Ему снилось, что он убил кого-то, женщину, но он не мог вспомнить, кто она, он зарыл ее в саду перед домом в Туикенеме, где провел детство. Прохожие останавливались, смотрели туда, где зарыто тело, показывали на это место пальцами, и Бруно с ужасом заметил, что очертания тела ясно проступают на земле красноватым мерцающим абрисом. Потом был суд, и судья, которым оказался Майлз, приговорил его к смерти. Бруно проснулся с бьющимся сердцем. Когда он уразумел, что это был сон, ему полегчало, но минуту спустя он подумал, что в сущности так оно все и есть. Он приговорен к смерти.

В комнате с плотно задернутыми шторами царила смоляная тьма, но время можно было узнать по часам с фосфоресцирующими стрелками. Бруно протянул руку, чтобы включить свет, однако лампы рядом не оказалось. Ее, должно быть, перенесли со столика у кровати на стол, который стоял у окна. Порой Аделаида, закончив уборку, забывала поставить лампу обратно. В одиннадцать часов Найджел погасил свет. Бруно лежал, прижав руку к груди. Его сердце бешено колотилось, неровно, с перебоями,— как если бы бегун бежал что есть мочи и все время спотыкался. Бруно мучила острая боль в области сердца, к тому же грудь его точно обвили проволокой, которую стягивали все туже и туже. Он шевельнул ногой внутри каркаса, собираясь встать и отыскать лампу, но слабость была так велика, что он не смог двинуться, а левую ногу свело судорогой. Чтобы облегчить боль, он попытался потереть одну ногу о другую. Вот и настало это время, думал Бруно, время беспомощности, неподвижности, ночных горшков: время халата. Подумать только, что ему никогда больше не понадобится халат! Халату предстоит быть сторонним наблюдателем, ожидающим своего часа. Но это же абсурд. Он и прежде чувствовал слабость, и она проходила. Жизнь — это вереница всяких неприятностей, которые проходят. За исключением той одной, последней, которая не пройдет.

Бруно сделал усилие, чтобы сдержать слезы. Странное дело, сдерживая их, устало размышлял он, слезы живут где-то в глубине глаз,

ты ощущаешь, как они копошатся там, внутри, точно муравьи. Затем наступает легкая разъедающая слабость от теплого прилива, который все прибывает, и вот уже влага струится по щекам. Слезы почти не приносили облегчения. Он с трудом поднял руку, коснулся щеки и поднес соленый палец к губам. Может, я больше и не увижу Майлза, подумал Бруно. Сын казался ему теперь олицетворением смерти. Сердце все продолжало спотыкаться. Что же это за шум, прерывистое жужжание, словно где-то работает мотор. Прислушиваясь, Бруно все никак не мог определить, был ли это громкий звук, доносившийся издалека, или слабый, раздававшийся поблизости. Потом он понял, что это такое. Муха жужжала, запутавшись в паутине. Видимо, она попала в паутину большого tegenaria atrica, который, как было известно Бруно, по-соседски устроился в углу потолка. Муха, отчаянно борясь за жизнь, сопротивлялась все слабее и наконец затихла. Ужас снова охватил Бруно. Час халата. И он снова закричал:

— НАЙДЖЕЛ!

Дверь тихонько отворилась.

— Ш-шш, вы разбудите Денби.

Найджел щелкнул выключателем у двери, подошел к столу, стоящему у окна, включил лампу под зеленым абажуром и погасил верхний свет.

Бруно сразу стало легче, он расслабился, но лежал совершенно обессиленный.

— Найджел, будь добр, поставь лампу около меня. Кажется, я опрокинул стакан. Вытри, пожалуйста, воду. Надеюсь, она не залила книги?

— Вы себя плохо чувствуете?

— Нет, ничего. Просто испугался. У меня свело левую ногу. Будь добр, надави вот здесь. Сильнее. Вот так, хорошо.

Крепкие теплые руки Найджела сжали больную ногу, и судорога тут же отпустила.

— Спасибо, все прошло. Извини, что я тебя разбудил.

— Я все равно не спал.

— Найджел, приподними меня немножко, я хочу посмотреть, могу ли я двигаться.

Бруно, тяжело опираясь на руки, медленно сел в постели, в то время как Найджел поддерживал его под мышки. Потом Найджел поднял одеяло, и Бруно также очень медленно переместил ноги к краю кровати. Оказалось, получается довольно неплохо.

— Хотите пройтись?

— Нет. Мне только нужно было проверить, могу ли я двигаться. У меня сильная слабость. Мне приснился дурной сон. Ну вот и прекрасно, отпусти меня. Найджел, не мог бы ты побыть немного со мной, пока мне не станет лучше? Посиди, пожалуйста, около меня.

— Хорошо.

Найджел пододвинул кресло и сел у постели Бруно. Он взял его руки, ползавшие по покрывалу, точно пауки, и стал их гладить. Ласковое, сильное поглаживание от кисти к кончикам пальцев снимало напряжение, благоприятно действуя на больные суставы.

Они вполголоса разговаривали.

— Отчего ты так добр ко мне, Найджел? Я же знаю, что вызываю отвращение. Никто, кроме тебя, не прикоснулся бы ко мне. Ты перебарываешь себя?

— Не говорите глупостей.

— Это ведь так обременительно — возиться со мной.

— Я для того и существую.

— Странный ты парень, Найджел. Ты ведь верующий, ты веришь в НЕГО.

— В НЕГО? Да.

— Удивительно, как ОН меняется. Когда я был маленьким,— го-

ворил Бруно,— бог представлялся мне необъятной пустотой, как небо, да он, возможно, и был в моем представлении небом с его бесконечным дружелюбием, покровительством и любовью к детям. Мне вспоминается мама с указующим вверх перстом и чувство необыкновенной защищенности и счастья, которое я испытывал. Я не особенно много размышлял об Иисусе Христе, хотя скорее всего просто я, не задумываясь, в него верил. Но дарило мне счастье и защищало меня — огромное пустое яйцо неба. Сам я казался себе сжавшимся комочком внутри этого яйца. Потом, когда я начал наблюдать за пауками, все изменилось. Знаешь, Найджел, есть такой паук amaurobius, он обитает в норке и обзаводится потомством в конце лета, а с наступлением морозов умирает; его потомство переживает холода, питаясь мертвым телом родительницы. Трудно поверить, что тут нет чьего-то умысла. Не знаю, представлял ли я себе дело так, что все это воля божья, но каким-то образом ОН связывался для меня с этим amaurobius, он сам был amaurobius или теми пауками, которых я наблюдал летними ночами при свете электрического фонарика. Это было дивно, ни с чем не сравнимо, божественно — созерцать пауков, живущих своей, ни на что не похожей жизнью. Позже, в юности, бог ассоциировался у меня с чувствами. Я думал, что бог — это любовь, огромная любовь, которая покрывает землю большими влажными поцелуями и все устраивает к лучшему. Я виделся себе преображенным, очищенным, возвышенным. Я никогда не задумывался о непорочности, но в те времена я был непорочен. Я был лучезарно молод. Жил исключительно своими чувствами. Я любил бога, был влюблен в него, и повсюду в мире царила любовь. Всюду был бог. Потом он перестал представляться таким всеблагим, сделался суше, мельче и походил уже на чиновника, издающего законы. Нужно было жить с оглядкой на него. Он напоминал теперь клерка, который выписывает чеки и счета. И сам я не был уже непорочен и лучезарен. Я больше не любил бога, он стал наводить на меня уныние. И вот он совершенно отступился от меня, он повел себя как женщина, которую разлюбили, хотя иногда я и встречался с ним — большей частью в деревенских церквах, будучи один, я неожиданно обнаруживал его там. В эти встречи он приобретал иное обличье. Он уже не походил на чиновника, а был растерянным и трогательным, пожалуй, слегка сумасшедшим и каким-то маленьким. Я испытывал к нему жалость. Если бы можно было взять его за руку, я бы повел его, как ребенка. Все же он обитал где-то, в каких-то норах и щелях, и порой я испытывал удивление, натыкаясь на него там. Потом опять он скрылся и представлялся мне уже не более чем плодом художественного вымысла, древней легендой, литературным персонажем.

В комнате было тихо. Тускло светила лампа под зеленым абажуром. Найджел перестал массировать Бруно суставы и сидел, подобрав под себя ноги, впившись в него взглядом, с расширенными глазами, с затуманенным взором, оттопырив тонкие губы, покусывая кончик прямых темных волос. Этакая частичка рода человеческого. Он вздохнул — как бы в знак понимания того, о чем говорил Бруно.

— Странно,— сказал Бруно,— с одними людьми можно говорить только о сексе, а с другими — только о боге. С тобой я частенько беседую о боге. Другие бы этого не поняли.

Найджел снова вздохнул.

— Найджел, так что же такое бог?

— А почему бы и не пауки? Это была очень хорошая мысль, о пауках.

— Хорошая-то, хорошая, но у меня недостало выдержки и мужества сохранить верность паукам. Возможно, с этого все и началось.

— Неважно, что ОН такое.

— Может быть, бог — это именно секс. Любая энергия имеет сексуальное начало. Как ты думаешь, Найджел?

— Пусть даже и так.

— А если это так, то как же мы можем быть спасены?

— Да и это неважно.

— Что поделаешь,— сказал Бруно,— я хочу быть спасенным. Ты любишь ЕГО, Найджел?

— Да, я люблю ЕГО.

— За что?

— Он заставляет меня страдать.

— И ты любишь ЕГО за это?

— Я люблю страдания.

Помолчав, Бруно сказал:

— На мой взгляд, каждый походит на то, что любит. Или любит подобное себе. У каждого свой бог. Ты молишься, Найджел?

— Я служу. Лучшая молитва — это служение. Полный отказ от себя.

— Ты считаешь, нужно обязательно чему-нибудь служить?

— Да. Но служение подразумевает еще и терпеливое ожидание. Если ты терпеливо ждешь, ОН придет, ОН найдет тебя.

— Мне не довелось сильно страдать,— сказал Бруно.— Но сейчас я готов был бы страдать, если б полагал, что в этом есть какой-то смысл, что этим можно искупить вину; я бы, не колеблясь, предпочел смерти вечное страдание.

— Мне кажется, смерть должна быть чем-то прекрасным, чем-то таким, что можно любить.

— Ты молод, Найджел. Ты не понимаешь, что такое смерть.

— Когда я думаю о смерти, она представляется мне оргазмом тьмы.

— Ничего общего с этим смерть не имеет, ничего.— Бруно подумал, не рассказать ли Найджелу о халате, но решил, что не стоит. И добавил: — Я собираюсь встретиться с сыном. Нам надобно простить друг друга.

— Это великолепно.

Будет ли это так уж великолепно? Достижимо ли абсолютное прощение? И достижимо ли вообще все, к чему мы стремимся?

— Ты почти все понимаешь, Найджел.

— Я все люблю.

— Но ты не понимаешь, что такое смерть. Знаешь, что мне кажется? — сказал Бруно, пристально глядя на халат, едва различимый в тусклом свете.— Мне кажется, бог — это смерть. Да. Бог — это смерть.

Глава XII

Денби вошел в гостиную, закрыл за собой дверь и прислонился к ней. Его сердце стучало, как паровой молот.

Диана напряженно и прямо стояла у окна. Они пристально, серьезно смотрели друг на друга.

Их притягивало друг к другу словно магнитом. Денби стал медленно приближаться к Диане, сшибая по пути круглые обитые ситцем кресла. Диана не двигалась с места. Приблизительно в метре от нее он остановился.

Потом медленно-медленно подошел ближе, раскрыл объятия; и жест этот был не победный, а скорее молящий или, быть может, благословляющий. Словно огладив Диану на расстоянии, благословляющие руки опустились. Глубоко вздохнув, Денби спрятал их за спину. Еще шаг — и отворот его пиджака слегка коснулся ее груди. Она медленно отклонила голову, и он поцеловал ее в губы, продолжая держать руки за спиной. На какое-то время они застыли с закрытыми глазами, припав к устам друг друга.

— Метафизика поцелуев,— сказал Денби. Он обнял ее, погладил ее красивую шею и медленно-медленно провел руками по спине.

Хрупкая, податливая человеческая шея. Он ощущал, как бьется сердце Дианы.

— Прямо целая церемония.

— Еще бы, я ведь целую тебя впервые. Первый поцелуй из тысячи.

— Или первый из немногих. Кто знает?

— Что я говорю? Миллионов!

Диана стояла, по-прежнему опустив руки.

— Я истинный и изощренный любитель наслаждений, Диана.

— Но мы же не влюблены друг в друга!

— Нет, влюблены. Именно так, как подобает в нашем преклонном возрасте.

— Прекрасною порой, когда в крови покой?

— Никакого покоя в крови у меня нет, дорогая. Ну так как насчет романа?

— Я же сказала. Я люблю своего мужа.

— Совсем недурной поцелуй для девочки, которая любит своего мужа. Ну, будь человеком, обними меня! Или — если тебе это не под силу, то хоть улыбнись мне!

— Милый, милый Денби! Господи, как ты прелестен! — Она рассмеялась. Затем порывисто обняла его, спрятав лицо у него на плече.

Денби попытался приподнять ее голову, потянул за волосы и поцеловал ее снова.

— Поцелуй номер два. Может быть, присядем? — У стены стоял небольшой отороченный бахромой мягкий диванчик. Это была подходящая комната для свидания. Ее освещали косые лучи холодного заходящего солнца.— Поцелуй номер три.

— Я не должна была позволять тебе входить сюда,— сказала Диана. Ей было хорошо в его объятиях, она поправила ему выбившуюся седую прядь.

— Ты позволила мне войти сюда, потому что хотела меня видеть.

— Боюсь, я очень хотела тебя видеть.

— Ты прелесть!

— Но это же нелепо, Денби! Такие разговоры кончаются постелью...

— Ты прелесть, прелесть!

— Но это не то, к чему мы стремимся.

— Посмотрим. Это не к спеху. Я пока что три раза тебя поцеловал. Очередь за четвертым поцелуем.

Денби начал расстегивать ее платье. Ее рука затрепетала, пытаясь остановить его, и затихла. Пробравшись сквозь белые кружева, он прикоснулся к ее груди. Они замерли, пристально глядя друг на друга широко открытыми затуманенными глазами.

В то же мгновение Диана с силой высвободилась из его объятий и выпрямилась. Однако платье она не поправила, и оно так и осталось расстегнутым на груди.

— Попробуем поговорить разумно. Расскажи мне о себе. У тебя была девушка, и она уехала в Австралию, так? Когда она уехала?

— Около четырех лет назад.

— Вы долго были вместе?

— Три года.

— Как ее звали?

— Линда.

— И ты не собирался на ней жениться?

— Нет.

— Почему?

Денби подумал. Между тем рука его, отброшенная резким движением Дианы, подкралась к краешку юбки и тихонько скользнула вверх по ноге. Диана была одета сегодня в другое платье, еще более

элегантное, из светло-бежевого плотного шелка, с пуговицами сверху донизу. Удобное.

— Она не хотела. И я считаю, что мне невозможно жениться снова.

— После... Гвен?

— После Гвен.

Диана вздохнула.

— Линда не ревновала тебя к Гвен?

— Ни к кому она не ревновала. Она была веселая девочка.

— Интересно, может, ты и обо мне так же думаешь? И ты с тех пор один?

— С тех пор один.

В сущности, Денби не чувствовал себя лгуном. Ну, кое в чем соврал мимоходом. Когда тот же вопрос Диана задала ему в танцевальном зале, он сбросил со счетов Аделаиду, покамест, конечно. Возможно, его побудила к этому и забота о той же Аделаиде. Диана была прелестным подарком. Там видно будет, как у них все сложится, а пока беспокоиться не о чем. Нет нужды отпугивать Диану с самого начала.

Денби играл свою роль дерзкого обольстителя как во сне. Он и сам точно не знал, чего он добивается от Дианы. То есть добивался он близости с нею, и не какой-то платонической, а самой земной, откровенной близости. Но как осуществить это, он не задумывался и даже не представлял себе. Он просто шел на поводу у своих чувств, поступал как заблагорассудится; нынче утром он почувствовал непреодолимое желание позвонить Диане, и он позвонил и попросил ее встретиться с ним.

Денби не испытывал особенных угрызений совести из-за того, что соблазняет чужую жену, хотя вообще-то предпочитал этим не заниматься. Он считал, что нельзя никому причинять боли, но если сохранять благоразумие, никто и не пострадает, зато любовники принесут друг другу много счастья, свежего, нежданного, можно сказать, дарового. Была особая прелесть в том, чтобы провести безмозглую старуху жизнь, и Денби очень радовался, когда ему это удавалось, он чувствовал себя поистине благодетелем — благодетелем Линды, благодетелем Аделаиды. А почему бы не облагодетельствовать и Диану, если все в ней выдает скучающую женщину, которой некуда себя деть? Было очевидно, что ей очень хочется встретиться с ним снова. Что же касается Аделаиды, то почему бы не совместить их обеих? Да и рано ломать над этим голову. Вдруг у них с Дианой ничего не получится. А если получится, он может увлечься ею гораздо сильнее, чем теперь. Решать проблемы он будет по мере их возникновения. Кроме того, мысль о том, что он наставит рога Майлзу, не замедлившая прийти ему в голову, была очень заманчива. Так его ничего не связывает с Майлзом. А теперь открывалась прекрасная возможность сопричастности Майлзу, пусть без его ведома, без его на то доброй воли.

— Любовь имеет начало, середину и конец,— сказала Диана. Она удержала его нетерпеливую руку.

— Хорошо, ну так давай же хотя бы начнем.

— Женщины всего хотят навечно.

— Женщины имеют несносную привычку уходить от конкретного разговора. Так когда и где мы начнем?

Безусловно, в этом-то и заключалась вся сложность. Он бы предпочел не встречаться с Дианой в доме у Майлза. Однако в его собственном была Аделаида.

— Мне бы хотелось избежать всяких недоразумений, Денби. Ты мне очень нравишься. Я чувствую себя счастливой...

— Вот это ты замечательно говоришь!

— Я хочу продлить это счастье. Не испортить его... Ты мог бы стать моим другом... Таким романтическим другом, знаешь... Пожалуйста, давай останемся друзьями.

— Ну что ты мне заладила про дружбу, это ведь кощунственно — все равно что транжирить жизнь и совершенно не чтить богов. Признайся, ты сама себе не веришь, Диана. Мы же прекрасно ладим, правда? Это не часто бывает, согласись.

Денби и в самом деле поражала необыкновенная легкость их общения — прямо-таки безукоризненный импровизированный спектакль. Он упивался их разговором. Он уже совершенно забыл, как восхитительно флиртовать с умной, тонкой женщиной.

— Мне бы хотелось, чтобы ты был моим другом, близким человеком, без всяких неприятностей, был бы...

— С таким же успехом я могу быть близким человеком, став твоим любовником, даже еще более близким, надеюсь.

— Нет. Это приведет к неприятностям, и я тебя потеряю.

— По крайней мере, меня радует, что ты перешла от сослагательного наклонения к будущему времени.

— Нет-нет, я не имела в виду...

— Во всяком случае, я не вижу особенной разницы между тем, чем мы сейчас занимаемся, и постелью.

— Мужчины всегда так говорят. Сам знаешь.

— Так что же, нам встречаться, не притрагиваясь друг к другу?

— Нет, я хочу к тебе притрагиваться, целовать тебя. И больше ничего. То есть я хочу большего, но считаю, что это будет безумие.

— В таком случае давай будем безумными. Я знаю, чего хочу. От всех этих объятий и поцелуев я на стенку полезу.

— О господи. Наверное, мне не нужно было с тобой встречаться.

— Ну-ну. Ты слишком далеко зашла, Диана. Ты ведь любишь жизнь, как и я. Ты не сможешь отобрать меня у себя теперь, когда ты заполучила меня. Правда?

Она долго вглядывалась в окно, залитое холодным солнечным светом, потом медленно повернула голову к Денби:

— Нет.

Она порывисто обняла Денби и припала к его груди. Денби смотрел на серебристо-золотые волосы, которые разметались по рукаву его пиджака. Крепко сжав Диану в объятиях, он провел подбородком по ее лицу, пытаясь поймать губы.

— Поцелуй номер...

Диана, уклоняясь от поцелуя, опустила голову, и Денби неожиданно увидел прямо перед собой темноволосую худенькую женщину, которая в полной растерянности стояла на пороге гостиной.

Он отстранился от Дианы, легонько сжал ее руку и кашлянул. Диана медленно подняла голову, оглянулась и с затуманенными глазами, в которых угадывалось отчаяние, принялась совершенно спокойно поправлять платье.

— О, простите, пожалуйста,— натянуто, чуть заикаясь, сказала стоящая в дверях женщина. Она нерешительно повернулась, собираясь уйти.

— Не уходи,— сказала Диана. Она поднялась с диванчика, Денби тоже встал.— Денби, это моя сестра, Лиза Уоткин. А это — Денби Оделл.

— А, привет...— поколебавшись, она протянула руку, и они обменялись с Денби крепким рукопожатием.

— Здравствуйте. Я и не знал, что у тебя есть сестра, — произнес Денби, стараясь вести себя как можно непринужденнее.

Лиза, которая стояла, прижав руку к груди, казалась более огорошенной и расстроенной, чем Диана. Она озабоченно смотрела на сестру. Неожиданно они улыбнулись друг другу, и улыбка обнаружила их неуловимое сходство. Только улыбка Дианы была вялой,

вымученной, а улыбка Лизы — открытой и какой-то первозданно непосредственной.

— Ну ладно, я пошла наверх.— Лиза неловко взмахнула рукой, будто хотела поймать муху, и скрылась за дверью, не взглянув на Денби. Дверь захлопнулась, и шаги стихли.

— Вот черт! — сказал Денби.

— Ничего, — устало улыбнувшись, ответила Диана. Мгновенно остыв, они оцепенело стояли друг против друга.

— Она доложит Майлзу?

— Нет. Я скажу, что ты заходил.

— Надеюсь, без подробностей?

— Без подробностей.

— Лучше придумать какой-нибудь предлог. Скажи, я забегал передать, что завтра Бруно ждет его не в одиннадцать, а в полдвенадцатого. Ты уверена, что она не расскажет Майлзу?

— Уверена. Она отнюдь не болтлива. Отнюдь.

— Она на тебя не очень похожа. У нее такой болезненный вид.

— Да, она долго болела. Сейчас все слава богу.

— Одна сестра хорошенькая, другая дурнушка.

— На самом деле она красивая, но это нужно разглядеть.

— Она намного старше тебя?

— На четыре года моложе.

— Никогда бы не сказал. В гости пришла?

— Нет. Она здесь живет.

— О черт, Диана. Как же нам все устроить?

— А кто сказал, что нужно что-то устраивать?

— Не начинай все сначала. Знаешь, милая, пожалуй, я пойду. Что-то мне стало не по себе, сестра Лиза на меня подействовала. Но мы с тобой скоро увидимся, хорошо? Ничего не решай и не беспокойся. Там посмотрим, как быть. Только нам нужно встретиться.

— Да, Денби, может быть, ты и прав.

Диана отвела от Денби глаза и стала смотреть на зеленеющий за окном садик, залитый трепещущими лучами заходящего солнца.

— Ну, не печалься, моя хорошая. Позвони мне в понедельник на работу. Если не позвонишь, я сам тебе позвоню.

— Я позвоню.

— Поцелуй номер... Я уже сбился со счета.

Диана стояла возле окна, опустив руки, точно такая же, какой он увидел ее, когда вошел сюда; она медленно отвернулась и прислонилась лбом к стеклу. Денби вышел на улицу. Свернув к Олд-Бромптон-роуд, он поднял голову и в окне верхнего этажа увидел обращенное к нему бледное лицо. Женщина поспешно отошла от окна. Денби снова стало не по себе, он вдруг почувствовал озноб, и отчего-то заныло сердце. Кого-то она ему напоминала.

Глава XIII

« Il est COCU, le chef de gare »[1].

Майлз в раздражении остановился перед домом: до него донеслась песенка, которую распевал Денби. Все утро у Майлза было такое ощущение, будто он собирается на похороны. Он и оделся как на похороны. И чувствовал себя прескверно. Проникнувшись пониманием ответственности за предстоящую встречу с отцом, Майлз ожидал, что и другие заинтересованные лица отнесутся к этому событию с должным пониманием и уважением. Он согнал с лица хмурое выражение и позвонил.

« Il est COCU, le chef de gare ».

Напевая, Денби открыл дверь.

---

[1] Он рогоносец, начальник вокзала *(франц.)*.

— А, это ты, отлично, входи. Аделаида, встречай молодого хозяина. Майлз Гринслив. Аделаида де Креси.

Молодая шатенка с высокой затейливой прической, с озабоченным выражением лица, одетая в рабочий халат в голубую и зеленую клетку, кивнула Майлзу и скрылась за лестницей, ведущей на второй этаж.

— Это прислуга, Аделаида,— пояснил Денби.—Может быть, ты не пойдешь туда так сразу? По-моему, нам лучше сначала потолковать. Ты не откажешься от кофе? Аделаида, кофе!

— Никакого кофе, спасибо,— сказал Майлз.

— Аделаида, не нужно кофе!

И Денби, спустившись на несколько ступенек, провел Майлза к двери, ведущей в пристройку, и затем в комнату, которая оказалась его спальней.

— Выпить не хочешь? Виски?

— Нет, спасибо.

Майлз, никогда не бывавший в доме на Стэдиум-стрит, поморщился от неприятного запаха и сырости. Ступеньки казались какими-то замшелыми, облепленными грязью. Возможно, потому, что линолеум был слишком старый. Спальня Денби, темная, хотя и довольно просторная, имела неопрятный, типично холостяцкий вид: кровать с деревянными спинками, туалетный столик, заваленный разным хламом, среди которого были и невычищенные бритвенные принадлежности, и грязная щетка в оправе из слоновой кости; книжная полка ломилась от детективных романов в мягких обложках. Дешевые кретоновые цветастые занавески вытерлись до прозрачности. Сквозь большое подъемное окно виднелся дворик, часть которого была вымощена бетоном, на голой черной земле кое-где цвели одуванчики. Над грязной кирпичной оградой на фоне тревожного облачного неба возвышалась безобразная черная труба электростанции. Накрапывал дождь, щербатый бетон был сер, угрюм. Майлз ощутил вдруг острую тоску, безысходное отчаяние, гнетущее, как никогда. Он устрашился жизненных переживаний, устрашился их власти, сбивающей с толку, терзающей, разрушительной. Он устрашился скверны.

— Может быть, снимешь плащ? Аделаида высушит его на кухне.

— Нет, спасибо. Послушай, о чем тут толковать? Схожу-ка я лучше к нему, и покончим с этим.

— Я только хотел сказать тебе,— тихо промолвил Денби,— он сильно изменился. Я подумал: нужно тебя предупредить. Он совершенно не тот, каким был раньше.

— Конечно, я понимаю, что он постарел.

— Не просто постарел. Ну хорошо, увидишь сам. Не огорчай его, ладно?

— Разумеется.

— Он несчастный старик. Он только хочет со всеми быть в мире.

— Он меня ждет?

— О господи, ну конечно. Ждет с нетерпением. Всю ночь не спал. Понимаешь, он...

— Так я пойду к нему, хорошо? У меня нет настроения разговаривать.

— Да, да, тогда пойдем, извини...

Денби вывел Майлза из пристройки и поднялся с ним по лестнице на второй этаж. На ступеньках была не грязь, это крошился линолеум. Дойдя до маленькой темной лестничной площадки, Денби без стука отворил дверь и переступил порог комнаты:

— Вот и он, Бруно.

Майлз вошел следом за ним.

Краем глаза он заметил, что Денби выскользнул из комнаты и закрыл за собой дверь. Майлз огляделся. У него перехватило дыхание, и он зажал рот рукой, испытав чудовищное потрясение и ужас. Кровь бросилась ему в лицо от стыда. Бруно и в самом деле изменился.

В воображении Майлза сложился определенный образ отца. Бруно представлялся ему седовласым, согбенным старцем, с изможденным челом. Теперь же он увидел перед собой не просто голый череп, а огромную, раздувшуюся звероподобную голову на тонком, как сухая палка, теле. Совершенно облысевшая голова Бруно словно бы раздалась, распухла, ее верхняя часть выступала куполом над большими оттопыренными ушами. Лицо, отнюдь не изможденное, по-видимому, тоже разрослось. Нос стал огромным, бесформенным, бугристым. Волосы росли не где положено, а на носу и на щеках, из бородавок и безобразных пятен. Отеки на лице были не морщинистые, а удивительно гладкие, розовые, словно обтянутые детской кожей. Под густыми бровями, из которых торчали словно хоботки отдельные, особенно длинные волосы, виднелись щелки глаз, необычайно блестящих и влажных. Узкое, тщедушное, с тонким стебельком шеи тело, на котором пижама болталась как на жерди, распростерлось в постели. Иссохшие, покрытые пятнами руки с изуродованными суставами сновали по покрывалу.

— Майлз! — раздался дрожащий голос, каким говорят актеры на сцене, изображая стариков.— Мой мальчик!

— Здравствуй, отец!

— Сядь сюда, рядом со мной.

Майлз испытывал и омерзение, и желание разрыдаться — будто его вот-вот стошнит потоком слез. Он надеялся, что ему удастся скрыть свое состояние. Он деревянно опустился на стул у кровати. Видимо, Бруно, к счастью, не догадывался, как он выглядит. Тошнотворным звериным духом разило от неухоженного старика и грязной постели.

— Как ты себя чувствуешь, отец?

— По утрам неплохо, лучше всего. Иногда и вечером, после шести, я чувствую себя довольно-таки сносно. Но я уже не поправлюсь, Майлз. Ты знаешь об этом? Тебе говорили?

— Ну что ты, отец. Как только потеплеет, ты встанешь на ноги.

— Не лги, Майлз. Ты же знаешь, что это неправда. Не будь жестоким...

К ужасу Майлза, две крупные прозрачные слезинки показались во влажных щелках глаз и скатились по рыхлому лицу Бруно.

Майлз ожидал, что по старому своему обыкновению отец разозлит его, выведет из себя, что его все будет коробить, как всегда. Он решил играть роль, и по этой роли ему надлежало вести себя вежливо и сдержанно, а не так, как когда-то. При этом условии можно было надеяться, что они встретятся в лучшем случае как давние враги за столом переговоров и достигнут перемирия. Конечно, возникнут все те же разногласия и все те же ненужные эмоции, но уже в сдержанном, приглушенном виде. Больше всего он опасался ненужных эмоций, но опасения его основывались на прежних представлениях об отце. К такому испытанию он готов не был. И у него недоставало душевных сил на общение с этим чудищем, которое все-таки было его отцом и которое, по всей видимости, ждало от него участия и сострадания. Отец, каким Майлз знал его раньше, никогда не нуждался в сострадании. Майлз опешил. Он твердо полагался на то, что они будут сохранять человеческое достоинство во всех случаях жизни, но с первой же минуты всякие представления о человеческом достоинстве были опрокинуты, вместо этого он столкнулся с до ужаса обнаженной потребностью одного человеческого существа в другом, к чему был совершенно не подготовлен.

Да, Бруно чрезвычайно изменился. Он не может быть в здравом уме, думал Майлз, это просто невозможно — судя по его виду.

— Извини... отец. Пожалуйста, не... утомляй себя. Я ненадолго.

— Нет, не уходи, не уходи!

Пятнистые клешни со вспухшими узловатыми суставами, подрагивая, потянулись к нему. Еще немного — и они коснутся его! Майлз слегка отодвинулся вместе со стулом. Он весь сжался, не в силах смотреть на эту огромную, звероподобную, залитую слезами физиономию.

— Хорошо, но я не хочу... утомлять тебя, отец...

— Майлз, мне нужно тебе все объяснить. Времени осталось очень мало, я знаю, ты не откажешься меня выслушать. Мне необходимо все-все рассказать. Джейни не понимала, она никогда не могла понять, она видела в этом что-то дурное. Эта девушка, Морин, она играла в шахматы в кафе...

— Боюсь, я и представления не имею, о чем ты, отец.

— Она играла в шахматы...

— Да, да, конечно. Мне кажется, ты чересчур взволнован. Я позову...

— Ты знал об этом, Майлз? Гвен знала? Джейни рассказывала вам про меня и Морин? О Джейни, она была так жестока со мной... В конце концов, это было не таким уж, это вовсе не было...

— Я ничего не знаю об этом, отец.

— Джейни тебе не рассказывала? Я думал, она обязательно расскажет вам, я был уверен в этом. Ты был слишком... суров со мной... И Гвен тоже. О господи. Прости меня, Майлз...

— Ну что ты, отец...

— Прости меня, прости меня. Скажи, что ты прощаешь меня.

— Да, естественно, конечно, но...

— Я должен обо всем тебе рассказать, я должен сказать тебе все. У меня была любовная связь с этой девушкой, Морин...

— Ну что ты, отец, мне кажется, тебе не следует мне этого рассказывать...

— Я ходил к ней домой...

— Я не хочу этого слушать...

— Я обманывал Джейни...

— *Я не хочу этого слушать!*

— Мне бы понравилась Парвати, Майлз, я бы принял и полюбил ее, если бы только меня познакомили с ней, если бы только вы дали мне возможность узнать ее, все произошло слишком быстро, я сказал какую-то глупость, не подумав, и это вменили мне в вечную вину, если б вы только дали мне время, если б вы не были такими злыми...

— Пожалуйста, отец, все это совершенно ни к чему. Я не хочу говорить о Парвати.

— Но я хочу, Майлз. Разве ты не понимаешь, что я думал об этом все эти годы, что это мучило меня?

— Мне грустно об этом слышать, но я не вижу смысла...

— Я хочу, чтобы ты простил меня. Ты должен меня понять.

— Не надо ворошить старое, отец. Все это было слишком давно, все прошло.

— Ничего не прошло, все это здесь, здесь...

— Не волнуйся, пожалуйста.

— Мне бы понравилась Парвати. Я бы полюбил ее, мы все могли бы быть счастливы, я бы полюбил ваших детей. О Майлз, ваших детей...

— Прекрати, пожалуйста.

— Ты должен простить меня, Майлз, простить по-настоящему, все поняв. Если бы только Парвати...

— *Я не хочу говорить о Парвати!* Это тебя совершенно не касается. Пожалуйста.

Наступило молчание. Бруно откинулся на подушки. Поднес дрожащие руки к горлу. Щелки глаз ярко блестели. Он пристально смотрел на сына.

— Ты не виделся со мной столько лет.

— Ты не отвечал на мои письма.

— Это были лживые письма.

— Ладно, отец, если ты так думаешь, едва ли мы сможем...

Бруно лежал, подтянув к груди острые колени. Он оперся на руку, пытаясь приподняться, его непомерно большая голова то поднималась, то снова падала на подушки. Большое опухшее лицо дрожало. Его сиплый голос вырывался наружу, как шипящая струйка пара.

— Ты пришел сюда, чтобы грубить старику отцу? Ты никогда не любил меня, ты всегда был на стороне матери, ты никогда не был мне близок, ты никогда не был любящим и прощающим сыном, как другие, ты был холоден со мной, и ты по-прежнему ненавидишь меня и хочешь, чтобы я умер, умер и сгинул, как все то, чего, по твоим словам, больше не существует. Прекрасно, я скоро умру, и ты можешь забыть, закопать меня, избавиться от меня. Ты не хочешь даже теперь взять на себя труд и разобраться, что же я из себя представляю. Ты во мне видишь только умирающего старика, источающего тошнотворный запах смерти, ты думаешь, что я потерял рассудок, что я лишь груда смердящего, гниющего мяса, тебе противно дотронуться до отца, но у меня еще достанет душевных сил проклясть тебя...

— Отец, пожалуйста...

— Уходи, уходи, уходи! — Бруно дрожащей рукой неловко схватил стакан с водой, стоящий на столике у кровати. Он как будто хотел швырнуть его в Майлза, но у него не хватило сил поднять стакан, и вода темным пятном разлилась по покрывалу, стакан упал на пол и разбился.

— А-а-а, Денби! Денби!

Майлз попятился, споткнулся о порог, ступая на ощупь, пересек темную лестничную площадку и бросился по ступенькам вниз. Там он столкнулся с Денби. Денби схватил Майлза за руку и крепко сжал ему запястье.

— Все-таки ты довел его, черт тебя побери! Я же тебя предупреждал!

Майлз вырвался и, уже выбегая из дома, услышал, как Бруно кричал наверху:

— И марок ты не получишь! Ты не получишь марок!

Майлз выбежал на улицу, под дождь. Ни в коем случае не нужно было приходить сюда. Ничего другого нечего было и ожидать, все оказалось еще ужасней, чем он себе представлял. Он снова окунулся в этот страшный мир глупости, необузданности, неразберихи. Все-все в нем было осквернено.

Глава XIV

— Можно к Бруно? Мы не стали звонить, боялись, что вы не разрешите нам прийти.

Денби широко раскрытыми глазами смотрел на сестер. Дождь кончился, и облака неслись по грязно-серому небу. Обе женщины были в плащах, с шарфами на голове. Их встревоженные лица расплывались бледными пятнами в тусклом свете непогожего дня. На Диане был пестрый бело-розовый плащ, в руках она держала букет нарциссов. По пустынной улице гулял ветер.

— Входите,— сказал Денби,— только я не знаю... может, вам лучше зайти ко мне?

Он провел их из темной прихожей вниз, в свою спальню, закрыв за собой дверь, соединяющую пристройку с домом.

— Бруно слышит все, что здесь происходит. Лучше бы он не... Спасибо, что пришли.

Диана откинула шарф, обнажив голову с гладко зачесанными назад блестящими волосами.

— Майлз очень расстроен вчерашним.

— Черт бы побрал этого Майлза, вы уж меня простите.

— Да, я представляю себе, как он был ужасен, бестактен и так далее. Он сказал, что был слишком потрясен и что Бруно разнервничался. А Майлз этого не выносит.

— Чего же он хотел от умирающего старика? Майлз должен был держать себя в руках.

— Он старался, я знаю, он очень старался. Но у него создалось впечатление, что Бруно слегка... не в себе.

— Бруно в себе. Майлз законченный кретин.

— Он был чересчур ошарашен.

— Он чертовски спешил. Я хотел объяснить ему, что к чему, но он и слушать не стал. Мне нужно было настоять на своем.

— Ну хорошо, а можно нам повидать Бруно?

— Сегодня он неважно себя чувствует.

— Он тоже расстроился?

— Он не просто расстроился, ему очень худо. Трудно требовать от такого больного человека, как Бруно, чтобы он смотрел на вещи философски. Он просто убит этим идиотским свиданием. Я отнесу цветы наверх. Боюсь...

— Можно нам зайти на секундочку, только взглянуть на него! — сказала Лиза, которая стояла, прислонившись к двери, не скинув шарфа и не вынимая рук из карманов

— Ну, не знаю.— Денби в первый раз внимательно посмотрел на Лизу. Она была темноволосой в отличие от Дианы, лицо — сухощавое, пряди каштановых волос, выбившиеся из-под мокрого, туго завязанного шарфа, торчали во все стороны, большой нос покраснел от ветра.

— Понимаете,— продолжала Лиза,— мне кажется, очень важно что-то срочно предпринять, пока они не пришли к окончательному выводу, что им невозможно видеться.

— По-моему, Лиза совершенно права,— подхватила Диана.— Это она придумала, что нам надо прийти, будто бы от Майлза. Мне кажется, может быть, Бруно... Мы бы сказали ему, что Майлз просит прощения... две женщины...

— Две женщины! — рассмеялся Денби.— Вы, девочки, думаете, будто вы всесильны. Вы увидите очень больного и в высшей степени сварливого старика. Не воображайте, что вам удастся приручить Бруно.

— Мы зайдем только на минутку,— сказала Лиза,— отдадим цветы и немножко поговорим с ним. Он потом будет вспоминать о нашем посещении. Оно скрасит его жизнь, рассеет тяжелое впечатление от встречи с Майлзом.

Денби поколебался:

— Ну хорошо, я пойду и скажу, что вы здесь. Но едва ли он захочет вас видеть. Он просто вне себя от горя, и боюсь, с головой у него тоже сегодня не очень. Неподходящий день для посещений.

— Пожалуйста...

— Ладно, пойду посмотрю. Поднимитесь наверх и подождите на лестничной площадке. Привет, Аделаида. Это прислуга, Аделаида. Миссис Гринслив. Мисс Уоткин.

Денби поднялся по лестнице и просунул голову в дверь Бруно.

Неосвещенная комната походила на унылую тюремную камеру с тусклым окошком, за которым мчались по небу серые, подсвеченные невидимым солнцем облака, отчего черная труба электростанции, казалось, тоже медленно двигалась. Бруно сидел на кровати, неестественно выпрямившись: обычно он лежал, укрытый одеялом. Его фланелевая пижама в красно-белую полоску была застегнута на все пуговицы. Руки под одеялом плотно прижаты к бокам. Лицо его так опухло, что черты его стерлись, и трудно было распознать в представшей перед их взором рыхлой маске нечто человеческое. Найджел, сказав, что теперь ему «не забраться в эти рытвины», не брил его второй день, поэтому подбородок и шея Бруно покрылись седой щетиной. Денби отвел глаза.

— Бруно, тут пришли жена Майлза и его невестка.

Бруно слегка повернул голову, и Денби почувствовал на себе его взгляд.

— Пожалуйста, мы только...

Денби уловил движение за дверью позади себя, плащ Дианы коснулся его пиджака.

Бруно молчал.

Денби, обернувшись и приоткрыв дверь пошире, сказал:

— Положите цветы на постель и сразу уходите.

Появление сестер смутило и обескуражило Денби, он вдруг перепугался, взглянув на Бруно их глазами. Следовало предупредить девочек, как выглядит старик.

Диана прошмыгнула мимо Денби в комнату и остановилась как вкопанная. Денби заметил, что она судорожно глотнула воздух. К ней подошла Лиза, откинув назад свой желтый шарф. Он видел их лица с широко открытыми глазами — светло-карими у одной и темно-карими у другой. В следующее мгновение Диана нервно подалась вперед и, протянув руку, опустила, словно туго спеленутого младенца, перевязанный букетик нарциссов на возвышение каркаса в изножье кровати. Это напоминало принудительное посещение кенотафа [1]. Только эта гробница не была пустой.

Диана попятилась к двери, растерянно глядя на Бруно, и задела при этом Лизу, которая отступила в сторону.

— Так кто, ты сказал, эти девушки? — спросил Бруно.

В его дрожащем голосе слышались сиплые нотки, появлявшиеся всегда, когда он особенно плохо себя чувствовал, но властность и требовательность, с которыми задан был вопрос, поражали.

— Они только принесли тебе цветы. Они...

— Кто они?

— Жена Майлза и его невестка.

— Жена Майлза и его... кто?

— Невестка. Эти леди — сестры.

— Сестры,— произнес Бруно тяжело, жутко, бессмысленно.

Диана была уже у двери.

— Чего они хотят? — спросил Бруно. Он сидел все так же прямо и неподвижно, и трудно было понять, куда он смотрит.

— Мы от Майлза, он просит прощения за то, что расстроил вас,— медленно и отчетливо произнесла Лиза негромким голосом.

Большая уродливая голова слегка качнулась:

— Что?

— Майлз просит прощения.

Сомнения не было, Бруно явно смотрел на Лизу. Лицо его как будто немножко прояснилось, стали видны рот и глаза.

— Кто вы?

— Я...

— Ну вы еще успеете поговорить, для первого визита вполне достаточно,— сказал Денби.— Тебя посетили две очаровательные де-

[1] Пустая гробница, погребальный памятник.

вочки. Такое не каждый день случается, правда, Бруно? Цветы и так далее. Мы же не должны переутомлять тебя, верно? Скажи «до свидания». Мы пойдем.

Как только сестры вошли к Бруно, Денби вдруг стало плохо, его подташнивало. Появление женщин у постели Бруно произвело на Денби угнетающее впечатление. Возможно, это был всего-навсего новый прилив жалости к Бруно, чувство стыда из-за того, каким предстает бедный старик перед посторонним взглядом, как выглядит его сумрачная, убогая, запущенная комната с обоями в потеках, с грязными простынями; умирающий старик с головой чудища, запертый в разящей вонью темной камере. Денби свыкся с Бруно. Он не видел в нем человека, дни которого сочтены. Но теперь ему захотелось тотчас вывести отсюда женщин и выйти самому. Он нащупал ручку двери и протянул к Диане руку, как бы защищая ее и выпроваживая в то же время.

— Денби, замолчи, бога ради! — Они с Дианой застыли в дверях.— Не говори со мной так, точно я капризное дитя! Ты что, хочешь, чтобы они решили, будто я маразматик? Я пока еще в своем уме, и будь добр обращаться со мной соответственно. А вы сядьте сюда, *вы*. Пожалуйста.

Бруно смотрел на Лизу. Он с трудом выпростал из-под одеяла руку и, не отрывая ее от покрывала, указал на стул у кровати. Лиза села.

Денби почувствовал, что Диана толкнула его сзади локтем. Он вздрогнул и обернулся. Диана, бормоча что-то невнятное, хотела взять Денби за руку, но натолкнулась на его палец и потащила Денби из комнаты. Он пошел было за ней, однако в дверях замешкался, потоптался на месте, успокаивающе махнул ей рукой, когда она была уже на ступеньках лестницы, и остался в комнате, закрыв за собой дверь. К спертому воздуху примешивался теперь запах нарциссов. Лиза держала Бруно за руку.

Денби прислонился к двери, у него сильно кружилась голова. Чего он испугался? Теперь он видел профиль Лизы рядом с лицом Бруно. Ужасала ли его эта близость? Нет, ничуть.

— Вы ведь не боитесь меня, правда, милая?

— Нет, конечно нет. Я так рада вас видеть.

— И вы принесли мне цветы.

— Мы с сестрой. Они и от Майлза тоже.

— От Майлза... вы... конечно... Майлз был так жесток, так жесток со стариком отцом.

— Он просит прощения. Он был очень расстроен и растерялся. Теперь он раскаивается. Он надеется, что вы позволите ему снова прийти.

— Денби говорит, что не стоило мне встречаться с Майлзом, это было большой ошибкой. В конце жизни человеку требуется мир, покой. Майлз кричал на меня, страшно кричал. Понимаете, я хотел рассказать ему кое о чем, а он не стал слушать, сказал, что знать об этом ничего не желает.— Бруно перешел на доверительный шепот. Лиза слушала его с напряженным вниманием, отчего казалось, что в комнате очень тихо. Странно было видеть их головы, склоненные друг к другу.

— Не сердитесь на Майлза. Он просто растерялся.

— Он сказал, что прошлого больше не существует, но ведь оно существует, правда?

— Конечно, для нас оно существует.

— Именно. Вот вы меня понимаете.

— Вам нужно снова пригласить Майлза. Поговорите с ним о каких-нибудь пустяках. Это отнимет у вас совсем немного времени.

— У меня очень мало времени, моя милая. И я не могу тратить

его на пустяки. Мне нужно решить самые неотложные вопросы. Денби!

— Да, Бруно.

— Налей нам шампанского.

На полу стояло несколько запыленных бутылок, и Денби взял одну из них. На столе было два стакана. Он стал откупоривать шампанское. Оно весело брызнуло в верхний угол комнаты, вспугнув tegenaria atrica, дремавшего там, и золотистым каскадом полилось в стакан. Оттого, что у Денби это получилось так неловко, всем стало легко. Он передал стакан Лизе, которая в свою очередь передала его Бруно. Денби наполнил другой стакан и протянул его Лизе, сидевшей по другую сторону кровати.

— Вы... выпейте тоже из одного стакана с Денби,— Бруно отпил шампанское.

Лиза, которая продолжала держать Бруно за руку, с улыбкой вернула стакан Денби. Он тоже выпил. Все это было очень странно.

— Ты бы включил свет, Денби.

Небо за окном с бегущими по нему облаками померкло. Свет лампы под абажуром падал на огромный нос Бруно, торчащий среди седой щетины, которая кололась в глубоких складках и перед которой оказалась сегодня бессильной бритва Найджела, и осветил длинные руки Лизы; Лиза подняла руку и высвободила из-под шарфа, упавшего на плечи, густые сбившиеся волосы.

— Понимаете, дорогая, в моем возрасте человек больше всего нуждается в любви.

— Так ведь вас любят.— Лиза взглянула на Денби, стоявшего напротив, по другую сторону кровати. Лицо ее оставалось в тени абажура.

— В моем возрасте живешь своими думами, будто во сне.

— По-моему, все мы так живем.

— На закате жизни ты уже ни к чему не пригоден. Остаются только мысли.

— Мысли — это не так уж мало.

— Превращаешься в этакое чудище. Люди пугаются меня, я расстраиваю их, привожу в ужас, я же знаю. И ничего на свете я уже не могу изменить.

— Нет, можете. Вы можете быть добрым в своих мыслях, вы можете написать Майлзу приветливое письмо. Напишите ему письмо.

— Письмо... Хорошо, можете сказать ему... я погорячился... Пусть забудет мои последние слова.

— Я очень рада.

— Вы думаете, страшно, если вас проклянут? Я совершил ужасную вещь... моя жена умирала, и я не пришел к ней... должно быть, она меня прокляла... я хотел сказать об этом Майлзу... понимаете, у меня была девушка... и даже пауки...

— Ох, Бруно, хватит,— сказал Денби.— По-моему, ты слишком утомился. Наверное, достаточно для первого визита. Не сердись на меня.

Бруно расслабился, откинулся на подушки, лампа освещала теперь его глаза, эти темные, влажные, ужасающе живые щелки на опухшем лице, на котором среди седой щетины зиял безгубый рот.

— Ну хорошо.

— Обычно он так рано не пьет шампанское.

— Вы еще придете, моя милая, вы придете навестить старика? Я хочу рассказать вам кое-что.

— Да, да, конечно,— сказала Лиза.— И Майлз придет. Я передам ему все, что вы сказали.

— А что я сказал? Ну хорошо, не важно. Выпейте еще, оба.

Денби сделал большой глоток и передал стакан Лизе. Она выпила, не отрывая взгляда от Денби, вернула ему стакан и снова скло-

нилась к Бруно, поглаживая его тонкие, как палки, пятнистые руки с узловатыми пальцами.

— Ах, у вас такие прекрасные руки... и эти лунки, просто чудо.

Он еще продолжал говорить, когда Лиза нагнулась и быстро поцеловала его в щеку. Потом она выпрямилась, подняла руку, словно благословляя его, и пошла к двери.

— Я только провожу ее... и назад...— пробормотал Денби.

Он выскочил следом за Лизой. В полутьме на лестничной площадке, где кроме них никого не было, Денби внимательно взглянул на нее и осторожно, даже как-то робко потянул за рукав коричневого плаща, увлекая за собой в пустую комнату Найджела, которая находилась рядом с комнатой Бруно. Он смотрел на Лизу с высоты своего роста.

—Вы были очень-очень добры.

— Я умею обращаться со стариками.

— Вы и вправду снова придете к нему?

— Конечно, если он захочет. Но он может забыть об этом завтра же.— Она говорила уверенно и быстро, словно врач, только что осмотревший пациента. Она накинула на голову свой желтый шарф и, спрятав под него тяжелые пряди темно-каштановых волос, подняла воротник плаща.

— Он не забудет. Вы свободны по утрам?

— Я работаю все дни, кроме выходных. А по выходным я помогаю инспектору по надзору за условно осужденными в Попларе. На метро я добираюсь домой к половине шестого. А потом могу прийти.

— И завтра можете?

— Посмотрим. Я вам позвоню, когда буду уходить с работы. Кто-нибудь будет дома?

— Да, да, я постараюсь вернуться к этому времени. Безмерно вам благодарен...

Денби сбежал следом за нею по лестнице. Парадная дверь была открыта. Улица, над которой нависли стальные, тяжелые, подсвеченные солнцем облака, чуть повеселела. Денби увидел Диану, которая разговаривала с Уиллом Боузом, красившим железную ограду перед домом. Диана обернулась к Денби и помахала ему. Вокруг никого не было, и это выглядело так, будто Диана, сияющая среди улицы в своем пестреньком бело-розовом плаще, подает ему условный знак. Денби неуверенно махнул в ответ рукой и закрыл за Лизой дверь. Оставшись в печальной коричневой мгле своего дома, он сел на ступеньку лестницы. Неожиданно из глаз у него хлынули слезы.

Глава XV

Так как парадная дверь была открыта, Аделаида услышала, что кто-то спускается по лестнице, и попыталась высвободить руку. Уилл не отпускал ее, больно стискивал пальцы, напирая на Аделаиду своим крупным телом. Аделаида изо всей силы ударила его ногой по лодыжке и вырвалась. В дверях она столкнулась с миссис Гринслив, которая с улыбкой следила за исходом борьбы.

— Будьте любезны, скажите мистеру Оделлу, когда он спустится, что я на улице.

Аделаида ничего не ответила и спустилась по ступенькам в кухню, которая помещалась в полуподвальной части дома. В ней пахло сыростью. Отсюда Аделаида видела Уилла и миссис Гринслив и слышала, о чем они беседуют у ограды, вырисовывавшейся четким силуэтом в ярком свете солнца, выглянувшего из-за облаков. Аделаида изучала ноги миссис Гринслив.

— Какая приятная голубая краска для ограды,— сказала миссис Гринслив.

— Да, неплохая. Сезанновский цвет.

— О, вам известно о Сезанне? Недурно. Вы сами подобрали краску или мистер Оделл?

— Сам. Мистер Оделл в этом не разбирается.

— Ничего удивительного. Вы работаете здесь?

— Я здесь коротаю время, а не работаю [1].

— Ну и плут!

— Это Шекспир. А я всего лишь маляришка по случаю.

— И притом ученый. Вы из какой-нибудь фирмы или сами по себе?

— Я, что называется, сам себе фирма. А так как это не очень надежная фирма, я по большей части безработный. На пособии.

— Вот беда-то какая.

— Да ну! Зато ничего не делаешь — что твой король.

— Я смотрю, вы еще и философ! Как вас зовут?

— Уилл.

— Может быть, вы и наш дом покрасите?

— Зачем?

— Я хочу помочь вам. И дом облупился.

— Я подумаю.

— Должно быть, вы знаете толк в этом деле, будучи поклонником Сезанна.

— Я знаю толк в делах и почище.

— В каких же?

— В живописи, в фотографии, в театре...

— В театре? Так вот чем объясняется ваше знание Шекспира!

— Знание Шекспира объясняется моей высокой культурой.

— Прошу прощения, Уилл. Да, я представляю себе вас актером. У вас красивая голова. И по-моему, вам очень идут усы.

— И у вас прелестная головка. Я бы сумел сделать вам отличную фотографию. Вы бы вышли сногсшибательно.

— Я подумаю! Вы симпатичный парень, Уилл. Вы дружок этой ...прислуги, как ее зовут?

— Аделаида. Аделаида де Креси.

— Боже, какое аристократическое имя.

— Шикарная девочка.

— Ну, всего хорошего.

— Так где ваш дом?

— Кемсфорд-Гарденс, рядом с метро Уэст-Бромптон. Сейчас я вам запишу.

— Может, я позвоню, а может, и нет.

— Позвоните, пожалуйста! Постойте-ка, Уилл, у вас волосы в краске. Дайте-ка я вытру их бумажкой. У вас такие прекрасные волосы, жалко их пачкать.

Аделаида приоткрыла в кухне окно и тут же с шумом его захлопнула. Затем выбрала одну из немногих чашек, уцелевших от старинного веджвудского сервиза, и грохнула ее о каменный пол. Потом, хлопнув дверью, выскочила из кухни и отправилась к себе в комнату. И здесь обнаружила на юбке своего нарядного шифонового платья с оборочками, которое надела по случаю того, что Денби сегодня дома, длинную полоску голубой краски. Она сняла платье, скомкала его и швырнула в угол. Сняла ирландское эмалевое ожерелье и браслет. Надела старый халат и легла на кровать. Из глаз у нее полились слезы.

Денби не оставался у нее ни этой ночью, ни предыдущей. Ничего особенного, необычного в этом не было, но она всякий раз расстраивалась. Позавчера он написал ей записку, что вернется очень поздно, а вчера смущенно сказал: «Пожалуй, сегодня я пойду к себе, Аделаида, мне хочется почитать». Она отлично знала — никогда он не читает, еле добирается до постели, усталый и пьяненький, и не способен уже

[1] Шекспир. «Двенадцатая ночь», перифраз; III действие, I сцена.

ни на что, кроме как ласкаться с нею; частенько он засыпал в это самое время, а ей приходилось отпихивать его яростными пинками, отчего он все равно не просыпался. И вчера свет у него погас, как только он ушел к себе, и сразу же раздался его храп.

Аделаида жила в состоянии вечной тревоги, во всем улавливая какие-то тревожные признаки, смысл которых постоянно ускользал от нее. Она жила, как зверек, который ясно видит только ближайшие предметы и ступает с опаской, принюхивается, прислушивается, выжидает. Ей дано было видеть кухню, краску на платье, разбитую веджвудскую чашку. Но даже Стэдиум-стрит была для нее загадкой, а уж такие два чуда, как Денби и Уилл, представлялись ей бесконечно таинственными и наводили на нее ужас. Чувство ужаса перед Уиллом не так угнетало ее, она знала его слишком давно. Уилл оставлял у нее на теле синяки, кричал на нее, выворачивал ей руки, и хотя это было странно, он по крайней мере был каким-то родным. Но ленивые манеры Денби, его рассеянная улыбка, необъяснимые перемены в обращении с ней, хотя она должна была бы к ним привыкнуть, вызывали у нее содрогание; пытаясь понять Денби, она чувствовала себя как человек, который пытается прочесть на незнакомом языке свой смертный приговор.

Она задавалась вопросом, так же ли все у других людей, и приходила к выводу, что нет. Очевидно было, что Денби живет совершенно не так, как другие. Есть ведь на свете женатые люди, которые уверены, что они навсегда вместе, и если даже и случается что-нибудь гадкое или непристойное, то это только временно. Есть люди, которые занимаются какими-то важными делами, их имена фигурируют в печати. И есть очень богатые люди знатного происхождения. Они принадлежат к той части мира, о которой Аделаида вообще ничего не знает. Она ощущала себя крохотным муравьишкой, копошащимся на самом дне, который запросто может провалиться в щелку, и никто этого не заметит. Единственной ее опорой был Денби, и что это была за опора? Он говорил, что обеспечит ее в старости, однако мало ли что это могло значить? Любой может уволить прислугу с выплатой пенсии. Ее положение, ее существование было всецело в его власти. А она слишком плохо знала его. Она могла себе представить, как Денби скажет: «Давай-ка бросим это, Аделаида», тем же обыденным тоном, каким он говорит: «Пожалуй, сегодня я пойду к себе», или как он сказал когда-то: «Ну, как насчет этого, Аделаида?»

Аделаида знала, что становится все более раздражительной и нервной. Знала она и то, что не нужно было разбивать веджвудскую чашку, даже жалела, что разбила ее. Когда Уилл пришел красить ограду, она решила не разговаривать с ним, дабы он не повел себя дурно, что мог заметить Денби, но уже с утра почувствовала, что ее тянет к Уиллу, хотя это и выражалось в том, что она просто не давала ему покоя. А потом была эта ужасная сцена, когда миссис Гринслив, как бы покровительствуя Уиллу, флиртовала с ним, а Уилл, самодовольно улыбаясь, отвечал, как развязный лакей, и даже позволил ей запустить руки в свои волосы. Это тотчас же вызвало у Аделаиды приступ ревности; она объяснила его себе тем, что возмущена Уиллом, принизившим свое достоинство, которое она особенно в нем ценила, потерявшим гордость, более чем что-либо другое делавшую его тем самым Уиллом, каким она его знала. Теперь он стал докучлив и опасен, однако он один видел в ней ту подлинную, прежнюю Аделаиду, хорошенькую девочку, которой два умных старших кузена давали читать книжки и говорили комплименты в то время, когда она пребывала в счастливой неопределенности, гадая, кого же из них судьба предназначила ей в женихи.

Аделаида села и спустила ноги с кровати. В том месте на коленке, где был порван чулок, выпирало розовое тело. Наклонив голову, она вынула заколки из волос, и они свободно рассыпались по плечам.

Она ощущала, что безобразно толстеет, и это воспринималось ею как признак приближающейся старости, необратимости. Она допустила в жизни какую-то ошибку, из-за которой все должно было быть чем дальше, тем хуже, а лучше — уже никогда. Если бы могло свершиться чудо, как в сказке, и по мановению волшебной палочки все бы изменилось и неожиданно обнаружились бы ее скрытые достоинства? Но у нее не было скрытых достоинств. Она медленно встала и небрежно откинула волосы. Открыла дверь.

Напротив, в комнате Денби, дверь была распахнута, и Аделаида увидела неприбранную смятую постель со свисающей до пола простыней. Пусть сам убирает, решила Аделаида, но потом передумала, вошла в комнату и принялась заправлять постель. Большая черная шкатулка с выдвижными ящичками, в которых хранилась наиболее ценная часть коллекции, стояла на туалетном столике. Бруно был сегодня слишком удручен и не попросил принести марки, Аделаида набросила на кровать выцветшее валлийское покрывало. Комната, кровать — все хранило запах Денби, родной, сладостный запах табака, пота, мужчины. Аделаида посмотрела на шкатулку. Обычно Денби, прежде чем спрятать на ночь коллекцию, наводил в ней кое-какой порядок, и Аделаида, которая заглядывала к нему иногда, чтобы проверить, нет ли на постельном белье клопиных следов, знала, как устроена эта шкатулка с ящичками. Нагнувшись над шкатулкой, она слегка выдвинула ящичек, достала гармошку прозрачных целлофановых пакетиков, в одном из которых лежали треугольные марки Мыса Доброй Надежды. Она выхватила наугад одну из них и сунула в карман халата.

— Всего хорошего, Уилл. Не забудьте мне позвонить! И не пачкайте больше волосы краской.

Диана с Лизой пошли в сторону Креморн-роуд. Диана надеялась, что Денби проводит их, но он, очевидно, остался дома, поскольку с ней была Лиза.

Диана была потрясена, ей сделалось дурно от этой убийственной комнатенки и ее жуткого обитателя. Ей никогда не доводилось видеть такую крайнюю степень телесного разрушения, человека in extremis [1], который почти уже и не человек. Она представляла себе Бруно седовласым старым джентльменом, трогательно похожим на Майлза, она задобрила бы, очаровала его, он стал бы говорить ей комплименты. Она ждала, что он слегка раздражителен, упрям и слаб, но тем не менее чрезвычайно общителен. Диана сразу же прониклась Лизиной идеей навестить Бруно и уже видела себя в привлекательной роли посланницы мира с цветком в руке, милосердие ее сгладило бы обиду, нанесенную мужем. Но, придя к Бруно, она сразу же поняла, что здесь требуется сведущий человек, специалист. Привычные слова «старый джентльмен» казались неуместными. Тут нужна была Лиза с ее опытом. Диана же, как и после нескольких посещений вместе с Лизой ее попларских притонов, расстроилась, испугалась, растревожилась. Она была рада, что со стариком осталась Лиза.

Спасаясь от гнетущего впечатления, которое произвела на нее нечеловечески распухшая голова Бруно, Диана выбежала на улицу. Пока она, почти не отдавая себе в этом отчета, флиртовала со смазливым черноволосым маляром, из головы у нее не выходил Денби. Сама того не замечая, Диана думала о нем все эти дни, отнюдь не усматривая в этом повода для тревоги. Ее успокаивали свойственные этому ставшему ей близким человеку безмятежность и непринужденность, за которыми она угадывала не ветренность, а чистосердечие и доброту. С такими, как Денби, знаешь точно, на каком ты свете. Его не

[1] Перед самой кончиной *(лат.)*.

сжигали неистовые страсти. Добродушные домогательства Денби смешили ее. Ему легко было отказать, поскольку он не морочил ей голову заверениями в безмерной любви. Она не очень опасалась, что, обманувшись в своих надеждах, Денби озлобится. Конечно, он, вполне возможно, еще долго будет уговаривать ее. Но, поразмыслив, она решила, что их препирательства вовсе не должны завершиться постелью. Свидания с Денби ничем ей не грозили, бояться было нечего. Она была уверена, что Денби так просто от нее не отступится. Но в самом ходе их препирательств и должна возникнуть та сердечная дружба, которой ей так хотелось и которая была ей так нужна. В конце концов, раз уж Денби сам считал себя человеком, приносящим счастье, оставалось только объяснить ему, в чем ее счастье. И Диана вдруг поняла, что, несмотря на все преимущества ее замужества, в каком-то отношении оно было не таким уж счастливым.

Диана рассказала Майлзу об обоих посещениях Денби, но о том, что они ходили танцевать, умолчала. Это событие в ее памяти было столь нереально, подернуто романтической дымкой, что, утаивая его, она едва ли могла упрекнуть себя во лжи. Такое уже никогда больше не повторится; она сумеет устроить все так, как ей нужно, и безо всякой лжи. А расскажи она сейчас всю правду Майлзу, он ничего не поймет, поскольку он вообще не представляет себе, чтобы кто-нибудь мог вынести общество Денби. Он посочувствовал жене, узнав, что ей пришлось принимать «этого придурка». Диана улыбнулась, и в ее улыбке сквозила нежность к ним обоим. Она не хотела обманывать Майлза. Со временем она бы намекнула ему на то, каково на самом деле ее отношение к Денби. «Он мне решительно нравится». «Он очень мил». «Угадай-ка, с кем я обедала? С Денби!» Майлз привык бы к этому, и если бы он так никогда и не поверил до конца в расположение Дианы к Денби — что же, наверное, тем лучше. Так бы она и примиряла их постепенно, пока не добилась бы того, чего страстно желала теперь всем своим существом — дружеской, родственной любви Денби. И она бы любила Денби, и при этом никто бы не пострадал. Решив так, Диана почувствовала, что ее сердце вновь переполняется властной потребностью любить, и она глубоко вздохнула.

— Что, Ди?

Накрапывал дождик, и сестры, плотно повязав шарфы, торопливо шли по Эдит-Гроув.

— Бедный старик...

— Да, бедный Бруно.

— Может же превратиться человек в такое чудовище. Страшно быть в здравом уме и выглядеть так омерзительно. Надеюсь, он хотя бы не догадывается, какое производит впечатление.

— Каждый судит о своем лице по-своему, идеализирует его. Я думаю, Бруно представляется себе не таким, каким видим его мы.

— Может, ты и права. Подумать только, каково приходится Денби! Как с человеком обращаться с этим сумасшедшим!

— Бруно в своем уме. Он говорил вполне здраво после твоего ухода.

— Ты молодец, мне бы такой быть.

— Я больше сталкивалась с человеческими страданиями.

— Что он говорил?

— Просил передать Майлзу, чтобы он забыл о его последних словах.

— Наверное, он принял тебя за жену Майлза.

— Не знаю.

— Во всяком случае, ты ему определенно понравилась.

— Жалко, что мы не знали его раньше.

— Ну, это Майлз виноват. Господи, надеюсь, я никогда не буду

такая, лучше уж умереть. Тебе не кажется, что это лишнее доказательство в пользу эвтаназии?[1]

— Не уверена. Никто не знает, чего надо человеку, когда он такой дряхлый.

— Неудивительно, что Майлз опешил.

— Майлзу снова нужно пойти к Бруно.

— Хорошо, скажи это Майлзу сама. Ты умеешь быть с ним твердой. Он был злой утром?

— Совесть нечиста!

— Денби сыт им по горло.

— Да.

Сестры свернули на Фулем-роуд. Они шли под моросящим дождем, наклонив головы.

— Лиза!

— Да.

— Знаешь, ничего особенного у меня с Денби нет.

— Я так и думала.

— Он человек беспечный, порывистый, но очень милый. Не суди его строго.

— Я его совсем не знаю.

— Ты, как и Майлз, такая же максималистка. Из-за этого ты порой не в меру сурова.

— Прошу прощения, если так.

— Денби очень любящая натура, и, по-моему, он немножко одинок. Подозреваю, он с женщиной лет сто не разговаривал. Ему кажется, что он влюблен в меня, но я знаю, как с ним управиться. Это я от неожиданности чуть-чуть растаяла. Конечно, он слегка ломает комедию, но человек он очень неглупый. Драмой здесь не пахнет.

— Я так и думала, Ди.

— Ну и хорошо. Ты ведь беспокоишься обо мне, Лиза, и ты не потакаешь глупостям. Вы с Майлзом очень похожи. Не могу понять, что вы оба находите во мне.

Лиза засмеялась, взяла сестру под руку и легонько стиснула ей локоть. Немного погодя, когда они, чтобы сократить путь, проходили Бромптонским кладбищем, Лиза сказала:

— Что-то этот визит напомнил мне о папе.

— О господи, Лиза, я часто думаю об этом, но никогда не решалась тебя спросить. Ты в самом деле была с ним, когда он умирал?

— Да.

— Невыносимо думать об этом. Я такая трусиха. Мне повезло, что меня там не было. Ты боялась?

— Да.

— Расскажи, как все это происходило?

— В подобных случаях забывается, как именно это происходило.

— Ему было... страшно?

— Да.

— И как ты только выдержала.

— Это не просто страх. Тут бездна. Это перестает быть чем-то индивидуальным. Философы говорят, что у каждого своя собственная смерть. По-моему, это не так. Смерть опровергает и понятие личности, и понятие собственности. Если бы только все знали об этом с самого начала.

— Тогда все мы просто животные.

— В нас проявляется что-то и от животного. Это не совсем одно и то же.

— Папа всегда был терпелив, когда болел.

— Когда он не верил, что умрет,— так же, как и мы сейчас.

— Мы пытались обманывать его.

---

[1] Облегчение смерти *(греч.)*.

— Мы обманывали себя. Ужасно было видеть, что он все понимает.

— О господи! Ну и что же ты делала?

— Держала его за руку, говорила, что люблю его...

— Наверное, это единственное, что, может быть, еще нужно.

— В том-то и вся трагедия, что ему это как раз было не нужно. Мы все привыкли к мысли, что любовь утешает, но рядом со смертью вдруг каждый чувствует, что даже любовь — ничто.

— Не может быть.

— Понимаю, что ты имеешь в виду. Не может быть! Мне кажется, человек постигает вдруг, чем должна быть любовь — словно гигантский свод разверзается над тобою...

— Он умирал трудно?

— Да. Это была самая настоящая борьба. Да, борьба, попытка что-то сделать.

— Наверное, смерть — тоже действие. Но я думаю, он уже ничего не сознавал.

— Не знаю. Да и кто может знать, что испытывают люди, когда умирают?

— Тяжелый разговор. Лиза, ты плачешь! Ах, дорогая, не плачь, ради бога, не плачь!

Глава XVI

Денби стоял в густой траве Бромптонского кладбища. Было это в среду.

Весь день, да и предыдущие несколько дней, он жил точно во сне. Своим чередом возникали все те же маленькие кризисы, которые он обычно с наслаждением преодолевал. Колумбийский пресс, на котором печатались малотиражные афиши и объявления, сломался, и один из новичков, взявшись устранить неполадки, доконал его. Заказчики карточек для бинго решили изменить формат, когда карточки находились уже в печати. Пришло в неисправность ограждение гильотинного ножа, но им продолжали пользоваться, нарушая технику безопасности. Машина, груженная свинцом, дав задний ход, задела кипу бумаги и опрокинула ее. Репродукция картины современного художника для одного из лондонских журналов оказалась напечатанной вверх ногами. Прибыл дорогостоящий новый шрифт для наборной машины, и в счете была проставлена сумма вдвое больше сметной стоимости. Девушка из упаковочного отделения упала на складе с лестницы и сломала ногу. Старый чудак, которому они печатали репродукции гравюр, звонил пять раз на дню по поводу японской бумаги. Художественное училище, где Денби хотел приобрести старый «Альбион»[1], прислало представителя для переговоров. Но Денби ушел, предоставив все Гэскину, и тот изумился, ибо ждал, что Денби уж во всяком случае будет ликовать в предвкушении покупки, о которой давно мечтал.

Денби подумал, не пропустить ему ли для бодрости стаканчик в «Турнире» или в «Лорде Рейнлафе», которые как раз в это время гостеприимно распахивали двери, но предпочел все же остаться трезвым, что на этот раз не составило труда: пей не пей — никакой разницы. Все сверкало после недавнего дождя в неярких лучах выглянувшего к вечеру солнца. Был час пик, за высокой железной оградой на Олд-Бромптон-роуд мерно, будто в гипнотическом сне, двигались автомобили. Здесь же буйная трава делала кладбище похожим на луг, или скорее оно напоминало заросшие травой руины разрушенного города — Остии, Помпеи, Микен? Огромные, как дома, склепы, обители смерти, стояли вдоль центральной аллеи, которая вела к

[1] Ручной печатный станок для изготовления художественных репродукций.

видневшемуся вдалеке освещенному холодными лучами солнца полукружью колонн. Вдоль более скромных боковых аллей зеленели могилы победнее, без памятников и могильных плит, кое-где виднелись свободные участки земли, кое-где — огороженная цепью, аккуратная могилка, гранитные плиты в человеческий рост, рядом с чьим-то именем увядали принесенные недавно цветы. Над кронами дымно-зеленых распускающихся лип возвышались вдалеке черные трубы электростанции Лотс-роуд. «...Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго»... [1]

Денби не удивился, когда Бруно сказал после ухода Лизы: «Эта девушка чем-то похожа на Гвен». Денби уже и раньше уловил это сходство, глядя на их склоненные друг к другу головы — Бруно и Лизы. Он видел тяжелую копну темных волос, задумчивое, серьезное, продолговатое лицо, сосредоточенный взгляд широко открытых глаз, большой, выразительный рот, глубокую бороздку над верхней губой. Он смотрел на Лизу во все глаза и размышлял о ее лице вечерами после следующего прихода Лизы, во время которого тихо, незаметно сидел в углу и вставал только затем, чтобы налить шампанского, пока Лиза беседовала с Бруно, совершенно не путаясь в лабиринте его излияний,— такого Денби никогда не доводилось слышать, сам он мало что понимал в разговоре. Он ожидал, что его попросят удалиться. Но никто ничего не сказал, и он остался. Когда Лиза ушла, они с Бруно посмотрели друг на друга, изумленные, опешившие. Казалось, Бруно порывался что-то спросить. Может быть, он хотел узнать, кто она? А может, он принимал ее за жену Майлза. А может, его интересовало что-то совсем другое. Во всяком случае, они не сказали друг другу ни слова.

Как только Денби осознал встревожившее его сходство Лизы с Гвен, он сразу вспомнил, какой непонятный страх охватил его, когда он увидел Лизу в окне на Кемсфорд-Гарденс, и ему стало ясно, что его испугало. Это была не просто серьезная, необыкновенно чуткая женщина с красивым ртом. В типографии он гнал от себя мысли о ней, старался отвлечься работой, не думать и не заглядывать в будущее. В крайнем смущении размышлял он о своем столь привычном образе жизни. Он был приветлив с Аделаидой, но сказался больным. Когда позвонила Диана, он назначил ей свидание, а потом отменил его. Он был рад, что Бруно по-прежнему погружен в себя и не заговаривает о Лизе. Денби надеялся, что как-нибудь все сгладится, забудется, и в то же время уже знал, что не сгладится и не забудется.

Денби и теперь казалось, что все связанное с Гвен было ниспослано ему свыше, помимо его воли. Он вполне понимал, чем было вызвано недоумение и недовольство Майлза. Их союз с Гвен казался невозможным. Они были людьми разного склада. Власть, которую имела над ним Гвен, проистекала скорее от полной ее чужеродности, а не основывалась на каких-то доводах разума. А может быть, это была просто власть безмерной любви. Оглядываясь назад, Денби видел в своем союзе с Гвен истинное торжество бога любви, некую случайность и вместе с тем абсолютную закономерность — они соединились по прихоти бога любви без участия каких-либо земных природных сил. Конечно, Денби, который за всю жизнь не прочитал ни одного учебника по психологии, все же понимал, что работа природы подчас скрыта от глаз, и их влечение друг к другу в конце концов вполне объяснимо естественными причинами, но он знать не желал об этом. Денби предпочитал верить, что его жизнь не обошлась без вмешательства божества, причем вмешательства совершенно своеобразного и неповторимого.

После смерти Гвен, оправился от которой он очень не скоро,

---

[1] Библия. Послание к евреям, 12, 22.

Денби чувствовал, что возвращается к свойственному ему куда более легкому образу жизни, какой он вел и до женитьбы. Но это не приносило ему облегчения. Гвен была для него постоянным источником нежданной радости, и даже непрерывная борьба со своим характером, осознанная лишь впоследствии, не тяготила Денби. Становясь понемножку самим собой, словно сила гравитации вновь опустила его на привычную почву, Денби через какое-то время начал даже успокаиваться. Это настолько волновало Денби, что он поделился своими сомнениями с Линдой, и вывод, к какому они пришли, его положительно утешил. Не то чтобы Гвен стала казаться ему сном. Денби свято верил в ее реальность. Зато вся дальнейшая жизнь без нее представлялась ему сном. Но Денби, не без помощи Линды, порешил на том, что он, как и большинство людей, не создан для реальности. Да и в любом случае выбора у него не было. Жизнь, которую он влачил теперь, без Гвен, представлялась ему не чем иным, как жизнью во сне homme moyen sensuei[1], каким он и был до кончиков ногтей.

Но с течением времени, когда после Линды, которая так ему помогла забыться, он здраво и спокойно пошел на связь с Аделаидой, Денби почувствовал в себе некое весомое активное начало, также свойственное его натуре, и стал сомневаться, ни в малейшей мере не кощунствуя, был ли он вообще когда-нибудь пробужден к иной жизни даже самой Гвен. Она казалась чудом, постичь которое ему было не дано. Такая любовь бывает у человека лишь однажды, Гвен стала для него святыней, и размышлять о ней он мог до конца дней. Но жил ли он сам хоть когда-нибудь в том мире, о существовании которого узнал, полюбив Гвен? Постепенно он начал в этом сомневаться. У него не было сомнений относительно того, каким необыкновенным существом была Гвен. Но с годами, лучше познавая себя, он только удивлялся, как это человека вроде него занесло на подобный пир любви. Денби понимал, что все забывается. Но в общем-то считал, что бог, должно быть, при всем его, Денби, энтузиазме, несколько в нем разочаровался. Денби любил всем сердцем, но сердцем слишком уж посредственным.

Диана вовсе не была для Денби загадкой. В ней сочетались черты Аделаиды и Линды, но она была привлекательней каждой из них в отдельности. Угадывался в ней и холодок Линды, и особая эротическая сладость, соблазнительность Аделаиды. Ему нравилось болтать с Дианой, нравилось прикасаться к ней. Ее очарование снова дало почувствовать Денби, как равнодушен он стал в последнее время к женщинам, даже мало с кем из них вообще виделся. И еще она дала ему почувствовать, что он по-прежнему способен нравиться. Танцуя с ней, он испытывал наслаждение, какого не знал уже много лет. Конечно, ему хотелось бы стать ее любовником. Однако Диана была женой Майлза, и если вначале ему и улыбалась мысль наставить Майлзу рога, то по здравом размышлении он натолкнулся на некоторое препятствие.

Денби, хотя он никогда не признался бы в этом, побаивался Майлза, который представлялся ему загадочной, выдающейся и заслуживающей всяческого уважения личностью. В конце концов, Майлз был братом Гвен, и здесь не место грязи. Денби не сомневался, что ему легко удалось бы победить мнимую щепетильность Дианы. Но, как следует поразмыслив, он пришел к выводу, что, может быть, и лучше, в конце концов, ограничиться сердечной дружбой, которой, по ее словам, ей так хотелось. Они и в самом деле оба были достаточно эгоистичны, чтобы рисковать своим спокойствием и благополучием. Во всяком случае, встреча с Дианой натолкнула его на мысль, что хорошо бы найти женщину, с которой не было бы ос-

[1] Человека с умеренной чувственностью *(франц.)*.

ложнений, такую же милую, как Диана, и стать ее любовником. А о будущем Аделаиды он бы позаботился. И все было бы хорошо, и все были бы довольны. Так он думал до воскресенья. Однако теперь все переменилось.

Денби, который стоял возле участка, где были погребены пенсионеры Челси, подошел ближе к ограде, спотыкаясь о невидимые в траве камни. От лучей закатного солнца он почти ослеп, его глаза устали следить за бесконечным потоком людей, выходивших из Уэст-Бромптонского метро. Лиза сказала, что сегодня не придет к Бруно, потому что его не следует слишком уж приучать к ее посещениям. И вот в какой-то миг Денби почувствовал, как невыносимо, что он ее не увидит, и понял — хватит обманывать себя, заблуждаться насчет случившегося не приходится. Она сказала, что возвращается домой к половине шестого. Денби ждал с пяти, и вот уж теперь шел седьмой час. Может быть, он проморгал ее, может, она поехала еще куда-нибудь, а может, пошла другой дорогой, свернув с Уорвик-роуд на Кемсфорд-Гарденс. Денби продрог, у него слегка кружилась голова, словно от нехватки воздуха. По улице неслись машины, и люди шли нескончаемой вереницей, освещенные вечерним равнодушным солнцем. Здесь же, на кладбище, было пусто, просторно, тенисто. Денби не отдавал себе ясного отчета в том, зачем пришел сюда, да он и остерегался строить какие бы то ни было планы. Просто ему необходимо было видеть ее.

Денби бросился к кладбищенским воротам и выскочил на улицу. Лиза, которая только что прошла у самой ограды, остановилась на переходе. Когда Денби подбежал к ней, едва не сбив ее с ног, она обернулась, сощурившись от бившего в глаза солнца.

— Простите...

— А, здравствуйте.

Когда она взглянула на Денби, у него сжалось сердце и потемнело в глазах.

—Я... Э... тут увидел вас и хотел, если, конечно, вы не очень спешите, сказать вам...

— Пожалуйста. Как там у вас дела? Надеюсь, Бруно не стало хуже?

— Бруно... Нет... Все так же. Только он очень по вас скучает...

— Он знает, что я приду завтра?

— Да, да.

— Понимаете, у меня ведь не всегда есть время, иногда я бываю занята, и вообще — лучше не приходить слишком часто.

— Я все понимаю...

— Так что же вы хотели?

— Ну, я хотел поговорить о Бруно, о ваших посещениях, может быть... знаете, давайте зайдем на кладбище, здесь столько народу.

Денби легонько тронул ее за рукав. На Лизе был тот же коричневый плащ, но Денби не осмелился взять ее под руку. Он пошел к воротам, чувствуя, что Лиза идет следом. На кладбище он сразу же свернул на тропинку, ведущую к одной из боковых аллей, и остановился под липой у высокого прямоугольного замшелого обелиска, увенчанного урной.

Лиза подошла, коснулась пальцами обелиска, погладила его шершавую поверхность, Денби видел ее длинную руку с четкими лунками ногтей, про которые Бруно сказал, что они похожи на полумесяцы, и действительно они были похожи.

— Надеюсь, я не слишком утомляю Бруно?

— Нет, вы его успокаиваете.

— Бывает, человек поговорит с кем-нибудь по душам и потом раскаивается.

— Вы как раз то, что нужно Бруно. Ему необходимо было излить душу.

— Скоро мы станем говорить с ним о самых обычных вещах. Постепенно все уляжется.

— Вы замечательно беседуете с ним. Он рассказывает вам все как на духу.

— И ему уже не придется рассказывать это Майлзу.

Она сбросила на плечи свой желтый шарф и высвободила из-под него волосы. Выглядела она усталой.

— Вы устали?

— Ничего. Послушайте, чтобы Майлз навестил Бруно...

— У вас был трудный день?

— Очень, как обычно. Майлз говорил, он снова придет в воскресенье, если вы считаете, что Бруно готов к этой встрече.

— А вы тоже придете?

— Может быть...

— Было бы лучше всего, если бы вы тоже пришли вместе с Майлзом.

— Возможно. Я подумаю. Значит, в воскресенье в то же самое время?

— Конечно, конечно.

— Ну, договорились. Всего...

— Еще минутку, Лиза. Вы бы...

Она уже пошла было к выходу, но обернулась, снова внимательно посмотрела на Денби. Позади нее находились детские могилы, маленькие трогательные надгробные плиты, затерянные в траве. Дети, заснувшие вечным сном в могильной тишине. Люди, шум машин уже не имели к ним никакого отношения.

Денби споткнулся в высокой мокрой траве, пытаясь преградить ей дорогу к воротам. Он даже руки протянул, чтобы не дать ей уйти.

— В чем дело?

— А завтра вы придете?

— Ну конечно. Я же сказала.

— Можно мне называть вас Лиза?

— Да, конечно.

Она смотрела на него все с тем же преувеличенным вниманием, слегка надувшись и сощурясь от солнца.

— Лиза, когда вы придете завтра к Бруно, вы потом сможете уделить мне немного времени? Может быть, сходим куда-нибудь, посидим, выпьем.

— Вы хотите со мной о чем-то поговорить?

— Нет, да, то есть...

— Насчет Бруно и Майлза?

— Нет, не совсем. Простите, это трудно объяснить...

— Бруно стало хуже?

— Нет-нет, у Бруно все хорошо.

— О чем же вы хотите поговорить?

— Ну просто, я только хотел... Я думал, может быть, выпьем, может, пообедаем... Вы бы не отказались пообедать со мной завтра?

Она улыбнулась:

— Никакой благодарности мне не нужно. Я с радостью прихожу к Бруно. Вы совершенно не обязаны приглашать меня обедать.

Денби тяжело вздохнул. Ноги его, казалось, совсем запутались в траве.

— Вы меня не так поняли, речь не о Бруно, речь обо мне.

— А с вами что?

— Я попал в затруднительное положение...

— Что ж, мне очень жаль.

— Вы, наверное, подумаете, что я малость спятил...

Лиза нахмурилась и опустила глаза, теребя пуговицу на плаще. Она сделала шаг в сторону и попыталась обойти его, глядя на ворота.

— О сестре я говорить не хочу.

— О господи...

— Я считаю... это... не мое дело. Так что прошу простить.

— О боже! Ваша сестра тут совершенно ни при чем!

— Ну тогда я ничего не понимаю. Мне нужно идти.

— Лиза, так вы сможете завтра пообедать со мной?

— Я всегда занята во время обеда.

— Лиза, ну поймите же, мне просто хочется увидеться с вами.

— Сомневаюсь, что от меня вам будет какой-нибудь прок.

— Да не в том дело. Вы останетесь после того, как повидаете Бруно, поговорить со мной?

— Не вижу никакого смысла.

Она глядела на него теперь враждебно, подняв воротник плаща, стоя перед ним в виде этакого крестного знамения.

— Может, для вас и нет никакого смысла. А для меня...

— Мне нужно идти.

— Пожалуйста, поймите меня, пожалуйста...

Он умоляюще протянул к ней руки, преграждая путь к воротам.

— Я не знаю, что там у вас с моей сестрой, и уверяю вас, не желаю знать. И пожалуйста, дайте мне пройти.

— Вы не должны так думать обо мне. Это вовсе не так. Мы с Дианой просто... ничего такого... ничего.

— Послушайте, я не желаю в этом разбираться. Мне нужно домой.

— Ну, пожалуйста, Лиза, не отказывайте мне. Я вам напишу, не будьте такой жестокой.

— Я не жестокая. Просто ни к чему такие разговоры. Мне кажется, у вас весьма странный взгляд на...

— Я же вам ничего толком не объяснил. Позвольте объяснить вам. Давайте встретимся и поговорим, пожалуйста...

— Я очень занятой человек, и у меня своя жизнь, как и у вас. Вы мне дадите пройти?

— Я вас не могу просто так отпустить, я вам напишу, вы ведь придете завтра, правда?

Изогнувшись, Денби протянул руку, пальцы скользнули по рукаву ее плаща, но она шагнула в высокую траву и обошла его.

— Лиза!

Она быстро приближалась к воротам. Еще мгновение — и она была уже на улице и скрылась в мерно движущейся толпе. Денби проводил ее взглядом, повернулся и медленно побрел по аллее мимо надгробий.

Глава XVII

Возвращаясь с работы по Олд-Бромптон-роуд, Майлз внезапно остановился, увидев на кладбище, в лучах солнца, поглощенных беседой Денби и Лизу.

За оградой, среди тенистой густой зелени, их фигуры на фоне виднеющихся вдалеке колонн, озаренные прорывающимся из-за туч солнечным светом, вырисовывались крупно, отчетливо, многозначительно. Что-то необычное было и в их позах, и в их сосредоточенности, за которой угадывалось нечто серьезное, какие-то разногласия. Майлза охватило неприятное чувство, он вдруг испугался. Он остановился и стал наблюдать за ними. Он видел, как Денби вдруг театральным жестом протянул руку, удерживая Лизу. Майлз был поражен. Не теряя их из виду, он быстро направился к воротам. Между тем Лиза проскользнула мимо Денби, рванувшегося было к ней, и вышла на улицу. Лавируя в толпе, она подошла к перекрестку и, прежде чем Майлз успел догнать ее, пересекла дорогу.

Он перешел дорогу следом за нею и нагнал ее на углу Эдли-Креснт.

— Лиза!

— А, Майлз, это ты, привет.

— Лиза, что это все значит? Я видел, как этот дурак Денби... Чего ему надо?

— Да он просто... Мы говорили о Бруно.

— Но он не приставал к тебе?

— Нет-нет. У него какие-то свои неурядицы. Он... хотел пригласить меня пообедать.

— *Пообедать?*

— Сказал, что хочет видеть меня.

— *Видеть* тебя? Надеюсь, ты послала его к черту. Оказывается, у него вообще такая наглая манера — явиться и заграбастать...

— Ну хорошо, Майлз, оставим это.

— Нет, не оставим. Ты не согласилась с ним обедать?

— Нет.

— Подумать только, этот несчастный осел еще и сцены устраивает прямо на улице.

— По-моему, он это несерьезно.

— Наверное, пьян в стельку. Нет, ты только вообрази, он захотел с тобой пообедать!

— А что, это выглядит странно, если мужчина хочет со мной пообедать?

— Нет-нет, Лиза, конечно нет. Я хотел сказать... Ну и дрянь этот Денби, хватает же наглости замахиваться на таких, как ты. Пьянчуга несчастный. Одни шашни на уме.

— Может быть. Я думаю, этим все и объясняется.

— Скажи мне, если он снова начнет приставать.

— Ну, Майлз. Я же не девица викторианских времен. Я могу сама за себя постоять.

— Надеюсь, ты больше не пойдешь туда, на Стэдиум-стрит.

— Я пообещала навестить Бруно.

— Ну, сходи как-нибудь, когда Денби не будет дома. Работает же он когда-нибудь. Или пусть Диана сходит. Старик, наверное, вас и не отличит.

— Диана, да...

Они подошли к дому, Диана, которая поджидала у окошка, как она частенько делала, открыла им дверь.

— Входите, входите, бедные труженики, давайте я вас раздену. Лиза, у тебя плащ совершенно мокрый, что же ты утром не повесила его, негодница, чтоб он просох. Майлз, ты принес мне «Ивнинг стандард»! Вот хорошо, я забыла тебе напомнить об этом; пошли, я растопила камин в гостиной, а сейчас и солнышко показалось, так что можно погасить в нем огонь. Я купила на Фулем-роуд графин для хереса, восемнадцатый век, вам нужно пропустить по глоточку. Посмотрите, что за прелестный хрусталь! И к тому же совсем дешево. Усаживайтесь, у вас обоих такой измученный вид, вы в метро встретились?

— Нет, уже когда вышли из метро,— сказал Майлз.

Он сел. Солнце освещало пестренькую гостиную, которую Диана содержала в непостижимой чистоте. В камине весело горел огонь. На ярком скандинавском столике с керамической мозаикой стоял новый графин с хересом и три стаканчика. Это был его дом.

Диана разлила херес и протянула стаканчик Лизе, которая стояла на пороге гостиной, не сняв шарфа.

— Что-нибудь случилось? — Диана частенько так спрашивала, когда они возвращались вечером домой.

— Нет, все хорошо,— ответила Лиза и взяла стаканчик с хересом. Майлз поднял на нее глаза, но Лиза уже скрылась за дверью, прихватив свой херес.

Он понял: лучше не рассказывать Диане о том, что он видел на кладбище, хотя Лиза ни словом ему на это не намекнула. Но в чем же тут дело?

«Бледный жемчужный луч утопает в зеркале стола и там — тускло-красное пятно, некрасная тень красного, отражение цветка. А деревянная поверхность стола — густо-коричневая, в разводах; она выше, намного выше этого отражения. Красный — краснейшее из слов. Коричневый — приторное карамельное слово. Но все же это самый одинокий цвет, изгнанный из спектра, цвет слова, цвет древесной коры, цвет земли, хлеба, волос».

Майлз закрыл свою «Книгу замет» и всмотрелся в красные и багряные анемоны, которые жена поставила у него на столе. Страница, которую он только что вырвал, скомкал и бросил в корзину для бумаг, распрямлялась там с тихим мышиным шорохом. Был поздний вечер, шторы задернуты. Женщины знали, что в этот час Майлза лучше не беспокоить. Ночь принадлежала ему.

Однако Майлзу не работалось. Он намеревался описать анемоны, продолжить то, что начал вчера, при дневном свете. Ему хотелось передать словами особенную размытую бледность их отражения на столе. Анемоны, крепость упругих стеблей которых так поразила его вчера, сегодня казались ему просто пучком каких-то пошлых цветов в ярких рюшах, с наглыми физиономиями. Диана поставила цветы в дешевую фарфоровую вазочку, которая усугубляла их вульгарность. Он уже не мог увидеть их в прежнем свете. На них сегодня и смотреть не стоило. Майлз был подавлен, огорчен.

Эта идиотская сцена на кладбище вывела его из себя, вызвала ощущение бессмысленности, знакомое ощущение, памятное еще со времен войны. Он знал свои уязвимые места. Посещение Бруно, после которого все пошло вкривь и вкось, заронило в нем чувство вины, а чувство вины в свою очередь неизбежно повлекло за собой бессилие. Майлз не выносил неразберихи, смятения чувств. Если бы только он сохранил самообладание у Бруно и не позволил себе разнервничаться, распереживаться. Теперь-то он понимал, что ничего не стоило повести себя иначе. Но он был так потрясен и взволнован, увидев Бруно, что просто не успел взять себя в руки. Сейчас он сознавал, что умышленно не дал себе труда подготовиться к этой встрече, умышленно не дал воли воображению. Отец, которому он дважды в год писал вежливые письма, явно сам был виноват в том, что они не встречались, он давно уже отошел в жизни Майлза на задний план — этакая почтенная статуя в нише с лицом мудреца, напоминающего Блейка. Отвратительный больной старик в жалкой комнатенке на Стэдиум-стрит никак не вязался с этим образом, он предъявлял свои права, требовал думать о себе, страшил.

Еще до того, как Лиза передала ему слова отца о примирении, Майлз решил снова сходить к нему. Нельзя же было все оставлять в таком безобразном виде. Так или иначе, он не сможет работать: то, что произошло на Стэдиум-стрит, будет преследовать его воображение. У Майлза просто все внутри переворачивалось от жалости к отцу. Он не захотел выслушать излияний Бруно. Теперь он понимал — для Бруно ничего не кануло в Лету. Майлз ведь давно простил отца, то есть решил для себя не думать и не вспоминать об обидах, нанесенных ему Бруно. И он не желал возвращаться к прошлому в разговорах с ним. Прошлое было страшным, неприкосновенным, оно принадлежало лишь ему, Майлзу. Он готов был играть роль послушного сына, если бы только можно было играть эту роль, не теряя достоинства, не задевая ничего сокровенного, личного. Или, если угодно, он мог бы даже поболтать с Бруно, но о чем было болтать с чужим теперь для него человеком и к тому же умирающим? А вот

вступить в живое, непосредственное общение с отцом, вспоминать прошлое — к этому Майлз был совершенно не готов. Невыносимо как раз то, что пришлось бы возвращаться к прошлому вдвоем с отцом, вместе. Сама мысль об этом вызывала у Майлза отвращение. Естественно, нельзя было ожидать, чтобы кто-нибудь его понял. Это было необъяснимо, но он ничего не мог с собой поделать. Он не мог разделить переживаний Бруно и, конечно, не мог вынести наставлений Денби. Все же нужно пойти туда и как-то все это выдержать, сыграть свою роль до конца. И когда он пытался теперь обдумать, как бы это осуществить, он говорил себе: мои боги здесь бессильны.

Сцена на кладбище не выходила у него из головы. Она тоже как-то была связана со Стэдиум-стрит, он чувствовал в ней дух все той же ужасной комнатенки Бруно. Конечно, Денби просто клоун, но сцена была жуткая. Денби каким-то образом тоже был виноват во всем. Впрочем, Майлз не думал, будто это Денби склонил Бруно позвать его. Появление Майлза на горизонте скорее всего мало устраивало Денби. Майлз вспомнил фразу Бруно, которую передала ему Лиза: «Пусть забудет мои последние слова...» Что она означает? Что отец снимает свое проклятье или что марки он завещает все-таки Майлзу? Майлз все эти годы и думать о них не думал. Он давно принял как должное, что они достанутся Денби. Однако, если бы вдруг он получил коллекцию, это было бы недурно. Это означало бы, что можно бросить службу и целиком отдаться творчеству.

Майлз прогнал от себя мелочные мысли о марках. Он порывисто встал и начал ходить по комнате. Несколько шагов туда, несколько обратно, мимо освещенного настольной лампой стола, который он содержал в образцовом порядке и на котором лежала его «Книга замет», ровная стопка голубых промокашек, стояли серебряная чернильница, подаренная Дианой, разноцветные авторучки, фарфоровая вазочка с красными и багряными анемонами. Он задержался на минуту перед небольшим квадратным зеркалом. Майлз привык считать, что похож на молодого Йейтса. Отражение, которое он увидел в золоченой раме, было слегка размыто, словно на картинах Сезанна,— мрачное, худое, неправильное лицо с длинным, заостренным носом, тревожный, хмурый взгляд, редеющие, мелко вьющиеся волосы, тронутые сединой, искривленные, нервные губы. Не улыбнувшись, Майлз обнажил перед зеркалом неровные зубы. Какое теперь имеет значение, на кого он похож? Он снова принялся шагать по комнате. Он думал о Лизе и о сцене на кладбище.

Да, Лиза права: в том, как он прореагировал на эту сцену, было что-то викторианское. Конечно, Лиза способна постоять сама за себя. Она во сто крат тверже этого пьянчужки и пустомели Денби. Хотя Майлз и привык смотреть на Лизу глазами Дианы, которая видела в ней «птицу с перебитым крылом», ему теперь казалось, что, как ни странно, он с самого начала чувствовал в ней сильного человека. Лиза была личностью. Шуточное ли дело работать в этакой школе. Майлз побывал там однажды, и то, что он увидел, произвело на него гнетущее впечатление: грязь, беспорядок, вонища, изможденные мамаши, дети, дерущиеся на улице. Лиза жила в реальном мире, который совершенно не походил на ту реальность, что силился он отразить в своих стихах. Жить среди людей и для них было ее призвание, и Майлз уважал его и преклонялся перед ним.

Почему же он так встревожился из-за того, что Лиза способна выносить дурачества Денби? И почему, как он совершенно ясно уловил, не следовало рассказывать об этом Диане? Лиза была частью его домашнего уклада, частью его жизни. Они с Дианой давно решили, что она уже не выйдет замуж и навсегда останется с ними. Диана спрашивала его, не против ли он. Нет, он был не против, он был даже рад, что Лиза останется с ними, даже очень рад. Ему доставляло удовольствие видеть ее. В ее обществе он находил то, че-

го не могла дать ему Диана, с Лизой он говорил о вещах, в которых Диана не разбиралась. Майлз считал Лизу самостоятельным, замкнутым, обособленным существом. У нее не было своего дома, но была своя работа. Она не походила на других женщин, жила отшельницей. Она ведь и в самом деле несколько лет была монахиней, и эти годы оставили на ней печать сдержанности, отстраненности. Не потому ли он был потрясен, увидев ее с Денби,— словно у него на глазах какой-то мужлан глумился над монашкой, схватив ее за рясу.

«А что, это выглядит странно, если мужчина хочет со мной пообедать?» Нет, совсем не странно. Лиза не такая хорошенькая, как Диана. Ее нужно узнать как следует, чтобы почувствовать ее притягательность. И Майлз чувствовал. Он видел ее красоту, потаенную красоту, проникновенность взгляда, выразительность рта. Посторонний вряд ли заметит это. Майлз мог себе представить, какой кажется Лиза со стороны: изможденная, не очень-то следящая за собой школьная дама в годах. Впрочем, и такая особа тоже может получить приглашение пообедать. Но только не Лиза. Эта выходка Денби — конечно, бессмыслица, пьяная блажь, но тут возникает вопрос, и Майлз вдруг понял, что этот-то вопрос и не дает ему покоя. А если бы выяснилось, что у Лизы есть поклонник, что тогда?

Кстати, он ведь ничего не знал о Лизе. Притча о птице с перебитым крылом могла служить прикрытием. Беседуя с ней, он никогда не касался ее прошлого. Неизвестно почему, у него сложилось впечатление, что она избегает говорить на эту тему. Он ничего не знал об интимной стороне ее жизни, не знал, существовала ли таковая вообще. Диана утверждала, что Лизу не интересуют мужчины, и Майлз тоже привык так считать. Когда он задавал Лизе обычный вопрос, как она провела день, ему никогда не приходило в голову, что в этом «дне» может присутствовать мужчина. В самом деле, он и вообразить не мог, чтобы у Лизы была какая-то тайная жизнь. Сцена на Бромптонском кладбище навела его на мысль, от которой ему уже некуда было деться,— за Лизой могут ухаживать. Она не замужем. Она свободна.

Майлз продолжал мерить шагами комнату — дотронувшись до дверной ручки, возвращался назад, к камину. И постепенно он начал постигать смысл того пророческого ужаса, который охватил его перед кладбищенской оградой. Он вдруг открыл в себе новое, стремительно растущее чувство, которое непредсказуемым образом угрожало его душевному покою и с которым ему предстояло теперь как-то жить. Глубоко таящееся у него в душе, оно было разбужено в этот злосчастный день. Лиза принадлежит дому на Кемсфорд-Гарденс. Он любит Лизу. Лиза принадлежит ему.

(Окончание следует)

Публицистика

АНДЖЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

ВОСТОК, ЗАПАД И ПОЛЬША

Перевод с польского А. ЕРМОНСКОГО

Анджей Василевский (род. в 1928 году) — известный польский литературный критик и публицист, в последние годы возглавлял крупнейшее варшавское издательство «Паньствовы институт выдавничы» (ПИВ). На X съезде ПОРП (1986 год) избран секретарем ЦК ПОРП.

Предлагаемая читателю статья написана в 1983 году и открывает сборник эссе автора, так и озаглавленный: «Восток, Запад и Польша» (Варшава, ПИВ, 1985) — образец самобытной, темпераментной публицистической прозы, которая традиционно составляет существенно важный элемент культурной и общественной жизни Польши.

К проблеме, занимающей А. Василевского, не только польская публицистика, но и польская художественная литература возвращаются постоянно, особенно в переломные для страны периоды. Речь идет о мировоззренческих и нравственных истоках польских стереотипов мышления или, как говорят обычно в Польше, «польских мифов», которые определяли и определяют образ мыслей и образ действий немалой части польской интеллигенции, да и не только ее одной. Обращаясь в своей статье (как, впрочем, и в других, составляющих этот сборник) к далекой и новейшей истории страны, к истокам и путям формирования этих «мифов», писатель пытается осмыслить проблемы и конфликты Польши 80-х годов. Задиристая, парадоксальная манера письма А. Василевского резко высвечивает его собственное отношение к сути политических и идейных споров, потрясавших Польшу на рубеже 70—80-х годов и продолжающихся еще и сегодня.

Осенью 1982 года я провел несколько дней во Франкфурте-на-Майне, а точнее говоря — в выставочных павильонах Международной книжной ярмарки, и там, в оживленно-хлопотливой толпе деловых людей со всего света, сам того не предполагая, наткнулся на обрывки невеселой польской истории. Тут она обрела плоть в горстке донельзя взвинченных человечков, которых какая-то таинственная сила бросала то туда, то сюда, а время от времени притягивала к книжным стендам своего отечества. И тогда, словно из-под земли, вырастал высоченный представитель местных стражей порядка и тоном, не терпящим возражений, напоминал о том, что́ дозволено, а что́ нет. Нервная группка тотчас же замирала, как загипнотизированная, и только с готовностью кивала головами, давая знать, что принимает наставление властей к сведению. Затем она бралась за свое, памятуя, однако, что там, где встречаются бизнесмены, господствуют жесткие правила гармонии и порядка. А стало быть, лишь транспаранты, листовки, позирование для группового снимка — и вот уже таинственная сила переносит группку в другое место. Вспышки блицев выводили работников выставки из себя. Слышались реплики: «Десять добрых немецких марок каждому из этих проклятых бездельников — ведь на фотографиях касса держится».

В горестном молчании смотрел я на эти носящиеся по миру обрывки невеселой истории. В торговом скопище, кишмя кишевшем людьми некоего универсального типа, горстка взвинченных человечков выделялась своим кричащим пристрастием к театральщине: модные предметы туалета, до которых они были такие охотники, безо всякой меры украшались национальными цветами, гербами, эмблемами и амулетами.

Реакцию здешних жителей лучше всего передает их собственное слово: «Scha-

© Copyright by Andrzej Wasilewski, Warszawa, 1985

denfreude»[1]. Они были довольны, что эдакое приключилось с соседями, которых они не очень-то почитают. Они были довольны вдвойне при мысли о том, что такого просто не могло бы случиться в мире их цивилизации и культуры. Они были горды, что наконец-то оказались в роли тех, кто предоставляет политическое убежище «свободолюбию». Они были оскорблены тем, что за это приходится терпеть грязь в своем сверкающем приличием доме. А то вспоминали афоризм Бисмарка, говорившего о поляках, что они в поэзии политики, а в политике поэты.

Одним словом, крикливые пришельцы разбередили вековые пласты враждебности к Польше, строившихся на ней расчетов, подкрепляемых интересами сиюминутной политики. И с какой бы точки зрения на это ни посмотреть, из развороченных пластов на свет божий ничего путного не вышло. За славословием романтической душе — какие-то надежды на безответственность, какое-то стремление раздуть национальное тщеславие, толкающее к тому, чтобы с закрытыми глазами ввязываться в конфликты, от которых всякий зрелый, умеющий владеть собою человек держался бы подальше. Рекламируют желанный — то есть отрицательный — стереотип поляка. Это человек, замурованный в ребячески-наивные традиции, непригодные для современного мира, но зато они в самый раз для того, чтобы, кивая на них, радоваться зрелости собственной цивилизации.

Пожаловавшие на берега Майна люди в амулетах полностью отвечают этим представлениям. Защитники человеческого достоинства, которыми легко управлять. Патриоты, которых можно купить за гроши. Апостолы свободы, которые падки на мишуру. Посланцы мира труда, нахваливаемые миром собственников, ни один из которых не захотел бы взять их себе в работники, — и все это в половодье национальных цветов, символов мученичества, эмблем распятых героических легенд. Никогда еще с польской традиции так бесцеремонно не сдирали одежд под двусмысленные хлопки публики.

Не надо традиции забрасывать грязью, но не надо покорно и некритически следовать им во всем. Сообщество, если оно безвольно сдается на милость наследственных инстинктов, сходит с путей прогресса, отбрасывается в прошлое, лишается способности ответить на вызов времени. Протест 1980—1981 годов потянул к уже заваленным историей пластам племенных атавизмов и из тлеющих головешек раздул всепожирающий костер. Упоенные этим люди вообразили, что на таком огне выплавится какой-то удивительный, совершенно новый духовный материал для строительства неведомого дотоле свету общественного порядка. А это всего лишь в очередной раз догорал костер польского прошлого, не сумевшего найти себя в настоящем. Где, в какой стране сегодняшней Европы, не боясь показаться смешным, можно утверждать веру в то, что муки народные будут вознаграждены недремлющими сверхъестественными силами? Где, какое общество, в котором образование носит всеобщий характер, связывает судьбы своего совместного бытия с чудотворным вмешательством свыше? Где еще, за пределами Польши 80-х годов, могла бы получить распространение магическая практика зажигания свечей, выложения крестов, паломничеств ради противоборства со злыми духами? Где мыслим приобретший такой размах массовый иррационализм, который крепко держится на убеждении, будто акт веры способен изменить соотношение сил, законы экономики, принципы интереса, господствующие в сфере политики?

Определить свое место

В польской истории легко прослеживается такая закономерность: мечты поляков сравняться с Западом по уровню развития цивилизации наилучшим образом осуществлялись тогда, когда Польша политически опиралась на Восток. Тогда же, когда тяготение к западной цивилизации преображалось и в политическую ориентацию — ценой политического отмежевания от Востока, — само существование Польши становилось зыбким, отсталым, спазматическим, и не раз ему грозила смертельная опасность. Усвоение очевидной истины, состоящей в том, что извлечение выгод из достижений Запада в сфере цивилизации и культуры облегчается в условиях политического согласия с Востоком, оказалось для поляков делом самым трудным. Простой рефлекс постоянно вновь и вновь толкает к мысли, будто тяготение к материальному прогрессу непременно должно совпадать и с выбором политического направления, что лучше и прибыльнее искать союзов там, где вызревают желанные плоды цивилизации.

Надо признать, что бытие в условиях, когда мысль, подсказанная элементарным инстинктом, оказывается ложной, подводит, серьезно осложняет жизнь в обществе. В голове рядового человека всегда и всюду верх берут простейшие, непроизвольные ассоциации. Польский же интерес, если мы хотим развиваться в согласии с ним, требует от каждого поляка серьезного усилия мысли. Чтобы понять этот общественный интерес, он не должен поддаваться рефлекторным порывам, ему следует руководствоваться разумом.

Есть народы, благополучие которых нарастало как бы естественным образом, в полном соответствии с простейшими формами самородного коллективного сознания. В нашем же случае простейшая форма такого сознания оборачивается шизофренией: в одну сторону его тащит мифология прогресса цивилизации, в другую — политическая реальность. Так что по самой сути своей наше национальное самосознание несчастливо, оно не умеет трезво судить о себе самом. Оно исходит из того, что место, к которому оно приписано, — вот причина, не дающая ему справиться с ностальгией. Наше национальное самосознание не хочет знать того, что лучшее противоядие от тоски по цивилизации мы

[1] Злопыхательство, злорадство *(нем.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

находили тогда, когда поддерживалась политическая связь с Востоком.

Серьезный недостаток нашего воспитания прошлым состоит в том, что оно не доводило до понимания рядового поляка существования этой закономерности польской истории. Наша наука чуть ли не все свои усилия сосредоточила на том, чтобы укрепить в нас это ощущение раздвоенности, несчастья. Едва прочитав первые книги по истории, молодой поляк уже убежден, что так или иначе, но на земле, где он родился, нет для него хорошего выбора. Либо, не устояв перед превосходящей его душевные силы ностальгией, он обрекает себя на ненужную борьбу, либо смиряется с обыденщиной, отказываясь от лучшей части своего «я». Все польское историческое воспитание сводится к двум этим противоположным крайностям. Оно пропитано меланхолией упущенных возможностей, напрасно прожитых жизней, потерянных поколений, близоруких иллюзий и всякого рода утешений, служащих для самообмана, тогда как положение веками остается безнадежным.

Основные принципы нашего воспитания историей сложились в эпоху национальной неволи, и до сего времени мы не сумели избавиться от бремени этой неволи. Попрежнему противопоставляются борьба — груду, достоинство—здравомыслию, честь — реализму, слава — пользе, эфемерность — рационализму, хотя реальности, определяющие судьбы народов в конце двадцатого столетия, лишили подобного рода противопоставления какого бы то ни было смысла. Спеленатому понятиями, рожденными польским опытом XIX века, нашему историческому воспитанию не хватает широты взгляда на прошлое Польши. А «века говорят» о том, что болезненная раздвоенность между Востоком и Западом в польской психике укоренилась сравнительно недавно, что неврастения эта постоянно поддерживается увязшим в своих традициях воспитанием.

Философские концепции польской истории зародились в XIX столетии и пока еще в целом вращаются в кругу представлений, выработанных нацией, разделенной на части, каждая из которых была включена в чуждый ей государственный организм. И по сей день расхожее понимание отечественной истории, сформированное воспитанием, предполагает необходимость выбора между разумом и чувством, здравомыслием и достоинством, работой и поступком, иными словами, между двумя производными от способа польского бытия в период разделов. И по сей день понимание отечественной истории искаженно представляет проблему выбора между Востоком и Западом: сближение с первым дает границы, обеспечивающие национальное существование, со вторым — страстно желаемый уровень цивилизации. Под таким углом зрения философия истории побуждает делать выбор между более безопасной, но худшей с точки зрения условий бытия жизнью и существованием, отвечающим воображению о необходимых стандартах, зато смертельно опасным. Обреченное на подобный фатализм польское самосознание корчится в муках выбора. Бросается в одну сторону — но вслепую, решается пойти в другую — но не до конца. Нет у него надежного ориентира, позволяющего определить собственное место.

Традиции: пястовская и ягелонская

Воспитание, основанное на опыте одного только века истории Польши, приучило наше сознание поглядывать на ориентир, который вводит в заблуждение, не дает возможности правильно определить наше положение на карте современности.

Историческое образование, называемое Польшей, если проследить его путь со дня зарождения, говорит об иной закономерности его бытия, не той, какая сложилась в XIX столетии.

Польша Пястов [2] представляла собой такой вариант нашей истории, когда ничем не ограниченное обращение к цивилизации и культуре Запада не сопровождалось политической опорой на Восток. Для Мешко I проблемы выбора не существовало. К востоку от его государства был политический вакуум, к западу — крепнущая европейская цивилизация, черпавшая силы в наследии римской империи. То, что сделал Мешко I, сегодня можно было бы назвать решительным распахиванием культурных границ без политической подстраховки. Это был шаг необычайно смелый, но одновременно необходимый и рискованный. Открытие путей для свободного вторжения цивилизации Запада придало польским землям историческое ускорение, но и вынесло приговор молодому польскому государству, обрекая его на постепенное вытеснение, подрыв и уничтожение. Не столько под ударом меча, сколько подчиняясь законам экономической и культурной экспансии, Польша начала отступление с берегов Одры. Спустя несколько столетий Нижняя и Верхняя Силезия, хотя они и оставались под властью польских князей, политически стали тяготеть к более высокоразвитым соседям. Рост городов на основе Магдебургского права [3] создал угрозу для главных центров пястовского государства. Владислав Локетек[4], храбро противостоявший на поле брани крестоносцам, чуть было не пал жертвой интриг сторонников их цивилизации в собственном государстве — взбунтовавшихся горожан, которых возглавил войт [5] Альберт. Польша с двух- или трехмиллионным населением едва-едва справлялась с необходимостью сочетать заботу о развитии страны по западным образцам с задачей защиты территориальных основ своего государства.

Поиски поддержки у единственных тогда потенциальных союзников — на юге у венгерских королей анжуйской династии —

---

[2] Пясты — первая династия польских князей, затем королей (с перерывами: с 960-го до 1370 года). При Мешко I Польша приняла христианство (966).

[3] Закрепленная в XIII веке в Магдебурге система феодального городского права, регулирующая права и свободы горожан, их право на самоуправление.

[4] Король Польши (1320—1333), вел войны с крестоносцами, объединил большинство польских земель.

[5] Городской голова.

приносили помощь незначительную и недостаточную. Это всего лишь оттягивало исполнение вынесенного Польше приговора.

Начавшееся после 1944 года превознесение концепции Польши Пястов отвечало эмоциональному подъему, вызванному возвращением к границам на Одре, однако не способствовало пониманию неумолимой закономерности польской истории. Польша Пястов была одинока, и это одиночество обрекало ее на потерю своих земель, на постоянное давление с запада и севера. Она не могла сохранить сама себя.

Это понимали жившие в XIV веке в Малой Польше[6] господа, когда отважились на шаг, по своей смелости не уступающий решению Мешко I: на риск посадить на христианский трон Польши Ягайло — варвара по тогдашним понятиям[7]. Этот второй в польской истории великий акт был своего рода компенсацией за первый. Можно сказать, в самую последнюю минуту он сыграл роль политической подстраховки, противовеса открытию границ для экспансии, четыре столетия которой позволили Польше серьезно сократить разрыв в уровне экономического и культурного развития, но создали угрозу ее полного исчезновения с карты Европы. Эта подстраховка в последующие несколько столетий уравновесила польскую историю, стала политическим основанием золотого века, начало которому положила победа под Грюнвальдом.

Понятие польско-литовской унии по сути дела замазывает истинный смысл этого исторического события. Ибо Литва была главенствующей, но все же лишь небольшой частицей огромного мира, с материальной силой и людским потенциалом которого вступала в союз послепястовская Польша. Это стало первой подлинной политической опорой Польши на Восток в ее борьбе за свое выживание.

Первые Ягеллоны не рассматривали польско-литовское согласие как инструмент экспансии польского королевства на восток. Напротив, они строго следили за тем — впрочем, в интересах собственной династии, — чтобы польское королевство оставалось польским королевством, а Литва Литвой. Польская экспансия на восток началась при последнем Ягеллоне[8]. Но каноном польской политики сделал ее только первый король из династии Вазов[9] — и ярый святоша, и раб династических химер, пытавшийся возвратить себе утраченную шведскую корону, двинувшись против Москвы.

Для сегодняшней Польши символичная ее родословная, выводимая из «пястовского корня», убедительна лишь отчасти — как родословная государства, стоящего на берегах Одры. Но Пясты не нашли средств удержаться на этих берегах. Поэтому не менее важный элемент польской родословной — традиция (по крайней мере тоже отчасти) Польши Ягеллонов, которая в системе союзов нашла способ остаться сама собой.

Пястовская традиция — это традиция государства, ведущего драматически изматывающую борьбу за свое выживание. Государства, которому недостает сил поспевать за прогрессом материальной культуры, а если оно прибавляет шагу, то делает это, соглашаясь на опасную по своим последствиям иностранную колонизацию.

Взгляд на современность с точки зрения ягеллонской концепции открывает более светлые исторические перспективы. Это традиция государства, которое гарантировало себе место под солнцем, пойдя на естественные союзы, избавилось от вражды на своих границах и от собственных побуждений к экспансии, суверенно в отношениях с церковью и не поддается диктату Рима; государство, которое могло поэтому впервые в своей истории стать партнером для Запада, открыто пойти — не опасаясь утратить лицо — на полноправное участие в сотрудничестве, успешно и в широких масштабах пересаживать на родную почву наиболее прогрессивные образцы материальной цивилизации.

Заимствование у самых развитых стран их порядков, институтов и навыков не грозило размыванием государства изнутри, центробежными тенденциями чужеродных элементов, сжиманием границ и национальным разложением. В те времена польский образ мысли был еще свободен от одержимости манией величия, от ханжества и махрового консерватизма, которыми позже пришлось оплатить польскую экспансию на Восток. Наиболеее плодотворным сближение польской культуры с западной было не при Пястах, когда Польша оставалась лишь пассивным потребителем, а при Ягеллонах. Золотым веком польской культуры мы обязаны уже не повторившейся позже уравновешенности в отношениях между Востоком и Западом. Связь с высокоразвитыми центрами культуры и цивилизации делается в ту пору теснее, чем во все иные времена, но то были отношения страны, гордой собственным своеобразием и убежденной в своей равноценности с другими.

Цена экспансии

Золотой век равновесия был перечеркнут не тем, что мы попали в духовное рабство к Западу, а тем, что поддались принявшей самоубийственные масштабы мании величия, связанной с экспансией на Восток. Почувствовав себя в этой стороне света самовластным господином, поляк укреплялся в представлениях о своем совершенстве, коснел в своих застывших мифах и верованиях и в то время, когда мир вокруг с необычайной пользой для себя преображался, он развиваться перестал. Тяжелый нравственный урон нанесла ему контрреформация — духовное орудие его гос-

---

[6] Область, охватывающая бассейн верхнего и среднего течения Вислы исторический центр — Краков.

[7] Владислав II Ягайло (Ягелло) — великий князь литовский, польский король с 1386 года, в 1410 году командовал польско-литовско-русской армией в Грюнвальдской битве. Основатель династии Ягеллонов (1386—1572).

[8] Речь идет о Сигизмунде II Августе, чье правление (формально с 1529-го, фактически 1548—1572) считают кульминацией польского золотого века. Участник Ливонской войны.

[9] Шведская королевская династия, в Польше ее представители находились на троне в 1587—1668 гг. Сигизмунд III Ваза (1587—1632) был одним из организаторов интервенции в Россию; перенес королевскую резиденцию в Варшаву.

подства на Востоке. Мыслящую голову эпохи Ренессанса она заменила ему твердокаменным лбом, которому понятны были лишь корыстолюбие и суеверия, идеи прогресса и мира от него отскакивали. Чтобы почувствовать себя полноправным господином над православным человеческим морем Украины и Белоруссии, поляк должен был стать фанатиком веры в особую миссию польского народа, наглухо законопатить свой дом, обезопасив его от проникновения любой ереси, способной опоганить наипрекраснейшее дело Провидения, должен был презирать инородцев, худших по милости небес, менее любимых создателем. Польша Вазов, далее всего распространившаяся на Восток империя, рождала людей, неспособных по своим человеческим качествам шагать в ногу с прогрессом. Укрывшихся в хвастливом ханжестве, словно в гробу, все больше отгораживавшихся от живых народов.

Контакты с созидательной культурой Запада слабели по мере того, как польскими головами завладевала идеология Сторожевой Крепости. Парадоксальная цена за возложенную на себя Польшей миссию защиты христианского Запада. И чем больше поляк связывал себя с этой миссией, тем больше он духовно отдалялся от Запада, тем больше отчуждался от его культуры, тем большим чудаком выглядел на ее фоне.

Иначе и не могло быть, поскольку на Западе набирал силу культ труда, рационализма, практических навыков, а в Польше, кичащейся ролью его Сторожевой Крепости, — культ сабли, Провидения и награбленного добра. Польская контрреформация, в противоположность церкви Лютера и Кальвина, первенство в глазах Бога отдавала не труду, а мечу, кровавой жертве и фанатичной демонстрации веры. Давайте еще раз подчеркнем: контрреформация во многом способствовала тому, что дорога польской культуры все заметнее стала расходиться с дорогой, по которой пошло развитие цивилизации Запада. В то время как эта последняя все определеннее стала превращаться в общество циркуля, мер и весов, польская культура преображалась в монокультуру мистических верований, славы оружия и мученических подвигов.

Поскольку культура Сторожевой Крепости черпала вдохновение в Риме, поляки, завороженные этими анахроничными образцами, чувствовали себя более западниками, чем сам Запад. Это они, а не порченные и изнеженные, продавшиеся дьяволу немцы, англичане, французы — истинные наследники римско-христианской традиции.

Так была привита полякам склонность к иллюзиям, от которой они не смогли освободиться в течение веков. Всегда они — стражи самого достойного наследия, всегда их оберегает какая-то сила Провидения, всегда они покрывают себя геройской славой на выдвинутых вперед рубежах. И взгляд людей Запада на этих странных рыцарей Сторожевой Крепости, в сущности, тоже не меняется уже в течение столетий. С точки зрения тех норм, которыми эти общества руководствуются и сейчас, часовые священных рубежей выглядят несколько старомодно. Но по меркам удивительной страны, ими представляемой, они — создание относительно приличной ступени эволюции, так что в случае нужды ими можно воспользоваться.

Тогдашний поляк платил Западу той же монетой. Как защитник христианской веры, он свысока поглядывал на тех, кого он, как ему казалось, прикрывал и оборонял, а тем более на тех, кто, впав в ересь, рухнул на самую последнюю ступень в иерархии рода человеческого. Все, что шло от таких людей, несло на себе печать ущербности, заслуживало высмеивания как негероическое, нечистое, зачатое в грехе ереси. Образ мышления Сторожевой Крепости довел поляка до такой степени самовлюбленности, что он стал невосприимчив к влиянию Запада. Это единственная в нашей истории культурная формация, находившая удовлетворение сама в себе. Последствия во всех сферах оказались плачевными.

Превращения магического мышления

Вскоре барьеру, оберегавшему польскую психику от влияния Запада, суждено было пасть, а склонность к буйному мифотворчеству избрала иное, прежде презрительно отвергавшееся направление. Так случилось в результате того, что экспансия на Восток завершилась провалом, приобретшим масштабы чуть ли не катастрофы. Это не затронуло основ философии Сторожевой Крепости, которой перебивалось расхожее сознание, но безжалостно выдернуло поляков из состояния самолюбования и понудило их изменить взгляд на Запад. Его армии, дворы, правительственные кабинеты постепенно стали брать на себя роль силы Провидения, призванного печься о польском народе, и прежде непосредственно вмешивавшегося в его судьбу по причине особой любви и благоволения господня.

Кстати, в народной мифологии два этих Провидения, как правило, почти сливались одно с другим. В просвещенных головах французский или английский кабинеты были своего рода земным провидением, озабоченным судьбами Польши по соображениям общечеловеческим. Но в народном восприятии эти кабинеты были простонапросто орудием в руках любящего Бога. Так или иначе в эту эпоху мифотворчества избавления Польше надо было ожидать с Запада, которому предстояло спасти свою приходящую в упадок Сторожевую Крепость.

Вера поляков в Запад, как силу провидения, благорасположенную к Польше, стала, таким образом, воплощением куда более старой их веры в сверхъестественную силу, пекущуюся о ней, и потому, несмотря на весь приобретенный опыт, вера эта так цепко держалась в сознании — хотя сама она и возникла сравнительно недавно. Первые миссионеры этой злополучной веры прибыли в Париж в конце XVIII века и не предполагали, что кладут начало магической линии в польской политике. Они искали у республиканской Франции

помощи для восставшей Польши. Эта хилая и не добившаяся успеха миссия не оказала заметного воздействия на умонастроения поляков. Истинной колыбелью новой веры стала наполеоновская эпопея, которая мгновенно и помогла ей окрепнуть. Знаменательно, что политическая вера, определившая ориентацию поляков на многие десятилетия вперед, выросла из одних только измен союзников, уверток, посулов, горечи и разочарований. От Кампоформио, Люневиля и Тильзита[10] вплоть до 1939 года протянулась, нигде, по сути дела, не обрывавшаяся цепочка неизлечимых иллюзий, с одной стороны, и беспощадных уроков реализма — с другой. Польская политическая магия, крестным отцом которой был Бонапарт, чуть ли не на каждом историческом этапе находила себе благодетеля — в таких ничтожествах, как Луи Наполеон, в таких расчетливых политических торгашах, как лорд Пальмерстон, в таких бездушных игроках, как Уинстон Черчилль, если уж не вспоминать о наиболее жалких эрзацах провидения последнего времени.

Все это доказывает, что этот род польского мышления восходит, к сожалению, не к эпохе Возрождения, а предпринимавшиеся позднее, в эпоху Просвещения, попытки оказались не в состоянии вытравить наследие контрреформации. Чудесные заступничества, любящие патроны, волшебное вмешательство покровительствующих сил, жертвенность, побуждающая судьбу делать крутой поворот, гекатомбы ради искупления — весь этот духовный мусор, вбитый в головы людей XVII столетия, несмотря на все метаморфозы, продержался, в сущности, в польском сознании доныне и предопределяет своеобразие польского образа мыслей и поведения.

Родословная польской аномалии

Общее мнение гласит, что источник подобного своеобразия — в романтизме, слившемся в польском прошлом с борьбой за национальную независимость, освященном самой дорогой для польских сердец легендой и потому так прочно укоренившемся в польском способе жить. Взгляд этот принимает во внимание лишь поверхностный слой, но не учитывает более старых пластов национальной психики. Польское отклонение от европейской нормы стали замечать уже в XVII веке, вскоре после того, как сошли со сцены поколения польского Возрождения, принадлежавшие к универсальному для Европы типу человека той поры. И тогда-то иноземцам начала бросаться в глаза психическая разновидность польской души, отходившая от господствовавших на Западе образцов.

Там возрастала роль скептического разума, тут — мистицизма, там — критического познания, тут — захолустной веры, там — уважения к фактам, тут — к фетишам, там — увлечения новостью, тут — культом прошлого, там — трезвого расчета, тут — надежды на чудо.

Задолго до того, как романтизм добрался до Польши, все, что у нас вкладывают в это понятие, уже существовало, только без борьбы за независимость, без освободительной легенды. Если вести речь о подавлении мышления, которое оказывает долговременное воздействие на культуру, то в нашем случае им стало это двухвековое промывание мозгов, сбившее Польшу с пути современного для той поры развития и ставшее источником ее духовной аномалии.

Романтизм слился с освободительной борьбой и в истории многих других народов — и венгров, и греков, и итальянцев. Но семена его, проникнув в психику, не перепаханную на всю глубину контрреформацией в ее наиболее безобразном, законченном виде, дали иные духовные всходы. Романтизм придал яркую эмоциональную окраску стремлению к независимости, провозгласил полноправными освободительные идеи, но не вызвал волны мессианства, развенчивающего рассудок, труд, науку, трезвый расчет и поднимающего на щит мистическую веру и святость не поверяемого разумом чувства.

В нашей национальной мифологии романтизм занимает столь высокое место, что ради нашего нравственного здоровья следовало бы отцедить из его духовного наследия все то, что было в нем нового, энергичного, связанного с реальным миром от постыдных влияний контрреформации. Тем временем сегодняшние певцы романтизма пытаются сделать прямо противоположное: отбрасывают романтическую иронию, всеохватывающий критицизм, свежесть взгляда, но зато вытаскивают на первый план ханжески-мессианский культ иррационализма. Для этих певцов высшим достижением романтизма была идейная платформа Барской конфедерации [11], сформировавшаяся в годы, когда еще не родились матери Мицкевичей, Словацких, Мохнацких, но уже был под рукой весь арсенал инструментов мессианской веры. Пророчество ксендза Марка на шестьдесят с лишним лет опередило «Книги польского народа и польского пилигримства» [12]. Тот факт, что настал такой период в жизни

[10] В Кампоформио (1797) и Люневиле (1801) были заключены франко-австрийские мирные договоры, закрепившие за Францией территорию Австрийских Нидерландов и левобережье Рейна и предоставившие Австрии «в обмен» часть бывшей Венецианской республики. Созданные в 1797 году польские легионы (в основном из бывших в австрийском плену поляков) сражались на стороне наполеоновской Франции (1797—1803).

По франко-русскому мирному договору в Тильзите (1807) было образовано так называемое Варшавское княжество (на землях, по второму и третьему разделу Польши отошедших к Пруссии), целиком зависевшее от Франции. Перестало существовать в 1815 году после Венского конгресса, на котором из земель Варшавского княжества было создано Царство Польское, королем которого считался российский император. Ликвидировано после Январского восстания в Польше (1863). В 1875 году наместник был заменен здесь российским генерал-губернатором, а земли эти (с 1867 г.) стали называться Привислинским краем.

[11] Барская конфедерация — заключенный 29 февраля 1768 года в г. Баре крупными польскими магнатами ультракатолический, консервативный союз против короля в защиту шляхетских свобод.

[12] Художественно-публицистическое произведение А. Мицкевича (1832), в котором он начал развивать доктрину «польского мессианизма», идеи об особом призвании польского народа-мученика.

Мицкевича и Словацкого, когда, придавленные несчастьем, они свалились в эту нашу родимую яму, в которой застряла Польша XVIII века, не перечеркивает очевидности: истоки их величия не в пресном духе мистицизма, а в расширении польских горизонтов, в повороте польской мысли к обновительским течениям Европы.

Судьба загнала великих творцов польского романтизма на Запад, но она не сделала их почитателями Запада. И только позднейшая легенда о Великой Эмиграции поставила знак равенства между местом их физического пребывания и политическим выбором. Великие Романтики, за исключением Зигмунта Красиньского, не принимали жизненной модели, с которой они столкнулись на Западе, и не разделяли иллюзий по поводу того, что тамошние государственные мужи и правительственные кабинеты возьмут на себя роль избавителей. Их проницательность на сей счет лишний раз доказывает, как близки им были требования аналитического мышления, как далека — иррациональная эмоциональность. Они были вторым польским поколением, которое связывало свои надежды с помощью Запада, и вторым, которое потерпело сокрушительное поражение. Если бы после разгрома Ноябрьского восстания [13] наступило не страшное правление Паскевича, а воспоследовали бы заманчивые жесты в стиле Александра I, немалая часть романтиков-эмигрантов наверняка вернулась бы домой, предприняла бы еще одну попытку по примеру Заёнчков и Лубецких [14], поскольку политические симпатии польский романтизм питал к славянству. Враждебность царизма помешала этим симпатиям воплотиться в реальность. И точно так же, как Княжевич с Домбровским [15] невольно положили начало вере поляков в военную помощь Запада, Чарторыйский в своем Отеле Ламбер [16] укрепил эту веру представлением об особой озабоченности западных правительств благом польского народа.

Сто лет спустя, в трагические дни Варшавского восстания 1944 года, мы, группа шестнадцатилетних парней, стояли перед молодцеватым подпоручиком, который на все наши вопросы безо всяких колебаний отвечал, что уже через несколько дней на Банковской площади высадится английская бригада, разобьет немцев и задержит большевиков. В те дни злосчастная вера, некогда привитая нам из самых чистых побуждений, обрела характер трагифарса.

Опоздание стоит жизни

XIX век не пожалел для Польши ничего, что есть самого худшего в истории, но даже и в таких наименее благоприятных условиях обсуждаемая здесь закономерность подтвердилась. В том роковом для Польши столетии были два периода, когда высвобожденная энергия позволила отставшей польской экономике броситься вдогонку за высокоразвитыми государствами. Первый период, продолжавшийся всего лет пятнадцать, относится ко временам Царства Польского, когда умелая и толковая экономическая политика людей, сплотившихся вокруг Лубецкого, пустила в дело все козыри польского положения, превратив Царство Польское в одну из самых быстро продвигающихся вперед и хорошо управляемых стран тогдашней Европы.

Очередного шанса пуститься во след удаляющейся Европе пришлось ждать сорок лет, характеризовавшихся экономическим застоем и интеллектуальным провинциализмом. Шанс этот возник, когда были отменены пошлины и российский рынок открылся для польских товаров, что послужило стимулом как для резкого подъема промышленности, так и для ликвидации отставания в духовном развитии. Вещь, достойная внимания: эти экономические меры, которые осуществлялись царской политикой в рамках уничтожения основ автономии польского национального организма, в скором времени стали важнейшей предпосылкой пробуждения, когда летаргический сон сменился активной работой во всех сферах. Экономическое развитие, вопреки деятельности Апухтиных [17], всякий раз помогало восстанавливать оборванные связи с движением передовой мысли в мире, точно так же, как вооруженные восстания, опиравшиеся на расчеты, что Запад окажет военную помощь, всякий раз ввергали страну в глубокий коллапс и восторгающийся народностью провинциализм.

Наконец, и двадцатилетний период независимости Польши, которой ничто не мешало пользоваться благосклонностью западных государственных деятелей — от Фоша до Чемберлена,— завершился тем, что, несмотря на деятельные усилия всего общества, валовый национальный продукт оказался меньше произведенного на тех же землях до 1914 года. Самая честолюбивая в нашей истории ставка на сближение с Западом не сделала Польшу цивили-

[13] Речь идет о Польском восстании 1830 года.

[14] Юзеф Заёнчек (1752—1826) — генерал, участник восстания Т. Костюшко и наполеоновских войн. С 1815 года — наместник Царства Польского, в 1818 году Александр I пожаловал ему княжеский титул.

Ксаверий Лубецкий (1778—1846) — консервативный политик, в 1821—1839 годах — министр финансов Царства Польского, создатель Польского банка.

[15] Кароль Княжевич (1762—1842) — генерал, участник восстания Т. Костюшко, командующий I Легионом; в 1831 году — руководитель дипломатического представительства правительства Ноябрьского восстания (1830) в Париже.

Ян Генрик Домбровский (1755—1818) — генерал, участник восстания Т. Костюшко, создатель польских легионов в Италии, участник наполеоновских войн, в Царстве Польском — сенатор-воевода, оставшийся в оппозиции к вел. кн. Константину.

[16] Князь Адам Ежи Чарторыйский (1770—1861)— политик, близкий в начале XIX века к Александру I, участник разрабатывавшихся им реформ, в 1804—1806 годах — министр иностранных дел России, стремившийся оторвать поляков от Наполеона; в 1815—1830 годах член Административного Совета в Царстве Польском; 29.1 — 15.8.1831 — председатель правительства Ноябрьского восстания: эмигрировал в Париж, где фактически возглавил консервативную эмиграцию.

Отель Ламбер — резиденция князя, стал символом политики освобождения Польши с помощью западных держав.

[17] А. Л. Апухтин (1822—1904) — царский куратор Варшавского школьного округа в 1879—1897 годах, ярый сторонник русификации; период его пребывания на этом посту в Польше назвали «апухтинской ночью».

лизованной по западным образцам страной. Напротив, обрекла ее на еще большее отставание.

История межвоенной Польши в каком-то смысле повторила опыт двухсот лет контрреформационной Польши. Тогда, выступая в роли Сторожевой Крепости, она, по доброй воле и гордясь этим, отгородила себя от прогресса современной ей Европы. Теперь, назвав себя бастионом Запада, она отрезала себе путь к социальным реформам и созданию крепких основ экономики. Зато до одури раздувала культ внешних и вторичных знаков европейскости: косметического глянца цивилизованности, моды на культуру для избранных, формальной демократии без гарантий, эфемерных ценностей выдвинутой на передовые рубежи сторожевой вышки. Вновь, спустя столетия, вошедшей в роль бастиона Польше по силам, однако, оказалось лишь поставить европейские декорации на запущенной до убожества земле.

Независимо от того, чего удастся достичь польскому государству, отстроенному в 1944 году, геополитический фундамент, на каком оно было создано, служит отвечающей требованиям XX столетия аналогией того способа бытия, который характеризовал Польшу XV и XVI веков. Я пишу: «отвечающей требованиям XX столетия», так как в эпоху Ягеллонов Польша была главенствующей силой союза, а сейчас такую роль она утратила безвозвратно. Впрочем, та главенствующая роль была подарком судьбы, капризом необычайных и недолго сохранявшихся обстоятельств, когда могущество соседа с Запада временно развалилось, а могущество соседа с Востока еще не родилось. К элементарным историческим фактам, позволяющим провести параллель сквозь века, относятся совместный отпор агрессору, поиски безопасности государства в союзах с соседями и создание благодаря этому возможностей ускоренного развития страны. Три десятилетия ПНР принесли на польские земли — если говорить о том, что на самом деле существенно и имеет решающее значение в достижениях передовых стран,— куда больше, чем столетия, когда Польша была Сторожевой Крепостью Запада. Только теперь Польша всерьез смогла взяться за то, чтобы наверстать упущенное. Как и каждая работа, выполняемая за предшествующие поколения, она была неблагодарной и не приносящей славы. Но это была таких масштабов работа — нацеленная на то, чтобы выровнять положение,— за которую поляки по прошествии нескольких веков взялись впервые. Поскольку упущено неимоверно много, неудача этой работы либо замедление ее темпов — не поражение правящей группы, системы или общественного строя, а катастрофа всего народа, что бы он сам ни думал и ни чувствовал на сей счет. Там, где географией отведено ему его место, он не может безнаказанно оставаться народом опоздавшим. В этом районе Европы опоздание стоит жизни. В национальных масштабах оно не менее страшно, чем иноземное порабощение. Сила ищет свою жертву среди опоздавших, а опоздавшие легко становятся жертвой силы.

Польша под знаком «Солидарности»: ее истоки в стиле барокко

Романтический, а точнее контрреформаторский взгляд на роль Польши в истории, время от времени навязчиво дающий знать о себе, отбрасывает польское самосознание в чащу анахронизмов, которые казались странными уже в Европе XVIII столетия, а сегодня обращение к ним воспринимается как симптом душевного нездоровья.

Так следует назвать обращение в нынешних условиях к тому историческому пути, вступив на который Польша стала все больше отдаляться от мира. Она отдалялась, вызывая и аплодисменты, и презрение к себе — и в XVIII столетии, и в наши дни. Аплодисментами встречали и встречают экзотическое зрелище, разыгрываемое вопреки всем правилам, по которым живет мир. Пренебрежение подсказывается мыслью, что такое недотепство может родиться лишь в цивилизации, находящейся на самой низкой ступени развития. Только культура, которая не вобрала в себя ни рационализма нового времени, ни трезвого расчета промышленной эры, способна поддерживать себя верой в то, что благополучие народа — всего-навсего награда за возвышенную жертву. И еще в то, что пристрастие к символам мученичества свидетельствует о нравственном подъеме общества, а ставка на предусмотрительность, трезвость и труд — признак духовного упадка нации.

Противопоставление благородной борьбы и будничной работы в польской психике утвердилось гораздо раньше, чем оно превратилось в принципиальный вопрос о выборе народом верного пути. Еще до того, как завязался спор между романтизмом и позитивизмом, в контрреформаторской Польше, как нигде в Европе, глубоко укоренился взгляд на труд как на повинность холопов, а на битву как на призвание рыцарей Сторожевой Крепости.

Это объясняет, почему ни в одном другом порабощенном государстве Европы, судьбы которого сходны с польскими, борьбу не окружали мученическим ореолом, а труд никогда не поносили, как измену. Повсюду, только не в Польше, настроенность на практические дела, названная у нас позитивизмом, рассматривалась как само собой разумеющийся, естественный способ существования нации. Борьбе, как правило, предшествовал трезвый расчет, а пантеоны национальной славы заполняли примерами героизма, а не мученичества.

В этом и состоит существенное отличие образцов для подражания. На польской шкале ценностей мужество неполновесно, если оно не украшено терновым венцом. Люди исключительной отваги, в биографиях которых нет нот отчаянного безрассудства, остаются героями низшего ранга, если вообще попадают в пантеон.

Польское понимание героизма сформировал не столько романтизм, сколько барокко. В свою очередь терновый венец, столь важный в нашей шкале ценно-

стей, не всегда увенчивал истинное мужество: порой злосчастную выходку, порой эффектную личину, а случалось, он служил ревностно окружаемой легендой добавкой к прозаической в общем-то биографии.

Барочная родословная польских эталонов отваги вызывает почтение к тому, что броско, драматически подчеркнуто патетическим жестом, отдает страдальческой экспрессией. Но зато нет тут уважения к мужеству некричащему и скромному.

Мужество в духе барокко нуждается в публике, которая им поражается и любуется. На ее глазах оно способно на высочайший порыв, без нее оно хрупко и слабо. Это род отваги, вспыхивающей в атмосфере турнира, а не стойкость, выкованная долгим трудом.

Народы, выводившие свои представления о мужестве из этики противоборства человека с природой, из тяжелого житейского опыта пионеров цивилизации, невысоко ценят театральные порывы. Они превозносят закалку в одиночку, не на глазах публики, им не по вкусу претенденты на мученический венец. Не заботясь о включении в свои образцы столь специфического культа бравурной храбрости, они, в сущности, вырабатывают модель характера, значительно более мужскую, жесткую, приспособленную к трудностям.

Надо, наконец, понять, что источник нашей непохожести — не в так называемом романтизме польской натуры, сроднившейся с героизмом освободительной борьбы. Это удобное приукрашивание проблемы, а облагороженные таким образом слабости становятся неприкасаемыми духовными реликвиями. Под возвышающим именем романтизма облекается в священные национальные одеяния выработанный польским вариантом культуры образец личности — результат триумфального торжества контрреформации, поборовшей идеи возрождения.

Несчастье в том, что этот образец личности, все дальше удаляясь от коллективного опыта, каким обогащается продвигающаяся вперед остальная часть света,— все больше начинает считать себя солью этого света, его защитником и хранителем его ценностей.

Противоречие между фактической ролью копухи, который тащится в хвосте великого похода, и культивируемым мифом о самоотверженном авангарде, избранном на эту роль из-за его особых достоинств,— такое противоречие приводило польскую мысль в замешательство, а в подобном состоянии забота о трезвости оценок была делом исключительной сложности.

Самые дешевые приманки, которые протягивал Запад, побуждая к исполнению миссионерской роли, принимались с восторгом, поскольку укрепляли ощущение собственной ценности в обществе, которое в глубине души было не очень-то уверено в себе. Этот непрекращающийся поток приманок имел двоякое значение для формирования польского образа мышления. Он поддерживал шаткую несмотря ни на что мифологию Сторожевой Крепости авторитетом стран, идущих в авангарде цивилизации, а кроме того, связывал чувством благодарности с теми, кто подметил наши скрытые достоинства.

Шли века, и польское сообщество пришло в такую зависимость от теплых словечек Запада, что без них оно уже не в состоянии стало испытывать уважение к себе. С тех пор оно легко поддается сомнениям в собственных ценностях, причем тем легче, что с Запада в Польшу бежал не только ручеек грошовых приманок, но и неслась река презрения. Приманки поднимали дух авангардного отряда, презрение напоминало о постыдном статусе копухи. Получая с Запада два противоположных импульса — один льстивший национальной гордости, а другой уничижавший ее, — польская мысль подчинилась унаследованным ею схемам. Она прибегла к одной хитроумной уловке: лесть расценила как благоприятную оценку, выставленную компетентным всемирным зрительным залом ее высоким достоинствам, а ответственность за унижение сняла с себя и возложила ее на внешние силы. Не может же обладатель таких оценок по собственной вине быть мародером. Потому-то в расхожем сознании не вызывает сомнений, что вина за отставание Польши от Запада лежит на Востоке.

Восток повинен в том, что поляк не купается в достатке и удобствах современной цивилизации, как швед, англичанин или голландец.

Подобный ход мыслей толкает поляка в объятья Запада и решительно отбрасывает его от тех качеств, которым Запад обязан своим достатком. Всеобщий культ трудолюбия, рациональность социального поведения, безоговорочное превосходство практического мышления над иррациональными эмоциями, стихийное отвращение к проявлениям общественной недисциплинированности, серьезное отношение к профессиональным обязанностям на любом рабочем месте, уважение к общим ценностям, находящим отражение в государственном устройстве, — все эти качества, приобретенные Западом в те периоды новейшей промышленной истории, когда Польша в ней отсутствовала, польский тип мышления хотел бы заменить исповеданием любви и веры.

Свою неподготовленность к созданию материального богатства по примеру зрелых и дисциплинированных обществ он хотел бы компенсировать любовным заклинанием, после которого должно наступить чудесное преображение миссионеров в стиле барокко в миллионеров XX века.

Неразумная вера в Запад, способный сыграть роль спасителя Польши, только отодвигает то время, когда польское общество сумеет подняться до уровня западной цивилизации.

Ибо вера эта консервирует мысль и поведение, из-за чего некогда разошлись дороги Польши и Европы.

Возвращение Польши в русло универсального опыта и ее включение в общее движение по пути развития происходит не вследствие политического альянса с Западом, а в результате укрепления связи с обширным тыловым районом, которым для полоски польской земли является Вос-

ток. А выгоды и удобства цивилизации, на которые так лакомо смотрит поляк, не перенесутся к нам никаким чудодейственным образом, придуманным польской мифологией покровительства. До них вопреки еще обременяющей польское мышление архаичной и вздорной мифологии в стиле барокко нужно доработаться самовоспитанием зрелости.

Чтобы жить в достатке, как англичанин или голландец, поляку нужно сбросить с себя шкуру контрреформации, которая за века приросла к нему, словно глухой панцирь, мешающий ему развиваться в согласии с потребностями его организма.

Путь Польши эпохи Возрождения к тому, чтобы сравнять шаг с Европой, был окольным. Сначала ей надо было найти богатого союзника на Востоке, чтобы в мире и безопасности, внутренне уравновешенной, быть в состоянии ускорить с выгодой для себя культурное сближение с Западом. Логика истории не всегда совпадает с тем, что подсказывает импульсивное мышление. Вопреки ему и сегодня тоже путь к высокому уровню развития сложен. Преодоление серьезного экономического отставания Польши, выработка качеств высококвалифицированного общества, способного добиться достатка,— все это возможно лишь для Польши, опирающейся на социалистический Восток. Пуская глубокие корни в своей части света, мы открываем перед собой перспективу прогресса, если же последуем голосу простого инстинкта, то останемся в плену собственной архаичности, наше бытие на собственной земле будет ненадежным, нам придется довольствоваться импортным реквизитом.

◆

Зарубежная литература в СССР

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Достоверная сказка. Рассказы болгарских писателей. Перевод с болгарского. Составитель Н. Глен. 303 с. (Современная зарубежная новелла)

Коуп Д. **Прекрасный дом. Золотая иволга.** Романы. Перевод с английского. 638 с. (Произведения африканских писателей)

Сероте М. **Каждый рождается в муках.** Роман. Перевод с английского. 223 с. (Произведения африканских писателей)

«РАДУГА»

Адлова В. **Горький [illegible] осени.** Роман. Перевод с чешского. 422 с.

Джонс Д. **Отныне и вовек.** Роман. Перевод с английского. 832 с. (Библиотека литературы США)

Мазилу Т. **Прогулки на лодке.** Иронические рассказы. Перевод с румынского. Составление Т. Свешниковой. 216 с.

Отеро Сильва М. **Избранное.** Когда хочется плакать, не плачу. Лопе де Агирре, Князь Свободы. Романы. Перевод с испанского. Составление, предисловие В. Земскова. 394 с. (Мастера современной прозы. Венесуэла)

Рассказы писателей Каталонии. Сборник. Перевод с каталанского. Составление Хуана Рамона Масоливера. 270 с.

Современный кенийский детектив. Х. Нгвено. **Люди из Претории.** Д. Дучи. **Смертельное сафари.** Ф. Саизи. **Синдикат дурмана.** Составление, перевод с английского В. Рамзеса. 414 с.

Стайрон У. **И поджег этот дом.** Роман. Перевод с английского В. Голышева. 496 с. (Библиотека литературы США)

Топалов К. **Не сердись, человечек.** Повести. Перевод с болгарского. 176 с.

Янсон Т. **Честный обман.** Повести, рассказы. Перевод со шведского. Составитель Л. Горлина. 376 с.

«ПРОГРЕСС»

Гарсиа Лорка Ф. **Самая печальная радость...** Художественная публицистика. Перевод с испанского. Составитель Н. Р. Малиновская. 505 с. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)

Мацумото С. **Поблекший мундир.** Перевод с японского Б. В. Раскина. 268 с. (Политический роман)

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Встреча в Ланьчжоу. Китайские писатели о молодежи. Повести, рассказы. Перевод с китайского. Составитель А. Желоховцев. 256 с.

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

ИМПЕРАТОР

Сокращенный перевод с польского С. ЛАРИНА

П. М.:

...И это могло бы продолжаться годами, к радости несравненного господина и его сановников, если бы не наши нытики-студенты, которые с момента гибели Гырмаме все более дерзко задирали головы, болтали разные глупости, безрассудно и крайне оскорбительно высказываясь по адресу дворца. В конце концов настала пора, когда они выступили с дерзким требованием реформ. Прогресс немыслим без реформ, заявили они. Крестьянину необходимо дать землю, отменить привилегии, демократизировать общество, ликвидировать феодальный строй и освободить страну от иностранной зависимости. Какой зависимости, спрашиваю я: ведь мы были суверенной державой! Три тысячелетия кряду оставались независимым государством. Вот пример легкомысленной и пустой болтовни!

Т.:

О, как восхитительна жизнь на международной арене! Достаточно вспомнить наши визиты — аэровокзалы, приветствия, море цветов, объятия, оркестры, каждая минута расписана по протоколу, а далее — лимузины, приемы, заранее написанные и переведенные спичи, парадные мундиры и блеск, здравицы, доверительные беседы, глобальные проблемы, этикет, чванство, подарки, апартаменты, наконец, усталость, да, по прошествии целого дня усталость, но как величественна и бодряща, как изысканна и почетна, как достойна и почтенна, как воистину международна эта усталость! А назавтра — визиты, поглаживание детей по головкам, прием подарков, спешка, программа, напряженность, но приятная, возвышающая, на минуту избавляющая от дворцовых забот, имперских тревог, позволяющая забыть о петициях, группировках, заговорах, хотя доброжелательнейший господин, чествуемый хозяевами, освещаемый вспышками блицев, неизменно интересовался сообщениями о делах в империи; каково положение с бюджетом, что в армии, в студенческой среде. Этот отблеск международной жизни распространялся даже на меня, который шествовал в свите всего лишь во главе шестой десятки восьмого ранга, девятой категории. Обрати внимание, мой друг, что у нашего господина была слабость к зарубежным поездкам. Уже в двадцать четвертом году, став первым монархом в нашей истории, покинувшим пределы империи, милостивый господин удостоил своим визитом европейские страны. Это была какая-то фамильная склонность к визитам, унаследованная от отца, угасшего раса Мэконнына, которого многократно направлял за границу для переговоров с правительствами других государств император Менелик. Я теперь размышляю над тем, почему достопочтенный господин, несмотря на отягощавшее его плечи бремя лет, все чаще и чаще путешествовал, наносил визиты. Всему виной бунтарское тщеславие братьев Ныуай, которое навсегда смутило безмятежный покой в империи, их безбожные и безответственные упреки императора в нашей отсталости и косности. Впрочем, господин наш сам чувствовал веяние времени и вскоре после этого кровавого и оскорбительного для империи мятежа приказал приступить ко всеобщему развитию. А после того как последовало такое распоряжение, ему больше ничего не оставалось, как отправиться странствовать из одной столицы в другую в поисках помощи, кредитов, капиталов, ибо наша империя боса и гола, нужда так и воет. И в этом господин наш продемонстрировал свое превосходство над студентами, доказав им, что прогресс возможен и без реформ. А как это возможно, дружище, спросишь ты? А так, что если предоставляется иностранный капитал на постройку заводов, то никакая реформа не нужна. И вот, пожалуйста, господин наш не допустил реформ, но заводы строили и строили — значит, прогресс совершался. Достаточно проехать из центра в сторону Дэбрэ-Зэйт и увидеть, как высятся один за другим современные автоматизированные заводы. Господин наш видел глубже и прозорливее, чем кто-либо из

Окончание. Начало см. в № 6.

нас. И наделенный этой способностью, он понимал: что-то кончается, и он слишком стар, чтобы сдержать надвигающуюся лавину. Он становится все старее и немощнее. Все более усталым и обессиленным. Ему все настоятельнее требуются покой и облегчение. В отдаленных странах никто не готовил заговоров против него, никто не вострил нож, ему никого не приходилось отправлять на виселицу. Он мог спокойно лечь в постель, зная, что встанет живым и здоровым, он мог сесть за стол с президентом, с которым успел подружиться, побеседовав как человек с человеком. О да, друг мой, позволь мне еще раз выразить свое восхищение международной жизнью. Разве без этого можно было бы вынести ныне бремя власти? И где в конечном итоге человек должен искать признания и понимания, если не в далеком свете, в чужих краях, во время этих доверительных бесед с другими правителями, которые в ответ на наши сетования посочувствуют, ибо эти трудности и беды им знакомы.

Б. Г.:

Прежде всего хочу заметить, что наш господин, являясь наивысшей, поставленной над законом личностью, в государстве (ибо он сам являл собой источник законодательства и не подлежал его нормам и установлениям) был непререкаемым авторитетом во всем, что существовало и что богом или людьми сотворено для жизни, а следовательно, также и верховным главнокомандующим, и шефом полиции. Обе функции требовали особой заботы и тщательного контроля этих институтов, тем более что декабрьские события служили свидетельством постыдных непорядков, возмутительной недисциплинированности и даже святотатственной измены, какие имели место в императорской гвардии и полиции. К счастью, однако, армейские генералы в ту неожиданную годину испытания проявили свою лояльность, обеспечив монарху достойное, хотя и горестное возвращение во дворец. Но, сохранив нашему господину престол, они начали теперь домогаться платы благодетеля за эту услугу. Ибо в армии царил столь низменный дух, что лояльность пересчитывали на деньги и ожидали даже, что щедрый господин по собственной инициативе станет все туже набивать им карманы, забыв, что привилегии ведут к коррупции, а коррупция оскверняет честь мундира. А эта дерзость и самоуверенность армейских генералов передалась и полицейским чинам, которые тоже жаждали, чтобы их подкупали, осыпали уймой привилегий и набивали им карманы. А все потому, что, видя, как слабеет могущество дворца, они мгновенно смекнули, что нашему монарху часто будет необходима их помощь, ибо в конечном итоге они его самый надежный, а в критический момент — и единственный оплот. Прозорливый господин вынужден был тогда ввести военно-полицейский час, в ходе которого он щедро одаривал высших офицеров, проявляя заботу об обоих институтах, гарантирующих порядок и благословляемую народом стабильность внутри страны. Так с помощью милостивого господина, который не обошел их своим вниманием, генералы устроились настолько недурно, что в нашей империи, насчитывавшей до тридцати миллионов земледельцев и всего лишь сто тысяч солдат и полицейских, на сельское хозяйство расходовался один процент государственного бюджета, а на армию и полицию — целых сорок. Это дало студентам повод для очередного умствования и поношения. Но были ли они справедливы? Ведь это наш господин создал первую в истории страны регулярную армию, оплачиваемую из единой, царской казны. До него существовало только воинство, образуемое из народного ополчения, которое по императорскому приказу стекалось со всех уголков страны на поле битвы, грабя по пути все, что подворачивалось под руку, обирая окрестные села, избивая крестьян, истребляя скот. Достопочтенный же господин карал грабеж, запретил скликать народное ополчение и доверил англичанам миссию создания регулярного войска, что и произошло после изгнания итальянцев. Достойный господин обожал свою армию, охотно принимал парады и любил надевать императорско-маршальский мундир, которому придавали блеск разноцветные ряды орденов и медалей.

П. М.:

...И в результате заботы нашего благодетеля о силах порядка и щедрот, сыпавшихся на этой ниве в последние годы царствования, столько развелось полицейских, столько всюду было ушей, которые лезли из земли, прилипали к стенам домов, парили в воздухе, приникали к замочным скважинам, караулили в учреждениях, таились в толпе, торчали в подъездах, толклись на рынках, что люди (чтобы спастись от засилья доносчиков) неведомо как, где и когда, без школ, без курсов, без пластинок и словарей овладели вторым языком и освоили его в совершенстве — настолько, что мы, простые и непросвещенные, неожиданно сделались двуязычным народом. Это служило большим жизненным подспорьем, даже сохраняло жизнь и покой, позволяя нам существовать. У каждого из этих языков имелась своя лексика, свой смысл и даже своя грамматика, однако же все умели управиться с этими трудностями и вовремя высказаться на соответствующем языке. Один язык служил для внешнего общения, другой — для внутреннего пользования, первый был сладкозвучным, второй — корявым, этот выставлен напоказ, тот — обращен внутрь. И каждый уже прикидывал (в зависимости от положения и обстоятельств): высунуть ли этот язык или же упрятать поглубже, обнаружить или затаить.

М.:

И подумать только, любезный, что среди этого процветания и развития, среди

этого громко провозглашенного нашим монархом благополучия и благосостояния как гром с ясного неба внезапно вспыхивает бунт! Во дворце растерянность, шок, беготня, остолбенение, недоумение достопочтенного господина: почему вспыхнул бунт? Но как нам, смиренным слугам его, ответить на этот вопрос? Ведь случай управляет судьбами людей, значит, с равным успехом он может управлять и империей, и вот именно этот случай и произошел у нас в шестьдесят восьмом году, когда в провинции Годжам крестьяне взяли власть за горло. Всей знати это казалось совершенно невероятным, поскольку народ у нас был уступчивый, спокойный, богобоязненный, вовсе не склонный к мятежу, а тут, как я говорю — ни с того ни с сего,— бунт! В наших нравах смирение — самая главная черта, и даже достойный господин, будучи отроком, лобызал башмаки своего отца. Когда старшие ели, детям полагалось стоять, отвернувшись лицом к стене, чтобы у них не возникло безбожное искушение оказаться с родителями на равных. Я упоминаю об этом, любезный, чтобы ты знал: если уж в такой стране подданные начинают бунтовать — значит, для этого должна быть какая-то исключительная причина. И вот, любезный, из провинции Годжам поступают донесения, что крестьяне сеют смуту, бунтуют, лупят сборщиков податей, полицейских вешают, знать гонят в шею, жгут усадьбы, уничтожают урожай. Губернатор доносит, что бунтовщики врываются в учреждения, а настигнув императорских служащих, оскорбляют их, избивают, а потом четвертуют. Видать, чем продолжительнее смирение молчание, повиновение, тем сильнее потом недоброжелательность и жестокость. А в столице уже выступления студентов, они восхваляют бунтовщиков, клеймят и обличают императорский двор. К счастью, эта провинция находилась далеко, ее можно было блокировать, окружить войсками, открыть огонь, подавить мятеж. Но прежде чем это совершилось, во дворце поднялась настоящая паника, ибо никогда не знаешь, во что может вылиться подобная заваруха, и поэтому дальновидный господин наш, видя, как сотрясается империя, сперва направил в Годжам карателей, чтобы те обезглавили мужиков, а затем, вследствие непонятного упорства бунтовщиков, приказал отменить новые налоги и отчитал министерство за чрезмерное рвение. Достопочтенный господин обругал чиновников, которые не понимали одного основного правила. Правила дополнительного мешка. Ведь народ никогда не бунтует из-за того, что тащит на своем горбу тяжелый мешок, никогда не бунтует из-за того, что его эксплуатируют, так как иной жизни он и не знает и даже не догадывается, что подобная жизнь существует, а возможно ли чего-то желать, чего мы и представить не в состоянии? Народ взбунтуется тогда, когда неожиданно, одним махом кто-то попытается взвалить ему на спину еще один мешок. Тогда у крестьянина лопнет терпение, он упадет в грязь лицом, но, поднявшись, схватится за топор. Человек хватается за топор не для защиты своего кармана, но отстаивая свое достоинство, да, любезнейший, поэтому наш господин и разнес чиновников, которые ради собственного удобства и лени, вместо того чтобы исподволь малыми дозами увеличивать ношу, высокомерно, одним махом попытались взвалить на него дополнительный мешок. И тотчас же наш господин, стремясь водворить на будущее спокойствие в империи, наказал чиновникам учиться дозировать бремя налогов и лишь понемногу, выдерживая паузы, увеличивать их, пристально следя по лицам носильщиков, выдержат ли они еще самую малость или уже достаточно, добавить ли немного, либо позволить передохнуть? В этом, любезнейший, и состояло все искусство, чтобы не этак сразу, грубо, в сапожищах и наобум, но добросердечно, заботливо, читая в сердцах, когда можно добавить, когда завернуть, а когда отпустить гайку. И так, следуя указаниям монарха, спустя какое-то время, когда уже кровь впиталась и ветер развеял дым, чиновники вновь стали увеличивать налоги, но уже малыми дозами, мягко и осторожно, а крестьяне все стерпели и не чувствовали себя оскорбленными.

З. С-К.:

Ну так вот, год спустя после мятежа в Годжаме, который, явив разъяренный и суровый лик простого люда, потряс дворец и нагнал страху на высших чиновников (но не только на них, ибо и у нас, рядовых служащих, душа ушла в пятки), меня постигла беда личного порядка: мой сын Хайле, в те мрачные годы студент университета, начал думать. Да, начал задумываться, а я должен пояснить тебе, дружище, что думать в те годы — это было крайне накладное и даже вовсе гиблое дело, и его светлость, высокий господин, в своей неусыпной заботе о благе и добре своих подданных, неизменно стремился оберегать их от этого пустого и хлопотного занятия. К сожалению, именно так опрометчиво поступил мой легкомысленный сын, на что первой обратила внимание моя жена (чей материнский инстинкт подсказал, что над нашим домом сгущаются мрачные тучи), и однажды она говорит мне, что Хайле, кажется, предался раздумьям, так как он сделался очень грустным. Так вот, дружище, видя, сколь опасный путь избрал мой сын, я старался его отговорить, отвлечь, привить ему охоту к увеселениям, посылать его путешествовать, я бы даже предпочел, чтобы он окунулся в ночную жизнь, нежели увлекся этими адскими заговорами и манифестами. Да где там! Хайле жил уже в ином свете, ибо во время оно университет, расположенный неподалеку от дворца, превратился в настоящий антидворец, и только смельчаки отваживались заглядывать туда, ибо простран-

ство между двором и учебным заведением напоминало поле битвы, на котором решались теперь судьбы империи.

Он возвращается мыслью к декабрьским событиям, когда командующий императорской гвардией Менгисту Ныуай явился в университет и показал студентам ломоть черствого крестьянского хлеба, какой мятежники заставили есть приближенных монарха. Это событие вызвало у студентов шок, след от которого сохранился. С этого дня студенты начали борьбу, и университет уже не знал спокойствия. Бурный конфликт между дворцом и учебным заведением, продолжавшийся около четырнадцати лет, унес десятки жертв и завершился только с низложением императора. В те годы существовали два изображения Хайле Селассие. Одно — известное мировой общественности — представляло императора как несколько экзотичного, но мужественного монарха, отличающегося неукротимой энергией, живым умом и глубокой восприимчивостью, который оказывал сопротивление Муссолини, вернул империю и престол, стремился вести свою страну по пути прогресса и играть существенную роль в мире. Второе, сформировавшееся исподволь, при посредстве критически настроенной и поначалу незначительной части общественного мнения Эфиопии, представляло императора как самодержца, готового любой ценой отстаивать свою власть, и прежде всего как незаурядного демагога и театрального патерналиста, который словами и жестами прикрывал продажность, тупость и угодничество созданной и выпестованной им правящей элиты. Оба эти изображения, как, впрочем, это и случается в жизни, соответствовали истине: Хайле Селассие представлял собой сложную индивидуальность, одним он рисовался полным привлекательных черт, у других вызывал ненависть, одни его обожали, другие проклинали. Он правил страной, в которой известны были только самые жестокие методы борьбы за власть (либо за ее сохранение), где свободные выборы подменялись стилетом и ядом, дискуссии — пистолетом и виселицей. Он являлся продуктом подобной традиции и сам к ней обращался.

З. С-К.:

Сразу после мятежа в Годжаме рас Каса хотел собрать лояльно настроенных студентов и провести демонстрации в поддержку императора. Все было готово — и портреты и транспаранты, когда достопочтенный господин, узнав об этом, резко осудил раса. Ни о каких демонстрациях и речи быть не могло. Студенты начнут в поддержку, а кончат оскорблениями! Начнут приветствовать, а позже придется открывать огонь. И пожалуйста, дружище, достопочтенный властелин еще раз явил пример своей удивительной прозорливости. В общей неразберихе демонстрацию отменить уже не успели. И когда процессия в поддержку монарха, состоявшая из полицейских, переодетых студентами, двинулась, к ней тотчас же примкнула большая и шумная толпа студентов. И эта озлобленная чернь устремилась ко дворцу, так что не оставалось ничего другого, как послать солдат с приказом навести порядок. В этой злополучной, завершившейся кровопролитием стычке, пал студенческий вожак Тылахун Гызау[1]. И что за ирония судьбы: погибло ведь и несколько ни в чем не повинных полицейских! Я помню, что это случилось в конце декабря шестьдесят девятого года. И что за суровый день выпал на мою долю назавтра, ибо сын мой Хайле и все его друзья отправились на похороны, и у гроба выросла такая толпа, что это вылилось в новую демонстрацию, и невозможно уже было позволить постоянно вызывать волнения и возмущение в столице, поэтому достопочтенный господин направил бронетранспортеры и приказал навести порядок с применением чрезвычайных мер. Господин наш распорядился на год закрыть университет, чем спас жизнь многим молодым людям, продолжай они учиться, митинговать, атаковать дворец, монарху пришлось бы отвечать на это новыми репрессиями, стрельбой, кровопролитием.

Распад

А. А.:

Никто, ни один человек, дружище, не чувствовал, что близится конец. Вернее, что-то ощущалось, появлялись какие-то предвестники, но настолько зыбкие и туманные, будто их и вообще не было. Вдобавок в империи начались возмутительные беспорядки, доставившие массу огорчений всему дворцу, а более всего нашему министру информации господину Тэсфайе Гэбрэ-Ыгзи, позже расстрелянному властвующими ныне бунтовщиками. Все началось с того, что летом семьдесят третьего года к нам приехал корреспондент английского телевидения, некий Джонатан Дамбильди. Он уже и ранее бывал в империи, снимая фильмы, прославлявшие нашего всемогущего монарха, поэтому никому и в голову не пришло, что такой журналист, который сначала восхваляет, осмелится позже раскритиковать, но такова уж, видать, низменная натура этих людей без стыда и совести. Достаточно сказать, что на этот раз Дамбильди, вместо того чтобы показывать, как господин наш направляет развитие страны и как он озабочен судьбами малых сих, запропастился

[1] Президент Союза студентов Аддис-Абебского университета, погибший в декабре 1969 года.

где-то на севере, откуда, по рассказам, вернулся возбужденный, потрясенный и тотчас отбыл в Англию. Не прошло и месяца, как наше посольство сообщает, что мистер Дамбильди демонстрировал по лондонскому телевидению свой фильм под названием «Утаенный голод», в котором этот беспринципный клеветник прибег к демагогическим штучкам, представив тысячи умирающих от голода, а рядом достопочтенного господина, беседующего с сановниками, вслед за этим он показал дороги, усеянные трупами бедняков, а затем наши самолеты, доставляющие из Европы шампанское и икру, здесь — целые поля обреченных смертников, там — наш монарх, скармливающий мясо своим собакам с серебряного блюда, и так попеременно: роскошь — нужда, богатство — отчаяние, коррупция — смерть. Вдобавок к этому мистер Дамбильди заявляет, что от голода погибло уже сто, а возможно двести, тысяч и что не меньшее число обреченных в ближайшие дни может разделить их судьбу. В сообщении посольства указывалось, что после демонстрации фильма в Лондоне разразился грандиозный скандал, последовали запросы в парламенте, газеты бьют тревогу, осуждая достопочтенного господина.

В дополнение к этому посольство уведомляет, что из Лондона вылетает самолет с журналистами из ряда европейских государств, которые хотят увидеть голодную смерть, познакомиться с нашей действительностью, а также выяснить, на что израсходованы средства, которые тамошние правительства предоставляли нашему господину для того, чтобы он развивал, догонял и обгонял другие страны. Короче говоря, это явное вмешательство во внутренние дела империи!

Во дворце волнение, негодование, но несравненный господин призывает сохранять спокойствие и благоразумие. Мы ждем, каковы будут высочайшие указания. Тотчас же раздаются голоса, требующие немедленно отозвать посла за его крайне неприятные и тревожные донесения, столь осложнившие дворцовую жизнь. Однако министр иностранных дел утверждает, что такой шаг нагонит страх на остальных послов, которые вообще прекратят присылать какие бы то ни было сообщения, а ведь достопочтенному господину необходимо знать, что говорят о нем в разных частях света. Вслед за этим подают свой голос члены Совета короны, они настаивают на том, чтобы заставить самолет с журналистами лечь на обратный курс: ни в коем случае не пускать все это богомерзкое отребье в пределы империи! Но как можно, заявляет министр информации, их не впустить, они поднимут еще больший шум, еще громче понося милостивого господина. Совет, посовещавшись, постановляет предложить милостивому господину решить вопрос так: журналистов впустить, но все отрицать. Да, отрицать, что в стране царит голод. Держать их в Аддис-Абебе, показывать, какой повсюду прогресс, и пусть они пишут только о том, о чем можно узнать из наших газет. А наша пресса, дружище, отличалась лояльностью, скажу даже — образцовой лояльностью. По правде говоря, она была скромной по масштабу, общий тираж ежедневных газет на тридцать с лишним миллионов подданных составлял двадцать тысяч экземпляров[1]. Но господин наш руководствовался тем, что даже избыток самой лояльной прессы вреден, ибо чтение может стать привычкой, от этого только шаг к привычке самостоятельно думать, а известно, с какими это бывает сопряжено осложнениями, неприятностями и огорчениями. Ибо, скажем, о чем-то можно написать вполне лояльно, но прочесть можно абсолютно иначе, кто-то примется читать лояльную статью и постепенно пойдет по пути, который удалит его от престола, отвлечет от задач прогресса и приведет в стан подстрекателей. Нет, нет, наш господин не мог попустительствовать такой распущенности, заблуждениям и поэтому вообще не поощрял любовь к чтению. Вскоре после этого мы пережили подлинное вторжение зарубежных журналистов. Помню, что сразу же по их приезде состоялась пресс-конференция. Задан был вопрос: что предпринимается для ликвидации последствий голода? Мне о голоде ничего не известно, отвечает министр информации, и должен тебе сказать, друг мой, что он был не так уж далек от истины. Во-первых, голодная смерть в нашей империи на протяжении сотен лет была будничным и естественным явлением, никому никогда и в голову не приходило поднимать шум из-за этого. Начиналась засуха, земля трескалась, начинался падеж скота, умирали крестьяне — обычный, связанный с законами природы извечный порядок вещей.

Разумеется, почтенный господин сам посещал провинции, но он не любил задерживаться в бедных районах, где царил голод, а кроме того, что можно увидеть во время таких официальных визитов? Откуда же нам было знать, что на севере страны свирепствует какой-то невероятный голод? Журналисты спрашивают: смогут ли они поехать на север? Нет, это невозможно, поясняет министр, так как на дорогах полным-полно разбойников. И снова признаюсь, он не был так уж далек от истины: в последний период поступали сообщения, что по всей империи уйма всякого рода вооруженных смутьянов, которые устраивают засады на дорогах. После беседы с журналистами министр совершил с ними поездку по столице, показал им заводы и нахваливал прогресс. Но здесь, дружище, еще одна история приключилась. Наше мятежное студенчество направило на север своих посланцев, и те навезли и фотографий, и страшных свидетельств того, как мрет народ, и всем этим тайком, украдкой снабдили журналистов. И разразился скандал: утверждать, что никакого голода нет, было уже невоз-

[1] Весной 1974 года тираж основных столичных газет вырос в 1,5 — 2 раза, что было связано с обострением политической борьбы, в которой участвовали широкие народные массы.

можно. Корреспонденты снова принялись атаковать, размахивать фотографиями, засыпать вопросами, что̀ предприняло правительство в борьбе с голодом. Его императорское величество, отвечает им министр, придает этой проблеме первостепенное значение. Но что это означает конкретно? Конкретно! — без тени уважения наскакивают эти исчадия ада. Господин наш, спокойно отвечает министр, объявит в соответствующее время, какие его величество намерен принять решения, установления и приказы, ведь не министрам заниматься проблемами такого масштаба и давать им ход. В результате журналисты улетели, так и не увидев голода воочию. А все это дело, получившее такое выдержанное и достойное освещение, министр охарактеризовал как успех, наша же пресса представила его как победу. Прими, любезный, во внимание и то, что, между нами говоря, для большего порядка и смирения подданных полезно заставить их похудеть и поголодать. Даже наша религия[1] велит половину дней в году строго соблюдать пост, а заповедь наша гласит, что тот, кто не блюдет пост, совершает тяжкий грех и весь начинает смердеть адской серой.

А почему такие суровые нормы навязали нам наши отцы, повелевая неустанно умерщвлять плоть? Потому что по природе своей человек — существо злое, для него адское удовольствие поддаться соблазну, особенно соблазну неповиновения, стяжательства и разврата. Как же теперь управлять этим небезопасным существом, каким предстает человек, и все мы в том числе, как обуздать и укротить его? Как обезоружить и обезопасить зверя? Единственная возможность, дружище,— лишить его сил. Да, именно так — отнять у него силы, ибо, ослабев, он будет не в состоянии вершить зло. А пост как раз и обессиливает, голод отнимает силы. Такова наша амхарская философия, этому учат наши отцы. И все это проверено на жизненном опыте. Человек, голодавший всю жизнь, никогда не взбунтуется. На севере не было никаких бунтов. Никто не поднял там ни голоса, ни руки. Но как только подданный начнет есть досыта, так при первой попытке отобрать у него миску с едой, он тотчас взбунтуется.

З. С-К.:

Чувства крайнего недовольства, даже осуждения и негодования царили во дворце в связи с подобной нелояльностью правительств европейских государств, которые позволили господину Дамбильди и его компании поднять такой шум по поводу голодных смертей. Часть сановников считала, что следует по-прежнему все отрицать, но это уже было невозможно: ведь сам министр заявил журналистам, что сиятельный господин придает проблеме голода первостепенное значение. Надо следовать по этому пути и взывать к помощи зарубежных благотворителей. Сами мы помочь не в силах, пусть другие добавят сколько могут. И в скором времени стали поступать благоприятные вести. То прилетали какие-то самолеты с зерном, то прибыли какие-то пароходы с мукой и сахаром. Приехали врачи и миссионеры, представители благотворительных организаций, зарубежные студенты, а также переодетые санитарами журналисты. Все они устремились на север, в провинции Тигре и Уолло, а также на восток, в Огаден, где, говорят, целые племена вымерли от голода. В империи началось движение международного характера! Скажу сразу, что во дворце от всего этого не были в восторге, ибо присутствие стольких иностранцев всегда нежелательно: они всему удивляются да вдобавок еще и критикуют. И представь себе, мистер Ричард, что предчувствие не обмануло наших сановников. Ибо когда эти миссионеры, врачи и санитары (последние, как я уже упоминал, были переодетыми журналистами) попали на север, они увидели, как говорят, тысячи умирающих от голода, а рядом рынки и лавки, которые ломятся от еды. Есть продовольствие, говорят, есть, просто выдался неурожайный год, и крестьянам пришлось все отдать помещикам, поэтому у них ничего и не осталось, а спекулянты, пользуясь положением, взвинтили цены так, что мало кто в состоянии купить хотя бы горсть зерна, в этом вся беда. Скверное дело, мистер Ричард, ибо этими спекулянтами оказались наши нотабли, но можно ли называть спекулянтами официальных представителей нашего господина? Официальное лицо — и спекулянт? Нет, такое и произнести невозможно. А тут еще санитары, миссионеры вновь поднимают шум, потому что транспорты с мукой и сахаром не доходят до голодающих. Получается так, заявляют благотворители, что транспорты оседают где-то в пути, и надо выяснить, куда все исчезает, и они на свой собственный страх и риск принимаются вынюхивать, вмешиваться, всюду совать свой нос. И опять выясняется, что спекулянты целые транспорты отправляют на свои склады, взвинчивают цены, набивают карманы. Как удалось это выяснить — трудно дознаться, пожалуй, произошла какая-то утечка информации. Ведь все было так организовано, что империя, да, помощь приемлет, но сама же занимается распределением благ, и куда направят муку и сахар — никому не положено знать, ибо это будет рассматриваться как вмешательство во внутренние дела. Однако здесь наши студенты устремляются в бой, выходят на улицу и демонстрируют, обличают коррупцию, требуют привлечь виновных к суду. Позор! Позор! Кричат, предрекают крушение империи. Полиция пускает в ход дубинки, производит аресты. Волнение, возмущение. В те дни, мистер Ричард, мой сын Хайле редко появлялся дома. Университет пребывал уже в состоянии открытой войны с двор-

[1] Наибольшее число эфиопских верующих исповедуют христианство монофизитского (александрийского) толка.

цом. На этот раз все началось с совершенно незначительного события: американский Корпус мира организовал в университете демонстрацию новинок моды, хотя всякого рода собрания, встречи были запрещены. Но ведь американцам достопочтенный господин не мог запретить показ модных моделей. И вот это спокойное и столь безмятежное зрелище студенты использовали для того, чтобы, собрав громадную толпу, ринуться на дворец. И с этой минуты они уже не позволили вновь водворить их по домам, они митинговали, остервенело и стремительно нападали и больше не желали уступать. И начальник полиции генерал Йильма Шибеши из-за этого происшествия рвал на себе волосы, ибо даже ему в голову не пришло, что революция способна начаться с показа мод!

Т. Л.:

В период этого голодания и миссионерского, санитарского горлодрания, студенческого митингования, полицейского шельмования наш достойный господин отбыл с визитом в Эритрею, где его принимал внук — командующий флотом Ыскындыр Дэста. Император намеревался совершить морскую прогулку на адмиральском флагмане «Эфиопия», однако из-за неисправности двигателя плавание пришлось отложить. Но наш господин пересел на французский корабль «Проте» (где в честь монарха известный марсельский адмирал Хиле дал ужин). Назавтра уже в порту Массауа достопочтенный господин, которому в связи с этим событием присвоили звание полного адмирала императорского флота, произвел в офицеры семерых кадетов, укрепив тем мощь наших морских сил. Там же он назначил на высокие должности тех злополучных нотаблей с севера, которых миссионеры и санитары обвинили в спекуляции, обирании бедняков, чтобы засвидетельствовать их невиновность и пресечь сплетни и очернительство за рубежом. Как будто все двигалось, совершенствовалось и развивалось самым благоприятным образом, в высшей степени удачно и вполне лояльно, империя крепла и даже (как подчеркивал наш господин) расцветала, как вдруг приходит сообщение, что эти заморские благодетели, взявшие на себя неблагодарный труд накормить наш вечно голодный народ, взбунтовались и прекратили поставки, и все потому, что наш министр финансов, господин Йильма Дэреса, желая пополнить императорскую казну, обязал благотворителей платить за всякого рода помощь высокую таможенную пошлину. Хотите помогать, говорит министр, помогайте, но вы должны заплатить за это! А они: как это заплатить? Помощь, которую мы предоставляем, нам же еще и оплачивать? Да, отвечает министр, таковы правила. Как же это вы собираетесь помогать таким образом, чтобы государство с этого ничего не имело? И здесь-то наша печать одновременно с министром поднимает голос, упрекая возмущенных благодетелей в том, что, прекратив помощь, они обрекли наш народ на жестокую нужду и голодную смерть, что они выступают против императора, вмешиваются в наши внутренние дела. А тем временем, дружище, разнесся слух, будто от голода умерло полмиллиона человек, что теперь наши газеты записали на позорный счет этих бесславных миссионеров и санитаров. И этот маневр, когда упомянутых альтруистов правительство наше обвинило в гибели народа от голода, господин Тэсфайе Гэбрэ-Ыгзи назвал успехом, что единодушно подхватили все наши газеты. И в самый разгар шумихи и писанины о новом успехе достопочтенный господин, покинув гостеприимный французский корабль, возвратился в столицу, приветствуемый, как всегда, смиренно и благодарно, и все же (да позволено будет мне ныне сказать) в этой покорности улавливалась уже известная неопределенность, какая-то смутная двусмысленность, некая, скажем так, пассивная непокорность, да и благодарность тоже не проявлялась уже рьяно, скорее сдержанно и безмолвно, да, конечно, благодарили, но как-то вяло и инертно, как-то неблагодарно-благодарственно! И на этот раз (а как же!), когда проезжал кортеж, люди падали ниц, но сколь непохоже это было на прежнее преклонение! Некогда, дружище, это было поклонение-падение, падение-уничижение, обращение в прах и пепел, преображение в тварь дрожащую, вся эта уличная чернь превращалась в ничто, простирала руки, молила о милосердии. А ныне? Разумеется, падали ниц, но выполнялось это как-то бесстрастно, сонно, как бы подневольно, по привычке, ради святого спокойствия, медленно, лениво, с явным отрицанием. Да, именно так, падали ниц, не одобряя, сомневаясь, своевольничая, мне казалось, что падали, а в глубине души продолжали стоять, как бы лежали, но мысленно продолжали сидеть, словно бы сама распростертая покорность, но в душе упорство. Возвратясь во дворец, достопочтенный господин выслушал донос министра торговли Кэтэмы Йифру, который обвинил министра финансов в том, что тот, установив высокие пошлины, вызвал задержку помощи голодающим. Однако наш всемогущий ни словом не попрекнул господина Йильму Дэреса, напротив, на лице монарха можно было заметить удовлетворение, поскольку наш господин всегда с неприязнью относился к такого рода помощи, ибо любая огласка, какой это сопровождалось, все эти вздохи, покачивание головой по поводу несчастных, страждущих от голода, искажали красивую и величественную картину империи, которая все-таки шла по пути ничем не омрачаемого прогресса, догоняя и даже обгоняя других. С этого момента никакая помощь, пожертвования больше не требовались. Этим голодающим достаточно уже того, что наш милостивый господин лично придал их судьбе первостепенное значение...

Д.:

Последний год! Но мог ли кто-нибудь тогда предвидеть, что этот семьдесят четвертый окажется последним нашим годом? Конечно, ощущалась какая-то туманность, печальная и мутная, какая-то бессобытийность. Даже некая ущербность, да и в воздухе что-то так тягостно, так нервозно — то напряжение, то ослабление, то просветление, то потемнение, но чтобы из этого так внезапно, прямо в бездну? И все? И все пошло прахом? И вот смотрите, а дворца-то и не видать. Ищете его — и не находите. Спрашиваете — и никто вам не скажет, где он. А началось все... вот именно, дело в том, что это столько раз начиналось, но никогда не кончалось, столько было начал и никакого завершающего финала, и благодаря этим незавершавшимся началам в душе родились привычка, утешение, что мы всегда выпутаемся, поднимемся на ноги и сохраним что имеем, ибо мы способны выдержать самое худшее. Но с этой привычкой в итоге произошла ошибка. И вот в январе упомянутого года генерал Бэллетэ Аббэбэ, отправившись в инспекционную поездку в Огаден, остановился в Годе, в тамошних казармах. Назавтра во дворец поступает неслыханное сообщение: генерал взят под стражу солдатами, которые заставляют его есть то, чем их кормят. Еда, несомненно, такая скверная, что генерал и впрямь может разболеться и умереть. Император направляет десантную гвардейскую часть, которая освобождает генерала и доставляет его в госпиталь.

После этого неприятного, достойного быть преданным забвению инцидента, указывающего на известную недисциплинированность армии (а у нас была самая большая армия в черной Африке, предмет нескрываемой гордости светлейшего господина), водворилось спокойствие, но ненадолго, через месяц во дворец поступает новое и столь же невероятное сообщение! А именно в южной провинции Сидамо, в гарнизоне Негелли, солдаты подняли мятеж и арестовали высших офицеров. Речь шла о том, что в этом тропическом селении пересохли солдатские колодцы, а офицеры запретили солдатам брать воду из своего колодца. От жажды у солдат помутилось в голове, и они подняли мятеж. Надо было бы бросить десант императорских гвардейцев и туда, чтобы они обуздали, укротили мятежников, но я напомню тебе, мой господин, что наступил этот страшный и непостижимый февраль, месяц, когда в самой столице начинают происходить столь неожиданные и угрожающие события, а потому все забыли о той разнузданной солдатне, которая в далеком Негелли, дорвавшись до офицерского колодца, опивается водой. Ибо пришлось приступить к подавлению бунта, который вспыхнул в непосредственной близости от нашего дворца. И какой же странной оказалась причина внезапного, охватившего улицу возбуждения! Достаточно было, что министр торговли повысил цены на бензин. В ответ таксисты сразу начали забастовку. Назавтра забастовали учителя. Одновременно на улицы выходят воспитанники технических училищ, которые нападают на городские автобусы и поджигают их, а я хочу напомнить, что автобусная компания являлась собственностью достойного господина. Полицейские пытаются ликвидировать эти эксцессы, схватывают пятерых учащихся и шутки ради сталкивают их с холма, открывая стрельбу по скатывающимся вниз мальчишкам, убивая троих и двоих тяжело раня. После этого события наступают судные дни, хаос, отчаяние, оскорбление власти. На демонстрацию солидарности выходят студенты, у которых в голове уже не занятия и не благочинное прилежание, а одно желание — всюду совать свой нос, занимаясь возмутительными происками. Теперь они прут прямо на дворец, поэтому полиция открывает огонь, пускает в ход дубинки, производит аресты, травит демонстрантов собаками — все напрасно, и вот, чтобы унять накал страстей, разрядить атмосферу, милосердный господин приказывает отменить повышение цен на бензин. Что толку, когда улица не желает успокоиться! Ко всему этому как гром с ясного неба поступает сообщение, что в Эритрее восстала Вторая дивизия. Восставшие захватывают Асмэру, арестовывают своего генерала, берут под стражу губернатора провинции и оглашают по радио безбожное воззвание. Мятежники требуют справедливости, повышения жалованья и похорон, какие пристали человеку. В Эритрее, мой господин, положение тяжелое, там армия ведет войну с партизанами, большие потери, поэтому издавна существовала проблема погребения: чтобы сократить большие военные расходы, право на захоронение распространялось только на офицеров, тела простых солдат оставляли на съедение гиенам и грифам, и именно это неравенство ныне явилось причиной мятежа. Назавтра к восставшим примыкает военно-морской флот, а его командующий, внук императора, бежит в Джибути. Но лавина, мой господин, продолжает расти: в тот же день восстают авиационные части, самолеты летают над городом, и ходят слухи, что они сбрасывают бомбы. Назавтра восстает наша самая крупная и надежная Четвертая дивизия, которая тотчас же окружает столицу, требует повысить жалованье, отдать под суд господ министров и других сановников, тех, кто, заявляют разгневанные солдаты, погрязли в коррупции и должны быть пригвождены к позорному столбу. Так как пламя мятежа охватило Четвертую дивизию, это означает, что огонь подступил к самому дворцу и надо срочно спасаться. В эту же ночь наш добрый господин объявляет о повышении жалованья, призывает солдат вернуться в казармы, соблюдать спокойствие и кротость. Сам же, желая придать двору более внушительный вид,

приказывает премьеру Аклилу[1] вместе с правительством подать в отставку. Одновременно господин наш назначил премьер-министром сановника Эндалькачоу, у которого была репутация просвещенного либерала и златоуста[2].

Н. Л-Е.:

Я тогда был титулярным советником отдела учета главного камергера двора. Смена кабинета прибавила нам работы: наш отдел контролировал выполнение императорских инструкций о принципе очередности и частоте упоминания имен отдельных сановников и нотаблей. Этим наш господин вынужден был заниматься лично, ибо каждый сановник жаждал, чтобы его упоминали всегда и притом возможно ближе к имени властелина, и постоянно возникали ссоры, рождались зависть, интриги по поводу того, кто, сколько раз и на каком месте упомянут, а кто нет. Упомяни меня, упомяни, говорит то один, то другой, и если тебе что-нибудь понадобится, рассчитывай на меня. А надо ли удивляться, что у нас возникал соблазн, упомянув того или другого сверх нормы, обрести высокого покровителя. Но риск был велик, так как противники вели взаимный учет, кто и сколько раз был поименован, и если подмечали перебор, тотчас спешили с доносом к достопочтенному господину, а тот или наказывал, или улаживал конфликт. Наконец, главный камергер велел завести на сановников формуляры упоминаний, чтобы фиксировать, сколько каждый из них был поименован, и составлять месячные отчеты, на основе которых достойный господин отдавал дополнительные распоряжения. Теперь нам предстояло изъять формуляры всего кабинета Аклилу и завести новую картотеку. Я же тотчас по смене кабинета оказался на улице, так как по непостижимой, но столь достойной наказания слепоте однажды не упомянул нового министра двора, господина Йоханныса Кидане, и тот так разгневался, что, несмотря на мои мольбы о милосердии, распорядился меня убрать.

март — апрель — май

С.:

Не надо тебе объяснять, дружище, что мы оказались жертвами дьявольского заговора. Если бы не это, дворец стоял бы еще тысячу лет, так как ни один дворец не рухнет сам по себе. Но теперь я знаю то, чего не знал вчера, когда мы неслись к гибели — в умопомрачении, слепоте, уверенности в своем могуществе не подозревая, что нас ожидает. А тем временем улица пребывала в непрерывном возбуждении. Все демонстрируют — студенты, рабочие, мусульмане,— все жаждут прав, бастуют, митингуют, поносят правительство. Приходит сообщение о восстании Третьей дивизии, расквартированной в Огадене. Теперь уже вся армия бунтует, восстает против власти, одна императорская гвардия еще сохраняет лояльность. Из-за этой оголтелой анархии и клеветнической агитации, затянувшихся сверх всякой меры, сановники во дворце начинают перешептываться, переглядываться, а в глазах — немой вопрос: что будет? что делать? Весь дворец, притихший, подавленный, шуршал шепотками. Здесь «шу-шу-шу», там «шу-шу-шу», никто и ничем не занимается, все только слоняются по коридорам, собираются в салонах и тайком что-то замышляют, митингуют, клянут народ. Ненависть, злоба, зависть, взаимная, все нарастающая, враждебность между дворцом и улицей отравляют все вокруг. Я сказал бы, что мало-помалу во дворце складываются три фракции. Первая — это сторонники решетки, ожесточенная и неуступчивая группировка, которая домогается установления порядка, требует арестовать смутьянов, упрятать за решетку бунтовщиков, пустить в ход дубинки и вешать. Эту фракцию возглавляет дочь императора — Тэнанье Уорк, шестидесятидвухлетняя дама, вечно озлобленная и остервенелая, постоянно попрекающая достопочтенного господина за его доброту. В другой фракции группируются сторонники застольных переговоров. Это группа либералов, людей слабых и вдобавок склонных пофилософствовать, которые считают необходимым пригласить бунтовщиков сесть за стол переговоров, выслушать, что они предлагают и что следует изменить и реформировать в империи. Здесь решающий голос принадлежит расу Микаэлю Имру, человеку широких взглядов, натуре, склонной к уступкам, сам он немало путешествовал по свету, знаком с развитыми странами. Наконец, третью фракцию составляют люди, которые отстаивают принцип пробки и которых, я сказал бы, во дворце большинство. Эти ни о чем не думают, но рассчитывают, что, подобно пробке на воде, их будет нести волна событий и что в конце концов все как-нибудь уладится и они благополучно доплывут до гостеприимной гавани. И когда уже двор разделился на людей решетки, стола и пробки, каждая группировка стала выдвигать свои доводы, но высказывать их во всеуслышание не решалась ибо светлейший господин не любил никаких фракций, потому что не терпел болтовни, нажима и всякого нарушающего спокойствие подстрекательства. Возникнув, эти фракции начали враждовать друг с другом, показывать коготки, размахивать руками, на короткий момент все во дворце ожило, возродилась былая бодрость — привычная атмосфера.

[1] Аклилу Хабтэ Уольд возглавлял правительство Эфиопии до 27 февраля 1974 года, когда был вынужден уйти в отставку в результате мощных выступлений трудящихся против императорского режима. Февральские события в Аддис-Абебе знаменовали собой начало антимонархической революции, приведшей к низложению Хайле Селассие в сентябре того же года.

[2] Эндалькачоу Мэконнын — премьер-министр с 28 февраля до июля 1974 года.

Л. С.:

В то время наш господин все с большим трудом поднимался со своего ложа. Он плохо спал или вообще всю ночь не смыкал глаз, а потом дремал в течение дня. Нам он ничего не говорил, даже за едой, в окружении семьи, впрочем, сам он уже почти ничего не ел, а также мало разговаривал, все чаще предпочитая отмалчиваться. Только в час доносов он оживлялся, так как его люди приносили теперь любопытные вести, сообщая, что в Четвертой дивизии возник тайный офицерский заговор. У заговорщиков есть свои агенты во всех гарнизонах и в полиции всей империи, но кто именно участвует в заговоре, этого доносчики сказать не могли, в столь глубокой тайне это тогда сохранялось. Достопочтенный господин, говорили позже доносчики, охотно выслушивал их, но никаких распоряжений не отдавал и, выслушивая, сам не задавал никаких вопросов. А когда наступила середина апреля, несмотря на беспрерывно продолжавшиеся уличные волнения, наш господин распорядился устроить во дворце торжество по случаю церемонии престолонаследия. В большом тронном зале собрались в ожидании сановники и нотабли, перешептываясь, кого же император назначит своим преемником. Это была новость, ибо всякие слушки и сплетни о наследовании прежде наш господин всегда осуждал и пресекал. Теперь же, пребывая в большом волнении, так что его прерывистый и тихий голос был едва слышен, всемилостивый господин объявил, что, учитывая свой преклонный возраст и все настойчивее доходящий до него зов господа нашего, после своей смерти назначает наследником престола собственного внука Зара Якоба. Этот двадцатилетний молодой человек учился в ту пору в Оксфорде, куда незадолго до того его направили, так как здесь он, ведя слишком свободный образ жизни, доставлял огорчения своему отцу, принцу Асфа Уосэну, единственному ныне сыну императора, навсегда, однако, скованному параличом и пребывавшему в женевской больнице. И хотя такова была воля о престолонаследии нашего господина, старые сановники и седовласые члены Совета короны начали шептаться и даже скрытно выражать свой протест, заявляя, что под началом такого молокососа они не будут служить, ибо это унизительно и оскорбительно для их почтенного возраста и многих заслуг. И тотчас стала формироваться фракция антинаследников, которая прикидывала, как бы посадить на престол императорскую дочь Тэнанье Уорк — ту самую даму, сторонницу решетки. Одновременно возникла и еще одна фракция, которая жаждала посадить на престол другого внука императора — раса Мэконнына, обучавшегося тогда в офицерской школе в Америке. Так вот, дружище, во время этих выплеснувшихся вдруг интриг, которые весь двор повергли в стихию такого ожесточения и сплетен, что никто уже и в мыслях не возвращался к тому, что происходит в империи или хотя бы на ближайших ко дворцу улицах, внезапно, как гром с ясного неба в город входят войска и ночью производят арест всех министров прежнего правительства Аклилу, за решеткой оказывается сам Аклилу, двадцать генералов и высших офицеров, известных своей безупречной преданностью императору. Еще никто не успел опомниться от такого невероятного события, как приходит известие, что заговорщики арестовали начальника генерального штаба, генерала Асэффу Айенэ, самого лояльного по отношению к императору человека, который сохранил ему трон во время декабрьских событий, уничтожив группу братьев Ныуай и разгромив императорскую гвардию. Дворец пребывает в состоянии смятения, тревоги, растерянности, подавленности. А уже начался май месяц, то есть крайний срок, чтобы привести к присяге кабинет Эндалькачоу Мэконнына. Однако имперский протокол уведомляет, что процедуру трудно будет осуществить, так как половина министров либо уже за решеткой, либо удрала за границу, либо во дворце ни разу не появлялась. Самого же премьера студенты оскорбляют, забрасывают каменьями — Эндалькачоу никогда не умел завоевывать благосклонность, сразу же после назначения на должность его как-то так разнесло, расперло изнутри, что он распух, раздался, взгляд его словно навсегда унесся вверх и затуманился настолько, что он никого уже не узнавал, никому не дозволял приблизиться к себе. Некая высшая сила вела его по коридорам, вводила в салоны, куда он входил и откуда выходил, недоступный, недостижимый. В общем, я не помню, состоялось ли это приведение к присяге, так как постоянно кого-нибудь из министров арестовывали. Тебе следует знать, друг, что хитрость наших заговорщиков была поразительной, ибо если они брали кого-нибудь под стражу, то немедленно заявляли, что делают это во имя императора, всячески подчеркивая свою преданность нашему господину, что доставляло ему огромную радость, ибо, если Тэнанье Уорк приходила к отцу жаловаться на армию, тот порицал ее, восхваляя верность и преданность своей армии, новое подтверждение чему он только что получил: в начале мая воины-ветераны провели перед дворцом демонстрацию преданности, провозглашая здравицы в честь достопочтенного господина, и достойный монарх вышел на балкон, благодаря армию за непоколебимую верность и желая ей дальнейшего благополучия и успехов.

июнь — июль

Ю. З-У.:

Во дворце подавленность, депрессия, тревожное ожидание, что будет завтра, но вдруг господин наш созывает советников, укоряет их, что они запустили

дело развития страны, и, устроив подобный разнос, провозглашает, что мы будем возводить плотины на Ниле[1]. Какие же плотины на Ниле возводить, глухо ворчат смущенные советники, когда в провинциях голод, народ возмущен, люди стола шепчут, что необходимо поправить дела в империи, офицерство плетет заговоры, нотаблей арестовывают. И сразу по коридорам поползли недовольные шепотки: дескать, лучше было бы поддержать наших голодающих, а от этих плотин отказаться. В ответ на подобные разговоры господин министр финансов поясняет, что, если возвести упомянутые плотины, это позволит дать воду на поля, в результате будет такой урожай, что не станет и голодающих. Так-то оно так, заявляют недовольные, но сколько лет потребуется на возведение плотин, а тем временем народ с голоду перемрет. Не перемрет, утешает министр финансов, если не вымер до сих пор, то и теперь выдержит. Однако эта идея настолько разъярила офицеров-заговорщиков, что императорский совет, созданный по распоряжению высокого господина для контроля за строительством этих плотин, они несколькими днями позже в полном составе упрятали за решетку, заявив, что в результате коррупция только усилилась бы, а народ обрекли бы на еще больший голод. Я же, однако, всегда считал, что поступок упомянутых офицеров должен был доставить нашему господину неприятность личного характера, поскольку он, чувствуя, что годы все сильнее гнетут его, хотел оставить после себя внушительный монумент, вызывающий всеобщее восхищение, так чтобы там, в далеком будущем, каждый, кому довелось бы добраться до императорских плотин, мог воскликнуть: смотрите-ка, только император способен был возвести такие диковины, целые горы посреди реки! А если бы, наоборот, он внял шепоту и ропоту недовольных, полагавших, что лучше накормить голодных, нежели возводить плотины, те, хотя и насытившись, все равно когда-нибудь умерли бы, не оставив никакого следа ни по самим себе, ни по нашему господину.

Он долгое время размышляет: подумывал ли император уже тогда о своем отречении? Ведь он назначил престолонаследника и распорядился приступить к постройке грандиозного памятника в виде этих плотин на Ниле (довольно расточительная идея в сравнении с другими неотложными нуждами империи). Он считает, однако, что здесь шла речь о чем-то другом. Назначив наследником престола юного внука, император тем самым хотел наказать своего сына за постыдную роль, какую он сыграл в декабрьских событиях шестидесятого года. Приказав строить плотины на Ниле, он намеревался засвидетельствовать перед всем светом, что империя растет и расцветает, а всяческие разговоры о нищете и коррупции — это только злобная болтовня противников монархии. В действительности, говорит мой собеседник, мысль о том, чтобы оставить престол, была совершенно чужда натуре императора, который рассматривал государство как свое собственное творение и верил, что вместе с его уходом страна рассыплется и погибнет. Так способен ли он был уничтожить дело рук своих? Наступил июнь, то есть месяц, когда заговорщики, окончательно закрепившись, возобновили свои ловкие набеги на дворец. Их дьявольская хитрость заключалась в том, что деструкцию системы они осуществляли с именем императора на устах, якобы выполняя его волю и послушно реализуя его замыслы. И теперь то же самое: провозглашая, что это делается именем императора, они создали комиссию по расследованию коррупции среди сановников, учитывая их персональные счета, земельные наделы и разного рода другие богатства. Придворные были в ужасе, поскольку в нищей стране, где источник благосостояния не прилежный труд, а чрезвычайные привилегии, ни у одного из сановников совесть не могла быть чистой. Самые трусливые намеревались удрать за границу, но военные закрыли аэродромы и запретили выезд из страны. Последовала новая волна арестов, каждую ночь исчезали люди дворца, двор все больше редел. Страшное волнение вызвала весть об аресте раса Асратэ Касы, который возглавлял Совет короны и был вторым после императора человеком в империи. За решеткой оказался и министр иностранных дел Мынасе Хайле, и более ста других сановников. В ту же пору армия захватила радиостанцию и впервые объявила, что движение обновления возглавляет Координационный комитет вооруженных сил и полиции[1], действующий, как они продолжали утверждать, от имени императора.

Ц.:

Весь мир, дружище, перевернулся кверху ногами, и это потому, что удивительные знамения появились на небе. Луна и Юпитер, замедлив свое движение в седьмом и двенадцатом пунктах, вместо того, чтобы склоняться в направлении треугольника, стали зловеще образовывать фигуру квадрата. По этой причине индусы, которые толковали небесные знамения при дворе, бежали из дворца, вероятно опасаясь вызвать гнев достопочтенного господина дурным

[1] Речь идет о планах построить плотину на Голубом Ниле, протекающем по территории Эфиопии. Англо-американские корпорации домогались концессии на строительство такой плотины еще в 20-е годы.

[1] Точнее: Координационный комитет вооруженных сил, полиции и территориальной армии (ККВС).

предсказанием. Но принцесса Тэнанье Уорк по-прежнему продолжала встречаться с этими индусами, ибо, возбужденная, бегала по дворцу, заклиная старого господина, чтобы он распорядился арестовывать и вешать. И остальные сторонники решетки тоже на этом настаивали и даже на коленях молили достопочтенного господина, призывая хватать заговорщиков и сажать за решетку. Зато как они были поражены и растеряны, когда увидели, что достойный господин начал постоянно появляться в военном мундире, позвякивая орденами, носить булаву, словно желая продемонстрировать, что он по-прежнему возглавляет свою армию и повелевает ею! Не важно, что эта армия настроена против дворца, да, это так, но под его водительством, преданная, лояльная армия, которая вершит все именем императора! Она взбунтовалась? Да, но взбунтовалась, сохраняя верность. В том-то и дело, дружище, достопочтенный господин хотел властвовать надо всем, даже если начался бунт, управлять им, хотя бы мятеж и был направлен против его собственной власти. Сторонники решетки ворчат, что какое-то умопомрачение нашло на нашего господина, ибо он не понимает, что, действуя таким образом, он проявляет заботу о своем собственном падении. Но милостивый господин, никому не внемля, принимает во дворце делегации этого комитета, который по-амхарски называется Дерг[1], запирается в своем кабинете, продолжая и далее заседать с заговорщиками!

Трудно ныне установить, о чем советовался с ними наш господин, но сразу же после этого последовали новые аресты, и дворец еще больше обезлюдел. За решетку посадили раса Месфына Шилеши, а это был влиятельнейший господин, имевший собственную армию, которую, однако, тотчас же разоружили. Арестовали раса Уорка Селассие, который владел необозримыми земельными угодиями. Посадили зятя императора — министра обороны, генерала Абийя Аббэбэ. Наконец за решеткой оказался премьер Эндалькачоу и несколько его министров. Теперь уже ежедневно кого-нибудь арестовывали, неизменно заявляя, что это делается именем императора. Дама — сторонница решетки — ходила к достопочтенному отцу, настаивая, чтобы тот проявлял твердость. Отец, взывала она, опомнись и выкажи твердость! Но, честно говоря, можно ли быть твердым в столь почтенном возрасте? Наш господин способен был только прибегнуть к своей добросердечности и продемонстрировал незаурядную мудрость, когда вместо того, чтобы пытаться твердостью сломить сопротивление, обнаружил скорее безмятежную мягкость, надеясь тем самым умиротворить заговорщиков. Теперь заговорщики все чаще являлись во дворец, а наш господин принимал их, выслушивал. Хвалил за лояльность, ободрял. Тем временем салоны, коридоры, галереи и внутренние дворы с каждым днем все больше пустели, но что-то никто не бросался защищать дворец. Никто не призывал закрыть ворота и взяться за оружие. Люди поглядывали друг на друга и думали: а может, его арестуют, а меня не тронут? А если я подниму шум против бунтовщиков, меня тотчас посадят, а других оставят в покое? Лучше сидеть тихо и ни о чем не знать. Лучше не прыгать, чтобы позже не плакать. Лучше не шуметь, чтобы позже не жалеть. Только изредка все являлись к господину, спрашивая, что же делать, а наш властелин выслушивал жалобы, ободрял и утешал. Позже, однако, все труднее становилось получить аудиенцию, так как почтенный господин, уже успев устать от выслушивания стольких сетований и бесконечных упреков, требований, доносов, охотнее всего принимал послов иностранных держав и всякого рода зарубежных корреспондентов, ибо они служили ему утешением, хваля его, успокаивая и подбадривая. Эти-то посланцы, а также заговорщики и были последними, с кем беседовал наш господин перед своим уходом, и все они в один голос утверждали, что лицезрели его в добром здравии и здравом уме.

Д.:

Немногие сторонники решетки, еще уцелевшие во дворце, слонялись по коридорам, призывая действовать. Хватит выжидать, твердили они, надо переходить в наступление, обуздать смутьянов, иначе все прахом пойдет. Но как перейти в наступление, когда весь двор пребывал в растерянности и смятении, какая уж тут сила, когда налицо полное бессилие, как можно слушать сторонников застольных переговоров, которые призывают к переменам, когда они умалчивают о том, что надо менять, да и откуда взять силы на это? Все перемены могли исходить только от монарха, диктоваться его согласием и поддержкой, иначе они рассматривались как измена и подлежали осуждению. Точно так же обстояло дело и со всеми привилегиями — только наш господин мог даровать их, а если кто чего недополучил из императорских рук, то сам этого был не в состоянии добиться. Поэтому придворные были встревожены: если нашего господина не станет, кто будет одаривать их милостями, приумножать их богатства? А так хотелось в этом нашем дворце, который был окружен и проклят, сломить общую пассивность, выдвинуть какую-нибудь достойную внимания идею, блеснуть остроумием, проявить жизнеспособность! Кто был еще в силах, бродил по коридорам, морщил лоб, вынашивал идею, напрягал ум; наконец родилась мысль отпраздновать юбилей! Поводом организовать пир для бедняков послужило то, мой друг, что господину нашему исполнилось восемьдесят два года, хотя студенты, которые принялись теперь копаться

[1] Организационно ККВС (сокращенно по-амхарски — «Дерг») оформился 28 июня 1974 года, после нескольких дней совещаний и дискуссий представителей армейских низов и революционного офицерства.

в каких-то старых архивах, тотчас подняли крик, что это не восьмидесятая, а девяносто вторая годовщина, ибо, галдели они, наш господин некогда поубавил себе лет. Но ядовитые студенческие реплики не могли отравить этого праздника, который господин министр информации, каким-то чудом еще оказавшийся на свободе, охарактеризовал как успех и наилучший пример гармонии и лояльности.

В тот день лил холодный дождь и стлался туман, когда господин наш вышел на балкон произнести тронную речь. Возле него на балконе стояла только промокшая горстка удрученных сановников, ибо остальные уже находились в тюрьме или удрали из столицы. Никакой толпы не было, лишь дворцовая прислуга и несколько солдат императорской гвардии, которые стояли у края зиявшего пустотой внушительного двора. Наш достопочтенный господин выразил сочувствие охваченным голодом провинциям и сказал, что использует любую возможность, чтобы империя могла и впредь успешно развиваться. Он также поблагодарил армию за лояльность, воздал должное своим подданным, ободрил и пожелал всем успехов. Но говорил он уже настолько тихо, что из-за шума дождя едва доносились отдельные слова. И знай, дружище, что все это я унесу с собой в могилу, ибо я постоянно слышу, как голос нашего господина все чаще прерывается, и вижу, как по его старческому лицу скатываются слезы. И в этот момент, да только в этот момент, я впервые подумал, что все уже на самом деле идет к концу. Что в этот дождливый день вся жизнь кончается и нас окутывает холодный, промозглый туман, а Луна и Юпитер, заняв седьмую и двенадцатую позиции, образуют фигуру квадрата.

На протяжении всего периода — а происходит это летом семьдесят четвертого года — продолжается большая игра двух искусных партнеров — седовласого императора и молодых офицеров из Дерга[1]. Со стороны офицеров — это охватывающий маневр, они стремятся окружить старого монарха в его собственном дворце-логове. А со стороны императора? У него — более тонкий план, но подождем, минуту спустя мы поймем его замысел. А остальные лица? Другие участники этой удивительной и драматической игры вовлечены в нее бегом событий, они немногое понимают из того, что происходит. Беспомощные, перепуганные сановники и фавориты мечутся по коридорам дворца. Вспомним, что дворец был прибежищем посредственностей, средоточием бездарностей, а такие в кризисные моменты всегда теряют голову, жаждут только спасти свою шкуру. Посредственности в такие минуты крайне опасны, ибо, чувствуя угрозу, они становятся беспощадными. Они ослеплены страхом и ненавистью, а к действиям их побуждают самые низменные инстинкты — подлость, крайний эгоизм, опасения потерять привилегии, подвергнуться осуждению. Диалог с этими людьми невозможен и бесполезен. Вот против этих обитателей дворца выступила группа молодых офицеров — смышленых, интеллигентных людей, достойных и горячих патриотов, которые понимали, насколько страшны положение Эфиопии, тупость и бессилие элиты, видели коррупцию и деморализацию, нищету и унизительную зависимость страны от более могущественных держав. Будучи сами частью императорской армии, они принадлежали к нижним слоям этой элиты, они пользовались благами, поэтому на борьбу их толкала не нищета, которая их непосредственно не коснулась, но укоры совести и чувство моральной ответственности. Они были вооружены и хотели использовать оружие с максимальным успехом. Подпольная группа зародилась в штабе Четвертой дивизии, ее казармы были расположены в предместьях Аддис-Абебы, впрочем достаточно близко от императорского дворца. Долгое время заговорщики функционировали в условиях глубочайшей конспирации — даже ничтожная, содержащая лишь намек, утечка информации могла вызвать репрессии и казни. Постепенно в подпольную деятельность оказались вовлеченными и другие гарнизоны, а позже и полицейские силы. Событием, ускорившим конфронтацию армии с дворцом, была голодная трагедия в северных провинциях страны. Причиной массовой гибели от голода у нас принято считать периодически наступающую засуху и — как следствие — неурожай. Эту точку зрения отстаивали представители государственной элиты подверженных голоду стран. Такое мнение ошибочно. Чаще всего к голоду приводит несправедливое или неверное распределение национальных ресурсов и богатств. В Эфиопии имелись немалые зерновые запасы, но богачи их припрятали, а затем выбросили на рынок по удвоенным ценам, недоступным для крестьянства и городской бедноты. Известны цифры: сотни тысяч человек погибли рядом с доверху набитыми зернохранилищами. Многих еще живых людей-скелетов по приказу местных нотаблей добивала полиция. Это положение — торжество вопиющего зла, неслыханной абсурдности — явилось сигналом для выступления офицеров-заговорщиков. К мятежу поочередно примкнули все дивизии, а ведь именно армия служила оплотом императорской власти. После непродолжительного шока, растерянности и колебания Хайле Селассие отдает себе отчет в том, что теря-

[1] К июлю 1974 года император де-факто лишился абсолютной власти. Его ставленник Эндалькачоу Мэконнын был вынужден уйти с поста премьер-министра. 3 июля под нажимом ККВС было сформировано новое правительство во главе с Микаэлем Имру. Наступил период двоевластия.

ет важнейшее орудие всего владычества. Первоначально пребывавшая в подполье и никому не ведомая группа Дерг действовала вслепую, она и сама не представляла, какое количество военнослужащих ее поддержит. Заговорщикам приходилось соблюдать осторожность, продвигаться тайком, скрыто, шаг за шагом. Их поддерживали рабочие и студенты — это существенный момент, но большинство генералов и высших офицеров были против заговорщиков, и генералитет продолжал командовать, отдавать приказы. Шаг за шагом — вот тактика этой революции, продиктованная сложившейся ситуацией. Если бы заговорщики выступили открыто и сразу, дезориентированная часть армии, не понимая, о чем идет речь, могла не только не поддержать, но и ликвидировать их. Повторилась бы драма шестидесятого года, когда военные перестреляли друг друга, благодаря чему дворец просуществовал еще тринадцать лет. Впрочем, в самой организации Дерг не было единства, да, все сходятся на том, чтобы ликвидировать дворец, жаждут сменить анахроничную, изжившую себя, беспомощно прозябающую систему, но продолжались споры, как поступить с императором. Император сотворил вокруг себя легенду, сила и жизнеспособность которой не поддаются проверке. Легенду о личности, пользовавшейся любовью и уважением во всем мире. Вдобавок он считался главой церкви[1]. Избранником бога, властителем душ. Поднять на него руку? Это всегда кончалось анафемой и виселицей. Заговорщики в самом деле были смелыми, а в известной мере даже отчаянно смелыми людьми, поскольку впоследствии, предаваясь воспоминаниям, признавались, что, решив выступить против императора, не верили в собственный успех. Не исключено, что Хайле Селассие было известно о сомнениях и расхождениях, которые раздирали Дерг, в конце концов он располагал услугами чрезвычайно разветвленной разведки.

Возможно, он действовал чисто интуитивно, руководствуясь своим изощренным чутьем тактика и богатейшим опытом. А если дело обстояло поиному? Если у него просто не было сил для дальнейшей борьбы? Думается, он единственный во всем дворце понимал, что уже не способен противостоять той волне, которая сейчас взметнулась. Все пошло прахом, он не властен что-либо предпринять. И он идет на уступки, более того, перестает управлять страной. Создает только видимость своего присутствия, но ближайшее окружение знает, что в действительности он ни к чему не причастен, ничем не занимается. Эта бездеятельность сбивает с толку приближенных, они теряются в догадках. То одна, то другая фракция представляет ему свои доводы, противоречащие один другому, при этом он с одинаковым вниманием всех выслушивает, поддакивает, всех хвалит, утешает, ободряет. Благородный, далекий, замкнутый, отстраненный, словно бы пребывающий уже в другом измерении и времени, он позволяет событиям двигаться своим чередом. То ли он намерен оставаться над схваткой, чтобы уступить дорогу новым силам, остановить которые бессилен? Или рассчитывает, что за эту помощь заговорщики позже уважат и признают его? Однако, оказавшись в одиночестве, этот стоящий одной ногой в могиле старик опасности уже не представляет. Итак, он намерен остаться? Уцелеть? Пока что заговорщики начинают по мелочам его провоцировать: арестовывают по обвинению в коррупции нескольких снятых со своих постов министров кабинета Аклилу. В тревоге они ждут реакции императора. Но Хайле Селассие хранит молчание. Это означает, что маневр удался, первый шаг сделан. Осмелев, идут дальше — отныне тактика постепенного демонтирования элиты, медленного, но скрупулезного опустошения дворца, приведена в движение. Сановники, нотабли исчезают один за другим — беспомощные, безвольные, ждущие своей очереди. Позже все они встретятся в помещении гауптвахты Четвертой дивизии, в этом новом, своеобразном, неуютном антидворце. Возле казарменных ворот, прямо у проложенных здесь железнодорожных путей на линии Аддис-Абеба — Джибути, вытянулась очередь элегантнейших лимузинов — это ошеломленные и потрясенные жены и сестры аристократов, министров, генералов привозят своим находящимся здесь под стражей мужьям, а также братьям — узникам нарождающегося строя,— еду и одежду. Это зрелище созерцает толпа взволнованных и обалделых зевак, ибо улица еще не знает, что́ на самом деле происходит, до нее это еще не дошло. Император постоянно пребывает во дворце, а офицеры по-прежнему совещаются в штабе дивизии, обдумывая очередные действия. Большая игра продолжается, но близится ее последний акт.

август — сентябрь

М. У-Й.:

И вот в атмосфере всеобщей подавленности, затхлости, которая царила во дворце, погружая придворных в состояние безысходной скорби, неожиданно прибыли шведские врачи, приглашенные несравненным господином из Европы значительно раньше, но по какой-то непостижимой медлительности объявившиеся только теперь, чтобы проводить с нашими придворными занятия гимнастикой. И не забудь, дружище, что в оный момент все уже пошло прахом, а те из

[1] Официально главой эфиопской церкви является абуна (букв.— отец наш, митрополит). В то время абуна Теуофлос.

свиты, кто еще не угодил за решетку, и так не знали ни дня, ни часа своего и только бочком, затаясь, проскальзывали по коридорам, чтобы не попасть на глаза офицерам, ибо те тотчас хватали, заключали под стражу, не позволяя никому ускользнуть. А здесь — на тебе, в разгар этой облавы и погони за людьми, будь добр, являйся на занятия гимнастикой! Кому сейчас в голову полезет какая-то гимнастика, восклицают сторонники застольных переговоров, когда это последняя минута для того, чтобы сесть за стол, империю улучшать, совершенствовать, облагораживать! Но такова была некогда воля нашего господина, да и всего Совета короны, чтобы придворные в первую очередь пеклись о своем здоровье, щедро пользуясь благами природы, сколько необходимо в комфорте и достатке отдыхали, чистый, а лучше всего заграничный воздух вдыхая. Экономить средства из государственной казны на эти цели добросердечный господин запретил, неоднократно подчеркивая, что жизнь придворных — это самое главное богатство империи и высочайшая ценность монархии. И декрет, в котором он обязывал также и гимнастикой заниматься, наш господин обнародовал уже давно, а поскольку никакой отмены приказа ввиду воцарившейся неразберихи и возрастающего психоза не последовало, пришлось теперь нам — последней оставшейся во дворце группе, утром являться на гимнастику и, пошевеливая руками и ногами, величайшее государственное достояние к гибкости и ловкости движений понуждать. Видя, что наперекор дерзким захватчикам, не спеша овладевающим дворцом, гимнастика делает успехи, господин министр информации объявил это достижением и надежным свидетельством нерушимого единства нашего двора. А в упомянутом декрете еще было сказано, что если кто-либо, выполняя руководящие обязанности, хотя бы несколько переутомится, он немедленно должен сделать передышку, отправиться в удобные и уединенные края и там, делая вдохи и выдохи, расслабиться и даже, надев одежду поскромнее и опростившись, слиться с самой природой. Кто же по рассеянности или хотя бы из служебного усердия пренебрегал отдыхом такого рода — того достопочтенный господин укорял, да и другие придворные напоминали, чтобы он не растрачивал богатства империи и берег ценнейшее национальное достояние. Хотя можно ли было сегодня слиться с природой и воспользоваться передышкой, когда офицеры никого не выпускали из дворца, если же кто-нибудь украдкой удирал домой, его караулили там и направляли в тюрьму?

Но самые огорчительные последствия упомянутой гимнастики состояли в том, что, когда группа придворных собиралась в каком-нибудь салоне и там руками-ногами размахивала, туда врывались заговорщики и всех сажали за решетку. Их дни сочтены, а они гимнастикой занимаются!— смеялись офицеры, позволяя себе столь дерзкое зубоскальство. И это являлось лучшим доказательством того, что для господ офицеров ничего святого не существует и что они действуют вопреки благу империи, чем возбудили беспокойство даже у шведских врачей, поскольку они потеряли контракты, хотя вместе с тем были довольны, что сумеют благополучно унести ноги. А чтобы бунтовщики не могли схватить всех разом, главный церемониймейстер двора придумал ловкий ход, приказав заниматься гимнастикой только малыми группами, тем самым, если сцапают одних, другие уцелеют и, пережив самое худшее, удержат дворец в своих руках. Однако, дорогой друг, даже этот предусмотрительный и хитрый маневр в конечном счете мало помог, ибо бунтовщики все более наглели, ожесточенно атакуя наш дворец и с чрезвычайной яростью его утесняя. Дело в том, что наступил август, и, следовательно, это были последние недели господства нашего властелина. Трудно сказать, в какой момент наступает переход от всемогущества к бессилию, от благополучия к его противоположности, от блеска к заплесневению. Никто во дворце не в состоянии был этого заметить, ибо у каждого зрение было как-то так устроено, что до самого конца он продолжал видеть в бессилии всесилие, в противоречиях — успех, в заплесневении — блеск. Но даже если бы кто-то и воспринимал по-иному, как бы он смог без риска потерять голову припасть к стопам нашего монарха и воскликнуть: господин мой, ты утратил могущество, погряз в противоречиях, покрылся плесенью! Да, трагедия этого дворца заключалась в том, что он препятствовал доступу правды, а позже, не успели там люди разобраться что к чему, их уже упрятали за решетку! И это потому, дружище, что в каждом из нас все было удобным образом отгорожено, разграничено — зрение от мысли, мысль от речи, и в самом человеке не было такой точки, где бы эти сущности могли слиться воедино, отозвавшись голосом, который был бы услышан. Но на мой взгляд, друг, наши несчастья начались с того момента, когда несравненный господин разрешил студентам собраться на этом показе моды, тем самым дав им возможность собрать толпу и начать демонстрацию, которая и послужила толчком к этому бунтарскому движению. Тут корень всех ошибок: ничего подобного нельзя было допускать, ибо наше спасение — в полной неподвижности, и чем она основательнее, тем продолжительнее и прочнее наше существование. И подобное поведение нашего господина казалось странным: он лучше других знал эту истину, о чем можно судить хотя бы по тому, что его любимым камнем являлся мрамор. А ведь именно мрамор, с его безмолвной, застывшей поверхностью, с трудом поддающейся полировке, выражал мечту достойного господина о том, чтобы все вокруг было столь же неподвижно и молчаливо, одинаково гладко, плотно пригнано, установлено и закреплено на века, олицетворяя собой идею величия.

А. Г.:

Вам, должно быть, известно, мистер Ричард, что тогда, в начале августа, внутренняя обстановка дворца утратила все свое величие и вызывающее почтение достоинство. Воцарилась такая неразбериха, что последние уцелевшие служащие церемониала не в состоянии были навести порядок. Причиной этой бестолковщины явилось то, что двор сделался последним прибежищем сановников и нотаблей, которые устремились сюда со всей столицы и даже со всех концов империи, надеясь, что рядом с нашим господином им будет безопаснее, что император их спасет, исхлопочет им у дерзких военных свободу. Ныне уже без всякого уважения к своим должностям и званиям сановники и фавориты разных рангов, уровней и степеней вповалку спали на коврах, на диванах и в креслах, укрываясь портьерами и шторами, отчего возникали постоянные ссоры и дрязги, так как одни господа не разрешали стягивать с окон занавеси, заявляя, что дворец необходимо затемнять, иначе взбунтовавшаяся авиация забросает всех бомбами, но другие гневно возражали, что они не могут уснуть, не укрывшись, а надо признаться, что ночи стояли необычайно холодные, поэтому, несмотря ни на что, срывали шторы и в них закутывались. Однако эти взаимные раздоры и колкости были излишни, так как офицеры всех мирили, отправляя в тюрьму, где сварливые сановники вообще не могли рассчитывать чем-нибудь укрыться. Утром ежедневно патрульные Четвертой дивизии приезжали во дворец, восставшие офицеры выходили из машин и в Тронном зале проводили сбор сановников. Сбор сановников! Сбор сановников в Тронном зале! — разносился по коридорам зов служащих церемониала, которые уже тогда раболепствовали перед офицерами. По этому призыву часть сановников пряталась по углам, но остальные, завернувшись в гардины и шторы, являлись на место сбора. Тогда господа офицеры зачитывали список и поименованных уводили в тюрьму. Надо признать, мистер Ричард, что наш несравненный господин, ныне всегда облаченный в парадный церемониальный, а подчас походный, полевой мундир, в котором он обычно наблюдал за маневрами, появлялся в салонах, где осоевшие, павшие духом сановники лежали на коврах, сидели на диванах, вопрошая друг друга, что их ждет, когда закончится ожидание, и там он их утешал, благословлял, желал успеха, заявляя, что придает их судьбам первостепенное значение и персонально о каждом из них позаботится. Однако, если в коридоре ему встречался офицерский патруль, он благословлял и офицеров, желал им успехов и благодарил армию за проявляемую по отношению к нему лояльность, указывая, что дела армии — это предмет его личной заботы. На это сторонники решетки со злобой и язвительностью нашептывали нашему господину, что офицеров надо вешать, так как они погубили империю, что́ император тоже со вниманием выслушивал, благословлял, желал успехов и благодарил за лояльность, подчеркивая, как высоко он их ценит. И эту неистощимую энергию достопочтенного господина, посредством которой он укреплял всеобщее благополучие, никогда не скупясь на советы и указания, министр Тэсфайе Гэбрэ-Ыгзи охарактеризовал как успех, видя в этом свидетельство жизнестойкости нашей монархии.

Увы, оной всеуспешностью господин министр до того прогневал офицеров, что те упрятали и его за решетку, не позволив ему больше говорить. Признаюсь вам, мистер Ричард, что для меня, как чиновника министерства снабжения дворца, в тот последний месяц настали самые черные дни, ибо невозможно было определить персональный состав придворных: численность сановников ежедневно менялась — одни прибывали, проскальзывая во дворец в расчете на спасение, других офицеры направляли в тюрьму, а часто бывало и так, что кто-нибудь, проникнув сюда ночью, днем уже отправлялся за решетку, поэтому я не знал, сколько брать продуктов со склада, так что подчас блюд не хватало, и господа сановники закатывали скандал, заявляя, что министерство якобы вступило в сговор с мятежниками, намереваясь уморить их голодом, а если блюд оказывалось в избытке, меня попрекали офицеры, что при дворе царит дух расточительства, и я даже намеревался подать в отставку, однако идти на такой шаг не потребовалось: всех нас из дворца и так погнали.

Й. Й.:

Нас оставалась только горстка ожидающих окончательного и сурового приговора, когда — хвала господу — появился проблеск надежды в лице господ юристов, подготовивших наконец после длительных совещаний поправку к Конституции и явившихся к нашему господину с этим проектом, суть которого сводилась к тому, чтобы самодержавную нашу империю преобразовать в конституционную монархию, создать сильное правительство, а достопочтенному господину предоставить власть в таких масштабах, какими наделены ею английские короли. Тотчас же достойные господа принялись за чтение проекта, разбившись на небольшие группы и уединившись в укромных уголках, ибо если бы офицеры заметили большую группу, то отправили бы ее под арест. Увы, дружище, ознакомившись с этим проектом, сторонники решетки сразу образовали оппозицию, заявив, что необходимо сохранить абсолютистскую монархию и всю полноту власти, какая в провинциях предоставлялась нотаблям, а эти измышления о конституционной монархии, позаимствованные в обанкротившейся Британской империи, следует швырнуть в огонь. Однако в этот момент приверженцы застольных переговоров накинулись

на сторонников решетки, заявляя, что это последняя минута, когда возможно конституционным путем реставрировать империю, усовершенствовать и сделать более сносным государственный механизм. И так, переругиваясь друг с другом, они направились к достопочтенному господину, который как раз принимал делегацию юристов, в детали их проекта с пристальным вниманием вникал, высоко оценивал эту идею, а затем, выслушав возражения защитников решетки и лестные оценки сторонников застольных переговоров, всех похвалил, благословил и пожелал успехов. Однако кто-то уже успел донести об этом офицерам, ибо едва юристы покинули кабинет светлейшего господина, как тотчас же наткнулись на военных, которые отняли у них проект, велев им отправляться по домам и больше во дворце не показываться. И странным выглядело это внутридворцовое бытие, словно бы существовавшее само по себе и для себя лишь созданное...

Е.:

Последние дни император пребывал во дворце уже в полном одиночестве, офицеры оставили при нем только старого камердинера. Видимо, в организации Дерг одержала верх та группировка, которая жаждала ликвидировать дворец и вынудить императора отречься от престола. Никто не знал тогда имен этих офицеров, они не предавались огласке, офицеры до самого конца продолжали действовать в условиях полной конспирации. Только теперь поговаривают, что возглавил эту группу молодой майор Менгисту Хайле Мариам. Были там и другие офицеры, но их уже нет в живых. Я помню, как этот человек приезжал во дворец еще в звании капитана. Его мать была во дворце прислугой. Я не знаю, кто помог ему окончить офицерскую школу. Сухощавый, небольшого роста, внешне всегда подтянутый, он недурно владел собой, во всяком случае производил такое впечатление. Он великолепно знал структуру двора, точно представлял, кто есть кто, кого и когда следует взять под стражу, чтобы дворец перестал функционировать, чтобы утратил власть и силу, превратившись в пустой макет, который, как нетрудно ныне заметить, стоит покинутый и ветшает. Где-то в первых днях августа в Дерге должны были принять окончательное решение. Военный комитет (то есть этот самый Дерг) состоял из ста двадцати человек, избранных на общедивизионных и гарнизонных собраниях. Комитет располагал списком из пятисот сановников и придворных, которых поочередно арестовывали, создавая вокруг императора все больший вакуум, так что в конце концов во дворце он остался один. Последнюю группу, уже из ближайшего императорского окружения, взяли под стражу в середине августа. Тогда забрали начальника личной охраны императора, полковника Тасоу Уайо, адъютанта нашего монарха — генерала Асэффу Дэмиссе, командующего императорской гвардией генерала Тадэссэ Лемму, личного секретаря Хайле Селассие — Сэломона Гэбрэ-Мариама, премьера Эндалькачоу, министра высочайших привилегий — Адмасу Рэтте и, может, еще десятка два других. Одновременно был распущен Совет короны и другие институты, непосредственно подчиненные императору. С этого момента начали тщательную ревизию всех дворцовых учреждений. Самые компрометирующие документы обнаружили в ведомстве высочайших привилегий, проблема оказалась тем проще, что Адмасу Рэтта сам чрезвычайно рьяно принялся всех закладывать. Некогда привилегии распределял персонально монарх, но по мере прогрессирующего упадка империи среди нотаблей так возросло стремление разжиться, урвать, что Хайле Селассие не мог уже лично со всем управиться и часть полномочий по раздаче привилегий передоверил Адмасу Рэтта. Тот, однако, не обладая такой феноменальной, как у императора памятью, вел подробный учет раздачи земельных наделов, домов, предприятий, валюты и всяких прочих благ, дарованных сановникам. Все эти списки оказались теперь в руках военных, которые, опубликовав столь компрометирующие документы, развернули широкую пропагандистскую кампанию по поводу коррупции, процветавшей при дворе. Этим они разбудили гнев и ненависть населения, начались демонстрации, чернь требовала вешать, возникла грозовая , апокалипсическая атмосфера. И получилось очень кстати, что в конечном счете военные всех нас выставили из дворца, возможно я и уцелел только благодаря этому.

Труднее всего оказалось отыскать того человека, который, столь же старый, как и его господин, ныне живет в полнейшем забвении: большинство из тех, кого я расспрашивал о нем, пожимали плечами, утверждая, что он давно умер. Он служил императору до последнего дня, до того самого момента, когда военные увезли монарха из дворца, а ему велели, собрав свои пожитки, отправляться домой. Во второй половине августа офицеры задерживают последних людей из окружения Хайле Селассие. Императора в тот момент они еще не трогают, им требуется время, чтобы подготовить к этому общественное мнение: столица должна осознать, почему устраняют монарха. Офицеры отдают себе отчет, что́ такое магический характер народного сознания и какими опасностями чревато низложение. Магический характер подобного сознания состоит в том, что высочайшее лицо часто подсознательно наделяют отличительными сверхъестественными признаками. Высочайшая особа — лучшая, мудрейшая и благороднейшая, непорочная и милосердная. Это сановники плохие, они одни — причина всех бед. Да если бы высочайшая

особа только знала, что творят его приближенные, она тотчас бы исправила зло, жизнь сразу стала бы лучше! Увы, эти ловкие негодяи все скрывают от своего господина, и поэтому вокруг столько мерзости, а жизнь так невыносима, жалка и безрадостна. Магический характер этого мышления состоит в том, что в действительности при господстве самовластья именно эта высочайшая особа — главная причина всего происходящего. Самодержец великолепно знает обо всем, а даже если чего-то и не знает, то только потому, что не желает знать, ибо ему это невыгодно. Вовсе не случайно в окружении императора в большинстве своем были низкие и ничтожные люди. Подлость и ничтожество служили условием возвышения; согласно этому критерию, монарх подбирал своих фаворитов, за это награждая и одаривая их различными благами. Ни один шаг не был сделан, ни одно слово не было произнесено без его ведома и согласия. Все говорили его словами, даже если говорили по-разному, ибо он и сам не повторял одного и того же. Да и не могло быть иначе, ибо непременным условием приближения к особе императора было сотворение его культа; кто в этом не проявлял активности и терял усердие — терял и место, выбывал из игры, исчезал. Хайле Селассие жил в царстве своих отражений, его свита состояла из размноженных отражений монарха. Что представляли собой господа Аклилу, Тэсфайе Гэбрэ-Ыгзи, Адмасу Рэтта, помимо того, что они были министрами Хайле Селассие? Они были ничем, кроме того, что являлись министрами Хайле Селассие. Но именно такие люди и требовались императору, только они были в состоянии удовлетворить его тщеславие, его любование самим собой, его страсть к игре и позерству, к жесту и возвеличению.

И вот теперь офицеры один на один сходятся с императором, оказываются с ним с глазу на глаз, начинается последний поединок. Наступила минута, когда всем надлежит уже сбросить маски и показать свое лицо. Этому сопутствует беспокойство и напряженность, ибо между сторонами устанавливается новая система отношений, они вступают в неведомую ситуацию. Императору уже нечего терять, но он еще способен защищаться, защищаться своей беззащитностью, бездействием, одним тем, кем он является в силу своего пребывания во дворце, а кроме того, и тем, что оказывал немаловажную поддержку мятежникам — разве он не молчал, когда они заявляли, что вершат революцию именем императора? Он никогда не опровергал сказанного ими, не заявлял, что это ложь, а ведь именно подобная комедия лояльности, какую месяцами разыгрывали военные, так кардинально упростила им задачу. Офицеры, однако, решают идти дальше, до конца — они желают развенчать божество.

В таком обществе, как эфиопское, до крайности задавленном нуждой, бедностью и заботами, ничто не способно возбудить больший гнев, возмущение и ненависть, нежели картина коррупции и привилегий элиты. Даже самое бездарное и ничтожное правительство, сохрани оно спартанский образ жизни, могло бы просуществовать долгие годы, пользуясь народным признанием. Ведь в сущности народ, как правило, относится ко дворцу добродушно и снисходительно. Но любая снисходительность имеет границы, которые дворец в своем самодовольстве и расточительстве легко и часто переступал. И тогда улица неожиданно вместо послушной становится непокорной, из терпеливой превращается в бунтарскую. Но вот наступает момент, когда офицеры принимают решение развенчать царя царей, вывернуть его карманы, открыть и показать людям скрытые тайники в кабинете императора. В это самое время седовласый Хайле Селассие, который пребывает во все более прочной изоляции, бродит по вымершему дворцу в сопровождении своего комердинера Л. М.

Л. М.:

И вот, благодетель, уже когда брали последних господ сановников, из разных закутков их извлекая и в грузовик приглашая, один из офицеров говорит мне, чтобы я с достопочтенным господином остался и, как всегда бывало, всяческие услуги ему оказывал, и, проговорив это, вместе с остальными офицерами уехал. Я тотчас же отправился в высочайший кабинет, чтобы выслушать волю моего всевластного господина, но я никого там не застал и последовал дальше по коридорам, раздумывая, куда мог уйти мой господин, и вижу, что он стоит в главном зале, предназначенном для приветственных речей, и наблюдает за тем, как солдаты его императорской гвардии укладывают свои вещмешки и узлы, собираясь уходить. А как же это так, думаю я, они уходят совсем, оставляя нашего господина на произвол судьбы в то время, когда в городе разгул всякого бандитизма и анархии. И тогда я спрашиваю их, а вы как, благодетели, совсем уходите? Совсем, отвечают, но возле ворот пост остается, чтобы, если какой-нибудь господин сановник попытался проникнуть во дворец, его схватить. И вижу я, как достойный господин стоит, смотрит и молчит. Тогда они, поклон господину нашему отвесив, со своими мешками удаляются, а сиятельный господин, продолжая молчать, глядит им вслед, и потом, ни слова не сказав, удаляется в свой кабинет.

Увы, рассказ Л. М. бессвязен, старик не в состоянии свести свои обра-

зы, переживания и впечатления в единое целое. Пусть отец попытается припомнить поточнее! — настаивает Тэфэрра Гэбрэуольд. (Он называет Л. М. отцом, принимая во внимание его возраст, а не их родство.) Итак, Л. М. запомнил, например, следующую сценку: как-то он застал императора стоящим в салоне возле окна. Подошел ближе и также поглядел в окно: увидел, что в дворцовом саду пасутся коровы. Видимо, город уже облетела весть, что дворец запрут, и пастухи осмелели, загнали коров в сад. Кто-то должен был им сказать, что император уже потерял свою силу и можно распоряжаться его имуществом, во всяком случае его дворцовой травой, которая стала народным достоянием. Император предавался теперь длительным медитациям («этому индусы его когда-то обучали, велели стоять на одной ноге и даже дышать запрещали, а глаза требовали зажмурить»). Неподвижный, он целыми часами предавался медитациям в своем кабинете (предавался медитациям, задумывается камердинер, а может, дремал). Л. М. не смел входить и нарушать его покой. Все еще продолжался сезон дождей, целыми днями лило не переставая, деревья утопали в воде, утра были туманными, ночи холодными. Хайле Селассие продолжал ходить в мундире, на который накидывал теплую шерстяную пелерину. Поднимались, как раньше, как долгие годы подряд,— на рассвете и направлялись в дворцовую часовню, где Л. М. читал вслух каждый раз разные отрывки из Книги Псалмов: «Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютою ненавистью они ненавидят меня». «Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои». «Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка, а помощника нет». Потом Хайле Селассие направлялся в свой кабинет, садился за громадный письменный стол, на котором находилось десятка полтора телефонов. Но все они молчали, возможно были отключены. Л. М. располагался возле двери и ждал, не раздастся ли звонок, призывающий его в кабинет, чтобы исполнить какое-либо распоряжение монарха.

Л. М.:

И вот, благодетель, в оные дни только господа офицеры совершали разного рода набеги, сначала являлись ко мне, чтобы об их приходе достойному господину доложить, потом в кабинет входили, а там наш господин их в кресла поудобнее усаживал. Эти-то офицеры сразу же воззвание зачитывали, в котором домогались, чтобы щедрый господин раздал деньги, которые, заявляли они, незаконно на протяжении пятидесяти лет присваивал, по разным банкам во многих странах мира их помещая, а также укрыв их как в самом дворце, так и в домах сановников и нотаблей. И это, провозглашали они, все необходимо вернуть, ибо это — достояние народа, которое нажито его кровью и потом. Какие там деньги, говорит доброжелательный господин, у нас денег не было, все шло на развитие страны, с тем чтобы догонять и обгонять других, ведь развитие служило стимулом прогресса. Какое там развитие, отзываются офицеры, это пустая демагогия, дымовая завеса, говорят они, чтобы придворные могли обогащаться! И тотчас же встают с кресел, поднимая с полу персидский ковер, а там под ним уложенные плотными рядами пачки долларов, так что пол казался выкрашенным в зеленый цвет. Эти доллары они немедленно в присутствии достопочтенного господина приказали сержантам пересчитать и составить опись, чтобы их национализировать. Скоро, однако, они убрались восвояси, и тогда наш достопочтенный господин позвал меня в кабинет и велел мне те деньги, которые он держал в ящике стола, рассовать между страницами книг. А я должен сказать, что господин наш, будучи потомком царя Соломона, являлся обладателем богатейшей коллекции различных изданий Библии, переведенной на разные языки мира, и в них мы эти деньги упрятали. Однако господа офицеры — о-о-о!— это были сообразительные шкуродеры! Назавтра они являются, зачитывают обращение, требуют возврата денег, ибо, как утверждают они, необходимо купить муку для голодающих. Но наш господин, за столом сидя, молчит, пустые ящики стола им показывает. В ответ на это офицеры вскакивают со своих мест, открывают книжные шкафы, из каждой Библии доллары вытряхивают, а сержанты ведут подсчет и регистрируют купюры, чтобы их национализировать. Но этого мало, говорят офицеры, надо вернуть остальные средства, особенно те, что находятся на личных счетах нашего господина в английских и швейцарских банках на общую сумму полмиллиарда долларов, а возможно, и больше. При этом они побуждают добросердечного господина, чтобы он подписал нужные чеки и таким образом, говорят, эти деньги должны быть возвращены народу.

А откуда взялась такая уйма денег, интересуется достопочтенный господин, если он посылал гроши на лечение сына, пребывающего в одной из швейцарских клиник. Хороши гроши, отвечают они и уже вслух зачитывают письмо из посольства Швейцарии, в котором сообщается, что на счету нашего щедрого господина в тамошних банках сто миллионов долларов. Они ссорятся до тех пор, пока в конце концов достойный господин не погружается в медитацию, закрывает глаза, перестает дышать, тогда офицеры удаляются из кабинета, обещая, правда, вернуться. И когда эти мучители нашего господина уезжали, во дворце воцарялась тишина, но это была зловещая тишина, так как с улицы доносились крики и возгласы, ибо по городу проходили многочисленные колонны демонстран-

тов, шастали всякие голодранцы, проклинали нашего господина, вором его называя и грозя повесить на первом суку. Мошенник, верни наши деньги! Либо принимались скандировать: повесить императора! Тогда я старался закрыть во дворце все окна, чтобы эти неистовые и клеветнические выкрики не достигли слуха достопочтенного господина, не мутили ему кровь. И я спешил увести моего господина в часовню в самом укромном уголке и там, пытаясь заглушить этот кощунственный рев, читал вслух слова пророков: «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя». «Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше... Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей... От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши». И вот, благодетель, внемля этим словам, почтенный господин погружался в дрему, там я его и оставлял, возвращаясь в свою комнату послушать радио: в эти дни радио служило единственной связующей нитью между дворцом и империей.

Все тогда слушали радио, а те немногие, что могли купить телевизор (он в этой стране по-прежнему символ роскоши), смотрели телевизор. В то время, то есть в конце августа — начале сентября, каждый день приносил щедрую порцию сенсаций о жизни двора и императора. Сыпались цифры и имена, указывались номера банковских счетов, названия имений и частных фирм. Показывали дома представителей знати, сосредоточенные там богатства, содержимое тайников, горы драгоценностей. Часто выступал министр высочайших привилегий Адмассу Рэтта, который, давая показания перед комиссией по расследованию коррупции, сообщал, кто из сановников, что и когда получил, где и на какую именно сумму. Сложность, однако, состояла в том, что невозможно было провести четкую грань между государственным бюджетом и персональной императорской казной, все это было стерто, смазано, выглядело двусмысленно. На государственные средства сановники возводили дворцы, приобретали поместья, ездили за границу. Самые колоссальные богатства сосредоточивались в руках императора. Вместе с возрастом возрастала и его алчность, его старческая, жалкая ненасытность. Об этом можно было бы говорить с грустью и снисходительностью, если бы не тот факт, что Хайле Селассие брал из государственной казны миллионы, совершая (и он сам, и его люди) эти хищнические операции посреди кладбищ жертв голодной смерти, кладбищ, обозримых даже из окон императорских палат. В конце августа военные оглашают декрет о национализации всех императорских дворцов. Таковых было пятнадцать. Судьбу дворцов разделяют приватные предприятия Хайле Селассие, в том числе пивоваренный завод имени святого Гийоргиса, автобусный парк в Аддис-Абебе, производство минеральных вод в Амбо. Офицеры продолжают наносить императору визиты и ведут с ним длительные беседы, настаивая, чтобы он вернул из зарубежных банков свои сбережения и передал их в государственную казну. Вероятно, никогда не удастся точно установить, какая именно сумма находилась на счету императора. В пропагандистских выступлениях речь шла о четырех миллиардах долларов, но это можно считать грубым преувеличением. Скорее, имелись в виду несколько сотен миллионов. Настойчивость военных кончилась неудачей: император не вернул правительству этих денег, они до сих пор хранятся в зарубежных банках. Однажды, вспоминает Л. М., во дворец явились офицеры, заявив, что вечером по телевидению будет демонстрироваться фильм, который Хайле Селассие обязан посмотреть. Камердинер сообщил об этом императору. Монарх охотно согласился выполнить просьбу своей армии. Вечером сел в кресло перед телевизором, началась передача. Демонстрировался документальный фильм Джонатана Дамбильди «Утаенный голод». Л. М. заверяет, что император досмотрел фильм до конца, после чего предался медитациям. В эту ночь, с 11 на 12 сентября, слуга и его господин — два старика в опустевшем дворце — не спали, так как это была новогодняя ночь, согласно эфиопскому календарю начинался Новый год. По этому случаю Л. М. расставил во дворце канделябры, зажег свечи. На рассвете они услышали рокот моторов и скрежет гусениц, движущихся по асфальту. Потом воцарилась тишина. В шесть часов утра ко дворцу подкатили воинские автомашины. Трое офицеров в полевых мундирах проследовали в кабинет, в котором император пребывал с самого рассвета. Там, отвесив ему предварительные поклоны, один из них зачитал текст отречения. (Этот текст позже появился в печати и был оглашен по радио, звучал он следующим образом: «Несмотря на то, что народ в доброй вере расценивал трон как символ единства, Хайле Селассие I использовал авторитет, достоинство и честь престола в своих личных целях. В результате страна оказалась в состоянии разрухи и упадка. Кроме того, 82-летний монарх, принимая во внимание его возраст, не в состоянии выполнять свои обязанности. В связи с этим Его Императорское Величество Хайле Селассие I отрекается от престола с 12 сентября 1974 года, а власть на себя принимает Координационный комитет вооруженных сил. Эфиопия превыше всего!») Император, стоя, внимательно выслушал слова

офицера, вслед за этим он выразил всем свою благодарность, констатируя, что армия ни разу не обманула его ожиданий, и добавил, что если революция совершается для блага народа, то и он на стороне революции и не будет противиться отречению. Тогда, заявил офицер (он был в чине майора), Ваше Императорское Величество, пожалуйста, следуйте за нами! Куда? — спросил Хайле Селассие. В безопасное место, пояснил майор. Ваше Императорское Величество лично удостоверится в этом. Все вышли из дворца. У подъезда стоял зеленый «фольксваген». За рулем сидел офицер, который распахнул дверцу и придержал переднее сиденье, чтобы император мог влезть в машину. Как же так, задохнулся Хайле Селассие, я должен ехать на этом драндулете? Подобное восклицание в то утро было единственным проявлением императорского протеста. Через минуту он умолк. «Фольксваген» тронулся, предшествуемый джипом, в котором ехали вооруженные солдаты, такой же джип следовал сзади. Еще не было семи, комендантский час продолжал соблюдаться, поэтому они ехали по пустынным улицам. Император жестом руки приветствовал редких прохожих, повстречавшихся в пути. Наконец, автоколонна скрылась в воротах казарм Четвертой дивизии. По приказу офицеров Л. М. собрал во дворце свои вещи и с узелком за спиной вышел на улицу. Остановил проезжавшее такси и велел отвезти себя домой на Джимми-роуд. Тэфэрра Гэбрэуольд рассказывает, что вскоре, в полдень, прибыли два поручика и заперли дворец на ключ. Один из них положил ключ в карман, они сели в джип и укатили. Два танка, появившихся ночью перед дворцом (за день люди засыпали их цветами), вернулись в расположение части.

Эфиопия

Хайле Селассие по-прежнему уверен, что он — император Эфиопии[1].

[1] После низвержения Хайле Селассие прежнее гражданское правительство и парламент, послушное орудие в руках императора, были распущены. Власть полностью перешла к ККВС, позднее преобразованному во Временный военный административный совет (ВВАС). Было сформировано Временное военное правительство. Однако королем (а не императором) был объявлен находившийся в Швейцарии старший сын Хайле Селассие—Асфа Уосэн. Окончательно монархию упразднили в марте 1975 года.

Аддис-Абеба 7 февраля 1975 (агентство Франс Пресс). — Изолированный в помещениях старого, расположенного на холмах Аддис-Абеба дворца Менелика, Хайле Селассие последние месяцы своей жизни проводит в окружении солдат.

По рассказам очевидцев, эти солдаты (как в лучшие времена существования империи) по-прежнему отвешивают поклоны царю царей. Благодаря этим жестам, как засвидетельствовал это недавно представитель международной организации по оказанию помощи, который нанес ему визит и посетил других узников, заключенных во дворце, Хайле Селассие продолжает верить, что он — император Эфиопии.

Негус находится в добром здравии, стал много читать (несмотря на свой возраст он не пользуется очками) и время от времени дает советы солдатам, которые его охраняют. Необходимо добавить, что солдат этих меняют еженедельно, так как почтенный монарх сохранил свой талант убеждения. Как и в прежние времена, каждый день бывшего императора протекает в рамках установленной программы, согласно протоколу.

Царь царей встает на рассвете, участвует в утренней мессе, позже читает. Иногда интересуется тем, как протекает революция. Бывший властелин еще и теперь повторяет то, что заявил в день своего низложения: «Если революция совершается для блага народа, я на стороне революции».

В прежнем кабинете императора в нескольких метрах от здания, в котором пребывает Хайле Селассие, десять руководителей Дерга продолжают обсуждать проблемы спасения революции, поскольку, в связи с восстанием в Эритрее, возникают новые сложности. Рядом заключенные в клетках императорские львы издают грозное рычание, домогаясь ежедневной порции мяса.

По другую сторону старого дворца, близ дома, занятого Хайле Селассие, расположены другие помещения, где пребывают заточенные в подвалах сановники, вельможи и нотабли, ожидая решения своей дальнейшей судьбы.

«Эфиопиан геральд»:

Аддис-Абеба. 28.8.1975 (ЭИА)[1]—

Вчера скончался бывший император Эфиопии — Хайле Селассие. Причиной смерти явилась сердечная недостаточность.

[1] Эфиопское информационное агентство.

◆

ЛАРИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1925 г.)

Советский писатель-журналист, литературный критик, переводчик с польского. Переводил произведения Я. Парандовского, С. Дыгата, Я. Ивашкевича, В. Жукровского, К. Конколевского и др. Автор ряда статей о современной польской литературе, составитель антологических сборников: «Современная польская повесть» (1964), «Польские новеллисты» (1970), однотомников С. Зелинского (1964) и С. Дыгата (1971).

Падение бога

Репортаж польского журналиста Рышарда Капусцинского «Император» — о революции 1974 года в Эфиопии — вышел в свет в Варшаве в 1978 году и вскоре завоевал международную известность. Его перевели на английский, итальянский, немецкий, французский и многие другие языки, ему были посвящены десятки рецензий. Думается, читателю превосходного русского перевода репортажа нет нужды говорить о причинах этого шумного успеха: достоинства работы польского журналиста очевидны.

Отмечу лишь одно, но, может быть, самое важное — редкое сочетание образности и острокритической аналитичности. Внимательный глаз журналиста подмечает в быту императорского двора детали удивительной выразительности, выхватывает из толпы придворных самые колоритные фигуры. Твердой рукой мастера — не побоимся этого слова — журналист рисует картину фантасмагорического мира, живущего словно бы в другом времени и пространстве, чем вся остальная страна. И в каждом отдельном эпизоде, образующем в конечном счете широкую историческую панораму, живым нервом бьется сильная, оригинальная мысль.

В некоторых рецензиях на книгу «Император» польского журналиста сопоставляют с блистательным австрийским журналистом-коммунистом Эгоном Эрвином Кишем. Не потому, на мой взгляд, что есть сходство в их творческом почерке. Манера письма этих двух журналистов различна. Их близость глубже. Эгон Эрвин Киш стремился к тому, чтобы каждый его очерк, каждая статья расширяли представление читателя о происходящих в обществе процессах; он хотел быть глазами и умом класса, которому отдал свое перо,— рабочего класса. Как и он, Рышард Капусцинский — первооткрыватель по натуре. Он постоянно ищет свой подход к событиям, пытается увидеть их с неожиданной стороны, раскрыть в них смысл, который другими не был замечен.

Не редкость случаи, когда тот или иной талантливый журналист сам мешает своему успеху. Вдруг он начинает говорить о себе в третьем лице, вдруг его собственная персона оказывается между читателем и событиями, о которых он рассказывает. А вернее, заслоняет своей особой.

Ловушки мелкого тщеславия не подстерегают автора «Императора». Более того, он прибегает к приему, который позволяет ему вообще отойти в сторону, лишь изредка выступая с комментарием или уточнением фактов, о которых читателю непосредственно говорят участники событий. Журналист — лишь один из многих творцов репортажа, и рядом с его голосом слышны и свидетельства царедворцев, и голос бунтующей улицы, и стон страдающего от произвола — и страшного голода — народа.

В то же время очевидно, что, работая над книгой, Рышард Капусцинский ставил перед собой сложнейшие вопросы. Какова природа власти в Эфиопии? Почему самодержавный деспотизм был возможен в этой африканской стране? Каково отношение к личности в местном обществе? Что предопределило успех революции в стране, где крестьянство составляет подавляющее большинство населения, где и рабочий класс, и буржуазия к моменту свержения монархии не сформировались? Трудные вопросы и актуальные не только для Эфиопии.

Власть... При ее описании журналист ни разу не употребляет каких-либо расхожих определений, создающих лишь видимость ясности, а на самом деле мешающих конкретному анализу ее механизма, ее социальных, культурных и исторических корней. Некоторые из западноевропейских и американских рецензентов книги утверждают, что польский журналист пишет в целом о тоталитарной форме власти. Более того, ими говорится о том, что репортаж — это завуалированная критика известного периода в истории Польши.

Чем многограннее, чем сложнее произведение документалиста, будь то очерк, репортаж, статья или эссе, тем больше ассоциаций и параллелей оно может вызвать. Часто среди них будут и такие, о которых автор даже не помышлял. Это естественно и понятно. Но на иных параллелях явственно обнаруживается печать предвзятости. Попытка некоторых западноевропейских и американских критиков Рышарда Капусцинского повернуть его репортаж против социалистической Польши — пример такого рода тенденциозности. Видимо, все средства хороши в психологической войне, которую определенные круги на Западе все еще ведут против социалистических стран.

Власть государя в Африке окружена особым мистическим ореолом, ореолом таинственным и загадочным. Престиж и авторитет этой власти, конечно, не могут не зависеть от личности монарха, но в каких-то пределах достоинства и недостатки его характера имеют второстепенное значение: главное — исходящее от божественных сил могущество, обладателем которого он становится, взойдя на престол.

Журналиста поражает контраст между старческой слабостью последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I и страхом, который тот внушает. Контраст этот помогает ему точнее уловить то, что не зависело ни от личности государя, ни от личности придворных в дворцовых порядках. Конечно, император обладал острым умом и великолепной памятью, умел быть жестоким и беспощадным. Но только ли эти качества порождали среди царедворцев трепетно-почтительное к нему отношение? Ведь и придворные были наделены огромной властью, обладали влиянием, но власть императора в глазах народа была божественного происхождения, тогда как могущество, скажем, его министров было лишено нимба святости. Это было различием качественным, в глазах народа исключительно важным, и оно-то предопределяло существование пропасти между главой государства и его подданными, вне зависимости

от положения каждого из них на иерархической лестнице каст, сословий, государственных должностей.

При возникновении африканских государств и позднее представление о божественности верховного вождя и его власти служит одним из краеугольных камней фундамента, на котором строится государственная машина. У этого представления много корней, причем очень древних. В Тропической Африке, например, жертвоприношение имели право совершать либо старший в семье, либо старший в общине, а от имени племени или государства — их вождь. Почему? Потому что считалось, что возраст, как и высшее положение в народе, делает их наиболее близкими к тем мифическим существам, от которых зависят судьбы народа,— к богам, к героям-родоначальникам, к предкам. К тому же и родовой старейшина, и вождь племени именно от них вели свое происхождение. Эта связь и оправдывает их власть в глазах соплеменников.

И здесь древняя мысль делала следующий шаг в своих рассуждениях: раз вождь ближе других людей стоит к таинственным силам потустороннего мира, раз в силу происхождения он связан с божественными обитателями того мира, значит, он является посредником между людьми и природой, с одной стороны, и мифическими, божественными силами — с другой. Такое посредничество означало, что каждое движение вождя, каждый его жест и поступок, каждое слово могли иметь непредсказуемый отзвук и в мире божеств, и среди людей.

Вождь становился, в народных представлениях, чем-то вроде режиссера огромного кукольного театра. Тысячи нитей соединяли его с окружающей действительностью — реальной и воображаемой, и во время войны одним непродуманным движением он мог спровоцировать поражение своих армий, во время полевых работ обречь на гибель от засухи или вредителей будущий урожай, его нездоровье могло отозваться вспышкой губительных эпидемий. Столь непредсказуемыми бывали проявления могущества государя, что подданные создавали ритуальные способы защиты от случайных последствий его неосторожности. У многих африканских народов царь скрывал лицо, сложнейшим церемониалом окружался каждый его выход из дворца, на него, как на бога, не распространялись обязательные для простого общинника брачные запреты, а его смерть приводила к осквернению всей территории государства, где на какое-то время отбрасывались общепринятые нормы этикета, «забывались» нормы морали.

Конечно, огромная культурно-историческая дистанция отделяет эфиопского монарха, главу древнейшего государства на африканском континенте, от царей Западной и Центральной Африки, наделенных полубожественной властью. Древние идеи об истоках величия императорской власти в Эфиопии были переработаны за века истории под воздействием христианского вероучения. Но исчезли ли они полностью под влиянием ветхозаветных и евангельских историй? Отнюдь нет. Не случайно один из титулов называл императора царем царей. И не только тщеславие побуждало эфиопских государей возводить свой род к царю Соломону. Самодержавие в Эфиопии не просто освящалось церковью, а проистекало из самой божественной природы монарха. В системе сил, действующих в мироздании, император, по народным представлениям, занимал важное, едва ли не центральное место.

В рисунках, украшающих старинные книги, на картинах эфиопских художников средневековья император всегда много выше окружающих его царедворцев. Не потому, что художники тешили императорское самолюбие. Нет, они просто следовали одному из основных принципов архаичной эстетики: самое важное должно быть самым видным. А народным сознанием образ монарха возносился на огромную высоту. Он им мифологизировался, превращаясь в ипостась бога на земле.

Рышард Капусцинский заставляет задумываться над всем этим кругом вопросов. И как разительный контраст с народным представлением о величии государя встает со страниц его репортажа невысокая, хрупкая фигура императора с тихим голосом, невнятной речью.

В мире, который столь блистательно описывается журналистом, миф заслоняет истинный характер государя. Стихийное мифотворчество масс, видящих трон через призму архаичных представлений, сочетается в Эфиопии с сознательным мифотворчеством властей предержащих. Характерны подробности, вспоминаемые автором: подтасовка сведений о годе рождения императора, подтасовка сведений об отношении императора к участникам партизанской войны против итальянских захватчиков, изображение императора реформатором и т. д. Образ, следовательно, мифологизировался дважды: во-первых, на уровне народного сознания и, во-вторых, на уровне официальной пропаганды.

Какое же из трех обличий самодержца наиболее правдиво — реальное, увиденное и понятое близкими к государю людьми, мифическое, обожествленное церковью и простым народом, или официальное, созданное чиновниками министерства информации по указке двора? Знакомя нас с каждой из трех ипостасей монарха, автор убеждает в том, что между ними, в сущности, не было и нет ничего общего, словно бы речь идет о трех совершенно различных людях. Вместе с тем в подлинном характере государя все же были какие-то крупицы и от его официального портрета, и от его мифологизированного двойника, и от того человека, с которым встречались царедворцы. Он был и дерзким реформатором, и косным реакционером, и патриотом, который вдохновил народ на сопротивление захватчикам, и яростным врагом вождей партизанского движения, в которых усмотрел угрозу своей власти, в нем чувствуется опытный политик, умело противопоставлявший знати приближенных к своей особе

простолюдинов, и близорукий государственный деятель, неспособный преодолеть собственные предубеждения и вырвать страну из трясины отсталости. Эти противоречия разительны, вопиющи, но авторитет монарха, поддержанный мифом, все еще оставался высоким у крестьянства, городских низов.

Есть что-то по-человечески волнующее в описании последних дней пребывания императора во дворце. Гротеск и трагизм, казалось бы несовместимые, придают призрачную фантасмагоричность и тревожный драматизм рассказу об исчезающих царедворцах, о стремительно пустеющих коридорах и залах императорской резиденции. Надвигается конец, монархия уходит в небытие...

На мой взгляд, именно в рассказе о политическом крахе династии с наибольшей рельефностью проявляется плодотворность сочетания в творческой индивидуальности Рышарда Капусцинского — журналиста, историка и художника. Журналист ищет и находит свидетелей конца монархии, художник из отдельных «единиц» информации создает врезающуюся в память картину одинокого монарха, беспомощного перед лицом поднимающейся революционной волны, тогда как историк тщательно прослеживает течение революции, исключительно своеобразной и по своему социальному характеру, и по формам своего развития.

Журналист видит то, что сближает эфиопскую революцию с характерными для всего африканского континента процессами, и ее неповторимую самобытность. Накопленный за годы работы в Африке опыт подсказывает ему, что следует обратить внимание на выступления студенчества; ведь в целом ряде стран континента именно оно служило детонатором политических перемен. Этот же опыт убеждает, что вспыхивающие в Эфиопии крестьянские и солдатские бунты — это провозвестники будущего социального взрыва; в Нигерии, Заире, Кении и некоторых других странах континента события не раз это доказывали. Наконец, роль офицерства... Офицеры-патриоты брали власть в свои руки, сметая коррумпированные режимы, в доброй половине стран Африки.

Своеобразие Эфиопии заключалось в том, что все недовольные и возмущенные, все заинтересованные в обновлении страны на какое-то время объединились. В репортаже прекрасно показано, как мощные крестьянские и солдатские бунты расшатывают трон. Они свидетельствуют о том, что терпение деревни истощилось, что крестьяне больше не в силах выносить гнет феодальной эксплуатации, усугубляемый страшной природной катастрофой — засухой и последующим голодом. Студенты, открытые современным политическим веяниям, мечтающие о том времени, когда древняя Эфиопия освободится от оскорбляющих национальное достоинство пережитков прошлого, понимают настроения крестьянства, сочувствуют его страданиям. Демократически настроенная часть офицерства, организованного и вооруженного, возглавляет народное движение протеста, придав ему поистине революционный характер. Ни в одной другой африканской стране такого еще не было.

Своеобразна и тактика этой группы офицеров. Как отмечается в репортаже, она ведет борьбу под внешне парадоксальным лозунгом, от имени императора. В противном случае они противопоставили бы себе миллионы простых людей, продолжающих верить государю и видевших в нем едва ли не живого бога.

Портрет императора дополняется в репортаже портретом двора. Это коллективный образ, в котором лишь мгновениями обнаруживаются черты отдельных людей. Журналист не стремится проникнуть в их внутренний мир, но психологию этого своеобразного социального организма он понимает превосходно. И рельефно изображает.

Почему столь стерты в этом портрете отдельные лица? Отчасти, наверное, потому, что журналисту они неинтересны для решения той творческой задачи, которая перед ним стояла. А отчасти и потому, что царедворцы из окружения императора были лишены яркой индивидуальности. Рышард Капусцинский неоднократно признается, что они поражали его своей серостью. Может быть, отчасти и поэтому двор временами воспринимается как царство теней?

Случайность ли это? Отнюдь нет. В репортаже есть замечательная сцена назначения чиновников на должность: каждый получает назначение из рук императора. Сцена немыслимая в современном государстве, но в Эфиопии государственная машина имела феодальный характер. Она была призвана служить не интересам народа, а личным интересам государя. И поэтому ему было важно лично «рукополагать» каждого чиновника на должность. Лояльность превыше всего ценится в государевых слугах, тогда как сильный характер, склонность к независимости или инициативе — это залог провалов и неприятностей в служебной карьере. Наряду с лояльностью двор поэтому буквально требует безоговорочного конформизма от царедворца, мечтающего о благоволении императора.

Но только ли просеивание через многочисленные сита предопределяет бесцветность обитателей дворца? Думается, есть еще одна, более глубокая причина.

Вспоминаются эфиопские иконы. Они составляют эстетически значимую часть культурного достояния страны. Написанные в соответствии с художественными принципами, действовавшими в течение многих веков, иконы позволяют понять некоторые стороны местного общества, его взгляды, его отношение к жизни, к человеку. Одна особенность старинного искусства чрезвычайно характерна: как правило, эфиопские иконописцы индивидуализируют только центральную фигуру создаваемой композиции, лица остальных персонажей одинаковы, словно написаны по трафарету. Что это, результат небрежности или неумения? Конечно же нет.

Эстетические принципы отражают отношение общества к личности, ее осмысление обществом. Так, портрет возникает в живописи в эпоху, когда в обществе личность завоевывает признание — когда завоевывают признание притязания человека на индивидуальную неповторимость, на духовную и социальную независимость. Но в Эфиопии ценились касты, сословия, иерархия императорских милостей, а не личность. Власти предержащие воспринимали ее притязания как вызов существующим порядкам, как угрозу их господствующему положению в государстве.

Впрочем, между подходом к личности в микромире дворца и в обществе постепенно вырисовывались все более основательные расхождения. Пожалуй, в наибольшей степени изменение в подходе к человеку проявилось в литературе, всегда особенно внимательной к судьбе личности, к динамике общественного развития. В предвоенные годы сложилась группа писателей, заложивших основы современной эфиопской литературы. Среди них выделялись имена Афэворка Гэбрэ Иесуса и Хируя Вольдэ Селассие. В послевоенные годы завоевали известность Вольдэ Гиоргис Вольдэ Иоханнес, Асэффа Гэбрэ Мариам, Быркану Зэрихун, Таддэсе Либэн и некоторые другие литераторы. Их творчество отражало изменения в местном обществе, в свою очередь способствуя ускорению перемен. Оживление литературной деятельности свидетельствовало о национальном подъеме. В стенах, изолирующих Эфиопию от остального мира, возникают бреши, национально-освободительные, революционно-демократические идеи будоражат умы интеллигенции, прежде всего студенчества. Их влияние, вероятно, не было бы столь сильным и глубоким, если бы не начавшееся в обществе раскрепощение и самоутверждение личности.

Постепенный размыв феодальных порядков, затронувший даже деревню, недовольство интеллигенции, усиление бунтарских настроений в городских низах, брожение в армии глубоко тревожат двор. Даже лично император, как свидетельствует польский журналист, обеспокоен трещинами, появившимися в ветхом здании эфиопской монархии. Какой же ответ дает двор на вопросы, выдвигаемые временем?

В репортаже со злой иронией говорится о программе «развития», инициатором которой выступает император. Может показаться, что, когда монарх закладывает заводы или открывает новые шоссе, он делает доброе дело, и насмешливая интонация журналиста здесь неуместна. Но автор настаивает — и с полным на то основанием,— что реформы императора были пародией на развитие, о котором мечтает народ. Его меры были призваны предупредить демократизацию и ломку общества, то есть подлинное развитие.

Пока страна пребывала в состоянии застоя и неподвижности, связанная по рукам и ногам феодальным произволом, господством церкви над умами и душами, экономической закрепощенностью народа, «серость» и бездарность правящего класса не представляли для двора опасности. Ситуация резко изменяется после того, как в стране поднимается брожение и властителям двора бросают вызов новые социальные силы. В репортаже воссоздана картина поистине удивительной политической беспомощности, интеллектуального бессилия и морального разложения правящего класса. Расколотый на соперничающие между собой кланы, он оказывается не способным осмыслить происходящие в стране события и повлиять на их развитие в выгодном ему направлении. В некотором смысле двор падает жертвой собственной системы социального отбора, надежно препятствовавшей притоку в его среду сильных индивидуальностей, с широким кругозором, с твердой, решительной волей.

И еще одна его черта, которую настойчиво подчеркивает журналист,— коррупция. Наверное, каждый, кто прочитал его репортаж, запомнит рассуждения, записанные автором, о «деньгах в нищей и богатой стране». Но фантастическая развращенность верхов объясняется, конечно, не только тем, что в нищей стране деньги обеспечивают человеку совершенно особое положение, резко выделяющее его из массы обездоленных и отверженных. Взяточничество, лихоимство были в Эфиопии естественной формой осуществления монополии правящего класса на власть. В глазах самого государя коррупция отнюдь не была злом. Напротив. Прекрасно понимая, что своим произволом царедворцы, чиновники вызывают в народе ненависть, государь сквозь пальцы смотрит на их злоупотребления: ведь они тем больше зависят от его личного благоволения. Но стоит им нарушить принцип лояльности, как их настигает жестокая кара.

В самом правящем классе никто не сознает аморальности злоупотреблений властью. Рышард Капусцинский точно подмечает и эту весьма характерную черту его коллективной психологии.

В фокусе книги — император и двор. Правда, журналист рассказывает и о тех силах, которые возглавляют революционное движение, причем делает это с присущей ему талантливостью. И все же, думается, они описаны с меньшей степенью увлеченности, чем их противники.

В творческой биографии польского журналиста каждая книга занимает определенное место. Специалист по проблемам Азии, Африки и Латинской Америки, отдавший их изучению многие годы жизни, он посвятил немало репортажей и очерков революционным силам, национально-освободительным движениям. Одна из его первых книг содержит яркий рассказ об опыте социалистического строительства в Киргизии. Несколько лет назад в «Иностранной литературе» был опубликован его очерк об установлении народной власти и разгроме вторжения южноафриканских расистов в Анголе.

В то же время сегодня, когда патриотические силы в странах «третьего мира» с мучительным трудом преодолевают сопротивление тесно связанных с прошлым со-

циальных слоев, будь то феодальные круги, племенные вожди или религиозные лидеры, крайне важно понять и оценить их слабые и сильные стороны, их идеологию и мировоззрение. Для журналиста, который пишет о народных революциях, как Рышард Капусцинский, изучение их противников, рассказ об общественных порядках, которые этими революциями уничтожаются,— логическое продолжение всей предшествующей работы.

Нельзя не вспомнить, что ранее «Императора» была написана книга «Шахиншах» — о падении властелина Ирана, шаха Резы Пехлеви. Она была опубликована в «ИЛ» под названием «Капуи» (1980, № 7).

И еще одна проблема, о которой заставляет задуматься репортаж «Император»,— проблема устойчивости определенных стереотипов общественного поведения, общественного сознания. Казалось бы, коренные политические изменения в странах «третьего мира» — крах колониальных империй, военные перевороты и свержение монархий, в ряде стран — глубокие социальные и экономические преобразования, значительная перестройка государственных структур — не могли существенно не поколебать традиционных основ общественного сознания. Тем не менее остаются прочными такие категории этого сознания, как осмысление времени и пространства, представления о структуре личности и ее взаимоотношениях с обществом, мысли о природе труда и его социальной роли, идеи о сфере божественного и светского, об истоках власти. Они образуют некую праоснову культуры, переходящую из поколения в поколение. Ее изменения заметно отстают от политических бурь, будоражащих поверхность общественной жизни в странах «третьего мира».

Метод интервью, выбранный автором, хорошо выявляет драматизм событий, о которых идет речь в репортаже. Интересно, что по материалам книги в Англии написана пьеса. Ее премьера недавно состоялась в Лондоне. Но все же журналисту не всегда удается достичь истинной полифоничности; его интонация иногда заглушает голос его собеседников.

Репортаж Рышарда Капусцинского завершается сентябрьскими событиями 1974 года. Эта переломная эпоха вновь и вновь будет привлекать историков и писателей. Свидетельство польского журналиста уже стало одним из важнейших документов того героического времени.

В Эфиопии завершается исторический этап, начало которому было положено свержением монархии. Недавно состоялся референдум, в ходе которого народ одобрил проект конституции Народной Демократической Республики Эфиопии. Завершается подготовка к торжественному провозглашению республики. Выступая на состоявшемся в Аддис-Абебе шестом пленуме ЦК Рабочей партии Эфиопии, генеральный секретарь партии, председатель Временного военного революционного совета Менгисту Хайле Мариам подчеркнул, что вся полнота политической власти в стране будет закреплена за трудящимися.

Прошло всего тринадцать лет после событий, описанных Рышардом Капусцинским. Стремителен бег времени.

В. ИОРДАНСКИЙ

◆

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету *

1. Решение каких общечеловеческих проблем представляется Вам самым неотложным?
2. Какова связь между этими проблемами и Вашим творчеством?
3. Над чем Вы сейчас работаете и каковы Ваши творческие планы?

С такими вопросами журналы «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках) обратились к литераторам зарубежных стран.

В этом номере:

ГЭ БАОЦЮАНЬ — член правления Союза писателей КНР, старший научный сотрудник Института иностранной литературы Академии общественных наук, заместитель председателя Всекитайского общества исследователей русской и советской литературы, переводчик зарубежной литературы на китайский язык.

ЖОРЖИ АМАДУ — бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

ЙОРДАН РАДИЧКОВ — болгарский писатель, лауреат Димитровской премии, заслуженный деятель культуры Болгарии.

ГОР ВИДАЛ — американский прозаик, драматург, литературный критик, эссеист, автор многих исторических романов.

РАШИД БУДЖЕДРА — алжирский прозаик, поэт, сценарист, лауреат премий Каннского и других фестивалей.

ЛИСАНДРО ЧАВЕС АЛЬФАРО — никарагуанский писатель, автор романов, многих сборников рассказов, посол Никарагуа в ВНР.

ЮРИЙ БРЕЗАН — немецкий (ГДР) прозаик, поэт, автор пьес для театра и книг для детей, трижды лауреат Национальной премии ГДР, действительный член Академии искусств ГДР.

«...чтобы народы заботились друг о друге»

Постоянный читатель и автор «Советской литературы» и «Иностранной литературы», я очень люблю эти журналы. Первый из них знакомит народы мира с достижениями богатой, многонациональной советской литературы, второй знакомит народы Советского Союза с выдающимися произведениями мировой литературы. Оба они в равной мере играют важную роль мостов, соединяющих культуры народов мира.

А теперь отвечу на ваши вопросы.

1. В нынешнем мире есть много проблем, настоятельно требующих разрешения. Как писатель одной из важнейших среди них считаю проблему того, как с помощью пе-

* Продолжение. Начало см. в № 5, 6.

реводов и знакомства с литературными произведениями разных стран усилить взаимопонимание между народами и тем самым укрепить и защитить дело мира во всем мире. Как хорошо сказал великий китайский писатель Лу Синь, «самое лучшее для человечества — чтобы между народами не было перегородок, чтобы народы заботились друг о друге. Но самый прямой путь к этому — их сближение с помощью литературы и искусства». И Лу Синь всю жизнь боролся за это.

2. Более пятидесяти лет я посвятил переводу и исследованию зарубежных литератур — прежде всего русской классической и советской. Я переводил стихи великого Пушкина, художественные произведения и статьи о литературе основоположника советской литературы Горького, книги представителей многонациональной советской литературы — и классиков и современников, а также произведения писателей стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Вот уже много лет в учебники по языку и литературе для китайской начальной и средней школы включаются переведенные мною стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» и «Во глубине сибирских руд...», его «Сказка о рыбаке и рыбке», а также знаменитая «Песня о Буревестнике» Горького. Эти произведения нашли глубокий отклик у китайских читателей.

3. Занимаясь свыше полувека переводами и исследованием зарубежных литератур, я стремлюсь к тому, чтобы усилить взаимопонимание между народами и укрепить дружеские связи между писателями разных стран. В 1983 году, когда я принимал участие в работе международной конференции переводчиков советской литературы в Москве, секретариат правления Союза писателей СССР отметил мой «многолетний труд по переводу советской литературы и достигнутые при этом большие успехи». В 1986—1987 годах по приглашению Союза писателей СССР я посетил столицы шести Советских республик — Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Эстонии, а также столицу Дагестанской АССР. Во время сердечных встреч с писателями этих республик я повидал старых друзей, с которыми не общался много лет, и приобрел много новых. За два месяца, проведенных в вашей стране, я глубже узнал классическую и современную литературу этих республик, а также их фольклор. В 1937 году я был в Москве и принимал участие в юбилее, посвященном столетию со дня смерти Пушкина, а теперь, полвека спустя, мне вновь посчастливилось быть в Москве в те дни, когда советские люди отмечали стопятидесятилетие со дня его смерти. Считаю это очень значительными событиями в моей жизни. В феврале этого года за достижения в изучении зарубежных литератур я был удостоен Парижским университетом степени почетного доктора (doctor honoris causa). В ближайшие годы я собираюсь издать собрание своих переводов и статей в нескольких томах, вместе с тем хотел бы продолжать переводить литературу народов СССР, изучать историю литературных связей Китая с зарубежными странами, написать о своей поездке по республикам Советского Союза, а также в Данию, Францию, Италию. Словом, пытаюсь внести свой вклад в углубление взаимопонимания между народами и в укрепление дружбы народов Китая и Советского Союза.

ГЭ БАОЦЮАНЬ
(Китайская Народная Республика)
Март, 1987 г.

«...чтобы каждый мог от души пожелать соседу «доброго утра»...»

Дорогие друзья!

С удовольствием выполняю вашу просьбу и отвечаю на вопросы редакции:

1. Наиважнейшая проблема, стоящая перед человечеством,— укрепление мира во всем мире и предотвращение угрозы ядерной войны. Она требует безотлагательного решения, причем решения, рассчитанного на длительную перспективу. Это отвечает извечному стремлению Человека жить в мире с себе подобными — чтобы каждый мог от всей души пожелать соседу «доброго утра» или «доброй ночи»! Мирное сосуществование — основа международного диалога. Для поджигателей войны человеческая жизнь значит ничтожно мало, на «военной» бирже она идет по самой низкой цене. Милитаристы используют все современные средства массовой информации для нагнетания угрозы мирового геноцида. Они преступники и не должны восторжествовать над простыми людьми, стремящимися к миру Необходимо крепить движение за мир во всем мире, дабы сокрушить врагов Жизни.

На втором месте в длинном перечне стоящих перед человечеством проблем — голод. Согласно статистике, половина населения земного шара умирает от недоедания, и это не может не оскорблять чувств каждого

цивилизованного человека. Нищета поражает даже наиболее развитые страны. А в слаборазвитых она принимает поистине катастрофические масштабы.

Эти две проблемы, несомненно, связаны между собой. На производство ядерного и обычных видов оружия тратятся колоссальные средства: их хватило бы, чтобы утолить голод, от которого страдают миллионы обездоленных во всех уголках земного шара. Между тем Человек обладает неотъемлемым правом на уважение к себе, на мирную жизнь.

2. Я написал около тридцати книг, в основном это романы, они переведены почти на все языки. Я обращаюсь к национальной культуре моего народа, пишу о его нелегких буднях, о его поразительной способности сопротивляться угнетателям, о его свободолюбии. Осуждая нечеловеческие условия, в которых было обречено жить подавляющее большинство населения Бразилии, особенно на северо-востоке страны, я вместе с тем утверждаю веру в будущее моего народа и пытаюсь показать его прекрасный облик.

Как писатель я лично участвую во всеобщей борьбе за мир, за что и был удостоен международной Ленинской премии.

3. После периода военной диктатуры, длившегося двадцать лет, бразильский народ вступил в полосу демократического развития; это проявляется, в частности, в проведении свободных выборов, — таким образом правительство отражает интересы народа. Его внешняя политика направлена на укрепление мира, против апартеида и любых проявлений расовой и религиозной дискриминации, а также на утверждение нашего национального суверенитета.

Роман, над которым я только что начал работать, посвящен жизни и борьбе бразильской молодежи в период военной диктатуры.

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
Март, 1987 г.

«Остановить коней»

1. С изобретением ядерного оружия человечество запрягло коней в мировую колесницу задом наперед, и эта колесница с грохотом покатилась по опасному пути вниз, все обрекая на гибель. Я полагаю, что если мы все еще не лишились рассудка, то должны остановить коней и впрячь их в колесницу надлежащим образом. Советскому Союзу в этом отношении принадлежит историческая инициатива, и я верю, что его усилия увенчаются успехом, потому что эта инициатива отвечает мечте человечества о единстве, равенстве и мире без войн.

2. В течение нескольких лет я работаю над книгой под заглавием «Ноев ковчег». Я стараюсь вместить все, что знаю о жизни, в этот сугубо личный, в известной степени интимный корабль и пустить его в плавание сквозь время... Но неожиданно я обнаруживаю, что все человечество точно так же строит свой гигантский Ноев ковчег и готовит его к плаванию сквозь время. Даже сама планета оказывается Ноевым ковчегом, несущимся сквозь время! Там, на палубе этого гигантского ковчега, я надеюсь, найдется место и для моей маленькой лодки! И каждый человек будет иметь свою маленькую лодку! Это лодка надежды, это подлинная лодка ЧЕЛОВЕКА, которую нельзя потопить. (В данном случае я намеренно пишу ЧЕЛОВЕК прописными буквами. Я поступаю так, чтобы это слово могло быть хотя бы на голову выше остальных слов).

3. Люблю театр. Параллельно с работой над «Ноевым ковчегом» пишу современную пьесу. Пьеса называется «Грибной соус», и пишу я ее с особым душевным волнением.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ
(Народная Республика Болгария)
Февраль, 1987 г.

«Быть системой сигнализации тревоги»

1. Самыми неотложными проблемами для человечества я считаю ядерное разоружение и овладение новыми источниками энергии: реакцией управляемого термоядерного синтеза, гидротермальной энергией и другими.

2. Писатель отражает жизнь, и если он делает это точно, общество может изменить направление своего развития. Мы, писатели, должны быть для общества системой сигнализации тревоги.

3. В июне этого года в США выходит мой новый роман «Империя»: ведь американская империя возникла тоже в результате войны, войны 1898 года с Испанией.

ГОР ВИДАЛ
(Соединенные Штаты Америки)
Март, 1987 г.

«Социализм, социальное равенство, рождение прекрасного человека»

Дорогие товарищи!

Я получил ваше письмо, а также заявление Иссык-Кульского форума. Сразу же хочу заверить вас в полном своем согласии с текстом обращения. Перейду к ответам на ваши вопросы.

1. Самая неотложная проблема, от решения которой зависят судьбы всего человечества,— это распространение подлинного социализма. Социализма Маркса, Энгельса, Ленина. Иначе говоря—торжество справедливости, равенства всех людей, достоинства, мира во всем мире.

2. Все, что я пишу, связано с этой главной идеей: социализм, социальное равенство, рождение прекрасного человека — мудрого и миролюбивого. В своих романах я говорю о классовой борьбе, о неприятии расизма, о борьбе за национальное освобождение.

3. Сейчас работаю над романом, главную тему которого определил бы так: хрупкость истории. Она раскрывается на материале эпохи войны в Алжире.

Другие планы? О, ими у меня полна голова!

РАШИД БУДЖЕДРА (Алжир)
Март, 1987 г.

«Стать лучше, чем мы есть сегодня»

1. Мы должны бороться за установление нового мирового экономического порядка. Справедливое распределение богатств, создаваемых трудом всех людей на земле, позволит, наряду с другими мерами, устранить чудовищное явление — накопление и использование колоссальных материальных ресурсов ради производства вооружений, способных уничтожить все — сегодня или в будущем.

2. «У жестокости человеческое лицо»,— писал Уильям Блейк. Поместить зеркало перед этим лицом, искаженным жестокостью,— значит помочь нам узнать самих себя, устыдиться совершенных нами гнусностей и, может быть, когда-нибудь стать лучше, чем мы есть сегодня.

3. Сейчас я работаю над книгой рассказов, в которых действует один и тот же персонаж: человек, не сомневающийся в незыблемости собственного кодекса законов, хотя именно их действие приводит его к гибели.

ЛИСАНДРО ЧАВЕС АЛЬФАРО (Никарагуа)
Март, 1987 г.

«Наш мир — неделимое целое»

Дорогие товарищи!

Мои ответы на три ваших вопроса:

1. Утверждение понимания того, что наш мир — неделимое целое. Это — основа для разоружения во всех его видах, в первую очередь в области средств массового уничтожения, и для решения мировых экономических проблем, которые, пожалуй, наиболее ярко проявляются в том, что одни умирают с голоду, в то время как другие растрачивают попусту огромные богатства.

2. Этого убеждения я придерживаюсь уже много лет, и оно сказывается на всем моем литературном труде.

3. Моя главная работа в настоящее время заключается в попытке как бы подвести итоги прожитого и пережитого. Название будущей книги — «Путешествие на Олимп». Что же касается дальнейших планов, то я не люблю говорить о вкусе яблок, пока яблони только еще начинают цвести.

С дружеским приветом моим друзьям в вашей стране и моим читателям.

ЮРИЙ БРЕЗАН
(Германская Демократическая Республика)
Февраль, 1987 г.

◆

Критика

Из бесед в редакции

ЛЮБОВЬ И XX ВЕК

О новом романе Габриэля Гарсиа Маркеса

Е. Костюкович: В ответ на просьбу редакции скажу несколько слов вместо вступления. По счастливому случаю первотолчком к нашему разговору явился своеобразный «диалог рецензий», опубликованных в журнале «Современная художественная литература за рубежом», выпускаемом Всесоюзной Государственной библиотекой иностранной литературы. Обе рецензии на роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы» [1] вышли из-под пера известных наших латиноамериканистов — Веры Николаевны Кутейщиковой и Валерия Борисовича Земскова.

Выход этой книги, первой у Маркеса после присуждения ему в 1983 году Нобелевской премии, сознательно обставлялся издателями как небывалый межконтинентального масштаба праздник. Литературным агентом Гарсиа Маркеса был назначен даже точный день появления книги на прилавках — 20 декабря 1985 года. К нему усиленно готовились, как говорят, душу из себя гнали, задействовав все типографские мощности и дополнительные типографии, тринадцать крупных издательств Испании, Колумбии, Аргентины, Мексики. В назначенный день на рынок поступил миллион двести тысяч экземпляров романа — тираж, неслыханный в испаноязычном мире. А до этого дня книгу прочитали 7—8 человек, близких друзей автора. Издатели хранили ее в полной тайне, в сейфе.

Последующие допечатки довели суммарные тиражи «Любви во время чумы» до нескольких миллионов. В литературно-критических журналах Европы и испаноязычной Америки январь и февраль 1986 года стали «месяцами Гарсиа Маркеса» Большинство критиков захлебывались восторгом, хотя были и противоположные суждения. Очень разочарована романом, к примеру, обозревательница итальянского журнала «Раггуальо литтерарио» Кристина Альведо. Она обвинила Маркеса в отсутствии «всякой идеи ангажированности», в отходе от той былой «сосредоточенности на коренных проблемах бытия», которой пронизаны предыдущие книги писателя — и в наибольшей степени предпоследняя, «История одной смерти, о которой знали заранее» [1].

Мне упреки итальянской исследовательницы кажутся безосновательными. Чему же, спрашивается, посвящен этот роман, если не коренным вопросам бытия — любви и смерти? Однако механизм негативного восприятия можно понять. Новое часто пугает и отталкивает. А роман Гарсиа Маркеса безусловно непохож на прежние его книги. Вот и критик Сантос Алонсо из мадридского «Расон и фе» не в силах понять, зачем понадобилось прославленному писателю менять стиль и принципы повествования. По мнению Алонсо, это объясняется «желанием всех ошарашить и продать побольше экземпляров, пока не обнаружилось, что король-то голый»...

Рецензии Кутейщиковой и Земскова вышли в свет в сентябре 1986 года. В этих небольших заметках сконцентрировано значительное концептуальное содержание и безусловно дан ответ на упреки тех, кому не понравилась новая книга Гарсиа Маркеса, или скорее тех, кто не смог ее понять. Чтобы ознакомить нечитавших с характером обсуждаемой книги, я воспользуюсь выдержками из статей Веры Николаевны и Валерия Борисовича.

Время и действие романа автором прямо не обозначено, однако читатель, пишет Вера Николаева, устанавливает его по опознавательным приметам, рассредоточенным в тексте. Колумбия конца XIX — начала XX века: начинают осваивать новинку европейской цивилизации — телеграф, читают последние произведения Анатоля Франса... Эта конкретная социально-историческая действительность — Колумбия времен граж-

[1] Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. México, Diana, 1985; Barcelona, Bruguerá, 1985.

[1] Опубликована в «ИЛ», № 12, 1981, под заглавием «Хроника объявленной смерти» в переводе Л. Новиковой. *(Здесь и далее прим. ред.)*

КОСТЮКОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Литературовед, переводчик. Автор статей об итальянской и испанской литературе XVII—XX веков. В ее переводе публиковались стихотворения Луиса де Гонгоры, П. П. Пазолини, Р. Скотелларо и др.

данской «войны тысячи дней», отмечает Валерий Борисович, исследовалась и в предыдущих книгах Гарсиа Маркеса, стала для него «источником размышлений о специфически латиноамериканском феномене «виолансии» (насилия) и источником важнейших художественно-философских исканий — от первого романа, «Палая листва», до «Ста лет одиночества»[1]. То было время вхождения патриархальной страны в новую действительность, развития буржуазных форм экономической и социальной жизни, крушения старой морали, социального и экономического аферизма, лихорадки обогащения. Главный герой, отец и муж героини так или иначе оказываются участниками этих афер, а сама героиня, Фермина Даса,— заложницей буржуазного брака, своего рода провинциальным вариантом «мадам Бовари».

До выхода книги автор говорил журналистам, что пишет роман о счастливой любви. Эти заявления звучали вызовом традиции, а особенно современной западной литературе, которая часто трактует тему любви со знаком «минус». В определенном смысле Гарсиа Маркес, конечно, интриговал читателей, но лишь в определенном смысле, ибо это действительно книга о любви осуществившейся и уже потому счастливой, хотя и ставшей явью... когда жениху исполнилось 76 лет, а невесте — 72 года.

Вера Николаевна Кутейщикова особое внимание обращает на то, что Маркес, работая над романом, «специально перечитывал французских классиков XIX века, прославившихся тщательной разработкой психологии любви». И на этот раз любовь, по ее словам, становится в романе единственным чудом, из тех, к которым так привыкли читатели Гарсиа Маркеса.

Роман начинается смертью доктора Урбино, почтенного восьмидесятилетнего старца. Когда люди разошлись с похорон, вдова, Фермина Даса, услышала слова, показавшиеся ей безумными и кощунственными: «Более полувека я ждал этого мига, чтобы вновь поклясться в вечной любви и верности». Слова эти произносит Флорентино Ариса, с которым Фермина Даса познакомилась в незапамятные времена, будучи еще гимназисткой.

Фермина была единственной дочерью богатого торговца; Флорентино Ариса — единственным сыном неимущей матери. Едва возникло взаимное чувство, торговец увез дочь в провинцию, подальше от неподходящей партии Когда же через два года повзрослевшая красавица вернулась в родной город, при виде возлюбленного она испытала мгновенное чувство разочарования: без всяких объяснений (объяснение не дано и читателю...) она запретила юноше к ней приближаться. В это время с Ферминой Дасой познакомился энергичный и процветающий доктор Урбино, только что вернувшийся из Парижа...

Пять десятилетий продолжался благополучный брак. У доктора немало достоинств, и до конца его жизни супруги составляли тесный союз, с полуслова понимая друг друга.

Шли годы, и Флорентино превратился в богатого наследника, состарился, но ментальность «иронического романтика» не подверглась изменениям. Не испытывая серьезной привязанности к другим женщинам, Флорентино посвящал свое время бесконечным любовным похождениям. И вот, глубоким стариком, узнав о смерти соперника, он понял: пробил его час.

Вера Николаевна резервирует для будущего читателя широкий спектр восприятий романа. «Писатель готов предстать союзником и тому, кто увидит здесь «песнь торжествующей любви», и тому, кого пронзит ощущение эфемерности этого торжества, справляемого «бездны на краю...». Во всяком случае, Гарсиа Маркес сделал все, чтобы его собственная концепция была растворена в повествовании без остатка, лишь невидимо организуя сюжет и структуру романа».

На взгляд же Валерия Борисовича Земскова, концепция Гарсиа Маркеса все-таки достаточно ясно просматривается в глубинах повествовательной массы, и писатель, как всегда, выявляет ее, вовлекая читателя в игру с текстом: «Реальному измерению Гарсиа Маркес противопоставляет свои правила игры. Речь не идет о «фантастической действительности» (термин самого Гарсиа Маркеса), где все возможно и все может произойти, как то было в романе «Сто лет одиночества». Это иная, хотя и принципиально родственная ей, концепция реальности: здесь нереальное столь плотно укуталось в одежды действительного, что фантастическое начало почти не прощупывается; и мы обманываемся, незаметно для себя входя в мир, где невозможное кажется возможным. Иногда писатель как бы подмигивает нам: например, муж 72-летней невесты, прежде чем хлопнуться на землю с лестницы, отчего он и умрет и откроет путь для соединения возлюбленных, на пару секунд задерживается в воздухе, чтобы осознать свое положение...»

Перед нами художественный прием, гипербола, реализованная метафора типа «Буду любить тебя сто лет», «Буду любить тебя вечно», что-то из разряда сентиментальных песенок, бытовых анекдотов и невероятных историй о верной любви «до гробовой доски» — одним словом, из сферы уличной молвы и пересудов. У этого источника есть свой литературный вариант — массовое сентиментальное чтиво, мелодраматические фильмы, радионовеллы и телероманы вроде тех, что сочинял Писака в романе Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и Писака»...[1]

Почему мелодрама в 70—80-е годы привлекла внимание больших писателей — Габриэля Гарсиа Маркеса, Марио Варгаса Льосы, Алехо Карпентьера? Ответ один: они нашли в ней резервы человечности, истощившейся в дегуманизированной литературе отчуждения,— отсвет романтической традиции. Не случайно автор сталкивает героев романа во время их поездки во Францию не с кем иным, как с Виктором Гюго.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1970, № 6—8.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1979, № 11, 12.

Другой источник романа, как это также подчеркнул Валерий Борисович, классический психологический роман XIX века с его обстоятельностью и глубиной разработки характеров, социального фона и среды. Этот тип романа также включен во всеобъемлющее целое пародированной мелодрамы, поэтому читателя не покидает ощущение ориентации на стиль «ретро» и даже «китч».

«Решающую роль в поэтике романа играет гротеск. «Каков источник карнавализованности Гарсиа Маркеса в данном романе? Это прежде всего... опыт двух знаменитых произведений — «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха»,— вся наработанная им техника литературной пародии и в то же время первичный, коренной источник...— живое народное карнавализованное сознание, «молва». Как и в романе «Сто лет одиночества», первоисточник сюжета — это народная «завиральня» о необычных жизненных случаях... Реально жизненное, драматическое у Гарсиа Маркеса оспаривается комически, а комическое перетекает в трагедию»,— подводит итог автор рецензии.

В трагикомическом финале книги читатель становится свидетелем «лобового столкновения жизни и смерти». «Пароход любви», на котором бушует пир жизни, увозит возлюбленных по «реке смерти» (классический образ-символ), на берегах которой царит чума; когда-то буйная природа опустошена «чумой цивилизации», повсюду — плоды «чумы виоленсии». В этой апокалипсической обстановке,— подчеркивает Земсков,— моровая ситуация обязательно сопрягается в нашем сознании с глобальной проблемой выживания человечества, стоящего перед выбором смерти или жизни. Как это умеет Гарсиа Маркес, он незаметно выводит нас на высший уровень самой жгучей гуманистической проблематики, бьет в самую сердцевину современной духовной ситуации: что сильнее — силы соединения или разъединения, жизни или смерти? Сможет ли жизнь одолеть чуму?

Существует на русском языке и публикация, дающая непосредственное впечатление о художественной ткани романа. Это кусок первой главы, напечатанный в «Литературной газете» в переводе Людмилы Петровны Синянской. Фрагмент, рассказывающий о том, как Фермина Даса отреклась от своей любви, выбран и переведен так, чтобы как в зеркале отразилось самое главное в книге. Переводчица воссоздала неуловимую иронию, которой наполнена каждая фраза: благодаря этому, мне кажется, обогащается и сюжет — за счет иронической остраненности.

В. Кутейщикова: В иных случаях опытность, приобщенность к творчеству писателя, которыми обладает литературовед, действительно необходимы для понимания художественной системы романа. Но в данном случае полагаю более важным и интересным поговорить о книге не в профессиональном ключе, а в порядке обмена читательскими мнениями. К тому же Валерий Борисович уже предложил нам — в упомянутой Еленой Александровной рецензии — свою литературоведческую концепцию.

В. Земсков: Я тоже читатель.

В. Кутейщикова: Вы читатель-ученый, а я читатель-женщина. Да не только в этом различие наше. Каждый, кто прочел роман Гарсиа Маркеса, составил о нем собственное представление, ибо он целиком и полностью посвящен любви, а о ней-то каждому человеку есть что сказать.

Гарсиа Маркес давно уже заявлял во множестве интервью, что его необыкновенно интересует любовь во всех возможных ее проявлениях, он буквально коллекционировал самые необыкновенные варианты любви. Почему он захотел взяться за такого рода произведение после монументальных, метафорических, исторических конструкций — мне не дать ответа. Быть может, потому, что с возрастом он как человек и художник становился все более мудрым, и эта мудрость вела его к первоосновам человеческого бытия — он уже написал о смерти, а теперь взялся писать о любви как неиссякаемом источнике жизни. Думаю, что «Любовь во время чумы» связана, хотя отнюдь не прямо, с его концепцией женщины как стержневой силы человеческого общества, не только в природно-биологическом, но и духовно-нравственном смысле слова. Давать свое толкование любовной коллизии романа трудно, потому что в ней заложено столько тончайших нюансов, что любая трактовка, ведущая к неизбежному спрямлению, чревата насилием над материалом.

Книги Гарсиа Маркеса вообще обладают магической силой, он завораживает читателя, берет его в плен. Вот я, уже много месяцев спустя после публикации рецензии, вижу, что было с моей стороны некоторым упрощением считать супружескую жизнь героини Фермины Дасы с доктором неполноценной. Собственно, я понимала, что в этом супружестве были и чувство, и дружеское взаимопонимание,— это все крайне существенные моменты, определяющие любовное сожительство супругов. Но вот не было той таинственной искры, того чуда, что никогда не выразить словом, чуда единения — телесного и духовного одновременно, что дает ощущение полноты любви. Впрочем, достигнуть ее вообще крайне трудно, и не все даже заботятся о ней, об этой полноте. Да, поэтому я готова полагать брак Фермины с доктором удачным, достойным и в чем-то даже счастливым, но любовь была не полной, не озаренной. Быть может,— и это лишь предположение — автор хотел показать нам тот максимум, которого можно достичь в, так сказать, обычном браке, и только в финале — вдруг от-

---

КУТЕЙЩИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Латиноамериканский роман XX века» (М., 1964), «Мексиканский роман» (М., 1971), «Новый латиноамериканский роман» (в соавторстве с Л. Осповатом; 1976, 1983).

ЗЕМСКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1940 г.)

Критик, литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Аргентинская поэзия гаучо» (1977), «Габриэль Гарсиа Маркес. Очерк творчества» (1986) и статей по вопросам литературы и культуры стран Латинской Америки.

крыть некую остававшуюся незаполненной брешь, которая в нем существовала. И именно эта брешь, пустота и обнаружилась после смерти мужа. Как-то сразу рухнуло все: дом стал постылым, личные вещи мужа поспешно были ликвидированы, а в конце концов и дети оказались чужими. Словом, все, что оставалось у нее как материальное и человеческое напоминание о прожитой жизни, сделалось не нужным. Для Фермины это момент самого глубокого кризиса, запоздалое свидетельство ущербности ее долголетнего супружества. Повторяю, многие могут прожить, даже и не подозревая, чего они лишены в браке, но вот этой-то женщине под старость было дано открыть истинность любви — вернее, снова открыть чувство влюбленности, то чудо, от которого некогда добровольно отреклась. Молодым это, естественно, может показаться смешным: любовь стариков — что в ней может быть?! Но пусть доживут до старости и что-то поймут по дороге.

Меня более всего интересует героиня, хотя тот, от кого она отказалась и кто пронес через всю жизнь влюбленность в нее,— тоже предмет для раздумий. Неистинность его жизни дана, я бы сказала, с предельной наглядностью. Он с этим сознанием жил все время и пришел на встречу со своей старой возлюбленной с непотускневшим чувством, что, правда, не помешало ему в свое время преспокойно и не без удовольствия предаваться сексуальным усладам. И одна из них — связь с девочкой, им соблазненной и брошенной, оборачивается трагически: гибель девочки на совести Флорентино (но это отдельная тема).

Е. Костюкович: Вера Николаевна, а не могло так быть: подобный финал «покупается» только за счет вот этой жизни?

В. Кутейщикова: Нет, не только; за счет всего, что она постепенно теряла по ходу жизни, но что не было окончательно истреблено... Наверное, под конец жизни Фермина действительно ощутила свою нереализованность. В ней как женщине — и это Гарсиа Маркес всегда имеет в виду — была заложена большая созидательная сила, но у Фермины она вся ушла в рутину; была деятельной, умной хозяйкой дома, помощницей мужа, но не была хозяйкой своей жизни. И вот впервые, под старость, она сама решила свою судьбу, движимая чувством, а не соображениями ума. Любовь как свобода и творчество — такова, как мне представляется, одна из идей, которые содержатся в романе. Одна — а сколько их еще?

Л. Синянская: Мне кажется, не бесполезно принять во внимание и то, как сам Гарсиа Маркес определяет, о чем его последний роман. Вот его слова: «Мы так и не получили ничего от великих привилегий XX века, наоборот, мы утратили трепетный идеализм и благоговение перед любовью... В какой-то мере в моем последнем романе «Любовь во время чумы» поднимаются все эти вопросы, я говорю: вопросы, а не утверждения».

Нет сомнения, что, говоря о привилегиях XX века, писатель имеет в виду материальные успехи нашей цивилизации, обилие вещей, делающих нашу жизнь комфортной, достижения техники и науки. Однако он подвергает сомнению конечный результат: получил ли человек счастье, которое он связывал с достижениями прогресса? И когда он говорит об утрате благоговения перед любовью, то любовь у него выступает как философская категория, любовь-духовность: любовью спасется мир.

Гарсиа Маркес удивительно уловил одну из главных забот, терзающих сегодня человечество: утрата духовности, потеря гуманистических ценностей, без которых все остальное мертво и ведет в тупик. Любовь в его романе двуедина, она конкретна и в то же время выступает в высоком, абстрактном значении.

В этом контексте «чума» становится аллегорией гибели того самого «трепетного идеализма», о потере которого в XX веке скорбит писатель. Кстати, о самом названии романа. У Гарсиа Маркеса роман озаглавлен «El amor en los tiempos de cólera». «Cólera» по-испански означает «холера». И в самом деле, в стране свирепствует болезнь, от которой мрут люди и скот, которую автор называет то холерой (cólera), то чумой (peste).

Однако в название писатель выносит слово «cólera», поскольку «peste», точно так же, как русское слово «холера», имеет в большей степени медицинский смысл, в то время как «cólera», подобно русскому «чума», содержит в себе понятие морового явления, повальной катастрофы, а кроме того, имеет литературный ассоциативный ряд — вспомним Пушкина, Шекспира, Камю. А потому: «Любовь во время чумы».

Я буду говорить как переводчик, задача которого состоит не столько в определении и поисках параболы, сколько в том, чтобы проникнуться отношением автора к тому, о чем он пишет, постараться передать его любовь и его ярость и не пропустить тончайшего оттенка, насмешки или сострадания к героям, уловить малейшие движения их души. Мне хочется привести любимые мною слова Хемингуэя: «Не верьте, если критики станут объяснять, какой должна быть книга, исходя из того, какая сейчас мода. Все хорошие книги сходны в одном: то, о чем в них говорится, кажется достовернее, чем если бы это было на самом деле, и когда вы дочитали до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и остается: хорошее и плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места и какая была погода».

Итак, о чем же роман, или, говоря словами Хемингуэя, «какая была погода»? Линий в нем много, и прочтений тоже может быть много. Но свое восприятие я бы изложила так...

В сверкающей морем и солнцем мир, насыщенный красками, звуками, запахами, в

СИНЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Переводчик испанской и латиноамериканской прозы. В ее переводе издавались романы Алехо Карпентьера «Потерянные следы», М. Отеро Сильвы «Лопе де Агирре, Князь Свободы» («ИЛ», 1981, № 9—10), М. Варгаса Льосы «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», Мигеля Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кайо» («ИЛ», 1982, № 1), Карлоса Рохаса «Долина павших», произведения Г. Гарсиа Маркеса, Пабло Неруды, Хуана Гойтисоло, Хуана Карлоса Онетти и др.

мир, сулящий счастье, вступают два человека. Они молоды, красивы, здоровы. Они полюбили друг друга внезапно и оглушительно, как это бывает только в юности. Но жизнь тут же разметала их в разные стороны. Однако эти мгновения счастья остались при них навсегда: в нем — остро осознанно, в ней — подсознательно. Идут годы, они взрослеют, становятся мудрее, каждый из них проживает свою жизнь, в них умирают иллюзии (а что такое жизнь, как не постепенная их утрата?). И уже не та в них энергия, силы иссякают, все чаще вместо беспричинной радости приходит грусть, то светлая, то тяжелая. И с каждым годом чувство потери, чувство чего-то несбывшегося становится все горше. И когда, казалось бы, жизнь подошла к концу и ничего впереди не осталось, обстоятельства складываются так, что герои могут соединить свои судьбы. Их чувство, их соединение далеки от банальных представлений о браке или сексе. Оно не омолаживает их и не добавляет им сил — это невозможно,— но наполняет смыслом тот отрезок жизненного пути, который им остался. Их соединению предшествует долгий путь взаимного духовного постижения. Флорентино Ариса пишет своей возлюбленной письма, эти письма не похожи на лихорадочные любовные послания юности, они скорее похожи на страницы мудрой книги, размышляющей о ценности жизни и любви, о смерти, и они помогают Фермине Дасе понять смысл прожитых дней. У них, так поздно нашедших друг друга, нет ни сил, ни времени начинать жизнь сначала. Пароход, поднимающий карантинный чумной флаг,— символ, у него нет пристани назначения, герои уплывают в никуда.

Чувство героев тем более сильно, что оно возникает и крепнет посреди «чумы», которую принес с собой наш, XX век. Книга проникнута острой тревогой за то, что утрачивается нравственное и духовное богатство нашего существования, что жизнь, возможно, становится более комфортабельной, но подчас пустой и никчемной. Привилегии XX века — техницизм, обилие вещей, потребительство, практицизм и прочее — сами по себе не могут обеспечить счастье: это все мы с особой остротой осознаем сейчас, в преддверии XXI века...

Книга Гарсиа Маркеса удивила меня своей непохожестью на все, что он написал прежде. В романах «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «История одной смерти, о которой знали заранее»[1] мы все время чувствуем напряженность мысли, события сгущены до предела в пространстве и во времени, все туго закручено и разворачивается точно пружина. Когда «Осень патриарха» читаешь по-испански, вообще кажется: если поднимешь глаза от книги, то мысль, нить ускользнет, и ищи ее, начинай все сначала. «Осень патриарха» по-испански написана сложно — без знаков препинания, сплошной, неудержимый поток образов, событий, голосов, фольклорных ассоциаций, поэтических цитат, песенных мотивов. В русском переводе роман получился несколько иным, приближенным к нам, как бы спроецированным на нашу действительность — за счет введения некоторых слов и выражений, привязанных к определенному времени и к нашей истории. В результате роман стал легче для понимания, а фигура диктатора более «узнаваемой», однако при этом все стало чуть более плоским и несколько утратило свой грандиозный обобщающий смысл. Но это, видимо, неизбежные потери перевода, задача переводчика все-таки прежде всего в том, чтобы читатель с м о г прочитать и понять произведение, в которое ему трудно проникнуть, трудно «продраться» сквозь необычайную насыщенность незнакомыми событиями и образами.

«История одной смерти...» тоже чрезвычайно сжата, это — поистине хроника, в ней почти нет прилагательных, только подлежащее, сказуемое, действие.

Последний же роман написан совсем иначе. В нем есть «воздух», я бы сказала, воздух поэзии. Проза прозрачная и точная, во всей книге нет места, где бы ты споткнулся мыслью, где бы пришлось перечитывать фразу или листать страницы назад, чтобы понять или вспомнить что-то,— такое совершенное логическое сцепление между эпизодами, такой последовательно-внимательный взгляд писателя, что книга прочитывается на едином дыхании. Об этом уже писали, да и сам автор признавал, что он перечитывал классиков прошлого века, французов, Флобера, чтобы стиль в этом романе был именно таким.

Но как объяснить этот взгляд автора назад, к чему он устремлен? Стиль, язык романа — это всего лишь средства, но ведь и сами события книги происходят в конце прошлого — начале этого века, в 20—30-х годах нашего столетия. И это очень важно: Гарсиа Маркес рассматривает мир на той грани, за которой начинается формирование массового общества, общества потребления, формирование нового мира, с его стандартами, готовыми видимостями, стереотипами поведения, где уже трудно различить лицо отдельного человека, где на первый план выступают совершенно другие категории, модели поведения групп и тому подобное. Мир этого романа еще не перешел роковой черты. Здесь еще до мельчайших деталей видны все лица и явны малейшие движения души. Не случайно автор, как никогда, внимателен к деталям, к признакам этого мира. Нет у Гарсиа Маркеса другой книги, которая была бы так насыщена запахами, красками и звуками. Буквально в каждой сцене вы можете вспомнить, в чем была героиня, хотя в романе нет длинных описаний, просто одна деталь, но вы ее не забудете, вы не забудете, что, когда герой увидел в театре свою возлюбленную уже семидесятилетней и она споткнулась о ступеньку, на ней были туфли на низком каблуке, а когда она отправляется в плаванье на пароходе, то берет с собой всего лишь полдюжины хлопчатобумажных платьев.

Весь роман насыщен деталями, автор не любуется ими, это всего лишь естественное внимание к человеку, к миру, еще населенному индивидуальностями, к миру до того, как он начал терять человеческое лицо, на-

[1] Под таким заглавием повесть опубликована в журнале «Латинская Америка», 1982, № 1—3, в переводе Л. Синянской.

чал дегуманизироваться и возникало массовое общество, массовая культура. Этот мир еще без дезодорантов, без синтетики и без транзисторов. Запахи, краски и звуки в нем еще натуральные. Почти каждый эпизод имеет свой цвет и свой запах.

Роман начинается фразой: «Ничего не поделаешь; запах горького миндаля в его сознании всегда связывался с несчастной любовью. Доктор Хувеналь Урбино почувствовал этот запах, едва вошел в еще полутемный дом, куда его вызвали по неотложному делу, которое, насколько он знал, перестало быть неотложным уже много лет назад». Запах в романе — почти действующее лицо. Он способен даже повлиять на судьбу героини: по запаху одежды она понимает, что муж ей изменил, и уходит из дому.

Я бы не стала делить книгу на финал и на прожитую героями жизнь. Такое разделение невозможно, потому что каждый из них — цельная личность и проживает вполне полнокровную жизнь. Другое дело, что в процессе этой жизни он становится творцом и убийцей любви одновременно. Флорентино Ариса любит, но страданиями скольких (и даже гибелью) оплачено его чувство! Трагическая диалектика жизни? Фермина Даса — объект живой любви, но она же убивает любовь своим отказом. Просто в свои шестнадцать лет взглянула вдруг на возлюбленного после долгого отсутствия и увидела, что он не тот, каким она его представляла. А разве не бывает так? Особенно в юности. Вдруг посмотрела и увидела: боже мой, совсем не то! И тут не нужно никаких объяснений: просто не такой, каким она его ждала. И все, и любви как не бывало.

В этом романе Гарсиа Маркес прежде всего — поэт. У Кушнера («Новый мир», 1987 г., № 1), есть прекрасное определение поэзии: это наше воспоминание о жизни, какой она бывает в лучшие свои мгновения. В сегодняшнем мире отчуждения, в разорванном мире, где слова стерлись, где постоянно сталкиваешься с подменой понятий, человеку необходимо прикоснуться к чему-то истинному, извечному, где человек не только червь, но и бог. Прикоснуться к самому прекрасному, что сотворено человеком за всю историю его существования,— к отношениям между мужчиной и женщиной. В трагическом ощущении несовершенства и конечности земного бытия, где роковым образом переплелись животворные и смертоносные начала, писатель обращает взгляд и надежду к самому хрупкому из творений человека — к духовной любви. Да, мощь и изобилие жизни, ее неодолимость ощущается на каждой странице книги. Но главное все-таки — неизбывная мощь духовности. Когда пересказываешь содержание, это звучит комично: они нашли друг друга на восьмом десятке. Но ведь он любил ее всю жизнь, и женщинам, которых он встречал на пути и которыми, скажем так, он пользовался, он не дарил своего духовного богатства, своего огромного чувства.

В. Земсков: А вы чувствуете чувство в нем, в романе?

Л. Синянская: Чувствую. Оно все время есть, оно дрожит во всем. Это проблема старая, одна из трактовок проблемы Дон Жуана — поиски идеала. В финале происходит не столько плотское соединение любовников, сколько соединение единомышленников, родственных в понимании жизни и смерти. Каким сильным должно быть чувство героя, если оно сохраняется на протяжении пятидесяти лет, не получая никакой «материальной» пищи!

Обращение Гарсиа Маркеса к проблеме духовной любви особенно интересно. Вспомним, в латиноамериканской литературе не существовало европейской традиции рыцарского воспевания любви к женщине, не было культа «прекрасной дамы», почти отсутствовала духовная окраска этих отношений. Любовь в латиноамериканской литературе всегда больше замешана на сексе, она более чувственная.

И последнее, что мне хотелось бы сказать: очень важно, какими глазами смотрит писатель на своих героев, очень важна степень его неравнодушия к ним. Для сравнения я хотела бы вспомнить Хорхе Луиса Борхеса. Я не собираюсь анализировать творчество этого великого генератора идей, блистательного мастера параболы и несравненного эрудита. Я снова говорю как переводчик, потому что переводила несколько его рассказов. Работала я с огромным интересом, но совершенно холодно, потому что холоден сам Борхес. Я бы сравнила его с энтомологом: он берет человека, накалывает его, как жучка, на булавку, смотрит, как тот дрыгает лапками, очень точно регистрирует и дает вам идею, почему он реагирует так, а не иначе. А потом смахивает его со стола. Не случайно у Борхеса почти каждая вещь кончается смертью: герой и ситуация исчерпаны.

Гарсиа Маркес не просто сопереживает человеку, о котором рассказывает. Он рассматривает его сердцем.

В. Кутейщикова: Я бы не стала вообще ставить антитезу: духовность — секс. Мне кажется, что важнее вопрос об адекватности двух соединяющихся в любви людей. Пережить полноту любви могут и люди, не обладающие особой духовностью и не обладающие особо богатыми сексуальными возможностями. Важно другое: опять же таинственная сила сцепления, делающая их половинками одного целого. И здесь уже не важно, насколько хорош или плох мужчина или женщина. Думаю, что доктор Урбино по всем статьям выше Флорентино Арисы — но последнему выпало испытать настоящую любовь, а доктор удовлетворился тем, что могла ему дать Фермина. И в самом деле, супруги много дали один другому, но не дали чуда. А для Гарсиа Маркеса чудо — очень важно вообще, во всех сферах бытия, и в этой особенно.

В. Земсков: Гарсиа Маркес богат, в нем такие толщи и пласты... Но, откровенно говоря, временами я ловил себя на том, что слов слишком много... Я не привык к такому Гарсиа Маркесу, я привык к очень лаконичному, точному в выражениях художественной мысли. Он всю жизнь решал задачу: найти столько слов, сколько необходимо. «Полковнику никто не пишет» он переписывал семь или восемь раз. Меня не покидало ощущение какой-то дисгармонии. Может, она от недостаточной «состы-

кованности» психологического плана и общей параболической конструкции? Ведь раньше он не писал таких романов о частной жизни. А может, есть и более глубокие к тому причины...

Е. Костюкович: Я вижу: со времени написания рецензий в журнале «Современная художественная литература» ваша оценка вещи усложнилась, приобрела стереоскопичность. Это, конечно, гораздо интереснее, чем когда попросту хвалят... И поэтому я хочу просить вас развить именно скептическую линию вашего выступления.

Общеизвестно, что каждой новой книгой Гарсиа Маркес «дописывает» предыдущие. Его дар иной, чем у Хуана Рульфо, вложившего себя в главную книгу. Главная книга Гарсиа Маркеса — совокупность написанного. Поэтому в новом романе все увязано с литературным прошлым писателя. Даже имя главной героини: Фермина Даса. Это сочетание помнится нам по «Осени патриарха». Там оно звучало чуть иначе, но похоже: Франсиска Даса. Это имя женщины, чью жизнь диктатор разрушил в единый миг, ради прихоти, надругавшись над ней и казнив ее мужа. Убитая и вновь воскресшая любовь Фермины Дасы вошла в «Любовь во время чумы» как главная тема.

Перешли сюда и другие прежние имена, герои, детали; снова появился Альваро, купивший в романе «Сто лет одиночества» «вечный билет на поезд, не имеющий станции назначения» (ситуация, удивительно сходная с финалом «Любви во время чумы»). И тигровая шкура перешла сюда с плеч герцога Марлборо — героя «Полковнику никто не пишет».

Не случайно уже отмечалось нашими исследователями, авторами предисловий к книгам Гарсиа Маркеса Осповатом и Земсковым, что время у писателя движется «по спирали», если, конечно, оно вообще движется, а не застревает неподвижной глыбой, как в комнате Мелькиадеса (это он, по догадкам критиков,— повествователь «Ста лет одиночества», и очень возможно, что он же — повествователь «Любви во время чумы»). Обращение романного времени вспять, с попаданием уже в иную плоскость, дает себя знать при поиске в новом романе следов повествовательного прошлого. В старых книгах отыскиваются следы, отпечатки книги новой.

Речь не только о заплывающих в книги Маркеса таинственных кораблях («Корабль дураков»? «Пьяный корабль»?), чья история может открыться как рассказанная нам лишь теперь история чумного корабля — брачного ковчега. Связь повествовательных времен ярко проявляется и при новом прочтении эпизодов «Осени патриарха». На конюшнях «Патриарха» экипажи времен Великой Чумы стоят бок о бок с лимузином. Видимо, рассказанная только что Гарсиа Маркесом история любви в Великую Чуму, на грани смерти, должна в его художественной хронологии предварять и даже в какой-то мере готовить торжество... смертельной любви патриарха к своей нации.

Сложно переплетаются мифогенные для латиноамериканской литературы мотивы: любовь, смерть, насилие, борьба природы и цивилизации. Тут любовь, поразившая Флорентино Арису, проявляется через такие же симптомы, что и у смертельной болезни — холеры (в русском обиходе мы заменили ее более богатой литературными ассоциациями «чумой»). Тут любовь отличить от насилия не умеет сам насильник — а насилие растет и развивается, как болезнь в организме, к тому же сознательно гримируясь под болезнь: жертв политического террора в Латинской Америке любят объявлять погибшими от холеры.

Литературоведы и критики не раз задумывались: отчего любовь в латиноамериканской литературной традиции, и в частности у Гарсиа Маркеса, либо не возникает вообще, либо возникает, но сея вокруг себя кровь, насилие, наконец политический террор. Это проблема философская, касающаяся глубин латиноамериканского миросознания.

И в новом романе Гарсиа Маркеса, как ни парадоксально это прозвучит: герои, растворившись в счастливой любви, стали бездушными, жестокими, безразличными ко всему, что этой любви прямо не касается. Фермина Даса заявляет, что дочь отныне ей не дочь. Флорентино Ариса хладнокровно переступает через труп любившей его девочки, покончившей с собой. Мир перестает существовать для героев, они укрываются под чумным флагом... Крайняя степень отстраненности человека от мира — прямая угроза этому миру!

«Любовь побеждает смерть» — эта памятная сентенция, введенная Тарасом и Шерманом в текст их перевода «Осени патриарха», обогатила роман дополнительными историческими аллюзиями. Кажется, теми же словами удачно передается и фабула нового романа Гарсиа Маркеса. Однако не случайно эта оптимистическая формулировка настораживает наш слух. Не такова ли и цель Гарсиа Маркеса: не успокоить, а обеспокоить читателя, насторожить, заставить задуматься: с какой легкостью человек, коснувшись вершин счастья, способен шагнуть дальше — туда, где нарушатся связи с другими людьми, связи, которые и делают его человеком, и установятся новые, сначала странные, а потом дикие, болезненные и смертельные, не раз Гарсиа Маркесом описанные как истинная чума нашей продвинутой цивилизации.

Но мне показалось, Валерий Борисович, что вы сейчас, видимо полемически, предлагаете посмотреть на Гарсиа Маркеса как бы из его прошлого, будто стараясь возвратить его на высочайшую — но, может быть, уже пройденную — ступень, что Гарсиа Маркес в своем психологизме «не дотягивает» до лучших образцов психологической европейской прозы. Но правомерно ли судить латиноамериканского писателя, ориентируясь на Европу? Разве не следует эту книгу представлять себе как новый шаг дальше, от прошлого, по неведомому нам пока еще пути? И не к Европе, и не к себе прежнему, а к чему-то новому, чего нам пока не видно?

Вот Варгас Льоса написал «Войну конца света», заявив о себе как о новом, латиноамериканском Толстом: он и название взял толстовское, в измененном виде. (Это уж если называть Гарсиа Маркеса новым Фло-

бером, а ведь запах миндаля действительно ведет к Эмме Бовари.) И Варгас Льоса создал великолепную книгу, очень большого объема — многословную, это, кстати, о многословии Маркеса; книгу, на прежнего Варгаса Льосу абсолютно не похожую. Нельзя ли увидеть что-то подобное и в случае Гарсиа Маркеса?

В. Земсков: Меня не совсем верно поняли, а может, я не вполне ясно выразился. Мнение мое о книге Гарсиа Маркеса не скептическое, скептическое оно скорее по отношению к монолитно апологетическому ее восприятию. Песнь любви? Думаю, что такое понимание ничего не объясняет, скорее затемняет сложность романа. Попробую сделать, так сказать, маргиналии к тому, что я писал раньше.

Поскольку книга — о любви, о ней и поговорим, сознавая всю рискованность такого разговора. Года два назад, когда мы еще ждали этот роман, в дискуссии о современной зарубежной литературе, что шла тогда в «Литературном обозрении», в ответ на пессимистические суждения Дмитрия Михайловича Урнова о ее перспективах, я предположил, что новый роман Гарсиа Маркеса станет серьезным вызовом таким представлениям. В самом деле, разве не вызов — обещать нам сегодня роман о «счастливой любви»? Так объяснил писатель свой замысел в печати. «Счастливая любовь»? После Ромео и Джульетты, Фауста и Гретхен, «Мадам Бовари», «Анны Карениной», «Митиной любви» Бунина?.. После его же «Темных аллей»?.. Я думаю, мои собеседники могут продолжить список книг о несчастной любви бесконечно, «в обе стороны» по исторической хронологии.

Но вызов чему? Наверное, не жизненной практике, так сказать (впрочем, ее лучше не касаться — это дело социологов современной любви), а состоянию культуры всемирной, духовной экологии в моровых поветриях конца XX века.

Вспоминается и другая дискуссия, та, что была проведена журналом «Латинская Америка», где выяснялись точки схождения и расхождения между современным латиноамериканским романом и романом советским. Писатель Руслан Киреев сказал тогда, что видит объединяющий момент в том, что ни там, ни здесь нет любви. Отталкивался Руслан Киреев от замечаний нашего прекрасного литературоведа, покойной Инны Артуровны Тертерян, которая говорила (тоже на дискуссии в «Латинской Америке», только на другой), что «любви в латиноамериканском романе очень мало», что в латиноамериканской традиции «сексуальность, как правило, с любовью (в нашем понимании) не сопрягается. в латиноамериканском романе секс не спиритуализируется и даже не эмоционализируется и к любви, опять-таки в европейском понимании, не приобщается».

Что произошло с любовной темой в русской литературе со времен классики и по сию пору — не тема нашего разговора, а вот что касается латиноамериканской литературы, то хочу обратить внимание — Инна Тертерян говорила, что там нет любви в «европейском понимании». Вот что важно. Вопрос был поставлен так: в латиноамериканской литературе иная система ценностей, в ней сексуальная витальность — это безусловно нравственно положительное начало, противоположное же — безусловно нравственно ущербно. Иная картина в европейской литературе: здесь плотское не составляет положительного начала, по крайней мере в классической традиции. Вспомним, кто воспевал в Европе здоровую, красивую бестию!

Дмитрий Владимирович Затонский поставил точки над «i», экстраполировав мысль Тертерян на европейскую культуру и приведя в качестве образца любовный «космос» Кафки, который противостоит латиноамериканской традиции как «нечто полностью противоположное». «Физическая близость Кафке мучительна, причем даже не физически, а морально». Физическая любовь для него — это «расплата за желание близости», заканчивающаяся «оголением» человека.

Итак, если перевести разговор в термины классической европейской гуманистической терминологии, то речь идет о несовпадении оценок соотношения между духовным «верхом» и плотским «низом». В европейской традиции они трагически разорваны, в латиноамериканской... Вот этот вопрос, наверное, и составляет глубинную загадку романа Гарсиа Маркеса о «счастливой любви», книги, которая уже самим своим появлением начисто отменяет до того в общем близкую к действительности мысль, что «любви в латиноамериканском романе очень мало». Теперь ее много, очень много, но вот какой любви? И не европейской, и не такой латиноамериканской, о какой говорила Инна Тертерян...

Я ждал эту книгу с внутренним напряжением, будучи уверенным, что вызов будет. Прочитал и сначала разочаровался, почему — сам не понимал, все казалось: что-то не то, что-то не так; и все склонен был думать: это ощущение — дисгармоничности от какого-то «скрежета» в литературной технологии. Зачем такой длинный подход к интриге через, кажется, вовсе не обязательную экспозицию? Я не ощущаю ее необходимости. А потом понял, что этот «скрежет» в обычно идеально работающих романных «машинах» Гарсиа Маркеса, конечно же, не от техники. Вот в чем дело: любовная мелодия не та, странная, непривычная. А это уже не по части техники, а по части культуры. Когда ворочаются глубинные пласты культуры, когда нарушается «порядок», когда происходит передвижка в «космосе», что уж тогда техника! Теперь я думаю, что Гарсиа Маркес сделал дело, которое под силу, возможно, только ему: он взломал ту латиноамериканскую традицию, о которой говорила Тертерян, но не опроверг ее, не «дезертировал» в Европу, а развил ее, подвел к какому-то кризисному пределу, за которым как бы должно родиться новое качество. Ну и, как всегда, как это было в «Ста годах одиночества», «заодно» бросил вызов традиции европейской — не решусь сказать, опроверг ее, но не поколеблюсь утверждать, что поставил под сомнение какие-то ее очень существенные основания. (Для тех, кто может «обидеться» за европейскую культуру, напомню, что полемический диалог культур — нормальный механизм развития мировой культуры.)

Не знаю, думал ли Гарсиа Маркес о Кафке, когда писал этот роман, не уверен. Хотя и предположить такое не было бы абсурдом, поскольку Кафка, пробудивший в нем писательский дар, всегда оставался «позитивно-отрицательным» полемическим источником, от которого подзаряжался его талант, что я и пытался показать в своей книге о творчестве Гарсиа Маркеса. Кафка и Гарсиа Маркес — они как две противоречащие одна другой половинки одного целого. Кафкианский мир из наличной драмы бытия стремится в окончательную катастрофу, он догматично, односторонне безысходен, в нем все ведет к гибели, к смерти, гармония и свет ему запретны. А мир Гарсиа Маркеса из этой наличной драмы стремится к преодолению, к снятию противоречия, пессимистическим аспектам бытия он противопоставляет оптимистические, сливая их в диалектическое единство. У Кафки если уж человек превратился в инсекта, то обратного пути нет, а у Гарсиа Маркеса метаморфоза вольная, во все стороны, возможности неограниченны, перспективы не закрыты... к гармонии, к «полному» человеку, «без хвоста» (вспомним его макондян, породивших последнего, со свиным хвостиком...).

Итак, «Песнь любви»? Скрежет, что слышал, слушая эту «песнь», мешает согласиться с таким определением. Но вот то, что стремился он к другой «песне»,— это для меня факт.

В самом деле, что, разве у Гарсиа Маркеса «расплата за желание близости», разве «оголение»? При том, что любовь у него самая плотская, та «витально-сексуальная». Нет, у Гарсиа Маркеса акцентирована иная мысль: любовь — как высшая форма близости, человеческого единения. Но снять одежду для него не означает «заголиться», это нормально. Дело в норме, в гуманистической норме, в пересмотре того, что именуют антиномией «верха» и «низа», в снятии этой антиномии. В христианско-европейской традиции плоть греховна, а в латиноамериканской традиции телесность никогда и не была «низом» человеческим, это положительная витальность, в ней самой живо жизнетворное духовное начало.

Эту различную и полемическую ориентированность подчеркнул, например, кубинский критик Десидерио Наварро в своей работе, где сопоставил художественные миры двух крупнейших кубинских мастеров — живописца Вифредо Лама и поэта Николаса Гильена как представителей иного «порядка», иного, антильско-латиноамериканского, «космоса». Он писал: «Утверждение в человеке живого тела, телесной материальности и жизненности, вносит... элемент полемики с официальной западной христианской культурой, которая веками, систематически подавляла человеческую плоть, признавая в ней лишь отчужденную сексуальность и предназначенность для труда». Или вспомним, например, Алехо Карпентьера, который в своем до сих пор не оцененном должным образом выдающемся романе «Век Просвещения» словно по слогам произносит этот новый для мировой культуры тезис нового латиноамериканского «космоса»: в европейской традиции человек — это природно-духовное существо, «через тире», разорванно, а в латиноамериканской — «без тире», вот так: природно-духовное. Невозможно сейчас вдаваться в глубины вопроса, но речь ведь должна, наверное, идти о разных типах мирозерцания: о том, основу которого, его код, составил христианский миф, и о том, где миф перестал быть почвой культуры... Как бы то ни было, перед нами иная норма, иная нормальность культуры, а значит, разумеется, и художественной практики. Космос, построенный не по «вертикали» христианского мифа («низ» — «верх»), а по «горизонтали» человеческого бытия без богов, где дух витален, а витальность одухотворена.

Такова тенденция, таково обещание, таков центр тяготения латиноамериканской культуры, таков ее тезис, поставленный на повестку мировой культуры: стремление к гармоничному, нерасколотому, «полному» человеку. Европейской традиции, сформулировавшей проблему, этого не удалось, человек «разорвался» пополам, латиноамериканская традиция — наследница европейской — устремлена к тому же идеалу.

Этот идеал и вел Гарсиа Маркеса с самого начала, и он прав, когда говорит, что всю жизнь пишет одну большую книгу. Он называл ее книгой об одиночестве, но можно сказать и по-другому: всю жизнь он пишет одну большую книгу о любви как идеале «полного», не расколотого человека. И в этом смысле новая его книга имеет обобщающее значение по отношению ко всему его предшествующему творчеству. Об этом говорит многосмысловое заглавие романа. Елена Александровна Костюкович правильно напомнила, что книга еще не была переведена, когда ее озаглавили «Любовь во время чумы» (и я поддерживаю такой перевод), но в оригинале все-таки речь идет не о чуме, а о «холере», как то отметила Людмила Петровна. Но ведь испанское слово «cólera» имеет два значения: не только эпидемическая болезнь, но и желчь, гнев, раздражение — и близко к этим значениям— злоба, ненависть... Потому заглавие можно было бы перевести и так: «Любовь во времена злобы» или «Любовь во времена ненависти». Одним словом, в моровую эпоху, эпоху катастрофического состояния человеческой экологии. И не случайно в конце романа чума насилия перерастает в чуму экологическую, гибнет природа, заставляя нас проецировать ситуацию в современный контекст... А истоки мора, по Гарсиа Маркесу, в нехватке человечности, любви — с самой первой (!) журналистской известной нам заметки и с первого романа «Палая листва», прообраза его «Ста лет одиночества». И в первой же той заметке он сформулировал тему «недоброго (или злого.— В. З.) сознания», отвергающего любовь как единение, как близость, как теплоту родового и всякого человеческого единства, в том числе и любовь как любовь.

Об этом он писал в романе «Сто лет одиночества», дав все варианты «недолюбви», все разновидности любви «искривленной»: насилие, страх, боязнь близости, самопожирание добровольного отказа от любви, разнузданная холодная «петушиная сексуальность», агрессия бездуховной плоти, порок. Еще яснее он сказал об этом в

«Осени патриарха»: мир социально ненормален, потому что нет любви. А точку поставил в «Истории одной смерти...»: оттого, что нет любви, рухнул (в одном человеке) мир, убили его сами же люди.

Для Гарсиа Маркеса дисгармония в социальных отношениях в конечном счете обязательно уходит своими истоками в проблемы природы человека, в сущностные противоречия. Беда в том, что люди еще не вполне люди, «низ» преобладает, и «петушиное» начало во всем — от сферы любви до социума. А ведь точно так же формулировал проблему и Достоевский: вспомним его душераздирающую запись, сделанную у тела скончавшейся жены! Там тоже все ступени лестницы противоречий: от индивидуальных отношений в любви — до социума, до мечты о «хрустальном дворце»!..

И вот теперь любовь как вызов моровому поветрию! Но удалось ли Гарсиа Маркесу срастить «половинки»?

Не знаю, как воспримет эту книгу наш читатель, когда она будет издана (не сомневаюсь, что рано или поздно ее опубликуют),— ведь он-то воспитан как раз той европейской традицией и, может, «самой» европейской, если говорить о соотношении «верха» и «низа»! Вспомним толстовского отца Сергия, отрубившего себе палец, вспомним князя Мышкина Достоевского, бестелесного влюбленного, или, скажем, чеховскую любовь, или «Мастера и Маргариту» Булгакова, где как бы обобщается в метафору классическая любовь, реализующаяся в идеально-возвышенной сфере «верха». Ведь Мастер и Маргарита в этот «верх», на небо и уносятся в конце концов, подальше от грешной земли. В утрированном виде эта традиция предстает в сниженном, мелодраматизированном варианте, скажем в псевдоклассическом «Гранатовом браслете» Куприна и уж совсем отвлеченно в гриновской романтике... В русской традиции, если писатель отказывался от классического кода, он впадал в апологию декадентства, какого-то разврата — тому примеров достаточно в литературе начала XX века...

Не уверен, что эпизод обнюхивания Ферминой одежды своего мужа, когда она пытается узнать, встречается ли он с другими женщинами, читатель воспримет в плане любовной лирики. Не говоря уже о самой центральной сюжетной коллизии: физическая любовь стариков, которым за семьдесят. Наверное, кто-то воспримет такую откровенную телесность как раз как отсутствие любви, как подтверждение того, что ее нет или есть очень мало... В одной дискуссии Гарсиа Маркеса назвали «порнографическим» писателем...

Такому читателю хочется сказать: не надо отметать и поносить то, что не совсем похоже или даже совсем непохоже на знакомое с детства. Ведь, скажем, чтобы понять японских романистов, надо совершить определенное усилие, надо понять условия, конвенцию культуры, надо войти в иной «космос». То же и здесь. Только с тем особым отличием, что перед нами не готовый космос, а космос в строительстве, в «гуле стройки» новой культуры, затрагивающей непосредственно и острые, болезненные вопросы европейской, а значит, и мировой культуры. Важно уловить вот эту устремленность писателя к идеалу новой нормальности, в которой соединятся две разорванные половинки целого, к «полноте» человека, возможность чего живет в нем самом, почему и находит выражение в культуре как идеал. Итак, удалось ли соединить Гарсиа Маркесу половинки? Думаю, что нет. Если бы удалось, вот тогда бы мы и услышали какую-то «песнь любви», какую-то новую гармонию. А здесь я слышу дисгармонию. Это, как всегда у Гарсиа Маркеса, гротесковый, травестийный, пародийный «оркестр-пересмешник». Вот откуда, наверное, тот скрежет. Да и может ли быть иначе, если мы спародируем классическую любовную мелодию? Спойте-ка в ритме колумбийской карнавальной, «телесной», кумбиамбы вот это идеальное из «Пиковой дамы»: «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить...»

Но обещание новой гармонии есть, как и раньше, в «Ста годах одиночества». Как я пытался показать в моей книге о Гарсиа Маркесе, в его творчестве, моделирующем как бы и всю систему отношений латиноамериканской культурной традиции с европейской, происходит травестийное, пародийное, полемическое переосмысление классики на новых концептуальных основах.

Как и в романе «Сто лет одиночества», здесь своего рода маскарад форм культуры, образов, стилей, моделей. Мне приходилось уже говорить, что тут пародируются через мелодраму классический психологический роман, романтический любовный стереотип (здесь и Флобер, и Гюго, и Бальзак). Не считаю, что Гарсиа Маркес думал о русской традиции, а впрочем, почему бы и нет? Почему бы здесь не вспомнить нам классические варианты идеализированной любви русской литературы, как, например, князь Мышкин, да и другие бестелесные положительные герои Достоевского? Но уж в любом случае Мышкин присутствует здесь косвенно — через своего предка Дон Кихота, с его идеальной, бестелесной, да и вообще несуществующей любовью к несуществующей Дульцинее. Думал писатель о том или нет (а может, это просто «механизм» его сознания, всегда работающего по типу пародии и травестии, карнавальности, выворачивающих наизнанку европейскую традицию), в романе сама история отношений Флорентино Арисы с Ферминой Дасой представляет собой пародию на европейскую модель идеальной любви, восходящей к стереотипу рыцарской, бестелесной, абстрактно-отвлеченной любви. Ведь герой-то фактически антирыцарь, анти-Дон Кихот, «Песнь любви» бывает, когда герой совершает подвиги во имя возлюбленной, должна быть аскеза, физическая невинность (или ее какое-то замещение), страдание, да и дама должна сохранять некий статус героичности, он или она должны отравиться, под поезд броситься, повеситься или погибнуть духовно. Оттого они нам и нравятся, что идеальны, героичны. А здесь? Что здесь нам нравится? Герой? Но ведь он принципиально несимпатичен с того момента, как, отвергнутый, вступает на путь испыта-

ния временем: вместо идеальной аскезы — никакого «ожидания», никаких подвигов. Явился к возлюбленной на старости лет, пройдя через все, какие возможно, постели, не предприняв никаких «последних» шагов. Он приходит — вот удар по идеалу! — со вставной челюстью и крашеными волосами!.. Какая там «расплата за желание близости»! Все в ином — пародийном измерении. Но любовь все-таки есть! Если герой не Дон Кихот («верх»), то и не Санчо Панса («низ»). Нет неодолимого разрыва на две половинки у Гарсиа Маркеса все стремится к соединению: буйное, плотское — и идеальное. Не став аскетом, Ариса все-таки стал им. Когда они соединяются, он не лжет, говоря, что не знал других женщин. Да, в идеальном смысле он сохранил любовь, и не случайно в момент любовного соединения он предстает перед героиней в облике не старика, а мужчины без возраста. Так в скрежете гротеска звучит и мелодия.

Или другая пародийная инверсия, связанная с основной коллизией: любовь не молодых, а стариков. Еще один удар по идеальному стереотипу любви, спускающий ее в иное, жизненно-приземленное измерение. Но это не любовь благостно соединяющихся старцев, как в «Повести о Петре и Февронии», не идеально-отвлеченная любовь, а телесное буйно-молодое соединение. Там, где, кажется, должна из-за плеча возлюбленных выглядывать смерть, глядится жизнь. Пир жизни вопреки смерти. Здесь Гарсиа Маркес шокирует традицию, пожалуй, сильнее всего: вместо Ромео и Джульетты — любовь «черепов»!

Я думаю, той гармонии, что нет (и не может быть по закону жанра),— в избытке в авторском идеале неотвлеченной, неабстрактной любви, который окрашивает все как обещание, как возможность новой нормальности. Эта иная норма предполагает иной, новый «космос», иную духовную экологию, она вопреки миру, чуме устремлена к миру, где не будут гибнуть природа, животные, люди, где человек не расколот на множество «половинок»...

Два ухода возлюбленных. В «Мастере и Маргарите»— подальше от земли, в небеса, в идеальный «верх», в «Любви во времена чумы» — по реке человеческого бытия. Чистая, идеальная мелодия, влекущая нас куда-то «туда», и — скрежещущий пересмешный оркестр, в дисгармоничной музыке которого все смешалось в кучу и пока ничего не выплавилось. А может, вот такая мешанина и есть наиболее адекватный образ наличного бытия?..

Думаю, что возможно и такое чтение. В карнавале Гарсиа Маркеса маски взаимоотражаются многократно.

И еще последнее: однажды Гарсиа Маркес сказал, что не надо подходить к «Ста годам одиночества» с непроницаемой серьезностью. Та рекомендация кажется мне годной и для нового романа. Ведь в конце концов, если мы будем обсуждать героев как соседей по коммунальной квартире, взяв их в кухонно-бытовом измерении, а не в контексте смыслов истории, культуры, то прочитаем всего лишь советы, может и полезные, для пожилых влюбленных...

◆

Н. ЛИТВИНЕЦ

ГИЗЕЛА ЭЛЬСНЕР. В ОБЛИЧЬЕ «ЗЛОЙ ДАМЫ»

«Но не такой удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ... ему не избежать, наконец, от современного суда... который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет у него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта... Не признает его современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество...»

Николай Васильевич Гоголь, написавший эти строки с полтора столетия назад применительно к своему времени и своей стране, по городам и весям которой неутомимо неслась тогда бричка охочего до дешевых «мертвых душ» Павла Ивановича Чичикова, понятно, и предположить не мог, как точно отзовется его слово в далеком будущем, в далекой от России западной стране, как станет оно своего рода эпиграфом к творчеству смело вступившей на суровое поприще сатирика западногерманской писательницы.

Кстати, Гоголь, наряду с Кафкой, Флобером и Брехтом, принадлежит к любимым авторам Гизелы Эльснер, и «Мертвые души», по ее собственным словам, она читала по меньшей мере шесть раз.

Удел сатирика труден во все времена. Но в ФРГ ныне он труден особенно. Преуспевающая капиталистическая страна, вступившая, согласно предвыборным заверениям консерваторов, в библейские «семь лет великого изобилия», успешно выдерживающая конкуренцию даже с могучим заокеанским партнером, страна, все чаще выставляющая в последнее время свое богатство напоказ, словно ощутившая вдруг воздействие «дурмана роскоши» (так называлась статья в одном из последних прошлогодних номеров еженедельника «Шпигель»),— до сатиры ли ей теперь и какое дело до этой самой сатиры преуспевающему бюргеру, что спит и видит, как бы пополнить своею особой ряды «новых богатых»? Все чаще, с удовлетворением потирая руки, говорят западногерманские политики о равнодушии молодого поколения к политической и социальной сфере, об интересе к «благам жизни», о всепоглощающем стремлении делать деньги, делать карьеру. Зачем же сатирик в столь безмятежные времена? Впрочем, не секрет, что безмятежность эта кажущаяся, призрачная. Ибо много в сегодняшней ФРГ больных

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА

Советский критик литературовед и переводчик, кандидат филологических наук В «Иностранной литературе» печатались ее статьи о писателях ФРГ и ГДР, а также переводы с немецкого повестей Герда Фукса «Мужчина на всю жизнь» (1981, № 3), Гизелы Эльснер «Испытание на прочность» (1986, № 3) и др.

проблем, давно ждущих решения. Рост расходов на вооружение, необычайно обострившаяся в последнее время проблема охраны окружающей среды, широкий размах движения сторонников мира, хроническая и весьма внушительная безработица — все это вполне конкретные реальности повседневного западногерманского бытия. Да и недавно прошедшие выборы показали, что не очень-то по душе среднему избирателю широко планировавшийся консерваторами «поворот вправо», что хотя бы в последний момент он непременно остановится, задумается.

Вот для этого и пишет Гизела Эльснер свои умные, язвительные книги — чтоб заставить остановиться, задуматься. И даже из небольшого очерка творчества видно, сколь логично и последовательно развивалось ее творчество, как уверенно шла писательница по своему, собственному, пути.

Гизела Эльснер родилась 2 мая 1937 года в Нюрнберге в состоятельной буржуазной семье, изучала философию, германистику и искусство театра в Вене, в восемнадцать лет впервые попробовала свои силы в литературе. Уже первая опубликованная ею самостоятельная вещь, «Пропуск в тексте», отрывок из будущего романа, включенный известным поэтом Гансом Магнусом Энценсбергером в антологию «Предвестники» (1962), продемонстрировала незаурядную силу таланта начинающей писательницы. А в 1964 году, когда опубликован был первый ее роман «Гигантские карлики», куда составной частью вошел и упомянутый фрагмент, о Гизеле Эльснер всерьез заговорила критика. И как заговорила!

«Гизела Эльснер оперирует на нерве нашего времени. Весьма заметная книга, весьма интересный автор» (из гамбургской «Вельт»). «Надолго запоминающиеся главы не только полны внешнего комизма, они еще и несут в себе сатиру, направленную прежде всего против одного способа бытия, а именно немецкого мелкого буржуа. Tour de force [1], проведенная с необычайной искусностью и точностью» («Таймс литерари сапплмент»).

Вот такими и подобными восторженными отзывами изобиловала суперобложка *третьего* издания первой книги писательницы, осуществленного все в том же 1964 году. Критика не преувеличивала. Первое «большое» произведение Гизелы Эльснер сразу стало серьезной заявкой на «большую литературу».

Жанр произведения определить нелегко. Критика назвала «Гигантских карликов» романом, сама писательница обозначила жанр своей книги скромнее: «Ein Beitrag» — статья, исследование, но в то же время и доля, часть, вклад. В какой-то степени это было действительно исследование, исследование повседневного бытия одного социального слоя. Страшный, отвратительный мир открывался читателю, мир, словно взятый под увеличительное стекло, мир, где карликовые представления и карликовые страстишки разрастаются до гигантских размеров,— обыденный мир западногерманского бюргерства. Внимательными, широко раскрытыми глазами вглядывается в этот мир маленький Лотар Ляйнляйн, внешне — чистенький, благовоспитанный мальчик из «хорошей семьи», внутренне — страдающее, забитое существо, втиснутое в рамки абсурдного бытия. Потому что именно абсурдным, фантасмагоричным предстает при ближайшем рассмотрении размеренный мелкобуржуазный быт, где извращаются естественные человеческие понятия, такие, как доброта, участие, любовь, жалость, сострадание, где все приносится в жертву бюргерской благопристойности, желанию «быть не хуже других». Писательница удивительно точно, умно исследует «одномерное сознание», опутанное рядом условностей. Отсюда постоянное ощущение собственной ущербности, ущемленности у ее героев и как компенсация — мелкая тирания, мелкое повседневное надругательство над ближним, банальнейшая бытовая жестокость, привычный и потому незаметный перекос человеческой морали.

Галерея прекрасно выписанных типов разворачивается перед читателем. Господин старший учитель Ляйнляйн, обжора, изысканный мучитель домочадцев и учеников, преисполненный сознания собственной значимости, проистекающей из ласкающего слух словечка «старший»; беззаветный друг животных доктор Траутберг, содержатель четырех раскормленных догов, набрасывающихся на первого встречного, чьи раны затем приходится исцелять врачевателю; инвалид Келкер, принесший ногу «на алтарь отечества», озлобленное, тупое, лишенное тормозов существо, получающее садистское удовлетворение от мелкого своего тиранства над ближними,— все это сделанные крупным планом моментальные снимки, выхваченные из аморфного, безликого, косного бытия. Крупный план оказывается для «озверевшего мещанина» убийственным. А ведь писательница вроде ничего и не придумывает, она только очень внимательно, пристально вглядывается в разворачивающуюся перед нею жизнь, и вот уже гротеск рождается сам по себе, в точности соответствуя гротескной, немыслимой, искаженной и неподлинной жизни. «Жестким реализмом» следовало бы назвать такой способ письма.

Роман получил литературную премию «Форментор», был переведен во многих странах. Немало говорилось об удачно найденном собственном стиле писательницы, о языке, причудливо объединявшем высшего класса стилистический изыск с нарочитым, утрированным «канцеляритом», призванным подчеркнуть убожество, однолинейность мышления персонажей. Можно спорить, нравится ли стилистическая и синтаксическая манера Гизелы Эльснер или нет, но стиль писательницы, уже начиная с первого ее романа, не спутаешь ни с чьим другим, это бесспорный факт.

После шумного успеха первой книги следующий роман Гизелы Эльснер заставил себя дожидаться. Роман назывался «Der Nachwuchs» (1968), и в самóм названии заложена была уже многозначность толкований. В немецком языке слово «Nachwuchs» имеет ряд значений. Исходя из конкретного содержания романа, следова-

[1] Демонстрация силы (*франц.*).

ло бы перевести его название как «Наследник», в крайнем случае — «Отпрыск». Но Nachwuchs — в более широком смысле еще и потомство, и молодое поколение, и молодежь вообще. Этот второй план названия ощущается в романе постоянно — не случайно ведь писался он в конце 60-х годов, когда о молодежи с интересом заговорили в ФРГ журналисты и писатели, социологи и политики, столкнувшиеся както сразу, вдруг, с необычайным размахом молодежного движения.

Конфликт между «отцами» и «детьми» соответственно духу времени имел место и в романе Гизелы Эльснер, вот только проявлялся он здесь в несколько «сдвинутой», гротескной форме. Растолстевший, расплывшийся до амебоподобности юный Нёлль, от лица которого ведется повествование, тоже протестует против диктата отцов, против неуемного их желания «владеть», но по-своему и пассивно: исподволь разрушает он образ послушного, любимого сына, который создают родители-«кормильцы» в своих мечтах; ничего не делая, ни к чему не стремясь, он ведет скудное, почти растительное существование, оживляясь разве что при упоминании о еде. Можно предположить, что писательнице хотелось воспроизвести конфликт, обостренный до предела, конфликт не только идеологический, но больше даже экзистенциальный, сущностный. Обманутые родительские ожидания, ущербность собственного сына в сравнении с преуспевающими отпрысками соседей, боязнь кривотолков и пересудов, игра соседям напоказ в полное семейное благополучие, не прекращающиеся попытки «повлиять» на наследника, ввести его существование в благопристойные буржуазные рамки, разочарование от множащихся неудач, широко колеблющийся спектр воздействия, от ласкового увещевания до истерического окрика,— все это рождает особый, далекий от нормально-повседневного микроклимат в семействе Нёллей, микроклимат извращенный, абсурдный, психопатологичный. Увы, на протяжении романа патологическое начало все более разрастается, исподволь вытесняя и подменяя начало социальное.

Роман был встречен критикой прохладно, и к тому были основания. «Патологический гротеск», созданный писательницей, конечно же, ни в какое сравнение не шел с социальной прозрачностью «Гигантских карликов», к тому же экспериментирование в области языка преобладало на сей раз над содержательностью, читатель словно «попадал в капкан», по меткому выражению одного критика, усложненных, запутанных фраз. И все же эта «школа» была необходима писательнице, методом проб и ошибок обретался здесь собственный подход к освоению действительности, совершенствовался собственный почерк, собственный стилистический ключ.

Не случайно роман «Запрет на прикосновение», вышедший в свет в 1970 году, явил читателю уже совершенно другую Эльснер. Куда девалась некоторая стилистическая чрезмерность первых двух романов, аморфность эстетического высказывания в «Наследнике»? Все здесь удивительно точно, естественно, органично, роман с первых же страниц держит читателя в напряжении, не столько даже благодаря динамике сюжета, хотя в таковой ему не откажешь, сколько благодаря внутренней последовательности происходящего.

«Запрет на прикосновение» — это по сути роман о маленькой, локальной, можно сказать, «сексуальной революции». Сейчас, с позиции опыта более чем полутора десятилетий, отношение на Западе к так называемому «сексуальному прогрессу» скорее скептическое. Широко разрекламированная вседозволенность давно уже начала приедаться, «кварталы удовольствий» с их явно индустриализированным порнобизнесом неожиданно столкнулись с экономическими трудностями, солидные журналы и газеты свели к минимуму обнаженную натуру на своих полосах, в моду, если можно так выразиться, снова вошли *чувства*, изрядно потеснившие простоватый секс, да тут еще занесенный из-за океана вирус СПИД негаданно дал весомый козырь в руки поборников нравственности: вот, мол, кара человечеству за распущенность, безоглядную погоню за наслаждением, за грехи непотребства и пресыщения. Словом, как и следовало предполагать, наступило отрезвление. И как же современно, как точно прочитывается сегодня этот роман! А ведь писался он в те времена, когда в западногерманском обществе царила еще полная эротическая эйфория. Подхлестнутая «левым взрывом» конца 60-х, «сексуальная революция» ширилась, разрасталась, она словно сулила каждому необозримый спектр наслаждений, и — что самое главное — независимо от состояния, от положения в обществе, от тревоги о завтрашнем дне, о хлебе насущном. Поистине волшебное, чудотворное средство! Словно специально придуманное для таких, как занятые собственной карьерой служащие Дитхен, Штёсель, Кайтель, Хинрих и Штиф, повседневное бытие которых становится объектом исследования в романе Гизелы Эльснер.

У каждого из них свои проблемы. Никак не может свести концы с концами многодетный отец Дитхен, тщетно дожидающийся очередного повышения жалованья, угнетает полная зависимость от тестя неудавшегося художника Штёселя, нет и намека на человеческий контакт с молодой женой у Кайтеля, подчеркнуто стесняется перед приятелями происхождения своей жены, дочери булочника, «прогрессивный» Штиф. Как много скрытой ущербности, неполноценности таится в каждом из них, как отравляют жизнь глубоко загнанные внутрь амбиции, стремление выделиться, возвыситься, хоть в чем-то превзойти остальных! И когда одна из регулярных дружеских вечеринок под воздействием изрядно употребленного спиртного исподволь перерастает в оргию, все пятеро испытывают приятное возбуждение. Дальше — больше: кому-то приходит в голову мысль разнообразить начавший уже приедаться свальный грех приглашением еще одной «открытой всему новому» пары, найденной благодаря объявлению в

газете. Как хлестко, с какой убийственной, разящей иронией описаны в романе сексуальные эскапады героев, какой невообразимой пошлостью отдает интимная жизнь всех этих «дам и господ» — в гостиной с зашторенными окнами и выключенным светом, равно как и в добродетельной супружеской спальне!

Впрочем, широта и «раскованность» бюргера имеет свой предел. Новая «пара», сделавшая сферу сексуальных развлечений не только способом удовлетворения собственных извращенных наклонностей, но и весьма прибыльным бизнесом, потрясает даже наши «продвинутые» семейства безвкусицей и навязчивой гнусью. Возвращается стыд, «сексуальным торгашам» отказано от дома, герои же словно прозревают. Гнездившийся до тех пор где-то в закоулках души конфликт между естественнейшим буржуазным чувством собственности (жена — это ведь тоже собственность, тоже способ помещения или приобретения капитала) и пьянящим ощущением «открытости всему новому» выплескивается, наконец, наружу. Госпоже Штиф, дочери булочника, впервые попавшей в «благородное общество» и невольно спровоцировавшей в слепом своем восторге нежелательное течение событий в тот самый первый раз, указано теперь ее место. Даже муж отказывает ей в ласках, вводя нечто вроде «запрета на прикосновение», по аналогии с получившим печальную славу в ФРГ «запретом на профессию».

Впрочем, прелести «недостойной» госпожи Штиф, несоизмеримые с куда более скромными дарами их собственных жен, по-прежнему манят остальных друзей, и однажды, подвыпив, они решают нанести ей «дружеский визит», где и застает их на месте преступления разгневанный супруг и законный владелец вышеозначенных прелестей. Естественно, он считает своим долгом порядочного человека тут же проинформировать законных супруг. Следует очистительная нравственная буря, и вот уже окончательно восстановлена благопристойная буржуазная мораль, утверждено незыблемое право собственности — и в сексуальной сфере тоже. Жены удовлетворены: кто унизительными и многократными просьбами о прощении, кто дорогостоящими подношениями, кто пресмыкательством перед родителями, кто показушной игрой в «семейный мир» — небольшой зигзаг в область «новых веяний» предан забвению, все возвращено на круги своя.

В романе «Запрет на прикосновение» сатирический талант писательницы впервые заговорил в полную силу. «Крепкой силой неумолимого резца», если вернуться к гоголевской цитате, писательница дерзнула выставить «выпукло и ярко на всенародные очи» то, о чем предпочитали умалчивать, от чего открещивались даже социологи и философы — разрушительное действие размывающихся нравственных норм на личность, «еще более резкое извращение и без того извращенной морали», как точно заметил один из критиков. Морали, искаженной отношениями собственности, добавили бы мы. Роман Гизелы Эльснер не предавал анафеме «сексуальную революцию», не пел он ей и осанну, тема его шире, он направлен против лживости, *извращенности* буржуазной морали вообще, в какие бы одежды, бюргерски ли добродетельные или модные «секс-революционные», эта мораль ни рядилась. Быть может, именно этот факт вызвал раздражение в рядах радетелей нравственности. В Швейцарии журнал «Конкрет», где печатались отрывки из романа, был конфискован, в Австрии книга Эльснер была зачислена в разряд «вредных для юношества».

А между тем, если говорить по большому счету, роман Гизелы Эльснер — удивительно нравственная книга. Вторгаясь в рискованную сферу «интима», прямо называя вещи своими именами, писательница нигде не преступает грань, отделяющую подлинную литературу от китча, и остается только восхищаться виртуозностью, с какой владеет романистка средствами сатирического гротеска на любом повествовательном уровне, как складываются у нее многоликие особенности интимной жизни героев в четкую социальную характеристику. Не отказываясь от индивидуальных черт (чего стоит, например, озлобленный, самоутверждающийся мещанин Дитхен с вечно потными руками или простоватая до идиотизма госпожа Штиф), Эльснер создает одновременно групповой портрет поколения, портрет социального слоя. Портрет оказался точным, хотя вряд ли пришелся по душе прототипам. За Гизелой Эльснер установилась репутация «злой дамы», правая критика начала временами посматривать на нее косо, однако на успехе романа это не сказалось, он хорошо продавался и выдержал ряд переизданий.

В 1977 году у Гизелы Эльснер вышел роман «Победа по очкам», затрагивавший наиболее острые вопросы социальной и политической жизни в ФРГ. Действие его развивалось в высших сферах. Для Гизелы Эльснер, воспитанной в семье, проделавшей, по ее собственным словам, «прыжок из мелкобуржуазного состояния в крупнобуржуазное», среда эта достаточно знакома. Главный герой, Мехтель,— фабрикант нового типа, поклонник доктрины «человеческих отношений», предпочитающий старым, примитивно потогонным методам эксплуатации новые, облеченные в такие возвышенные слова, как «гуманизм», «сотрудничество», «общность». «Прогрессивный», открытый веяниям времени, он гордится тем, что имеет собственное мнение по всем вопросам — от положения «волжских немцев» в СССР до глобальных внутриполитических проблем. Он охотно цитирует Гейне, не потому, впрочем, что очень любит,— Гейне, как и эссеиста Кон-Ауфрехта, он цитирует, дабы продемонстрировать собственную «широту», чтоб никто уж не посмел упрекнуть его в антисемитских пережитках «коричневых времен» Мехтель — ревностный радетель социал-демократии, он активно участвует в предвыборной кампании, делая собственную фабрику одним из опорных пунктов поддерживаемой им партии. Благодаря своим «передовым» взглядам он удостаивается приглашения на чашку кофе к одному из

боннских министров, получает возможность выступить по телевидению, каковую использует не без блеска, отваживается даже на — такого уж никогда не позволил бы себе человек консервативных нравов — небольшую интрижку с опереточной дивой весьма туманного возраста, предметом юношеских своих грез, регулярно посещает престижный и славящийся фантастическими ценами мужской салон красоты, у него ультрасовременно, полностью в духе времени обустроен дом, да и сам он одет по последней моде, впрочем, неброско, чуть даже затрапезно, как и положено преуспевающему фабриканту.

Однако по ходу чтения романа шарж все больше перерастает в резкую, контрастную карикатуру. Возьмем, к примеру, благо собственных работников и работниц, о котором так печется Мехтель. Стоит только выясниться, что производство благопристойных блузок убыточно, что в целях дальнейшего процветания фирмы следует сосредоточиться исключительно на производстве «сомнительного» дамского белья, и Мехтель тут же отбрасывает ненужную щепетильность как по отношению к себе, так и по отношению к своим «социальным партнерам», сокращает производство и выбрасывает на улицу тридцать белошвеек. Этот момент, собственно, и завершает сюжетное течение романа. Взгляды, так сказать, взглядами, а выгода — выгодой. И каким бы внешне добропорядочным, «открытым», внушающим симпатию ни был облик современного предпринимателя, за какую бы партию он ни голосовал, он останется тем же капиталистом, что и сто лет назад, с тем же — Марксом еще отмеченным — «не человеческим, а чисто экономическим» отношением к рабочему.

Сатирический талант Гизелы Эльснер обретает в этом романе новое, блестящее подтверждение. Читателю воочию открывается здесь «глубина холодных, раздробленных, повседневных характеров» (опять по Гоголю), и из характеров этих неприметно складывается впечатляющее целое. «Вершиной общественной критики» назвала роман одна из солидных западногерманских газет — и с полным основанием. «Злая дама» Эльснер поддерживала свою репутацию.

«Злой» была и следующая ее книга, вышедшая в свет в 1980 году и уже знакомая советскому читателю,— повесть «Испытание на прочность» [1], дополненная в ровольтовском издании рядом публиковавшихся прежде и новых рассказов. Медленно развивается сюжет повести. Обстоятельно, с мельчайшими подробностями, то и дело возвращаясь мыслями то к одному, то к другому происшествию, повествует писательница устами героини о регулярно повторяющихся загадочных визитах неизвестных лиц в ее отсутствие, о ювелирно проводимых квартирных обысках, о слежке на улице, в метро, в магазинах, об отвратительном, вынюхивающем что-то человечке, старательно навязывающемся к ней в собеседники, о недоумении друзей и просто знакомых, о растущем ощущении абсурда, собственного безумия, беззащитности... Поистине кафкианский кошмар: человек постоянно ощущает, как угрожают его существованию неведомые, безликие силы, он словно оказывается в пограничной ситуации, в опасной близости от навязчивых состояний и галлюцинаций, на пределе сил и возможностей. О внутреннем родстве прозы Эльснер с прозой Франца Кафки немало писала критика, да и сама писательница дала к тому повод, опубликовав в той же книге пространный этюд о творчестве этого феноменального писателя XX века. Действительно, некоторая общность в приемах, в стилистике легко угадывается, сознательно прибегает Эльснер порой, как и ее знаменитый предшественник, к слегка лишь «олитературенному канцеляриту»; нарочито обюрокраченный, обезличенный, отчужденный язык призван подчеркнуть зажатый в тиски, постоянно подвергающийся внешнему давлению характер человеческого бытия. Но есть и принципиальное отличие. Для Кафки механизм человеческого подавления полностью деперсонифицирован — то безликая, надчеловеческая сила, изначально данная и неизбежно определяющая конкретные условия каждого отдельного существования. У Гизелы Эльснер адрес «надличностных» сил куда более конкретен. Героиня, волею судьбы въехавшая в так называемую «бывшую террористскую квартиру», прекрасно понимает, кого и почему заинтересовали ее скромный быт и ее собственная неприметная персона. В 1984 году, находясь в ГДР по приглашению издательства, выпустившего ее книгу, Гизела Эльснер в интервью еженедельнику «Зоннтаг» так говорила о своей повести: «Это полностью личный мой опыт Я воспроизвела эту историю так, как она разыгрывалась, без поэтических преувеличений. Мне важно было показать, что приходится переживать человеку, который вдруг обнаруживает, что за ним следят сотрудники соответствующего ведомства. Я фиксировала все вплоть до того момента, когда уже не могла больше различить, в каких случаях и в самом деле имеет место факт слежки, а когда я — вполне возможно — просто себе это воображала, в каких случаях слежка касалась людей, живших на квартире до меня, в каких — относилась непосредственно ко мне, ведь я являюсь членом ГКП. Я написала свою историю, во-первых, чтобы освободиться от гнета всех этих событий, реальных и воображаемых, а во-вторых, чтобы понять, сколько же личной свободы в определенных обстоятельствах остается, или, точнее, не остается на долю гражданина ФРГ».

Героиня Эльснер выдерживает «испытание на прочность». Финал повести удивительным образом перекликается с финалом известного фильма Федерико Феллини «Джульетта и духи». И там, и тут по-своему выдержанный экзамен, обретение внутренней свободы, осознание естественности собственного бытия. Только в фильме Феллини освобождение происходит от призраков внутренних, фантомов собственного подсознания, в повести же Эльснер — от призраков внешних, порожденных вполне конкретной действительностью вполне конкретной страны.

[1] «Иностранная литература», 1986, № 3.

Повесть демонстрировала новую творческую манеру писательницы — почти фактографический, «холодный», как окрестила его критика, реализм. Казалось, Эльснер лишь подробнейшим образом, во всех деталях воссоздает происходящее, намеренно уходя от обобщений. И тем не менее «общий план» в повествовании присутствовал: за отдельной судьбой угадывалась человеческая ситуация вообще — одиночество и беззащитность человека «свободного мира» перед лицом хорошо отлаженной государственной машины, с одной стороны, и внутренняя способность его к сопротивлению, к противостоянию «тихому насилию» — с другой.

Тема одиночества, неустроенности, беззащитности человека, вновь выдержанная в жестких реалистических тонах, без всякого намека на столь удающийся писательнице гротеск, нашла воплощение и в следующем романе Эльснер — «За чертой», опубликованном в 1982 году. Трагична и в то же время заурядна судьба героини. Девушка из обеспеченной буржуазной семьи, чье детство и юность протекли в комфортабельном родительском особняке, где все материальные запросы удовлетворялись немедленно, духовные же напрочь игнорировались, Лило Бесляйн с отвращением вспоминает эти годы: никогда не было у нее с родителями человеческого контакта, они лишь подавляли в ней живую волю, попытки осознать и отстоять собственное «я». И замуж-то героиня выходит для того только, чтоб расстаться навсегда с родительским домом. Однако из одной зависимости она тут же попадает в другую — в зависимость от невыносимо добропорядочного бюргера-мужа, которого не любит, который раздражает ее мелочностью, унылой своей мелкобуржуазной благопристойностью. Стандартная трехкомнатная квартира в одной из новостроек выросшего на окраине «жизнерадостного» массива, одинаковые улицы, одинаковые дома, одинаковый образ жизни, гнетущее ощущение пустоты днем и молчаливое созерцание телевизионного экрана по вечерам, общение с супружескими парами, ведущими точно такую же унылую и однообразную жизнь,— все это не для Лило Бесляйн, натуры, несомненно, одаренной и тонкой, болезненно реагирующей на гнетущую пустоту собственного существования. Даже роль «любящей матери», так же как и роль «заботливой жены», давно набросана и расписана за нее другими, и любые отклонения от уготованного регламента немедленно наталкиваются на холодное осуждение окружающих.

Лишь знакомство с «вечным» студентом Кристианом Бломе, казалось бы, дает героине долгожданный шанс, теперь она может изменить свою жизнь, избрать тот modus vivendi, который ее больше всего устраивает. Но к этому не готова сама Лило. Ее, никогда не знавшую материальных невзгод, пугает трудная перспектива, нарисованная Кристианом. В данном случае именно она оказывается морально несостоятельной, и это коверкает дальнейшую ее жизнь. Все катится по нисходящей. Транквилизаторы, к которым Лило пристрастилась еще до рождения ребенка, потребляются теперь во все большем количестве, к ним присоединяется алкоголь, подстегивающий действие лекарства, тяга к помогающему «отключиться» снадобью становится все более болезненной, и как итог — психиатрическая клиника. Здесь Лило на короткое время обретает видимость покоя: не нужно ничего решать, не нужно поддерживать видимость благопристойного буржуазного существования, можно уйти в себя, попробовать рисовать, смириться с собственной «загнанностью в угол». Страшен мир, где у человека остается только такая надежда, но еще страшнее мир, который даже такой надежды человека лишает. Лило выписывают из клиники. Чтобы не возвращаться под родительскую опеку, остается один выход — самоубийство...

Казалось бы, бесстрастно, почти «протокольно» рассказывает писательница историю своей героини. И язык повествования словно такой же бесстрастный и равнодушный, как окружающий Лило мир. Обилие безличных оборотов, нарочитая неуклюжесть там, где речь идет о тончайших душевных переживаниях, некоторая искусственность, даже враждебность языка — верх мучительно свершающегося отчуждения. Так литературный прием перерастает собственные рамки, становится смыслообразующим, ведет к обобщению, от которого писательница словно намеренно себя удерживает. Обобщение заключено и в немного провоцирующем названии романа. «За чертой», в стороне, вне жизни оказывается одинокое существование Лило Бесляйн, так и не сумевшей придать ему смысл. «В романе «За чертой» я хотела показать молодую женщину,— говорила Гизела Эльснер,— которая, хотя и предпринимает попытки эмансипироваться, но оказывается настолько измотана буржуазным своим окружением, что этими попытками все и кончается». Вынесенная «за черту», «за скобки» судьба Лило кажется на первый взгляд нетипичной. Но сколько их таких, изломанных, «вычеркнутых» судеб, сколько одиноких трагедий разрушения и саморазрушения личности разыгрывается в молчании за стенами благоустроенных квартир, один на один с холодным благополучием «потребительского общества».

Следующий роман, «Укрощение. Хроника одного супружества», вышел в свет в 1984 году и наделал при своем появлении много шума. Он тоже посвящен «женским проблемам». Но уже в четко сатирическом ключе. Вновь берет верх в писательнице столь естественно ей присущий дар сатирика, и какая же разящая, точная сатирическая проза выходит из-под ее пера! Намеченная в романе «За чертой» тема женской эмансипации рассматривается уже под иным, парадоксальным углом зрения. Привычное представление о «семейном романе» словно выворачивается наизнанку, наизнанку выворачивается и само понятие «эмансипация». Да и традиционное «укрощение» строптивости не имеет ничего общего с давней шекспировской моделью, это тоже укрощение наоборот, и свершается оно в семействе современном, можно даже

сказать, интеллектуальном, свершается на манер непривычный и даже комический.

Преуспевающая сценаристка и писательница Беттина Бегеман — полная противоположность несчастной, неумелой, тонкой и тревожной Лило Бесляйн. Беттина крепко стоит на ногах, прекрасно понимая, что в этом мире почем. Она умеет «найти жилу», подать товар лицом, вот почему так хорошо оплачиваются сценарии ее телевизионных фильмов на «актуальные» темы, вот почему бешеный успех выпадает на долю первого ее романа «Миранда», поистине запредельного дамского чтива, обезоруживающего откровенной своей пошлостью. Истеричная, самоуверенная, неумная Беттина, посчитавшая после рождения дочери свой семейный долг навсегда исполненным,— закономерное порождение модной эмансипации, порождение гротескное, карикатурное, злое. Утверждая свое право на «свободу от...» — домашних обязанностей, от обязанностей по воспитанию дочери, от обязанностей хранительницы очага, наконец,— Беттина не очень-то задумывается о «свободе для...». Для чего она ей, эта героически завоеванная свобода,— для одной низкопробной интрижки, следующей за другой, для погони за капризной литературной модой, для манерного и тщеславного самоутверждения?

Казалось бы, муж Беттины, Альфред Гиггенбахер, скромный, незлобивый литератор средней руки, принимающий на себя — в силу необходимости, а также из «прогрессивных» идейных соображений, заставляющих его отказаться от роли «домашнего тирана»,— заботы о ребенке и все сопутствующие хозяйственные обязанности, должен вызывать куда больше симпатии. Но нет. Гиггенбахер — фигура столь же гротескная, как и сама Беттина. Безвольный, вялый, ординарный до уныло сти, он словно создан для роли мужа-домохозяйки, и не случайно в финале романа он открывает в себе даже некое любовное тяготение к домашним делам, занимаясь ими с самоотдачей, делающей честь любой добродетельной супруге. Впрочем, это скорее из области психологических «сдвигов». Но есть в отношениях четы Гиггенбахер — Бегеман и важный социальный момент.

Беттина на своих «модных темах» зарабатывает куда больше, нежели ее посредственный и к тому же непробивной супруг. Семейство существует по сути на ее деньги, что вызывает бешеный восторг навестившего сына Гиггенбахера-старшего. Ядро современного буржуазного брака, следовательно, оказывается таким же, каким было оно сто лет назад, возможно, конечно, несколько неожиданное распределение семейных ролей, дань модной «эмансипации», но суть остается той же — неизменный закон купли-продажи, традиционная торговая сделка, подчинение неимущего имущему. В случае с нашей четой это выглядит скорее карикатурно, в случае с Лило Бесляйн — трагически, но это уже зависит от масштаба характера.

Роман «Укрощение» буквально поражал своим сатирическим накалом, отточенностью пера писательницы. Чего стоил, например, образ преуспевающего писателя Феликса Безе, прекрасно умеющего «делать успех», создавать о себе броскую легенду, тиражирующуюся затем направо и налево средствами массовой информации. А карикатурные «друзья» Беттины и Альфреда, интеллектуально пустопорожнее общение с которыми призвано создать картину интенсивной духовной жизни! И чего стоит самовлюбленный диссидент Зюльхен, политический делец от литературы, умело использующий противостояние двух общественных систем в целях саморекламы и личного обогащения. Этот выписанный резкими, гротескными мазками образ, закономерно вызывающий читательское неприятие, стал своего рода камнем преткновения для критики. Конечно, можно было бы упрекнуть писательницу за слишком уж наглядно выписанную извращенность Зюльхена, за последовательно доведенный до конца гротеск, вторгающийся даже в убогую интимную сферу персонажа, можно было бы спорить, изменило здесь писательнице чувство меры или нет, главное было в другом — Гизела Эльснер замахнулась на один из наиболее стойких мифов буржуазной пропаганды. И правая критика устроила по поводу несчастного Зюльхена форменный шабаш. Горькое подтверждение получили на практике слова писательницы: «Свободы выражения собственного мнения, в которой мы якобы существенно превзошли социалистические страны, у нас не существует. Ей положен предел там, где нечто идеологически выпадает из общего контекста унифицированных мнений, включенных в господствующую идеологию».

В ближайшее время в издательстве «Радуга» должен выйти в свет сборник произведений Гизелы Эльснер. В нем представлена еще одна работа писательницы, неизвестная пока западногерманскому читателю,— повесть «Хайлиг блют», над которой Эльснер работала параллельно с «Укрощением». Три западногерманских издательства вернули автору это произведение как «литературно неудавшееся». Понятно, в любой издательской оценке неизбежно присутствует субъективный момент, история литературы знает немало тому забавных примеров, самый яркий из которых, пожалуй,— первоначальный отказ двенадцати(!) английских издательств опубликовать ныне всемирно известный роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Так что в литературном деле бывает всякое. И все-таки не очень понятно, почему повесть «Хайлиг блют» не нашла пока читателя в ФРГ: на мой — субъективный — взгляд ее следовало бы отнести к лучшим произведениям писательницы.

«Хайлиг блют» — название захолустного местечка в Баварском лесу, где находится охотничий домик, купленный когда-то на паях четырьмя друзьями, ежегодно собирающимися сюда зимой на «традиционный сбор». Один из означенных друзей ослаб в последнее время здоровьем и на очередной «слет» прислал вместо себя сына, не очень-то уютно чувствующего себя в новой компании. Друзья подключаются к охоте на сбежавших из вольера волков, предназначенных для научных наблюдений. Во время охоты происходит несчастный случай, молодой участник охоты погибает, трое оставшихся спешно заметают следы —

прячут труп, извещают полицию, что их спутник пропал без вести, и уезжают. Вот и весь почти сюжет. Обычное в общем-то происшествие, небольшая колонка в уголовной хронике, хороший повод отличиться для местного полицейского, коли возникнет у него желание преодолеть собственную лень и взяться за расследование.

Зато как выписаны, как взяты под увеличительное стекло портреты всех четверых! Сначала о трех давних «друзьях»: Хэхлере, Люсле и Глаубрехте. Когда-то Глаубрехт, Хэхлер и не сумевший прибыть по состоянию здоровья старый Гёш были на Восточном фронте, все трое были ранены, они и познакомились-то в разбомбленном госпитале, о чем нередко вспоминают и поныне. Люсль примкнул к компании позже, фронта он благополучно избежал, как владелец важной в оборонном отношении циновочной фабрики. Что же объединяет сегодня трех бравых охотников, позволяющих себе, что греха таить, на отдыхе немного подраспуститься, расслабиться, скинуть привычные маски? Формулировать это можно было бы долго и обстоятельно, но главное, пожалуй, в одном — для всех троих *остановилось время*. Да, да, именно остановилось, и боевые друзья живут прежними взглядами, прежними «идеалами», даже речевые обороты то и дело проскальзывают у них из прежних лет. Писательница ни словом не упоминает о кровавых злодеяниях фашизма, о его исторической ответственности за развязывание второй мировой войны, она вообще не углубляется в историю, и все же повесть «Хайлиг блют» — одно из наиболее ярких антифашистских произведений, которые мне довелось читать в последнее время. Читатель имеет дело не с нацистской идеологией, не с философией фашизма, как, скажем, при чтении знаменитого романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», здесь он сталкивается с фашизмом, так сказать, поведенческим, с фашизмом на уровне индивидуальной психологии, быта. Фашистская матрица, наложенная некогда на сознание, вбитая в него насильно, полностью подчинившая его себе, определяет и поныне поступки и мысли героев. Как же живучи оказываются нацистские мифы, помноженные на мелкобуржуазную природу, бывшую для них всегда такой благоприятной питательной средой! Миф о «фронтовом товариществе» — и вот трое давно уже ненавидящих друг друга людей ежегодно собираются вместе, дабы покуражиться, самоутвердиться друг перед другом. Миф о «силе немецкого духа», культ сильного тела — и вот все трое из последних сил стараются выглядеть «бравыми парнями», которым возраст нипочем, совершают напоказ изнурительные переходы, пробежки, тайком глотая при этом снадобья тонизирующего или успокаивающего свойства. Миф о «большевистской угрозе» — и вот уже такие знакомые декларации: «Мы сохраним мир, если вместе с союзниками продолжим вооружаться, крепить военную мощь и будем по-прежнему держать Советы и их союзников под прицелом наших атомных ракет». Миф о «еврейском вопросе» — и «своего» же Люсля без конца шпыняют за «четверть еврейской крови», приписывая этой злосчастной «четвертинке» все отрицательные свойства его характера.

Особого разговора заслуживает молодой Гёш. Большой симпатии у читателя поначалу он не вызывает. Весьма заурядный, средний человек, незлобивый, заботливый отец семейства, немного рохля, по меткому выражению его отца, немного обжора, немного пьяница, немного лентяй — словом, самый обычный, ничем не примечательный человек. Но по мере чтения повести Гёш все больше обретает читательское расположение. Ведь в посредственности своей, в заурядности, в недалекости даже он по-своему человечен, естествен, разумен, и потому такое закономерное неприятие вызывают у него эскапады трех друзей. Молодой Гёш необходим был писательнице как некая изначальная точка отсчета — чем ближе к нейтральному положению, тем лучше. Ибо в сравнении с заурядным *человеком* Гёшем настоящими нелюдями выглядят его претендующие на незаурядность, неординарность старшие спутники. Искажено, сдвинуто обыденное их сознание, искажены, вывернуты нормальные эмоции. Вот по нечаянной оплошности погибает человек. Страшное происшествие. Но не ужас от содеянного, не жалость к нелепо погибшему молодому еще человеку, не раскаяние, не сострадание к родственникам убитого — естественные в данной ситуации человеческие чувства — движут участниками разыгравшейся сцены. Движет ими лишь животный страх перед возможным возмездием.

«Мертвые души» (если продолжать в духе гоголевских сравнений), убитые фашизмом, изуродованные им души. Как много, как емко сумела сказать писательница в этой небольшой по объему антифашистской сатирической притче! Зрелое мастерство чувствуется в этом сугубо реалистическом, сдержанном и строгом повествовании, где омерзительный облик не умершего еще, увы, фашизма проглядывает «сквозь страшную, потрясающую тину мелочей».

Недавно писательница закончила новый роман, и тоже сатирический. «Болтун» — это роман о годах «экономического чуда», о демагогическом лозунге «государства всеобщего благосостояния», которое на деле оказалось благосостоянием лишь для немногих. Но не будем забегать вперед. Роман, только что пришедший по почте из ФРГ, заслуживает обстоятельного, отдельного разговора.

Закончить же хотелось бы вот чем. Много, по-настоящему много сделано в литературе писательницей, подошедшей сейчас к «середине жизни». Гизела Эльснер приблизилась к этому рубежу в расцвете творческих сил, и хочется верить, что впереди у нее еще много книг — талантливых и разных, добрых и «злых», сатиричных и элегичных, таких, какие ей самой захочется написать. Ведь для этого щедро наделена она — вернемся вновь к эпиграфу — «и сердцем, и душой, и божественным пламенем таланта».

А что до критики — так ведь еще Гоголь подметил, что она далеко не всегда бывает благосклонна к сатирикам...

◆

Наши интервью

МИРЧА ДИНЕСКУ:

«ВЕСТИ О ВЕСНЕ ПРИВЕЛИ МЕНЯ В МОСКВУ...»

Он был у памятника Пушкину вечером 10 февраля, смотрел «Покаяние» в «России» и «Кабалу святош» в «Современнике»... За те несколько дней, которые румынский поэт Мирча Динеску провел в нашей столице, он вполне успел, по его словам, ощутить запах весны в еще зимней Москве. Конечно, было много встреч с литературоведами и переводчиками, было посещение издательства «Молодая гвардия», в плане которого стоит книга стихов М. Динеску.

Несмотря на свои тридцать шесть лет, он уже автор семи книг стихотворений. Хотя сам М. Динеску шутит, что он — талантливый кулинар и поэт лишь посредственный (а тот, кому довелось отведать приготовленные им национальные румынские блюда — сармале и остропел, убедился в том, что повар он отменный!), М. Динеску — один из признанных лидеров молодой румынской поэзии. В бухарестском Национальном театре недавно состоялась премьера спектакля «Актер» по пьесе М. Динеску, он пробует свои силы в прозе. М. Динеску-публицист ведет постоянную рубрику «Они — мои современники» в литературном приложении к молодежной газете «Скынтейя тинеретулуй», где рисует колоритные портреты собратьев по перу. Хотя в СРР традиционно считается, что ограниченная распространенность румынского языка препятствует знакомству зарубежных читателей с творчеством румынских литераторов, М. Динеску это как будто не касается: его книги изданы в ФРГ и Англии, а отдельные стихотворения вошли в антологии, выпущенные в Канаде, Италии, Франции. Подборки его стихотворений были опубликованы и советскими журналами «Иностранная литература» и «Литературная Россия».

М. Динеску — неоднократный лауреат премии Союза писателей Румынии, ему была присуждена премия Академии СРР, а также ряд зарубежных литературных премий. Он входит в руководящие органы Союза писателей страны.

Вопрос: Итак, Мирча Динеску, вы известны советским читателям, неоднократно бывали у нас в гостях. Что вновь привело вас в Москву?

Ответ: Не думаю, что я хорошо известен советскому читателю. Никто еще не останавливал меня на московских улицах, чтобы узнать, не я ли случайно тот Мирча Динеску, который три года назад опубликовал подборку стихотворений в «Иностранной литературе». А если говорить искренне, как раз тот факт, что здесь я неизвестен, и привел меня в вашу столицу. Вести о весне, которая с осени прошлого года воцарилась в культурной жизни СССР, могли бы подтолкнуть набухание почек и в соседних культурах. Так что я мог бы сказать, что приехал сюда, чтобы увидеть «чудо» воочию.

Вопрос: Дебют в семнадцать лет считается — по крайней мере у нас СССР — ранним. Не могли бы вы вспомнить, когда впервые пришло ощущение, что вы — поэт?

Ответ: Не помню точно, но думаю, что это произошло тридцать шесть лет назад, в день моего рождения, когда я в первый раз публично выразил протест, закричав благим матом,— я выражал тогда свои чувства гораздо более ясно и естественно, чем теперь. Я чувствовал, видимо, уже в то время, что международное положение — достаточно напряженное, что «холодная война» — достаточно холодная и что еще один появившийся на свет поэт не решит слишком много международных проблем... С тех пор я только и делаю, что предаю гласности слабые отзвуки этого моего грубого контакта с миром, который так стремится к самоуничтожению.

Вопрос: «Художник с абсолютно очевидным природным даром, склонный к мистификации и подверженный меланхолии, вспыльчивый и ранимый, как мимоза, поэт до кончиков ногтей, вечного и одновременно редчайшего вида»,— писал так о вас

один из румынских критиков. По-русски это называется: поэт милостью божией. В чем же, по вашему мнению, суть поэтического дарования: в способности находить «подходящие слова», в некоем особом видении мира или в чем-то еще?

Ответ: В чем состоит суть поэтического дара? К счастью, его аромат еще не удалось выделить и законсервировать в стеклянной бутылочке вместе с ванилью, ромом и эвкалиптом. Неизвестно и его происхождение. Зато мы знаем, что он может очень быстро улетучиться — такова трагическая участь тех поэтов, которые словно не знали, что им делать с собственным талантом, и разменивали его на деньги, на водку или на ложь — иногда как будто более удобную и выгодную, чем колючая правда. Хочу воспользоваться в качестве метафоры фильмом «Адские водители». Речь в нем шла о драгоценном, но и очень опасном веществе, которое необходимо перевозить отнюдь не в благоприятных условиях. Кто-то достигает пункта назначения, а кто-то — нет. Поэты — тоже в своем роде адские водители...

Вопрос: Ваше раннее творчество критики сравнивали с произведениями Сергея Есенина, отмечая особую нежность тона и в то же время мятежность лирики. Затем ваша поэзия приобрела более явственную социальную окраску, наполнилась конкретными реалиями, стала более активной, критической и даже язвительной. Сохранилось, однако, смятение поэта, трагический характер мировосприятия. С другой стороны, в первых сборниках вы — романтик, в «Изгнании на зернышко перца» широко используете классические формы стиха, в недавней книге «Рембо-купец» — часто прибегаете к формальной игре словами, намеренно абсурдным оборотам, другим авангардистским приемам. Семь книг стихотворений позволяют говорить о творческом развитии поэта. Каково оно?

Ответ: Поэты по сути дела не развиваются... Я бы так сказал. Большим достижением было бы уже надолго удержать набранную высоту. Ведь мы не один раз видели головокружительные падения под куполом литературы. Развиваются только посредственные авторы, которые пишут в нынешнем году лучше, чем в году минувшем, отмеряя свой «рост» на дверном косяке. Что до меня, то я действительно «примерял» различные стили, но, как вы хорошо знаете, «по одежке» только встречают, но не провожают. Поэтому хочу верить, что я остался все тем же самым поэтом прежних времен. Впрочем, поэты, которые весной — романтики, летом — пролеткультовцы, а зимой — дадаисты, в зависимости от того, куда подует ветер истории, заморозки на дворе или оттепель, не внушают мне большого доверия. Когда меня кто-то спросил, какая поэтическая или философская система привлекает меня, я ответил, что в основе моей литературы лежит моя нервная система. С этой системой я и стараюсь оставаться в ладу.

Вопрос: Некоторое время назад было опубликовано интервью старейшего советского поэта Арсения Тарковского, в котором один из вопросов звучал так: «Чего нельзя делать поэту?» Известен давний спор теоретиков о том, существует ли связь между художественными достоинствами произведения и содержащимися в нем моральными, социальными и политическими ценностями. Что думает на этот счет практик Мирча Динеску?

Ответ: К несчастью, долгое время на вопрос о том, чего нельзя делать поэту, вместо самого поэта отвечали другие — те, кто занимал при нем пост идеологической няньки, с розгами и горохом наготове, чтобы поставить поэта в угол на колени. И все же большие поэты, даже с запутанными и странными судьбами, дали на него исчерпывающий ответ. Моральность творчества Франсуа Вийона, Шекспира, Верлена, Эдгара По, Бодлера, Рембо бесспорна. Они «играли» со своей судьбой, но со словом — никогда. Преходящая общественная мораль, которой они пренебрегали, рассыпалась от времени, тогда как их слово и сегодня сохраняет свою мораль живой и нетленной. В понятие ценности литературного произведения неизбежно входит мораль. В любом случае я не думаю, что поэт нуждается в некоем кодексе элегантных манер — моральных, общественных, политических. Зло никогда не приходило в мир по вине поэта. Троянская война разразилась не из-за того, что Гомер был слеп. Вот почему поэт, в сущности, обязан давать ответ на вопрос: «Чего нельзя делать человеку?»

Вопрос: Место поэта в обществе — одна из центральных тем вашего творчества. Более того, вы считаете большую часть своих стихотворений социальными по содержанию, хотя некоторых ценителей сугубо эстетических достоинств вашей поэзии это ввергает в недоумение и даже коробит. Итак, каково назначение стихотворца в современном мире, обязан ли чем-нибудь поэт обществу, какие социальные условия благоприятствуют расцвету лирического творчества? В мировой литературе можно найти немало поэтов с трагической судьбой. В чем же счастье стихотворца?

Ответ: «Башня из слоновой кости» сегодняшнего поэта оснащена лифтом, она полна шумных соседей-квартиросъемщиков, содрогается, когда под землей проходит поезд метро. Поэтому поэт, который даже в момент прилива творческих сил не забывает о том, что он — член Союза писателей, у меня вызывает попросту отвращение. Для расцвета лирического творчества, как вы говорите, вовсе не нужны тепличные условия. Да оросит и поэта тот же самый горький дождь конца тысячелетия, что и всех остальных. И тогда эта горечь немедленно даст о себе знать в его чернилах, в его слове...

Вопрос: Ваши книги — из тех, про которые говорят, что они «не залеживаются на прилавках». И все же: как вы воспринимаете свой успех, можно ли говорить о том, что вы достигли понимания читающей публики? И еще: какой видится вам критика поэзии, которая нередко еще уподобляется «слону в посудной лавке»?

Ответ: Не так давно я опубликовал памфлет об одном поэте, который озаглавил «Фарфоровый слон». Мораль той «басни» и служит ответом на вопрос. История литературы свидетельствует, что чаще всего литературный критик, загримированный под слона и как будто готовый разнести посудную лавку, на поверку оказывается тоже сделанным из чрезвычайно хрупкого материала. Так что с этой стороны поэту нечего бояться. Подлинным слоном является публика, которая может тебя игнорировать или же раздавить, заставляя постоянно быть настороже. Успех приятен, но иногда фатален. Поэтому лучше его принимать маленькими дозами, как лекарство. Пока я и пытаюсь глотать его чайными ложечками, не осмеливаясь протянуть руку за половником.

Здесь пришел момент уточнить, что родители жены поэта — профессиональные литературоведы — русисты, переводчики. Эта семья — своего рода мост, соединяющий две наши дружественные страны, а их дом — небольшой очаг русской культуры в центре Бухареста. Е. Логиновская — автор сравнительной монографии о творчестве М. Лермонтова и М. Эминеску. А. Ковач — профессор филологического факультета столичного университета, знаток произведений Достоевского. Культурному сближению двух народов посвятила свой труд и их дочь — Мария Динеску. Все это не могло не укрепить духовных связей поэта с русской и советской культурой. Недавно он опубликовал интервью, которое взял в Бухаресте у гастролировавшего там выдающегося советского пианиста Д. Башкирова, а позднее — переводы из поэзии М. Лермонтова.

Вопрос: Что близко вам в нашей словесности, связаны ли с русской и советской литературой ваши творческие планы, в частности в области перевода?

Ответ: Перевод нескольких стихотворений Лермонтова стал для меня счастливой случайностью, так как принес едва ли не больший успех, чем мои собственные стихи. Некоторые коллеги из секции поэзии советовали мне даже перейти в секцию переводчиков... Ох уж эта доброжелательность коллег! А один прозаик, правда автор научно-фантастических повестей, позвонил мне, чтобы сообщить, что эти стихотворения Лермонтова как будто сам Эдгар По переложил на румынский язык. Я сказал ему, что попробую так перевести Эдгара По, чтобы казалось, будто это сам Лермонтов перевел его... Оставив шутки, скажу, что за неделю до моего приезда сюда в Бухаресте вышел в свет сборник драматических произведений Булгакова, содержащий десять пьес, которые перевела моя жена. Я же перевел стихотворения из этих пьес. Книга в один день исчезла с книжных прилавков, что является добрым знаком для румынского читателя, который как будто способен оценить литературу столь высокого уровня. Что касается планов в отношении переводов, то очевидно, что приключение продолжается... Пока же я подобен геологу, который ведет разведку в недрах пока не изученного им горного массива.

Вопрос: В Советском Союзе сейчас разворачивается многосторонний процесс перестройки, который повлек за собой необычайное оживление также в культурной и литературной жизни. Вы, конечно, знаете об этом из сообщений румынской печати, а теперь получили возможность и самому познакомиться с первыми результатами этого процесса. Итак, хотелось бы услышать ваше мнение об обновляющих переменах в нашей общественной и культурной жизни.

Ответ: Об обновлении в культурной жизни СССР я знал еще до приезда сюда. Тот факт, что большинство фараонов догматизма были сброшены с пирамид кинематографии и мы увидели сокровища кинолент, которые долгие годы хранились взаперти людьми, озабоченными больше собственным креслом, нежели судьбами культуры, тот факт, что на состоявшемся в прошлом году съезде советских писателей правда не рассматривалась больше как опасный зверь, которого следует держать в клетке, а напротив, как необходимая составная часть жизни, как воздух и вода,— все это меня, как писателя из социалистической страны, поистине взволновало. Политика, проводимая Генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым, вызовет, я думаю, широкий резонанс во всем мире. Разум и компетентность, замутненные было социальным застоем, вновь обретают при социализме присущие им драгоценные качества, призыв к народу освободиться от сладкой дремоты и включиться активно и смело в работу общественных механизмов — все это резко меняет облик Советского Союза в глазах тех, кто следит за развитием СССР из-за рубежа. Подлинная литература, которая в настоящее время создается в вашей стране, предвещает, как летающая палица сказочного богатыря, возникновение абсолютно положительного феномена, который может потрясти до основания более или менее ловко маскирующийся догматизм...

Н. МОРОЗОВ

◆

Наша почта

Многие наши читатели справедливо сетуют на то, что в последнее время мы не публикуем обзоров писем, приходивших в редакцию. «Почему исчез раздел «Из нашей почты?» — спрашивает 34-летний врач из г. Арсеньева Приморского края С. Левандовский.— Ведь с помощью этой рубрики читатели перекликались между собой, спорили». Какие могут быть сомнения? Все письма без исключения — даже те, в которых кроме негативных эмоций, по существу, ничего нет,— полезны нам: чтобы выбирать верный курс наших публикаций, надо не только ориентироваться в процессах, происходящих в мировой литературе, но и во вкусах, настроениях, привязанностях читателей, воспитанных на лучших образцах русской, советской и зарубежной литературы. «Почему вы регулярно не опрашиваете своих читателей о журнале?»— пишет нам Б. Гаврилов из Ленинграда.

Отвечаем: в одном из ближайших номеров мы собираемся провести анкету, в которой приглашаем принять участие всех наших читателей.

Сейчас, как никогда, требуется четко выверенное направление в работе такого журнала, как наш: духовная и гражданская зрелость советского человека не просто результат исторических завоеваний, но и каждодневный, кропотливый труд души, которая открыта боли и радости современника.

Сейчас, как никогда, читатель живет днем настоящим, конкретным поступком, дельным словом. В силу такой полной, безоглядной увлеченности делами насущными не потеряет ли он интереса к зарубежной литературе — к иным проблемам, к иным заботам? Тем более что за последнее время в круг нашего чтения вошло немало интереснейших произведений советских писателей. Вот что пишет нам В. Епифанов из далекого Амурского края: «Только что дочитал «Камень на камень». Примите, пожалуйста, от меня глубокую благодарность за публикацию этого романа. И уж, конечно, благодарность переводчику К. Я. Старосельской за ее талант, за умение так чувствовать другой народ, за способность вот так видеть человека [1].

Признаться, отношение мое к вашему журналу переживало свои «приливы и отливы». В чужой и далекий мир разных стран с устойчивым интересом смотришь, когда в своем доме многое наскучило или попросту отталкивает. Сегодня, когда свою же собственную страну видишь как бы заново, когда через периодику «официально» ощущаешь всю сложность ее жизни, то кажется: ну где найти в себе интерес еще и для «иностранных дел»? Все отнимает и всего захватывает до боли только одно — прорвемся или нет сквозь дебри запущенного и сделанного кое-как? Поэтому больше читаешь журналы «наши».

А тут — «Камень на камень»...

Роман о том, как маленький человек, стараясь сохранить свою естественность, остается один на один с людьми и обстоятельствами, которых создало обогнавшее его время. Глубина откровения невероятная. И читается в романе то, как и почему возник польский 80-й год. То, что, спасибо нашей партии, не довелось пережить нам... И особенно сильно оттенен роман «Камень на камень» явной неудачей журнала — «Женатый мужчина». Вторичность изумительная, несмотря на лейтмотив повести Л. Н. Толстого в этом романе...

Немножко стеснительно писать вам из дальней-дальней глубинки о таких высоких материях. Вроде бы что это письмо вам от рядового сотрудника районной газеты... Но не написать не мог».

В канун Нового года к нам пришло письмо от медсестры из Ленинграда Т. Еремеевой, которая пишет — подробно, не скупясь на добрые слова, аргументы, факты — о том, что именно представляется ей ценным в публикациях нашего журнала, подписчиком которого она является двенадцать лет:

«Спасибо вам огромное за прекрасный журнал! Ценю в нем 2 главные вещи: 1. информативность, 2. способность формировать вкус к зарубежной литературе...

С полной уверенностью скажу: неимоверно много дал мне, и не только мне, ваш журнал! Для жизни... Помню, как потряс меня роман С. Хилл «Я в замке король!». До него словно пребывала в каком-то неведении относительно своей родительской ответственности. Потряс финал. Закончила читать ночью и до утра просидела у постели сына — будто извинялась за ту боль, что ему принесла, многое передумала и проанализировала. По силе воздействия сравниваю этот роман с книгой Януша Корчака «Как любить детей». И за многие-многие прекрасные вещи в вашем журнале можно благодарить! Поразил «Вечер в Византии»

[1] Перевод Ксении Старосельской отмечен премией «ИЛ» в ряду наиболее значительных публикаций 1986 года (см. «ИЛ», 1987, № 1). *(Прим. ред.)*

И. Шоу. Долго спорила с друзьями, но осталась при своем мнении — этот роман (для меня) словно крик одинокого мужчины! К счастью, я не принадлежу к феминисткам.

Я сделала из ваших книжек прекрасную библиотеку зарубежной литературы, отдаю в переплет, и навсегда они мои! Я, помнится, писала вам и просила делать интервалы между двумя произведениями в одной книжке. И об авторах сноски теперь в тексте, а не в конце — очень удобно, а то раньше приходилось вырезать и приклеивать».

Другие наши читатели тоже просят нас видоизменить принцип верстки. К примеру, А. Степанов из Новгородской области, который ежегодно переплетает извлеченные из периодических толстых журналов понравившиеся ему произведения, жалуется: «С вашим журналом получается неувязка. Вы некоторые произведения печатаете в продолжение и сразу же на следующей странице начинаете другое произведение». Бесспорно, переплести страничку, которая одной стороной относится к одному роману, а другой — к другому, невозможно. Надо сказать, что мы обычно стараемся учитывать такого рода обстоятельства. Однако это порой бывает невозможно по техническим причинам.

Но вернемся к письму Т. Еремеевой: «Мои друзья смеются: «В твоей библиотеке почти все «Гонкуры»... Признаюсь вам, за что я люблю зарубежную литературу. За ее динамичность! Мне нравится, что люди пишут так, как живут. Динамично! Подчас на ходу, но скорость мысли, оценки, ситуации — все от образа жизни, от разных политических систем, житейских ситуаций. И еще — нет откровенной дидактики, бьющей в глаза. Вот так, исподволь учила меня материнскому искусству С. Хилл! И потом — у меня самой жизнь такова, на бегу, на лету, на ходу! У меня работа такая — чужая беда, чужое горе, сплошной минор, калейдоскоп лиц! Где уж тут до философичности? Потому и близка мне эта динамичность, подчас почти лаконизм истории болезни, где все четко, по существу и сжато! Бога ради, не спешите упрекнуть меня в отсутствии патриотизма — блестящие есть писатели, потрясают! Но «в ногу» с ними идти трудно. Шаг замедляю (не смейтесь, но это, видимо, счастливое преимущество соцсистемы — можем позволить себе писать длиннющие романы, живем спокойно, на все есть время...) Но! Единственное исключение — японская литература. Вы открыли мне Кавабата!.. Удивил Кобо Абэ, но полемика, полемика. Спасибо за Германа Гессе. От книжек его — ощущение до предела натянутого лука — боль, тоска, отчаяние и высокий оптимизм. Неожиданно пришелся по душе, хотя очень неуютный и неудобный для восприятия, но в итоге блестящ! Оставил чувство тревоги. Поразил меня Кокто в «Портретах, воспоминаниях!» Перечитываю часто. Как понятно теперь многое у французов и о французах. Любимая новелла об Аполлинере. Фраза: «А между тем он сравнивал Пикассо с жемчужиной в том самом предисловии к каталогу, где Матисса сравнивал с сочным апельсином». И далее «просто Аполлинер угадал в нем тот мягкий, глубокий свет, который теперь пронизывает и его собственную поэзию и завораживает даже тех, кто не способен этот свет увидеть» (целая эпоха в одной цитате). Нет слов!!!

Поклонитесь от меня художнику А. Махову за прекрасные обложки «Библиотеки»!!! Видны издалека! Ласкают глаз и блестящи по своим решениям! Хоть пару слов о нем, пожалуйста, где-нибудь в конце журнала».

Из публикаций последнего времени больше всего откликов вызвали романы В. Мысливского «Камень на камень», Кобо Абэ «Вошедшие в ковчег», Грэма Грина «Сила и слава», Пирса Пола Рида «Женатый мужчина» — произведения писателей разных поколений, далеко не равных величин (если, к примеру, сопоставить талант и значимость для современной литературы англичан Грэма Грина и Пирса Пола Рида), художников, исследующих порой принципиально разные стороны и проблемы бытия. Нередко мнения, высказанные нашими читателями об одном и том же произведении,— прямо противоположны. Если упомянутый В. Епифанов считает «явной неудачей» роман «Женатый мужчина», то ленинградец Б. Гаврилов высоко оценил это произведение, а к неудачам относит «Вошедшие в ковчег» (что, вероятно, немало удивит его землячку Т. Еремееву). Действительно, о вкусах не спорят, но ведь именно в споре рождается истина, и если точка зрения нашего оппонента продумана, подкреплена соответствующими доводами, как можно не прислушаться к ней?! Но вот доводы Б. Гаврилова: «Для нас, в большинстве воспитанных для восприятия литературы на произведениях великих, как наших, так и зарубежных, этот писатель *(Кобо Абэ.— А. Н.)* чужд. Он не воспринимается по идее его произведения и особенно по его форме. Это или уже перешедшее в этакую литературную патологию оригинальничание, или просто невосприятие нами таких новых японских литературных форм. Журнал в основном существует и создан для того, чтобы читатель получил эстетическое удовлетворение от чтения, от его правды, жизненности, взять, например, роман Пирса Пола Рида «Женатый мужчина». Несмотря на его реальную жестокость, все верят этому автору, что все это реально и возможно, а поэтому и воспринимается он глубоко и правильно, с чувством восхищения и благодарности автору, где точно показана и его классовость».

Т. Короткова из Алма-Аты возмущена: «Вот объясните мне, что можно почерпнуть из романа В. Мысливского «Камень на камень»? Может, я действительно ничего не понимаю, но, по-моему, про него можно определенно сказать: ни уму ни сердцу».

А вот письмо восемнадцатилетнего Г. Буторина, жителя Челябинска. Резкое, категоричное: «Купил 1-й номер 87 года журнала и понял, что правильно сделал, что не выписал его на почте осенью... Это снобизм владел редактором — что хотим, то суем в рот читателю, пускай пережевывает, а как пережует раньше времени, дадим конфету, а нет — дадим ему жвачку... роман Г. Грина черт знает о чем, черт знает как переведен. Повесть К. Хайна вообще не

стал читать, нет интереса!» И резюме Г. Буторина: «Если вы печатаете по просьбам читателей, прошу написать о развитии рок-музыки». Конечно, мы учитываем запросы и интересы читателя, проблемы рок-музыки — тоже весьма заметное явление современной культуры, но тревожно, что юный Г. Буторин, слишком увлекаясь одним, отметает с порога те произведения, без которых трудно представить себе литературу: ведь он просто обкрадывает себя. Приведем текст письма токаря из Запорожья Ю. Романца: «Здравствуйте, уважаемая редакция «Иностранной литературы»! Большое спасибо за публикацию романа Грэма Грина «Сила и слава». Вещь написана давно, о ней все сказано, я, наверное, хочу сказать «сказано временем». Это тот роман, который выдержал испытание жизнью и навсегда останется с людьми.

Хороша критика, только можно больше. Многое не совсем ясно, много спорного.

Недавно Г. Грин посетил нашу страну, был участником форума. Мне это говорит о том, что борьба за мир — призвание нашей страны.

Пишу с опозданием. Причиной послужил плохой отзыв о романе одной знакомой. Нет. Это очень хороший роман, возможно, есть много других хороших...? Большое спасибо».

Эти читательские мнения еще больше утверждают нас в мысли, что следовало бы обсудить произведения, вызвавшие наибольший интерес, в рубрике «Возвращаясь к напечатанному». Надеемся, многие заметили статью советского писателя Николая Самвеляна о романе Веслава Мысливского («ИЛ», 1987, № 1).

Как и прежде, читательская почта — зеркало не только духовных запросов наших адресатов, но и отражение основных «претензий» к журналу, так сказать, технического характера — многие жалуются, что практически невозможно подписаться на наш лимитированный журнал или номера приходят с опозданием. Об этом нам пишут, в частности, В. Ченовская из поселка Б.-Дальник Одесской области и В. Кузнецова из поселка Баранова Житомирской области. Руководство журнала обратилось в соответствующие инстанции, надеемся, что нужные меры будут приняты.

Уже давно наших читателей беспокоит, что нередко мы прибегаем к петитному набору — это, пишет В. Сурис, затрудняет чтение: «Мелкий шрифт я просто не читаю последние два-три года. Что этим экономится — непонятно. Может быть, все печатать крупным, сократив при этом публицистику, критику, информацию? Да и бумага когда-то была лучше, а журнал стал в два раза дороже! Буду очень рад, если наш с вами журнал станет еще лучше, читабельней, авторитет его еще высок».

Мы используем петитный набор, чтобы «наверстать» прежний объем: шесть лет тому назад журнал был уменьшен на один печатный лист в целях экономии бумаги, что позволило нам начать библиотечную серию, выходящую, как многие знают, малым тиражом по 15—20 книжек в год. Сейчас мы надеемся вернуть прежний объем журналу, а следовательно, отказаться от петитного набора художественных произведений.

Еще одна проблема: печатать ли романы полностью в двух-трех номерах или же ограничиваться фрагментами и журнальными вариантами? Ведь в ряде случаев мы просто не можем опубликовать произведения в 25—30 авторских листов целиком, а познакомить читателя с ярким явлением считаем необходимым?!

В. Галыгин твердо убежден, что печатать в журнале — а не в газете! — отрывки из романов не следует: «Я, например, не буду за фрагмент из романа В. Голева приниматься, дабы не терять напрасно время, да и что это мне даст? Ничего. Если только заинтересует, ну а дальше? Ждать, когда его напечатают полностью, но когда это случится?..»

Так же считает и В. Соломатин из Тулы. А Олег Шевченко из Харькова, напротив, чрезвычайно благодарен журналу и вот за что: «Уважаемая редакция! В первом номере журнала за 1987 год я прочитал отрывки из книги Лоуренса Питера «Почему дела идут вкривь и вкось, или Еще раз о Принципе Питера». Книга меня заинтересовала. Если можно, сообщите, какое издательство ее издало или будет издавать и где ее можно приобрести или заказать». Насколько нам известно, книга — в планах издательства «Прогресс».

Закончить сегодняшний обзор писем нам хотелось бы письмом выпускницы механико-математического факультета Ленинградского университета. Оно адресовано поэту и переводчику А. Гелескулу, нашему постоянному автору:

«Дорогой Анатолий Михайлович!

Пишу Вам (в уме) уже не первый год и теперь, когда решилась наяву, не могу не сказать еще несколько слов.

Человек я до глубины души городской, но из окон своего дома всегда смотрю на деревья с особенным чувством. Деревьев осталось не так много в районе, из окон видно четыре самых главных. Я смотрю на них всю жизнь и каждый раз их заново узнаю: вижу тот же узор ветвей, ту же тонкость и ту же силу и каждый раз говорю себе: «Вчера узор был тот же. Как хорошо!» Я знаю мало вещей, которые так же хороши, как расположение веток и веточек. Когда же я вижу, что изменилась листва, скрывающая узор, или изменилось небо, узор обнажающее, я понимаю: меняется время года (все остальные признаки, кроме этих деревьев, не так важны).

Я обязательно хочу Вам сказать, что Ваши переводы стали для меня как эти деревья: всегда счастье — узнавать строгость узора, а времен года гораздо больше, чем четыре: столько, сколько поэтов Вы перевели (или — стихотворений?).

Обращение на этой странице, может быть, и странно от незнакомого человека, но я Вам так давно и так сильно благодарна за Вашу работу.

С искренним уважением

Мария»

Публикацию подготовила А. НИКОЛАЕВСКАЯ

Антирубрика

БРАЙАН ГЛЭНВИЛ

РАССКАЗЫ

Перевод с английского Ростислава РЫБКИНА

Спрашиваете, чего я добился?

Делали мы вот что: начинали его заводить. Кто-нибудь из нас скажет: «Да, футбол стал совсем не тот, правда, Томми? Так, как играли раньше, теперь не играют», и он тут же на это клюнет, ответит: «Никакого сравнения. Нынешний футбол, извините меня, не для взрослых. Эх, начни я снова играть, шутя бы с вами управился, да и не только я, любой из наших». «Значит, по-твоему, Том, мы уж совсем-совсем никуда не годимся?» — спросим мы, а он стоит со своей старой щеткой в руках и отвечает: «Я этого не говорю, я не говорю, что вы совсем-совсем никуда не годитесь. Я говорю только, что все теперь по-другому. Смотришь, девятнадцать, двадцать лет мальчишке, а у него уже машина; вы не работаете по-настоящему, все вам достается слишком легко. Меня в ваши годы не приходилось уговаривать прийти на лишнюю тренировку, каждый день после обеда я уже на поле, отрабатываю угловые удары, гоню мяч из одного конца поля в другой и обратно, забиваю его то правой ногой, то левой в объявления на заборе».

«И чего ты добился, Том?» — спрашиваем мы, и тут уж он заводится по-настоящему: «Чего я добился? Чего добился? А того, что я играл в сборной Англии, вот чего; интересно, добьетесь ли этого вы?»

«А почему бы и нет, Том? — отвечаем мы.— Ведь ты сам сказал, что это сейчас легче легкого». И он уходит, бормоча что-то себе под нос вроде того, что теперешним игрокам похвалиться нечем, а уважения к старшим никакого.

Что он играл в сборной Англии, так это правда, играл дважды, лет тридцать тому назад; он был тогда в команде «Роверс». Пришел он к ним из какой-то северной команды, «Ротерхэма», кажется; там он был центральным нападающим, а в «Роверс» поставили его левым крайним нападающим — это он тоже рассказал нам однажды и потом уже повторял без конца, прямо хоть на стену лезь. Когда он вышел в тираж, ему дали работу тренера основного состава, но бóльшую часть времени он просто подметал в раздевалках и свертывал бинты.

В клуб приходили новички — и обслуживающий персонал, и те, кто только-только стали профессионалами,— и сперва они перед ним преклонялись. Как же: Томми Грейндж, играл в сборной Англии, пятнадцать лет в основном составе и всякое такое. Он и сам высмотрит новичка, как

БРАЙАН ГЛЭНВИЛ — BRIAN GLANVILLE (род. в 1931 г.)
Английский писатель. В юности был футболистом, затем стал спортивным обозревателем. Автор ряда романов, повестей, рассказов, преимущественно на спортивные темы.
Публикуемые рассказы взяты из сборников Б. Глэнвила «Король Хэкнейских болот» («The King of Hackney Marshes and otres Stories». London, Secker and Warburg, 1965), «Жена директора и другие рассказы» («The Director's Wife and other Stories». London, Secker and Warburg, 1963).

высмотрел меня, когда я там только появился, вцепится в него в раздевалке и начинает объяснять ему, что тот делает неправильно. Ведь Томми как-никак играл с ними со всеми, со всеми прежними знаменитостями: с Томми Лаутоном, Рейчем Картером, Уилфом Мэньоном, Стэном Каллисом, мог порассказать многое о каждом из них. И все, кого он называл, были великие футболисты, мы им в подметки не годились. Однажды я поинтересовался:

— Как же это получалось, Том, что они хоть иногда, но проигрывали?

А он спрашивает:

— Что ты хочешь этим сказать? — таким вот писклявым голосом.— Проиграть когда-нибудь может каждый.

А я говорю:

— Да, но как получалось, что сборная Англии с такими игроками проигрывала? Может, не такие уж они и великие?

Но он на это только ответил:

— Не так уж часто они проигрывали...

Мы не понимали его, а он не понимал нас; так, во всяком случае, он считал.

— Всё-то вы недовольны, ребята,— заявил он однажды,— требуете еще и еще денег. В мое время мы радовались уже тому, что играем в футбол.

— Ясное дело,— отвечаем на это мы,— благодаря футболу тебе можно было не работать в шахте.

— Конечно,— согласился он,— в шахте и погиб мой старик. Когда «Роверс» в первый раз привезли меня в Лондон, я подумал: почему они мне платят, ведь это я бы должен им платить,— и когда он это сказал, от нашего хохота чуть потолок не обвалился.— Придет время, сами убедитесь, что я был прав,— твердил он упрямо (вывести его из себя было невозможно: стоит и улыбается).— Если у вас есть деньги, это еще совсем не значит, что вы настоящие футболисты. Кое-кому в вашей команде платят по сотне фунтов в неделю, но если эти игроки стóят сотни, то Алекс Джеймс стоил тысячи.

И уходил дальше, двигая перед собой по полу старую щетку. Думаю, сам он в неделю получал от силы фунтов десять, но только ему, похоже, было все равно, и это нас больше всего задевало — что он доволен своей жизнью.

Он повторял снова и снова: «Клуб сделал для меня много хорошего: я и сейчас живу в доме, который они мне дали, когда я играл».

Об одной встрече он рассказывал больше, чем об остальных, о матче в чемпионате против «Арсенала» (шестой тур, по-моему)— и он забил единственный гол в той игре. У нас вообще-то даже в привычку вошло самим наводить его на этот разговор, особенно при новичках. «А ну, Том,— попросит кто-нибудь из нас,— расскажи про гол, который ты забил «Арсеналу»,— а он, наклонив голову, продолжает сворачивать бинт, или чем там он еще занимался, и говорит: «Уж вы-то знаете об этом все».

«Вот этот новенький не слыхал»,— скажем мы, и он, хоть и понимал, наверное, что мы его разыгрываем, в конце концов всегда рассказывал. В той игре он перехватил мяч в центре поля, обошел Крейстона, или как там его звали, миновал центрального полузащитника и проскочил мимо Мейла: все ожидали, что Томми будет пасовать, а он нанес удар и с двадцати пяти ярдов забил великолепный гол.

И когда, не забывал добавить Томми, мяч оказался в сетке, можно было услышать, как муха пролетит; восемьдесят тысяч народу смотрели и глазам своим не верили.

На это кто-нибудь всегда говорил: «Они не могли поверить, Том, что гол забил ты», но тот словно и не слышал, продолжал: «Меня это не удивило ничуточку: мяч только оторвался от ноги, а я уже знал, что забил гол; иногда это чувствуешь заранее. Того мяча не взял бы ни один вратарь в мире».

И вот как-то раз я спрашиваю:

— Том, а забил бы ты такой гол теперь?

— О чем это ты? — словно не понимает Томми.

— Да все о том же: ты твердишь и твердишь об этом голе, но так ни разу и не показал нам, как его забил. А что, если повторить заново? Я буду за Крейстона, Редж может стать в воротах, еще двое наших ребят сыграют центрального полузащитника и правого защитника, и ты нам покажешь класс.

Короче, скоро уже все знали, что он согласен, и рвались увидеть представление собственными глазами; первый состав, второй состав — буквально все, даже менеджер; всем хотелось увидеть, как Том забьет гол.

— Устроим все наилучшим образом, пригласим репортера,— сказал я,— он сделает фотографии; тогда, может, люди тебе поверят.

— У меня и так есть фотография,— сказал он и на следующий день принес из дому большущий снимок в рамке: вратарь подпрыгнул за мячом, но не поймал, а на заднем плане Томми победно потрясает над головой руками.

— Это не ты, Том,— сказали мы,— вон какие густые волосы, и живота совсем нет; это может быть любой игрок, лица не разберешь.

Мы проделали все однажды во второй половине дня, после тренировки. Томми надел форму «Роверс», и, глядя на него, можно было со смеху помереть, настолько он отяжелел в талии; Редж облачился в свою вратарскую фуфайку, а я и еще двое ребят влезли в форму наших дублирующих игроков, красную, как у «Арсенала», и в таком виде мы вышли на поле.

Каждый предлагал свое. Один хотел, когда Томми должен будет ударить по мячу, бросить в мяч шутиху; другой говорил, что в последний момент надо ударить в Томми несколькими мячами с разных сторон. Третий предлагал не пропускать Томми, сцепиться с ним по-настоящему, но потом мы решили: мешать ему не будем и посмотрим, что получится; нам любопытно было, что он станет делать. Мы были уверены, что он сядет в лужу.

Когда мы вышли на поле, уже собралось человек тридцать или сорок зрителей, одни у центрального круга, другие — на трибунах, и все, как увидели Тома, захлопали и закричали, стали его подбадривать; у кого-

то даже оказалась с собой трещотка болельщика. И репортера позвали, как собирались, парня из местной газеты.

— Вставим фотографии в рамки,— сказал я Терри, который должен был выступать за центрального полузащитника,— и повесим в раздевалке на добрую память.

А Томми я спросил:

— Откуда ты начал? Где тебе дали мяч?

И он сразу подошел к тому месту на левой стороне, ярдах в десяти за центральной линией, подошел так уверенно, будто место это было отмечено флажком.

Я спросил его:

— Точно здесь, Томми?

И он ответил:

— Абсолютно точно.

И я спросил:

— Двух-трех ярдов не выгадал, скажи честно?

И он ответил:

— На этом самом месте; помню так, будто все было вчера.

— Ну ладно,— сказал я,— мы попросим босса, чтобы он сам подал тебе мяч.

Наш менеджер вышел на поле, кто-то дунул в свисток, и менеджер бросил мяч Томми.

Я даже удивился, как красиво, сделав поворот, Томми завладел мячом; затем повел мяч ко мне, потому что я сейчас был правым полузащитником, Джеком Крейстоном. Томми от меня ждал, что я буду стоять как пень, а он спокойненько пройдет мимо, но когда я увидел, что он ведет мяч на меня, вдруг мне, сам не знаю почему, взбрело в голову не пропускать его и плиссироваться перед ним.

Лицо Тома становилось все растерянней, он не понимал, что происходит, но шел и шел на меня, а я отбегал и отбегал и завладеть мячом даже не пытался, а потом, когда увидал, что лицо у него багровое и он начинает задыхаться, дал ему дорогу.

Но остальные ребята, глядя на меня, стали делать то же самое. они давали ему дорогу, но только побегав от него, поизмотав его хорошенько, и наконец замучили совсем; он дышал так громко, что, наверное, за милю было слышно.

Джо, который находился сейчас на месте защитника, Джорджа Мейла, принял от меня Томми и не пропускал его, и то же самое затеял было Терри, который играл за центрального полузащитника, но я закричал:

— Пусть бьет, Терри, не мешай!

А Редж прыгает в воротах с таким видом, будто перепуган до смерти, и вопит:

— Не давайте ему бить! Пожалуйста, не давайте ему бить!— и все чуть не лопаются со смеху.

И тут Томми бросился к мячу и ударил правой ногой. Да, гол он забил, не отрицаю. Не знаю, взял бы Редж этот мяч, если бы старался по-настоящему,— он просто швырнул себя поперек ворот, чтоб поэффектней выглядело, и мяч вошел в верхний угол, точь-в-точь как на той старой фотографии. Несколько других ребят, с которыми мы планировали все заранее, выбежали на поле и повалились на Томми (тот лежал на земле), будто поздравляя его, но когда они поднялись, он остался лежать и сказал только:

— Угробил колено.

Из-за колена в свое время ему и пришлось оставить футбол.

Подошел босс, и подошел Редж Уилкинсон, тренер, и двое наших подхватили Томми под мышки, а двое — под спину, и мы понесли его, и по лицу Томми было видно, что чувствует он себя неважно. Мы положили его на стол для оказания первой помощи, нам было за себя стыдно, честное слово, и мы стали его хвалить:

— Ты молодчина, Томми, гол замечательный, ей-богу, старик.

И он посмотрел на нас таким взглядом, будто и вправду снова забил тот гол, и сказал:

— Так-то вот, юноши, мне просто хотелось, чтобы вы увидели и поняли: сколько вложишь в эту игру, столько от нее и получишь.

Джеки Пролаза

Это наш парикмахер дал мне такое прозвище: Джеки Пролаза. Почему Пролаза? Так ведь «пролаза» — это тот, кто везде пролезает, правда? То есть проходит бесплатно. Даже не помню, когда я в последний раз платил, чтобы увидеть футбол, бокс, собачьи бега или еще что — уж я без билета всегда пройду; но, конечно, специальность моя бокс.

Мой старик тоже, как и я, грузчик на рынке «Ковент-Гарден», и он страшно мной гордится и всем говорит: «Он, Джек, совершил невозможное» — и, ей-богу, это правда. То есть я в такие места пролезал, куда дорогу, если ты без билета, и динамитом не пробьешь, и меня не ловили ни разу.

Ну, в общем, как я уже говорил, прозвище это дал мне парикмахер, дал после того, что я отмочил в Эрлз-Корте. Было это в тот вечер, когда Джим Пейси дрался с американцем Дугласом за звание чемпиона мира во втором полусреднем весе; куда ни поглядишь, везде полицейские, в две цепи, вокруг всего стадиона. Стою против главного входа и соображаю, как проникнуть, и вижу вдруг: появился парикмахер.

Он спрашивает:

— Ну, как дела, Джек?

И я отвечаю:

— В данный момент очень-очень плохо, но все равно я пройду.

Полицейские, они не такие уж страшные, просто к ним должен быть правильный подход: делай вид, что ты их не боишься, и тогда они не сядут тебе на голову. Я только сказал:

— Вы не будете так любезны меня пропустить? Я секундант.

То же самое говорю у второго оцепления, но еще нужно пройти мимо билетера, а это нелегко. Я выбрал турникет, и около него стоит тип, здоровый, рожа красная, одет в старую военную форму — почти все они, свиньи, раньше в армии служили,— и я говорю ему:

— Я брат Энди Каммингса,— а это был один из выступавших боксеров,— мой билет у него.

Тип отвечает:

— Брат или не брат, без билета не пропущу.

Я начинаю с ним препираться, а потом хочу перелезть через турникет, и он толкает меня, а мне только это и нужно. Сразу валюсь на турникет и ору:

— Ой! Ой! Вы мне колено сломали! Я подам на вашу компанию в суд!

Тут он встревожился, запел другую песню и говорит уже совсем по-другому:

— Очень прошу меня извинить, юноша, проходи, пожалуйста.

И знаете, чем все кончилось? Я уселся перед самым рингом, на место парикмахера, за которое тот заплатил три гинеи.

Глядя на меня, никогда не подумаешь, что я могу такое проделать: ведь с виду я самый что ни на есть обычный лондонский парень. Но я считаю, что это даже к лучшему: если особенно не выделяешься, легче улизнуть. Конечно, нужно и хорошими манерами уметь блеснуть, пускать пыль в глаза, когда потребуется.

Как-то был я в Манчестере, в «Бельвю», Дейв Келли тогда дрался за звание чемпиона Британии в полутяжелом весе, и я ездил за ним повсюду. Я ни за кого так не болею, как за Дейва, он замечательный боксер, где только я не пролезал на его выступления — в Уэмбли, Харрингее, Манчестере, Лестере. До самого Глазго добирался, ради этого проехал без билета на поезде и всякое такое.

Да, так насчет «Бельвю»: обычно на севере пройти без билета легче легкого, люди там в спорте ни бум-бум, не то что лондонцы. Но тут я был не один, со мной был мой дружок Тед Уильямс, и сам я прошел, но Теда Уильямса билетер остановил и спрашивает:

— Ваш билет?

Тед было совсем растерялся. Но я обернулся и сказал:

— Он со мной, он мне помогает.

Дейв победил в тот вечер, стал чемпионом. Он очень упорный, вот что мне в нем нравится. И левая у него лучше некуда, ничего не скажешь, но больше всего мне нравится в нем упорство: что ни делай с Дейвом, его не свалишь. Однажды вижу: глаз у него поранен, и поранен здорово, лицо в крови, даже его секундант хочет, чтобы он закрывал лавочку, а Дейв не уступает и в конце концов укладывает партнера, чистая правда — укладывает в тринадцатом раунде.

Но соображать, когда хочешь пролезть без билета, надо быстро. Например, в другой раз Дейв дрался в Харрингее против американца Джои Харпера: я прохожу, а тип у входа спрашивает билет. Я лезу в карман, начинаю искать, пытаюсь придумать что-нибудь. Тут подходит еще зритель, и тип у турникета говорит опять:

— А ваш билет?

Тот отвечает:

— Я вам его уже показывал.

А я говорю:

— Но ведь и я тоже, так о чем, вообще, речь?

Бывало, Дейв выйдет на ринг, а я уже тут как тут, стою совсем близко, и: «Привет, Дейв, все в порядке, Дейв?»,— а он отыщет меня глазами и улыбнется: ему казалось, по-моему, что я приношу удачу. Я даже побывал как-то в его углу ринга, в тот вечер он защищал в «Уэмбли» против Ленни Хейнса свое звание чемпиона Британии. Могу это доказать, у меня есть фото и всякое такое; на фотографии я подаю халат Дейву. Один из служителей тогда тронул меня за плечо и говорит:

— Интересно, что делаешь здесь ты?

А я смотрю на него в упор и отвечаю:

— Я, с вашего позволения, всего и всего подаю халат чемпиону.

И он извинился.

Папаша мой временами начинал тревожиться, говорил: «Осторожней на поворотах, Джек, мы не знаем, что они могут сделать, они на все способны»— и я понимал, о чем он, но это меня только еще больше раззадоривало, если вам ясно, что я хочу сказать; я ведь знал, что кое-кто, если я попаду им в лапы, здорово мне всыплет.

Им это удалось проделать с другим пролазой, Морри Бейсом, он живет около Эдмонтона и всегда пролезал на финал кубка на стадионе «Уэмбли». Его каждый год можно было видеть на фотографиях: стоит на поле среди команды победителей. Но однажды полицейские подошли к Морри и заграбастали его, а потом где-то под трибунами они (целых шестеро, он сам мне потом рассказывал) его отдубасили.

Но я отцу всегда отвечал: «Да не бойся ты, пап, Джеки им никогда не поймать. У меня в запасе есть один-два фокуса».

Ведь Морри Бейс сам напросился: каждый год выбегал на поле перед ста тысячами народу, королевой и так далее.

Но я дал однажды интервью журналисту, и тогда стало трудней и мне. Потом я жалел об этом. Не знаю, как журналист про меня пронюхал, не иначе кто-нибудь ему рассказал, но как-то вечером в Шордиче, в перерыве между раундами, он ко мне подходит (я сидел у самого ринга, плюхнулся на место для прессы) и спрашивает:

— Ведь это ты Джеки Пролаза, правда?

Я отвечаю:

— Не понимаю, о чем вы, я из «Хэкни телеграф»,— это название первым пришло мне в голову.

Но он сказал:

— Ты не волнуйся, Джек, я тебя не выдам, сынок, просто я много о тебе слышал, хотел бы о тебе написать. Пойдем выпьем по стаканчику, когда все кончится, и поговорим немножко, ладно?

Я с ним пошел, и мы выпили не по стаканчику, а по нескольку: по-моему, я даже выпил на несколько стаканчиков больше, чем нужно, потому что в конце статьи он приводит сказанные мной слова, которые говорить было совсем ни к чему, вроде того, что я умнее их всех, что поймать меня им не удавалось и никогда не удастся и что заплачу за билет на бокс я только в тот день, когда английский тяжеловес станет чемпионом мира.

И назавтра все это в вечерней газете: познакомьтесь, Джеки Пролаза, неуловимый безбилетник, которого никому не поймать, Гудини[1] бокса.

Мой старик говорит тогда:

---

[1] Известный американский артист оригинального жанра. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ой-ой, зря ты болтал, сынок, ты их разозлил, теперь они точно тобой займутся.

И я ответил:

— Ничего страшного, фотографии моей у них нет, какой я на вид, они не знают.

И он говорит:

— Да, но они будут тебя искать.

И верно, уже на другой день в той же газете напечатали интервью с импресарио Сэмом Даймент, который мне никогда не нравился, и он сказал: «Если хоть на одной из организованных мною встреч Джеки снова это проделает, пусть пеняет на себя». Больше всего меня задело место, где он заявил, будто вообще не верит мне. Он сказал: «На встречи, которые устраиваю я, без билета не пройти никому». А еще сказал: «Может, он и впрямь занимал место, на которое не имел права, такое могло случиться, но какой-то билет у него был наверняка».

Это меня возмутило, и я позвонил Биллу Дугласу, тому журналисту, и спросил:

— Этот Даймент, он и вправду так вам сказал?

И Билл Дуглас говорит:

— Да, Джек, слово в слово.

А я тогда говорю:

— Он себе дьявольски много позволяет. Когда он устраивает следующую встречу?

И Билл Дуглас отвечает:

— Десятого ноября, опять в «Уэмбли».

— Ну, что ж,— говорю,— я подойду к вам перед схваткой главной пары, и мы перекинемся несколькими словечками, хорошо? А вы потом за мной следите. И на другой день можете написать в газете, что вы меня видели на стадионе и никакого билета у меня не было. Насчет этого клянусь вам чем хотите; если пожелаете, я разрешу себя обыскать.

Понимаете, не мог я допустить, чтобы этот Даймент взял надо мной верх. Позволь я ему взять надо мной верх, мне стыдно было бы смотреть людям в глаза. Ведь я Джеки Пролаза, все меня знают, весь рынок «Ковент-Гарден», все соседи в Саутворке, где мы живем, и сдай я сейчас позиции, для меня вроде как настал бы конец.

И вот приезжаю я к вечеру в «Уэмбли» на эту встречу боксеров, и вроде никакой разницы, все как обычно, никаких тебе дополнительных билетеров или чего-нибудь такого. Только одно изменилось, я увидал это сразу, когда подошел ближе: они теперь куда дольше вертели в руках и рассматривали билеты. Походил я вокруг и углядел двух здоровых билетеров, которых знал в лицо, раньше оба были тяжеловесы, не бог весть какие, а потом я слышал, что они у Даймента в конторе, на побегушках.

Топаю прямо ко входу, у которого они стоят, сую руку в карман и изображаю на физиономии испуг и растерянность. Начинаю шарить по карманам, вытаскиваю все, что в них есть, и тщательно просматриваю, выворачиваю карманы и трясу, и один из этих типов спрашивает:

— Что случилось, друг, билет потерял?

А я отвечаю:

— Нет, подождите минуточку, он должен быть здесь, я помню, как брал его с каминной доски перед тем, как выйти, знаю точно, что брал.

А он:

— Может, у тебя его вытащили? Ты не на метро ехал?

И я ищу снова, и наконец он спрашивает:

— Может, хоть номер помнишь?

И я сделал вид, будто вспоминаю, а потом сказал:

— Да, пожалуй; я его где-то записал.

Потом смотрю на оборотную сторону конверта, который у меня оказался, и говорю:

— Вот: сектор «уай», ряд «джей», место 23.

— Ну,— восхищается он,— ты молодец, что записал, сегодня у нас оч-чень строго, но раз уж так получилось, входи. Пройдешь к управляющему билетных касс — может, он как-то все уладит.

И говорит второму верзиле:

— Проводи его.

И мы проходим через дверь в этот... ну, вроде как коридор вокруг арены. Верзила приказывает:

— Иди за мной.

И только что я шел за ним, он оглядывается, а меня уж и след простыл. Это ведь легче легкого, когда кругом столько народу.

Я отыскал для себя хорошее место, но пришлось поменять его на другое: какой-то парень заявил на него права; а перед главной схваткой я подошел к Биллу Дугласу и перекинулся с ним несколькими словами, как обещал. На другой день все было в газете.

А на следующий день утром я звоню Биллу Дугласу и спрашиваю:

— С Даймент говорили уже? Что он сказал?

И Билл Дуглас отвечает:

— Прямо на стену полез от злости, теперь он будет тебя искать по-настоящему. Он сказал: «Ну, я приму такие меры, что рано или поздно он обязательно попадется, это вопрос времени всего-навсего».

— Что ж,— говорю,— передайте, что я желаю ему удачи, ладно?

Мой папаша снова насел на меня, чтобы я все это прекратил:

— Зачем тебе это нужно, Джек, ты уже все доказал, разве нет? Над ним и так смеются.

Я ответил:

— Да, но если я сейчас отступлю, он решит, что я испугался. Хочу посмеяться над ним еще раз и уж после этого откажусь от звания чемпиона пролаз.

Через неделю или около того открываю утром газету, читаю и говорю себе: «Вот он, мой шанс». Оказывается, Даймент подписал контракт с Дейвом Келли на участие в мировом чемпионате, который Даймент проведет на открытом воздухе, в «Уайт сити»[1].

Я сказал папаше:

— Как раз то, что нужно, наконец-то я дождался. Будет фотография, а на ней я пожимаю руку чемпиону, потому что после этой встречи чемпионом станет он, Дейв. А я выйду из игры.

Я обдумал хорошенько, что буду делать, времени для этого у меня было предостаточно, и вот пришел наконец день накануне встречи, и я позвонил Дайменту. Сперва

[1] Большой стадион и выставочный зал в западной части Лондона. Построен в 1908 году для франко-британской выставки и Олимпийских игр.

меня не хотели с ним соединять, но я сказал:

— Мне обязательно нужно с ним поговорить: это насчет завтрашней встречи, вопрос жизни и смерти.

И нас соединили.

— Мистер Даймент? — спрашиваю.

— Это кто? — говорит он.

— Джеки,— говорю я.

— Какой Джеки? — говорит он.

— Джеки Пролаза,— говорю,— вот какой! Завтра буду на стадионе, звоню, чтобы вам сказать. До встречи у ринга!

И я, давясь от смеха, положил трубку. Никогда до этого я с ним не разговаривал, смотрел только издали, как он расхаживает с большущей сигарой в зубах, улыбается, и доверия у меня к нему не было никакого.

Молодой боксер выйдет на ринг, этому боксеру, может статься, размозжат голову, и ему конец, а Даймент будет и на следующей встрече боксеров, будет по-прежнему расхаживать, дымить большущей сигарой, улыбаться и повторять, что молодые сейчас слабаки, трусят идти в бокс (сам он почему-то туда не пошел). Но решили дело его последние слова обо мне, сказанные Биллу Дугласу. Я подумал: у тебя есть все, а у меня ничего, и даже того малого, что у меня есть, ты хочешь меня лишить. Подумал: какая для тебя разница, с билетом я пройду или без билета, неужели для тебя так важно получить несколько лишних шиллингов? Тебе хочется быть самым главным и всем управлять, потому ты и стараешься проверять всех, кто проходит на стадион, только вот меня проверить ты не сможешь.

Я позвонил в газету Дугласу и спрашиваю:

— У вас там будет завтра фотограф и всякое такое?

— Да, будет один у ринга,— отвечает он.

И я говорю:

— Передайте ему, что меня, Джеки, он сможет найти, когда встреча кончится, в углу чемпиона. То есть Дейва, потому что чемпионом станет он. И появлюсь я в последний раз, после этого я ухожу со сцены, так что скажите своему парню, пусть меня сфотографирует. Я и Даймента предупредил, что там буду.

Билл Дуглас и про это написал в газете: Джеки Пролаза появляется в последний раз.

В тот вечер я пришел к стадиону рано, а толпа уже собралась огромная, ожидалось шестьдесят тысяч. Околачиваюсь некоторое время у стоянки для машин официальных лиц, наконец подкатывает большой «ролле-ройс», и оттуда вылезают лорд, он же председатель Совета по соблюдению правил бокса, в черном смокинге и черном галстуке бабочкой, и его жена в мехах, и я прохожу прямо за ними во вход для гостей, даже шага не замедлив около билетера, и тот сказал:

— Добрый вечер, сэр.

Даймент вышел пожать руку этому лорду, не помню, как его звать, а я исчез, точно иллюзионист в цирке. Исчезнуть было проще простого: ведь я тоже был в смокинге и черном галстуке бабочкой, я их взял напрокат. Удивительно, как меняется благодаря одежде их обращение с тобой, этих председателей, билетеров и всяких прочих.

Перед началом главной встречи я подошел к рингу и пожелал Дейву удачи; он сперва посмотрел удивленно, и я сказал:

— В чем дело, неужели, когда я одет как полагается, вы меня не узнаёте?

И тогда он узнал наконец и улыбнулся.

Конечно, он победил и самым прекрасным образом повалил противника в восьмом раунде три раза, все благодаря роскошным ударам левой, а тот Дейву ничего сделать не мог. Когда встреча кончилась, я ввинтился в толпу, потом протолкался между полицейскими и служителями, повторяя:

— Совет по соблюдению, Совет по соблюдению...

Затем вошел на ринг и пожал руку Дейву.

— Молодец, Дейв, молодец!

А вокруг нас вспыхивали лампочки фотографов. И тут поздравить Дейва подходит Даймент, по-прежнему изо рта у него торчит большущая сигара, и я, когда он пожимает Дейву руку, говорю:

— Поздравляю, мистер Даймент.

И начинаю пожимать ему руку сам, ради фотографов задерживаю ее, наверное, на целую минуту, и теперь он смотрит на меня с таким видом, будто узнал, но еще не уверен окончательно.

И тогда я говорю:

— Сегодня вы пожали руку не одному, а двум чемпионам, мистер Даймент.

И я спрыгнул с ринга и удалился. Но не спеша: ведь я был в смокинге, правда?

Где моя шляпа?

Почти у каждого футболиста своя причуда. Один никогда не бреется перед матчем, другой обязательно майку надевает раньше, чем трусы, третий во что бы то ни стало должен на поле выйти последним. Как-то, когда я еще играл, таких чудаков в команде у нас оказалось двое, оба, бывало, околачиваются в раздевалке и ждут, чтобы один из них выкатился первым. В конце концов мы нашли выход из положения: стали их проталкивать в дверь, прижав друг к другу.

Сезона два или три назад, когда мы выиграли кубок, в первом туре нам досталось по жеребьевке гостить у «Манчестер юнайтед»[1], но сперва мы поехали для тренировок в Лизем. В Футбольной Лиге дела наши оставляли желать лучшего, и, честно говоря, я бы даже не слишком огорчился, если бы после встречи на «Олд Траффорде» мы сошли с круга: тогда мы могли бы сосредоточить усилия на том, чтобы удержаться в первой группе Лиги.

Так или иначе, прогуливаемся мы по улицам Лизема, и вдруг вижу я на витрине мягкую шляпу из синего велюра, а вокруг тульи лента в рубчик — ну, вы такие шляпы знаете.

— Шляпа что надо,— говорю я.

А потом сказал одному из ребят, любителю пофрантить:

[1] Популярный футбольный клуб со стадионом «Олд Траффорд».

— Купи ее, Лори, она очень пойдет к твоим остроносым полуботинкам.

И тут другой парень из наших предлагает:

— Купите-ка ее лучше вы, босс.

А я отвечаю:

— Чего ради? Я шляп не ношу.

А он:

— Правда, босс, купите, она нам принесет удачу.

Меня уговорили, я купил ее, и она стала для нас чем-то вроде талисмана. Когда в ту субботу в Лиземе мы укладывали вещи, чтобы ехать в Манчестер, мне то и дело напоминали:

— Шляпу свою не забудьте, босс!

Я сказал:

— Не волнуйтесь, она будет у меня на голове. И если вы желаете удачи мне, забейте больше голов, чем соперники,— этого для меня вполне достаточно.

И уж они постарались. Хотите верьте, хотите нет, но мы выиграли со счетом два-один, причем один гол забили с пенальти. Конечно, после этого мы побеждали исключительно благодаря шляпе. В перерыве между турами я ее убирал и надевал только в дни розыгрыша кубка; скажем, всю неделю до матча в Сандерленде с местной командой я только и слышал:

— Шляпу не потеряли, босс?

Мы выиграли и эту встречу, теперь нас ожидал пятый тур, в гостях у «Волков», и у них мы выиграли тоже. В шестом туре нам по жеребьевке снова выпало ехать, на этот раз в Бирмингем, и теперь, должен признаться, я уже сам начал немного верить в шляпу. Мы ведь были не бог весть какая команда: центральный полузащитник с мячом обращался как с хрустальной вазой, а вратарь в каждой игре ловил бабочку[1], но почему-то мы, несмотря ни на что, выиграли.

Мы сели на поезд, идущий в Бирмингем. В вагоне я забросил пальто в сетку для вещей, а сверху положил шляпу, но когда, пообедав в вагоне-ресторане, вернулся на свое место, шляпы в сетке не оказалось.

Я говорю:

— Не валяйте дурака: кто ее взял?

Но все в один голос:

— Не я, босс.

То же сказали и директора нашего клуба, и все поднялись и стали ходить по вагонам, заглядывать в каждое купе, надеясь найти того, кто стянул шляпу. Нам помогал проводник, помогали официанты вагона-ресторана, но ко времени, когда мы приехали в Бирмингем, шляпа не нашлась, и, глядя на ребят, видя, в каком они настроении, я, признаться, встревожился по-настоящему.

С вокзала нас должен был отвезти на стадион специально присланный за нами автобус, мы в него сели и поехали, но на этот раз ни всегдашних песен, ни болтовни не было — все молчали. Я попробовал было их расшевелить, сказал:

— Тьфу, дурачье, никак вы и вправду думаете, что в матчах побеждают не игроки, а шляпы? В цирке, между прочим, фокус со шляпой проделывает иллюзионист, а не сама шляпа.

Но никто даже не улыбнулся, и я видел: если не придумаю что-нибудь, наша песенка спета.

Тогда я испробовал другое, сказал:

— Ладно остановите автобус! Предпримем еще одну попытку, последнюю. Может, шляпу передали на вокзале в комнату забытых вещей.

Один из наших говорит:

— Нет, никто не мог передать, мы прошли все вагоны.

— Такому крайнему полузащитнику, как ты, верить нельзя,— возражаю я.— Ведь я сам видел: своего полусреднего нападающего ты ищешь полдня,— и на этот раз все захихикали.

С нами был маленький Джо Мун, служащий дирекции, и я сказал ребятам:

— Пусть Джо отправляется назад и спросит шляпу в комнате забытых вещей, а если она найдется, привезет ее на такси на стадион.

Я вылез вместе с Джо из автобуса, отвел его в сторону и спросил:

— Ты помнишь, как она выглядит?

И он ответил:

— Пожалуй, помню.

— Знаешь что,— сказал я,— не ходи-ка ты в комнату забытых вещей, там шляпы наверняка нет, а поезжай в город и купи другую такую же.

В раздевалке я опять попытался поднять им настроение, хотя знал: без шляпы — это пустое дело. На поле они вышли как стадо страдающих запором верблюдов, и я видел, что мысли их заняты только шляпой. Бирмингемцы сразу сели им на голову и сидели целых пятнадцать минут, ребята наши были в полной растерянности. То один, то другой смотрел вверх, на директорскую ложу, где был я,— не появилась ли у меня на голове шляпа? — и я подумал: зачем, черт возьми, я вообще ее купил?

Нам уже забили гол (удивительно, что не три), когда в ложу вбежал, запыхавшись, маленький Джо; в руках у него было что-то завернутое в бумагу и перевязанное бечевкой, он сунул это мне и сказал:

— Вот, мистер Джонс, вот она!

Я сорвал обертку — и правда, это была она, синяя велюровая шляпа, точь-в-точь как прежняя, если не считать ленты. Лента на этой шляпе была не в рубчик, а простая, гладкая Джо спросил:

— В чем дело, мистер Джонс, разве она не такая, как нужно?

И я ответил:

— Джо, ты молодец, дело только в ленте, но ты тут не виноват.

И я надел ее, и как только заметил что один наш парень смотрит вверх, на директорскую ложу, встал и помахал шляпой, и он повернулся и сказал другому, и новость вмиг облетела всю команду.

Надо было их видеть: они сразу преобразились. Через две-три минуты мы с углового удара сравняли счет, потом Джеки Бриггс, наш правый полусредний нападающий, прошел в одиночку сквозь оборону противника и изменил счет в нашу пользу, а за пять минут до конца первого тайма мы забили в их ворота еще гол.

И тут я очень забеспокоился о том, как

[1] На профессиональном жаргоне футболистов — забить гол в собственные ворота.

вывернусь. Я не мог в этой шляпе спуститься в гардеробную, они сразу бы заметили разницу, а не спустись я, они вполне могли заподозрить неладное. Оставалось только одно, блефовать до конца, и когда раздался свисток в конце первого тайма, я отдал шляпу Джо и сказал:

— Присмотри за ней, пока я не вернусь.

И пошел вниз без нее. Шел и ломал себе голову, каких басен, черт возьми, им наплести, чтобы они продолжали играть, как играли только что,— поскольку тогда дела наши в этом матче устроились бы наилучшим образом.

Через дверь раздевалки было слышно: они, как обычно, смеются и трещат без умолку, но когда я вошел, наступила мертвая тишина. Потом Джимми Стил спросил:

— Где ваша шляпа, босс? Я думал, вы надели ее, думал, она нашлась.

И я ответил:

— Правильно, нашлась,— я старался выиграть время,— что же, по-твоему, было у меня на голове?

А он спрашивает:

— Тогда где она сейчас?

И я говорю:

— Где? Где? Да, никак не ожидал, что именно от тебя такое услышу.

Он растерялся и снова спрашивает:

— Почему, босс?

— Почему? — передразниваю я.— Выходит, по-твоему, надо носить шляпу и в помещении? Да ведь это все равно что в помещении зонтик открыть: приводит к жуткому невезенью!

Римские ночи

Когда я приехал в Рим, он уже был там, и говорили, что ему заплатили шестьдесят миллионов лир. Одна из причин, по которой они выгнали тренера, на чье место я сейчас приехал, заключалась, было мне сказано, в том, что Петерсен играет плохо и виноват в этом только их тренер: он не понимает северного темперамента, но я, англичанин, темперамент этот наверняка пойму.

Прибыл я в пятницу, а в воскресенье мы должны были встретиться с командой «Про Патриа» на ее стадионе; Петерсен играл правым крайним нападающим. На поле я в тот день не пошел, а уселся с директорами пригласившего меня итальянского клуба в их ложе, и каждый раз, как мяч оказывался у Петерсена, они спрашивали меня:

— Что вы о нем скажете, мистер? Что вы о нем скажете?

А я отвечал:

— Он хорошо владеет мячом.

И они, переглянувшись, все начинали кивать, как будто слова мои подтверждали собственное их мнение, но беда в том, что через десять минут после начала игры он с поля все равно что исчез. Когда же наконец завладел мячом снова, зрители засвистели: римские зрители — народ жестокий.

Я говорю директорам:

— Если спросите меня, почему у него так получается, я скажу вам: он в плохой форме.

Но они не хотели меня слушать, они только твердили:

— С вами, мистер, он будет другим, тот тренер его не понимал.

Мы в этот день проиграли со счетом ноль-один, зрители кричали президенту клуба, чтобы он ушел в отставку, а когда мы уезжали, в автобус наш летели камни.

На следующее утро я побеседовал с Петерсеном и сразу увидел, что парень он неплохой, но слабый, поддающийся влияниям. Глаза бегают, и когда говоришь с ним, он на тебя не смотрит. Английский он немного знал, так что разговаривать мы могли. Я спросил его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Хорошо.

И я опять спросил:

— Спишь нормально? А то ведь климат другой, очень высокая влажность.

— Да нет,— отвечает,— сплю хорошо.

— Прекрасно,— говорю,— давай тогда потренируемся.

Я вывел его на поле, выбрал место подальше от других и нагрузил на целый час: бег с ускорением, игра в стенку, спринт, гимнастические упражнения — короче, всё. Уже через полчаса он хотел бросить, но я протестую:

— Мне сорок пять, а я ничего; ты, в твоем возрасте, не имеешь права уставать так быстро.

Мы прозанимались еще полчаса, и он совсем выдохся, даже лицо стало белым как мел. Я сказал:

— Ты в плохой форме; точно, что ты не болен? Во сколько ты ложишься?

— В десять,— ответил он.

Вечером в резиденции клуба президент пригласил меня к себе в кабинет и сказал:

— В воскресенье Петерсен играть не может: врач говорит, он переутомился. Вы его перегрузили.

— Я вовсе его не перегружал,— отвечаю я.— Все, что он делал сегодня утром, делал и я, а вы посмотрите на меня. Футболист-профессионал должен выдерживать нагрузку вдвое большую. Если же он говорит, что такая нагрузка для него слишком велика, нужно провести медицинское обследование.

— Мы провели медицинское обследование,— говорит президент,— Петерсена осмотрели, когда он приехал, физическое состояние было идеальное. Но вам следует обращаться с ним бережно, он художник, он мальчик не очень сильный.

Ну, на этот счет у меня были кое-какие свои соображения, но я промолчал. Если медицинский осмотр не выявил заболевания, а Петерсен между тем не может выдержать получасовой тренировки, что-то тут не то, и я был почти уверен, что знаю, в чем дело: мальчишка молодой, большие деньги у него впервые, и оказался в таком месте, как Рим.

В этом туре он не играл, а на следующем опять играл всего минут десять. В понедельник, ничего мне не сказав, созвали совет директоров, и он лишил меня полномочий; я больше не имел права работать самостоятельно, а должен был согласовывать все с Сарто, менеджером клуба, а он был мелкий интриган, и на него

у меня не оставалось времени. Я стал спорить с директорами, я им заявил:

— В моем контракте сказано: я имею право делать все, что найду нужным.

Но они с этим не посчитались, и было ясно как день: если с Петерсеном будет так продолжаться, я потеряю место.

Потом однажды наш тренер, Джулио, подходит ко мне (к тому времени я уже понимал немного по-итальянски) и говорит: какой-то болельщик видел машину Петерсена в два часа ночи в центре Рима.

— Все правильно,— сказал я,— огромное тебе спасибо.

Джулио спросил, что я по этому поводу думаю предпринять, и я ответил:

— Пока не знаю.

Сперва следовало проверить, правда ли то, что рассказал Джулио, и для этого нужно было начать за Петерсеном следить. Обращаться к помощи нашего переводчика я не хотел, переводчик был шпионом президента клуба, поэтому я снова разыскал Джулио и попытался все объяснить ему сам:

— Частные детективы — тебе понятно?

Он понял в конце концов, и я продолжал:

— Приведи их в Париоли, туда, где я живу, но никому о них ни слова.

Занялся я этим без всякого удовольствия, но ничего другого придумать не мог.

Следующим же вечером он привел двоих, оба они были маленькие толстячки, и я объяснил им, что мне нужно; а нужно мне было, чтобы за ним следили все ночи подряд в течение недели, а потом представили мне исчерпывающий отчет. В конце недели я этот отчет получил — вместе со счетом на огромную сумму. Шесть ночей из семи Петерсен провел на Виа Венето [1] или неподалеку от нее: три раза он был с одной и той же девушкой, танцовщицей. В воскресенье мы играли с командой «Сампдориа», а он в тот день вернулся домой только в пять утра.

«Неудивительно, что он оказался тогда худшим игроком на поле»,— подумал я.

Но что было делать мне теперь, когда я все это выяснил? Я знал, что произойдет, если я пойду к президенту клуба: Петерсена оштрафуют — может, даже на миллион лир,— а я во все эти штрафы не верю, они создают в клубе нездоровую атмосферу и подрывают авторитет менеджера у игроков. В конце концов я придумал выход. Я вызвал Петерсена к себе в кабинет и, когда тот явился, спросил его:

— Где ты был в прошлое воскресенье в пять утра?

И он ответил:

— В постели.

— Да вовсе нет,— сказал я,— ты был в ресторане «Кирпичный купол» на Виа Венето, и отрицать это бесполезно: вот точные сведения,— и я протянул ему отчет сыщиков.

Нервы у Петерсена сдали, и он понес всякую чушь, а я говорю ему:

— Что бы сказала твоя жена дома, в Копенгагене, если бы обо всем узнала? Какие бы чувства испытала, если бы ей сообщили, что ты водишься со многими женщинами?

— Нет-нет,— сказал он,— это неправда. Ничего такого я не делал.

— Что ж, может, и не делал,— говорю я.— Лично я готов этому поверить, но поверит ли она?

Он заныл:

— Вы не сообщите ей об этом, мистер? Не сообщите?

И я говорю:

— А почему я должен молчать? Ты-то ведь меня подвел. Развлекался ночами, неделю за неделей плохо играл, команда проигрывала, а обвиняли меня.

Он сказал:

— Почему вы меня не оштрафуете? Пусть меня лучше оштрафуют.

А я говорю ему:

— Я против штрафов.

Я увидел, что наконец загнал его в угол, и продолжал:

— Дам тебе еще шанс, но это последний. Если обещаешь, что до конца сезона каждый вечер к одиннадцати ты в постели, я обо всем забуду.

Он пообещал, и я сказал ему:

— Обещание советую не нарушать, я намерен следить за тобой все время, и как только услышу, что ты опять где-то болтался ночью, в Копенгаген пойдет письмо.

В воскресенье мы играли во Флоренции, и, естественно, никакого улучшения в его игре пока не наблюдалось: для этого было слишком рано. На следующей неделе мы поехали в Турин, в гости к «Ювентусу»; команда эта — твердый орешек, а римские газеты тем временем поносили меня, и поносили Петерсена, и обзывали нас обоих «бидони», что примерно означает «мусор». «Я им покажу, какой мы мусор»,— подумал я.

На стадионе в тот день зрителей собралось шестьдесят тысяч, и вы бы не узнали Петерсена. Что он в хорошей форме, я увидел еще до того, как он вышел на поле: щеки больше не были впалыми, и появился румянец. Первые полчаса он мелькал как молния, и я молил бога, чтобы и дальше так продолжалось. Зрители вопили и аплодировали восторженно всякий раз, как он завладевал мячом,— в Италии они такие, симпатии их меняются у тебя на глазах.

Как Петерсен начал, так он и продолжал дальше; более того, во втором тайме он стал играть даже лучше, и за минуту до конца встречи, когда счет все еще не был открыт, один обошел в штрафной площадке троих и забил гол, обеспечивший нам выигрыш.

Команда, которую я тренировал, была в таком восторге, что вынесла меня с поля на плечах — в Италии так делают,— а президент клуба подошел ко мне в гардеробной и расцеловал в обе щеки.

— Браво, мистер, браво! — сказал он.— Это все благодаря вам, благодаря тому, что вы понимаете северный темперамент.

Я сказал переводчику:

— Насчет этого не знаю. Передай ему, что виноват не северный темперамент, а южный в игроке с севера.

Но президент клуба не понял шутки, и меня это особенно не огорчило.

[1] Одна из центральных улиц Рима, на ней находятся самые фешенебельные рестораны, кафе и т. п.

Развенчанный кумир

Мне тогда было всего шестнадцать, я узнал, что приезжает городская команда Лидса, и решил: выпрошу у него автограф, выпрошу обязательно, когда поезд остановится ненадолго у нашей платформы. Из Ньюкасла этот поезд выходил без двадцати шесть, и команды из других городов обычно прибывали на нем. У нашей платформы он останавливался всего на три минуты, и я подумал: если побегу вдоль поезда, то найду вагон, где он сидит, и дам ему в окошко свою книжечку для автографов, чтобы он расписался. Мы жили в крохотной шахтерской деревушке, но поезда около нее всегда останавливались.

Вообще-то я к тому времени уже почти перестал собирать автографы, это скорей занятие для детей, но тут был особый случай — я на него молился; другого такого, казалось мне, не было и не будет, это величайший центр нападения из всех, которые появлялись на футбольном поле. Однако годы шли, и в газетах теперь поговаривали, что скоро он уйдет из футбола, и я думал: может, для меня это последний шанс получить у него автограф.

Я уже давно болел за команду Ньюкасла, но каждый раз, когда приезжала команда Лидса, я, специально ради него, хлопал им изо всех сил, и он всегда забивал гол. Помню один такой гол в Гэллоугейте, я впервые увидел, как он играет, это был черт-те что за гол, самый замечательный, какой можно себе представить; он выпрыгнул высоко над троими из команды соперников, вратарем и двумя защитниками, ударил мяч головой, и тот пулей влетел прямо в сетку. Никакому другому центральному нападающему ни за что на свете не забить такого гола.

Мне и в день, о котором я говорю, следовало бы быть на стадионе, смотреть игру «Ньюкасла» с «Лидсом», но я играл сам в любительской команде шахтеров центральным полузащитником; я был крупный подросток, уже тогда почти семьдесят кило веса и шесть футов роста. По утрам я работал у мясника, доставлял товар на дом покупателям, а вечером, после игры, разносил газеты. Чтобы быть на платформе, когда остановится поезд, я в тот день взялся разносить вместо вечерних газет утренние. День был холодный, дул северо-восточный ветер, а я в шесть утра был уже на ногах; в тонкой куртке было жутко холодно, а когда я разнес газеты, нужно было еще доставить покупателям мясо. Обычно перед тем, как я шел играть, мать варила мне яйцо всмятку, но сейчас у меня даже не было времени его дождаться, и когда я добрался до шахтерского футбольного поля, я, честное слово, промерз до костей. Но книжка для автографов лежала в кармане, и на поле я все время беспокоился, как бы успеть на платформу к приходу поезда; самой игрой моя голова была занята только наполовину.

Едва встреча кончилась, я нырнул в раздевалку переодеться, выскочил из нее и, срезая расстояние, побежал через поля к станции — полторы мили от футбольного поля. Помню, я думал: бегу очень быстро, как бы книжечка для автографов не выпала из кармана. Она у меня была уже несколько лет, переплетенная в кожу, и в ней расписался даже Билл Маккрэкен — так давно начал я собирать автографы.

Когда я добежал до станции, уже стемнело, и как раз подходил поезд. Передо мной была насыпь, на ней платформа, а за платформой, прямо напротив меня, пульмановский вагон, и даже снизу я увидел у самого окошка его, Билла Грина: пышные белокурые волосы, а нос сломан, как у боксера. Он пил пиво. Я взлетел вверх по насыпи с такой скоростью, будто мне угрожала смерть. Вскарабкался на платформу и постучал в окошко, но он и не подумал открыть. Постучал снова, но он даже головы не повернул, и стало мне тошно. Я все стучал и стучал в окошко, протягивал и протягивал книжечку с автографами; наконец он повернулся и не улыбаясь открыл окошко, и я дал ему книжечку. Он даже не взглянул на нее, честное слово. Просто взял ее и швырнул на платформу, в середину лужи. Я схватил ее, но она уже намокла, все было испорчено — и переплет и страницы; потом, дома, я увидел, что чернила расплылись и поблекли, а страницы склеились. Когда я поднял книжечку и стал ее вытирать, поезд тронулся, на том все и кончилось. Я брел через поля домой и, сказать по совести, едва удерживался, чтобы не заплакать. Я думал: зачем ему нужно было делать это, чего ради, потом вспомнилось, каким кумиром был он для меня и как трудно было успеть на станцию вовремя, и почувствовал, что дошел до предела.

Вечером отец сказал:

— Если он мог так поступить, он последний гад, и не важно, сколько раз он играл в сборной Англии, сколько забил голов.

В Гэллоугейте команда их только что потерпела поражение, это, я думаю, тоже сыграло роль, но, так или иначе, он перестал для меня существовать. Я думал: если из меня будет какой-нибудь толк и я стану футболистом-профессионалом, я никогда ни с одним мальчишкой так не поступлю.

Примерно через месяц ко мне пришли из клуба «Ливерпуль» и пригласили на просмотр. По правде говоря, я бы предпочел «Ньюкасл», но они ни разу не проявили ко мне интереса; как-то я написал им, просил посмотреть меня, так они даже не ответили. А профессионалом мне стать очень хотелось, ради этого я бы поехал и в такую даль, как Абердин.

Просмотр прошел хорошо, и меня взяли в обслуживающий персонал (подписать контракт на вступление в команду я, по возрасту, еще не имел права); я стал помогать поддерживать чистоту на трибунах и на поле и иногда играл против основного состава. На лето я вернулся домой, а когда начался новый футбольный сезон, мне дали шанс в дублирующем составе, и я так и остался в команде.

Четвертый или пятый по счету матч мы должны были играть в Лидсе, играть с дублирующим составом команды города, и меня это совсем не волновало: очередной

матч, думал я, ничего особенного. Потом, в пятницу утром, прихожу на их поле, и Дэнни Моррис, наш левый защитник, мне говорит:

— Да, плохи твои дела: знаешь, кто будет играть против тебя?

И я спрашиваю:

— Кто?

А он отвечает:

— Билли Грин.

Наверное, я удивил его, когда сказал:

— Вот здорово, просто великолепно!

И Дэнни говорит:

— Великолепно? Да ведь он из тебя мокрое место сделает.

А я говорю:

— Посмотрим.

Я был взбудоражен, ждал и не мог дождаться этого матча, глаз ночью не сомкнул, не сомкнул ни на минуту; ничего не было в голове, только мысли о том случае, о том, как он бросил в лужу мою книжку с автографами, и о том, как за это я с ним теперь рассчитаюсь.

Только на этой неделе его выкинули из основного состава команды, и когда он вышел на поле, сразу стало видно, что настроение у него плохое: лицо хмурое, мрачное; ему пасуют, а он даже не шевельнется. Едва на поле подали мяч, я, как обычно делают защитники, занял место возле Билли Грина, и он посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «Интересно, кто этот нахальный сопляк?»

Когда мяч оказался около нас, я врос в землю; он бросился было к мячу, но растянулся, а когда встал, то сказал:

— Брось эти шутки, сынок.

А я ответил:

— Бросьте сами.

Когда он прыгнул за верховым мячом, я двинул его локтем в ребра; скажу вам честно, я уже не мог остановиться. Нед Уиллис, наш капитан, подошел ко мне и говорит:

— Спокойней, мальчик, что это с тобой?

И я ответил:

— Я покажу ему, покажу этому гаду.

Интересно, что будь встреча, ну, как бы это сказать, обычная, я бы, наверное, его боялся: ведь вон он какой известный, а мне всего-навсего шестнадцать; но для меня он был последний гад, как его назвал мой старик, и каждый раз, когда мяч оказывался около него, мне вспоминался тот вечер, и я вмиг оказывался около Билли Грина.

Он в тот день не смог забить ни одного гола, и мы выиграли со счетом один-ноль. Когда мы уходили с поля, он спросил меня:

— Сколько тебе лет?

И я ответил:

— Шестнадцать.

И он сказал:

— Такой молодой, а уже такой подлый.

— Но одного я никогда не сделаю,— ответил я.— Не брошу в лужу книжечку, когда подросток попросит у меня автограф!

Он остановился как вкопанный и уставился на меня с таким видом, будто я спятил, а я пошел в туннель и уже никогда после этого его не встречал.

◆

К нашим иллюстрациям

Памяти Ренато Гуттузо

И в твоей кисти есть ветер мира,
И солнце и весна — в твоей живописи.

Рафаэль Альберти (из поэмы «Ренато Гуттузо — художнику народа»)

В 1987 году Ренато Гуттузо исполнилось 75 лет: он родился 2 января 1912 года в Багерии на Сицилии. Но случилось так, что январские дни стали в его жизни последними, когда с мужеством, отличавшим весь его путь борца и художника, Гуттузо сражался против мучительной болезни.

Кончина его в ночь на 18 января была воспринята в Италии и за ее пределами как утрата не только крупнейшего, самобытного деятеля культуры, но и страстного борца, «великого персонажа современности». Так писали и говорили в сообщениях, некрологах, выступлениях по радио и на траурных митингах государственные деятели, художники, писатели, товарищи по антифашистской борьбе, и просто те, кто прощались с ним в здании Сената, у стен римского Пантеона. Альберто Моравиа в эти дни сказал: «Жизнеутверждающее творчество Гуттузо навсегда останется в памяти благодарного человечества».

Источником творческой силы замечательного мастера была земля его детства, с которой он никогда не порывал связи. Тут Гуттузо учился у своего первого учителя — искусника, расписывавшего традиционные крестьянские повозки, радостью красок одарила его полотна родная Сицилия, в чьей истории причудливо сплелись традиции многих культур — греческой и римской античности, византийского христианства и арабского Востока, сарацинов и норманнов, германцев, Испании, Франции.

Но из всего многообразия звонкой красочности мира, получившей отзвук в его живописи, Гуттузо — внук гарибальдийца, боец гарибальдийской бригады Сопротивления, коммунист — более всех цветов, подобно К. Марксу, любил красный, цвет революции.

Кровь Италии в этом красном богатстве
. . . . . .
Красное будет красным, красное рабочего
И красное поэта, единственно красное,
Которое означает реальность борьбы,
Надежду — победу и милосердие...

— так писал, обращаясь к художнику, П. П. Пазолини.

Сложными поисками средств выражения был отмечен творческий путь Гуттузо, однако всегда он возвращался к прежним образам, мотивам, решениям. В «Автобиографической серии» 60-х годов, словно пролистывающей страницы жизни и искусства,— те же персонажи и образы, те же натюрморты, та же неистребимая жизненность красного цвета.

Он остался верен им и в пейзажах, в натюрмортах последних лет (см. наши иллюстрации).

Историк искусства Дж К. Арган видел силу Гуттузо в «значимости... вещей». Натюрморт стал для него своего рода программой, утверждением материальной реальности мира: недаром его называли «новым Караваджо».

Гуттузо ценил наследие. Он выполнил много копий с классических произведений — от раннего Возрождения до нашего века. Подобно другим большим художникам современности — Пикассо, Манцу,— Гуттузо видел в таком копировании не ученический опыт, а попытку «потягаться» с великим мастером, исследовать стилистическую природу его творчества и, наконец,— знак почитания.

В 70-е годы создан цикл «пиров» «В честь Пикассо», где в картине «Пир мертвых» за одним столом — Пикассо, Рембрандт, Веласкес — копии с их известнейших автопортретов. Тогда же Гуттузо изобразил в интерьере знаменитого «Кафе Греко» своих друзей и персонажей прежних произведений — тех, кто на протяжении его жизни был ему дорог.

Воспоминания о людях и воспоминания о различных эпохах искусства. Память в двойном значении содержания и формы. «Это — материализованная память. Это не отчужденная память, но активная материя, органическая ткань связей, существующих в наше время»,—говорил художник.

Память как урок, требующий выводов, память — опыт прежних поколений, память сердца и ума, память как дань уважения прошлому во имя будущего — сегодня понятие остросовременное.

Верный до конца своей ангажированности, Гуттузо, не только не отказываясь от доминирующей роли идейного содержания, но, напротив, исходя из него, стремился соединить свой поиск средств выразительности с опорой на традицию в диалектическом соотношении нового и прошлого. «С 1963 года,— говорил он,— я экспериментировал, искал, но только... не ради экспериментаторства».

Он использовал разнообразные возможности фотографии, неизбежные при сегодняшнем стремлении искусства к документальности, что в свою очередь тесно сопрягается с неуклонным процессом его политизации. Гуттузо заявлял о своей принадлежности к политическому жанру: «Все, что я делаю, имеет политический смысл».

«Новатор с античными корнями», он делал самые современные пробы необычных техник и материалов, монтажа, ассоциативных построений, соединения в пределах одного холста разновременных и разнохарактерных явлений.

Глубину смысла грандиозных событий сегодняшнего мира нельзя передать в частном эпизоде, требуется некое обобщение, квинтэссенция содержания — считал он. И потому строил «изложение» сюжета не на традиционном, последовательном во времени рассказе, а соединяя вместе образы, предметы, явления, дающие возможность выявить основную мысль, идею произведения. На таком принципе построена одна из последних его больших картин, особо любимая самим художником. Ее тональность и смысл определены в «торжественной латыни» самого названия: «Spes contra spem» — «Надеюсь вопреки всему». Это словно бы завершающий итог: полотно Пикассо, портреты друзей, самого художника, его жены, сицилийский пейзаж и обнаженная модель в проеме открытой двери, всегдашние атрибуты его мастерской, обычные предметы символических натюрмортов: череп, телефон и, конечно,— красный цвет: пол, книги, банки с краской, цветы. Но более всего выделяется на фоне серо-черного интерьера яркое алое пятно еще нетронутого холста на мольберте — главная сила художника, дающая надежду преодолеть все: и сгущающуюся в полночном грозовом небе над мастерской темноту, где сгрудились страшные чудовища, и даже смерть, символизированную медленно, но неотвратимо ползущей черепахой.

Многообразные детали картины выписаны тщательно, предельно четко, с реалистической ясностью истинного мастерства, к которому после всех метаний и опытов обращаются сегодня лучшие художники мира.

...«Постоянное введение новых изобразительных идей не для себя, но для других, это и было качественным ростом общего опыта современного искусства»[1],— эти слова Гуттузо можно отнести к нему самому, к определению его места в культуре XX столетия.

Е. ХЕРСОНСКАЯ

[1] «ИЛ», 1978, № 4, с. 244.

◆

Из месяца в месяц

Болгария

ДИСКУССИЯ О РОМАНЕ «ОБЛАВА НА ВОЛКОВ»

Еженедельник «Литературен фронт» посвящает большую статью подведению итогов дискуссии о романе Ивайло Петрова «Облава на волков» (автор известен советскому читателю по повестям «Нонкина любовь» и «До того, как я родился»).

В «Облаве на волков» И. Петров повествует о людях сложной судьбы, но, отмечает газета, «то, что их объединяет, сильнее того, что их разделяет и противопоставляет. Трудно и коммунисту Стояну Кралеву, и Соленому Калчо, Жендо Хайдутину, Киро Джелебову. Предстоят революционные преобразования. У истории нет времени быть сентиментальной и снисходительной к тем, кто мешает ее ходу».

Критик Васил Колевски подчеркивает, что Ивайло Петров рассказал не о проблемах кооперации в болгарском селе, а о «поднятой целине» в душе крестьянина, о «зерне, которое должно дать добрые всходы».

Академик Пантелей Зарев на страницах газеты «Литературен фронт» пишет: «Это сильное, удивительно емкое произведение я поставил бы в один ряд с лучшими книгами, написанными за последние десятилетия Эмилианом Станевым и Димитром Талевым, Димитром Димовым и Георгием Караславовым». П. Зарев отмечает «яркий психологизм, реалистичность пейзажа, многоплановость характеров, эпичность и вместе с тем тонкий лиризм, живой и свежий язык произведения».

Свои оценки романа дают и критики Пенчо Дочев, Серафим Северняк, Иван Каракочев. Обозреватель газеты «Литературен фронт» Ч. Добрев пытается определить жанр произведения, идя «от противного»: «Это не живописно-бытовой роман, несмотря на превосходные сцены народной жизни. Не приключенческий, хотя использует и его приемы. Не назидательно - просветительский. Нельзя сказать, что роман «Облава на волков» посвящен одному-единственному событию — нооперированию, хотя основной конфликт сосредоточен на нем».

«Время, воссозданное в романе, — заключает «Литературен фронт», — терзает мысль и совесть писателя. Роман Ивайло Петрова — исповедь художника-коммуниста, который держит ответ перед народом».

Заключая дискуссию, газета подчеркивает: «Проблемы, идеи и образы романа «Облава на волков» рождены борьбой партии и народа, а потому принадлежат и дню нынешнему. Несмотря на различия в оценках, все критики были единодушны в главном: роман является выдающимся произведением современной литературы».

Великобритания

НОВАЯ БИОГРАФИЯ ИВЛИНА ВО

Издательство «Дент» выпустило книгу Мартина Стэннарда «Ивлин Во: молодые годы, 1903—1939», посвященную раннему периоду жизни и творчества выдающегося писателя-сатирика. Автор приводит ряд любопытных сведений из жизни Во, не упоминавшихся ранее биографом писателя Кристофером Сайксом. В частности, читатель найдет в книге рассказ первой жены Во Э. Гарднер об их совместной жизни, а также подробное описание его путешествия на Шпицберген.

Книгу М. Стэннарда, отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» П. Н. Фербенк, скорее можно отнести к жанру «критической биографии», чем к жизнеописанию в привычном понимании этого слова. Сюжетная линия повествования то и дело прерывается рассуждениями автора, критическим разбором произведений Во. Рецензент считает также, что Стэннард упрощенно (зачастую — и превратно) толкует отдельные эпизоды в романах Во.

Правда, особое, пристальное внимание Стэннард уделяет юмору Ивлина Во, рождающемуся из парадоксального сочетания смешного с печальным и даже трагическим. Ироничность, насмешливость писателя «проявились» не только в романах этого периода («Упадок и разрушение», «Мерзкая плоть» и других), но и во многочисленных эксцентричных выходках; о некоторых из них рассказывается в биографии.

Ивлин Во и Эвелайн Гарднер.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

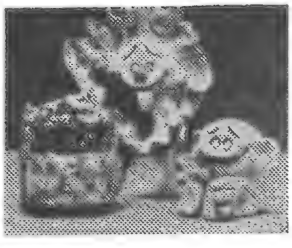
Вот что пишет рецензент об этой стороне личности писателя: «В характере Во было много отрицательных черт, его заносчивость, снобизм, неуживчивость временами становились просто невыносимыми. Но чувство юмора никогда ему не изменяло».

Венгрия

Пластилиновая дама Аугуста режиссера Чабы Варги хорошо известна не только венгерским кинозрителям, но и любителям мультипликационного кино во многих странах. В Советском Союзе демонстрировался фильм «Моя милая готовит». На этот раз Чаба Варга снял эпизод, в котором Аугуста кормит малыша. Фильм популярного венгерского режиссера удостоен высокой награды (первый приз среди пятиминутных кинолент) на последнем фестивале мультипликационных фильмов, который проводился в канадском городе Гамильтоне (штат Онтарио).

На снимке: кадр из фильма «Аугуста кормит».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



ГДР

ВЕСЕННЯЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

1100 издательств из 22 стран представили свою продукцию на традиционной книжной ярмарке в Лейпциге. На ее открытии присутствовали секретарь ЦК СЕПГ Курт Хагер, заместитель министра культуры ГДР Клаус Хёпке и председатель Союза писателей ГДР Герман Кант.

Германская Демократическая Республика показала 6500 книг 78 издательств, пишет газета «Нойес Дойчланд». Отдельный стенд посвящен семидесятилетию Октябрьской революции. Издательство «Диц» выпустило к этой знаменательной дате ряд книг: «Немецкие интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции», «Первые декреты Советской власти», «70 лет борьбы Советского Союза за мир и социализм», издательство «Нойес лебен» — антологию советской прозы, в которую вошли произведения Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Аркадия Гайдара, Константина Паустовского, посвященные молодежи, ее участию в революции и гражданской войне, издательство «Фольк унд вельт» — антологию советской многонациональной поэзии.

«Берлинер цайтунг» сообщает, что к 750-летию Берлина, которое отмечается в этом году, издательство «Диц» опубликовало иллюстрированную «Историю Берлина от основания до 1945 года» и «Историю Берлина в 1945—1986 гг.», другие издательства — книги берлинских писателей, книги об архитектуре, памятниках столицы ГДР.

Издательство «Ауфбау» выпустило второй том романа «Лавка» и иллюстрированное издание романа «Чудодей» Эрвина Штриттматтера. Эти публикации приурочены к 75-летию писателя. В том же издательстве вышли первые семь томов собрания сочинений Бертольта Брехта (совместная работа с коллегами из Федеративной Республики Германии), новые книги Кристы Вольф и Альфреда Вельма. На ярмарке были представлены также новые произведения Эрика Нойча, Гюнтера Гёрлиха, Хорста Бастиана, Эберхарда Паница, Бернхарда Зеегера, выпущенные в разных издательствах.

В дни работы лейпцигской ярмарки прошли выступления многих писателей, в том числе Эрвина Штриттматтера, западногерманского писателя Бернта Энгельмана, австрийского поэта Эриха Фрида.

Дания

ПАМЯТИ КЬЕЛЯ АБЕЛЯ

На малой сцене Копенгагенского театра «Бетти Нансен» состоялась премьера спектакля «В мире Абеля», сообщает газета «Ланд ог фольк». Это — своеобразный монтаж стихов, писем и статей известного датского драматурга Кьеля Абеля (1901—1961). Постановщик Хенрик Петерсон так объясняет свой замысел: «Нам хотелось показать, что Абель, чье творчество — редкий сплав мужества и фантазии, не только классик, он наш современник, он вне моды».

Кьель Абель.

(Газета «Ланд ог фольк»)

В драме «Анна Софи Хедвиг» (1939), пишет театральный обозреватель газеты Ранди Педерсен, Абель предупреждал о политической опасности, порождаемой пассивностью и эгоцентризмом «среднего» человека. В драмах «Юдифь» (1940), «Королева-призрак» (1943), «Силькеборг» (1946) Абель клеймил предателей, воспевал героев Сопротивления, открыто призывал к активной, решительной борьбе за идеалы гуманизма, против террора и насилия, против фашизма.

Не устарели и ранние комедии Абеля, подчеркивает обозреватель, — «Пропавшая мелодия» (1935), «Ева отбывает детскую повинность» (1936), «Марс в конце недели» (1940), — в которых звучит острый социальный протест против мещанского самодовольства и обывательского «здравого смысла».

В своих статьях Абель выступал против «уютной бархатной обители», которую представлял собой современный ему театр. Он считал, что в театре зритель должен быть «активной творческой силой».

В автобиографической книге «Театральный луч в пасхальную погоду» (1948) Абель говорил: «Театр был, есть и всегда должен быть пространством свободного полета мысли, фантазии. Вся сила его — в слове, и нельзя допустить, чтобы слово купили».

«Отрадно, — заключает Р. Педерсен, — что премьера спектакля «В мире Абеля» приурочена к двадцатипятилетию со дня смерти писателя, что датская сцена воскресила творчество одного из самых значительных и незаслуженно забытых драматургов».

Телевидение ГДР показало телевизионный фильм «Тот самый голубой цвет», снятый по одноименному рассказу Анны Зегерс (режиссер Криста Мюль). Как отмечает газета «Нойес Дойчланд», «на экране получила воплощение поэтическая история «маленького человека», мексиканского гончара Бенито Герреро, который верит в свою мечту, ищет свой «голубой цвет», несмотря на все превратности судьбы».

На снимке: актеры Генри Хюбхен и Марьям Агишева в телевизионном фильме «Тот самый голубой цвет».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Индия

«ТАНЦОВЩИК УДАЙ ШАНКАР»

Так называется документальный фильм, снятый недавно индийским кинорежиссером Дебабратой Роем. Картина всколыхнула интерес общественности к творчеству и личности блестящего мастера индийского танца, о котором Джеймс Джойс в письме к дочери писал: «На сцене он словно полубог. Поверь мне, в нашем мире еще жива красота...»

Удай Шанкар, сообщает журнал «Линк», сначала мечтал стать художником и музыкантом. Но к тому времени, когда ему удалось преодолеть сопротивление старших членов своей консервативной семьи, он уже избрал карьеру танцовщика. По иронии судьбы, его брат Рави Шанкар обучался в юности танцам, но стал музыкантом и завоевал на этом поприще мировое признание.

«Открыла» Удая Шанкара знаменитая балерина Анна Павлова. Случилось это в 1923 году во время любительского представления, в котором принимал участие Удай Шанкар. Русская балерина пригласила его на роль Кришны в своем балете «Радха и Кришна», где сама исполняла партию Радхи, возлюбленной темнокожего бога-пастуха. А несколько позже Анна Павлова совершила вместе с Удаем Шанкаром турне по США.

К середине 40-х годов Шанкар становится виднейшей фигурой в истории индийского танца, отмечает рецензент журнала «Линк». Он смело ломает вековые каноны, создает новые формы, сохраняя при этом дух классического индийского танца. Вместе со своими молодыми партнерами по труппе Удай Шанкар продолжает учиться все новым и новым индийским танцам и с этой целью приглашает знатоков традиционных танцев из различных районов Индии.

Поставленный Удаем Шанкаром фильм «Калпана» («Воображение») стал уникальной в истории кинематографа лентой, запечатлевшей дарование метра индийского танца.

Удай Шанкар.
(Журнал «Линк»)

Испания

БУЭРО ВАЛЬЕХО — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ СЕРВАНТЕСА

Литературная премия имени Сервантеса за 1986 год присуждена испанскому писателю и драматургу Антонио Буэро Вальехо, сообщает газета «Паис». Премия была учреждена испанским правительством в 1975 году, и за минувшие годы ее лауреатами стали многие видные писатели Испании и Латинской Америки.

Журнал «Камбио 16» рассказывает о жизненном и творческом пути Буэро Вальехо. Он родился в Гвадалахаре в 1916 году, учился в Мадриде рисунку и живописи, в годы гражданской войны в Испании сражался в рядах защитников Республики. После разгрома республиканцев был арестован франкистами и приговорен к смертной казни. Восемь месяцев спустя благодаря счастливому стечению обстоятельств приговор был отменен, но только в 1946 году Буэро Вальехо вышел на свободу. В тюрьме ему довелось встретиться с Мигелем Эрнандесом, и там он написал ставший теперь широко известным портрет народного поэта Испании.

Литературная слава приходит к Буэро Вальехо очень быстро: уже в 1949 году за пьесу «История одной лестницы» он получил премию имени Лопе де Вега. По мнению критиков Э. Аро Текглена и Д. Переса Миника, это произведение стало важнейшей вехой на пути развития испанского театра 40—50-х годов. За четыре десятилетия творческой деятельности Буэро Вальехо написал 25 пьес. Он был четырежды удостоен Национальной премии в области драматургии, шесть раз — Премии критики и зрителей. Сам драматург в беседе с театральным критиком Педро Сорелой сказал, что лучшими своими работами считает пьесы «В пылающей тьме», «Концерт Сан Овидио», «Подвальное окно», «Сон разума», «Фонд», «Нечто секретное».

Газета «Паис» называет писателя «духовным отцом поколения драматургов (самые известные его представители — Альфонсо Састре и Лауро Ольмо), которые с театральных подмостков пытались воздействовать на общественное сознание, искалеченное диктатурой». Здесь же приводятся слова академика Педро Лаина: «Буэро Вальехо продолжает оставаться лидером современного испанского театра».

«Паис» также сообщает, что по случайному совпадению именно в день объявления результатов конкурса в театре Маравильяс состоялась премьера новой пьесы Буэро Вальехо «Ласаро в лабиринте» (режиссер Г. Перес Пуиг).

Куба

«КУБИНСКАЯ МИФОЛОГИЯ»

О выходе в свет антологии под таким названием сообщает кубинская газета «Гранма», цитируя слова составителя, автора предисловия и комментариев Самуэля Фейхоо: «Мифы, выросшие на почве народной фантазии, народных чаяний и мечтаний, но и на почве суеверий и страхов, являются важнейшей составной частью мирового фольклора». История кубинской мифологии, по его словам,— «одна из самых оригинальных в Латинской Америке».

Национальная фольклорная сокровищница Кубы, отмечает рецензент, хранит богатейшие запасы мифов. Не всегда легко определить их происхождение и время возникновения: многие из представленных в антологии образцов до сих пор бытовали лишь в устных вариантах, собиратели записывали их в городах и деревнях, однако составитель также опирался в своей работе и на библиографические источники.

Антология делится на шесть больших разделов, объединяющих мифы по их характеру и происхождению. Несомненный интерес представляют главы «Индейская кубинская мифология», «Первобытные мифы», «Кубинская мифология тайны и ужаса», но композиционным и идейным центром сборника, по мнению рецензента, являются два раздела — «Общая кубинская мифология» и «Афрокубинская мифология». Именно их содержание во многом определяет научно-художественную ценность и полноту антологии в целом.

Мифы, вошедшие в первую из этих глав, «поражают воображение неуемной фантазией и художественным совершенством сюжетов». В главе «Афрокубинская мифология» собраны негритянские мифы, пришедшие на Кубу вместе с рабством. Здесь, постепенно изменяясь под сильным воздействием католицизма, они, как отмечают специалисты, превратились в яркую форму выражения религиозного афрокубинского синкретизма. Эти мифы наряду с фольклором коренных жителей страны стали частью единого, неделимого культурного богатства кубинского народа, заключает рецензент.

Польша

СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ КАНТОРУ

В Силезском университете (Катовице) состоялся научный симпозиум, посвященный творчеству художника, режиссера и теоретика театра Тадеуша Кантора (род. в 1915 году), пишет газета «Жиче литерацке». Доклады участников встречи осветили историю театральной деятельности Кантора, признанной весомым вкладом в развитие культуры ПНР.

Ученик выдающихся польских сценографов Кароля Фрыча и Анджея Пронашко, Т. Кантор в годы гитлеровской оккупации создал в Кракове подпольный Независимый театр (1941—1944), спектакли которого («Балладина» Ю. Словацкого, «Орфей» Ж. Кокто, «Возвращение Одиссея» С. Выспянского) явились примером подлинного духовного сопротивления фашизму, отмечает газета «Политика». В 1955 году Кантор основал в Кракове театр «Крико-2», ставший в 60—70-е годы наряду с вроцлавской «Лабораторией» Ежи Гротовского и варшавским «Студио» Юзефа Шайны важнейшим центром новаторского поиска в театральном искусстве Польши.

Первое двадцатилетие работы «Крико-2» связано с именем С. И. Виткевича — его пьесы составили основу репертуара театра. Действуя в соответствии с духом теоретических концепций Виткевича, Кантор и его труппа стремились воплотить идею «театра конкретной реальности», далекого от сценического иллюзионизма. Каждый спектакль Кантора, подчеркнули участники симпозиума, — «новый шаг к обогащению художественной среды». Выступая с последовательно сменяющими друг друга программами «автономного театра», «театр информель», «нулевого театра», «хэппенинга», «невозможного театра», «театра смерти», Кантор по существу разрабатывал единую концепцию трагикомического синтеза в искусстве, по его представлению, максимально соответствующего парадоксальной логике действительности.

Тадеуш Кантор.

(Газета «Жиче литерацке»)

Сцена из спектакля «Велёполе, Велёполе» в постановке Т. Кантора.

(Газета «Политика»)

Творчество Кантора-режиссера, продолжает «Политика», — пример импровизационного, открытого подхода к произведению. Спектакль, в его понимании, — «мельница, перемалывающая текст», задача актеров — «игра с текстом», которая «должна воспитать в зрителе философское отношение к миру». В своих спектаклях художник, опираясь на индивидуальный опыт и литературные впечатления, на универсальные символы и «клише памяти», размышляет о проблемах, стоящих на стыке вечности и сегодняшнего дня. Это особенно ярко проявилось в оригинальных авторских «драматических сеансах» Кантора, к созданию которых он перешел с середины 70-х годов. Среди них — «Мертвый класс» (1975), «Велёполе, Велёполе» (1980), «Да сгинут артисты!» (1985).

Тадеуш Кантор удостоен многочисленных премий и правительственных наград ПНР и других стран. Его творчество получило широкое международное признание, спектакли «Крико-2» стали своеобразной визитной карточкой польского театра за рубежом, подводит итог обозреватель «Жиче литерацке». Сценографические и живописные работы Т. Кантора, собранные в краковской галерее-архиве «Крикотека», находятся под охраной государства.

США

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС: НАЧАЛО ПУТИ

Нью-йоркское издательство «Нью дайрекшнз» выпустило первый том «Собрания стихотворений» Уильяма Карлоса Уильямса (1883—1963) — одного из крупнейших американских поэтов XX века. В книге представлена лирика и поэмы Уильямса, созданные в 1909—1939 годах. Издание снабжено подробными комментариями.

Творческая судьба поэта, напоминает рецензент литературно - критического еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», складывалась непросто. Долгое время критики почти игнорировали его, и не только потому, что считали провинциального врача дилетантом в литературе. В пору господства модернистских канонов — а в межвоенное двадцатилетие тон в американском литературоведении задавали последователи Т. С. Элиота — творческие установки Уильямса казались слишком «прозаическими» и упрощенными. Между тем, развивая традиции Уитмена, продолжает рецензент, Уильямс стремился создать реалистическую лирику, в которой емко отразились бы социальные драмы и психологические коллизии повседневной жизни его соотечественников.

Подобно своему выдающемуся современнику Карлу Сэндбергу, подчеркивает рецензент, Уильямс — поэт города, певец будней урбанистической цивилизации — с болью и состраданием изображал суровую борьбу за существование в буржуазной Америке. Такой, в частности, была его поэзия 10—30-х годов, представленная в первом томе «Собрания». «Начиная с 1914 года, — пишет «Нью-Йорк таймс бук ревью», — в творчестве Уильямса все слышнее критика американского общества, которая до сих пор не утратила своей злободневности, ибо эта критика шла как бы из самых недр национальной культуры...»

Эстетические и нравственные уроки творчества Уильямса прочно усвоили его преемники — поэты 50—60-х годов, имевшие все ос-

нования считать своего учителя «самым американским поэтом нашего времени».

ПРОТЕСТ ПИСАТЕЛЯ

«Вы, наверное... захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту дэвид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться... Да я и не собираюсь рассказывать свою биографию...» Так начинается знаменитый роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951), написанный от лица подростка Холдена Колфилда, — по мнению У. Фолкнера, лучшая книга всего послевоенного писательского поколения США.

Приводя «говорящую» цитату, журнал «Тайм» отмечает, что Сэлинджер полностью солидарен со своим героем: без малого четверть века прозаик ничего не публиковал, скрывался от журналистов и решительно отказался встречаться с литературным обозревателем «Санди таймс» Иэном Хэмилтоном, несколько лет назад начавшим собирать материалы для его биографии.

В ноябре прошлого года американская и европейская пресса сообщила подробности дела: получив исправленные по его просьбе гранки книги Хэмилтона «Дж. Д. Сэлинджер: жизнь писателя», «добровольный затворник из Нью-Гемпшира» все-таки подал в суд. «К сожалению, первый раунд в борьбе с издательством «Рэндом хаус» Сэлинджер проиграл, — писал тогда французский еженедельник «Нувель обсерватёр». — Неужели опус Хэмилтона выйдет в свет?»

Протест Сэлинджера, продолжает «Тайм», с человеческой точки зрения вполне оправдан. А теперь, оформив необходимые бумаги, прозаик стал законным обладателем своих писем юношеских лет, найденных Иэном Хэмилтоном в университетских библиотеках США и использованных в книге (примерно 77 из 192 страниц занимают прямые цитаты из посланий Сэлинджера, а также их подробный пересказ).

Выбор у издательства «Рэндом хаус» невелик, иронически констатирует «Тайм», — «остается потребовать пересмотра судебного дела или выпустить книгу Хэмилтона в искусно обработанном, смягченном варианте».

Дж. Д. Сэлинджер. Редкая фотография.

(Журнал «Тайм»)

Франция

«ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» АРТО

Издательство «Галлимар» выпустило в свет альбом «Рисунки и портреты» Антонена Арто (1896—1948), сообщает парижская пресса.

В двадцатые годы XX века Арто — писатель, поэт, актер, участник движения сюрреалистов — активно выступал против буржуазного конформизма в искусстве, за «полную дискредитацию реального мира» и свободу развития творческой личности, напоминает известный критик Жан-Мишель Рей на страницах «Кензен литтерер». «Предпочитая писанию действие», Арто разработал теорию «театра жестокости» (термин «жестокость» в книге «Театр и его двойник» он пояснял так: «неукоснительное, неумолимое следование принятому решению») и подготовил несколько сценических композиций на ее основе. В одну из них Арто, интересовавшийся молодым театром и кинематографом Советской республики, даже включил запрещенный французской цензурой фильм Всеволода Пудовкина «Мать».

В тридцатые годы Арто сделал множество эскизов декораций и костюмов для спектаклей «театра жестокости», но рисунки, собранные в альбоме,— жанр совсем иной, особенный, подчеркивает Ж.-М. Рей. «Начиная с 1939 года,— признавался Арто в своем дневнике,— я всегда пишу и рисую одновременно, на одном листе. Но мои наброски не имеют ничего общего с классическим искусством... Это не зарисовки эмоциональных состояний — это жесты, действия, их грамматика и арифметика, это настоящая каббалистика, поиск утраченного мира...»

А. Арто. Портрет Поль с подписями.

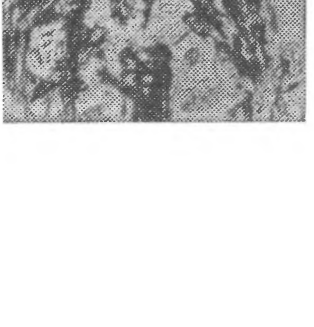
(Журнал «Кензен литтерер»)

В статье, предпосланной альбому Арто, исследовательница его творчества Поль Тевенен (она подготовила к печати не только эту книгу, но и двадцатитомное собрание его дневников, снабдив их подробнейшим аналитическим комментарием) пишет, что в своеобразной портретной галерее нет места застывшим натурщикам: «Лица людей у Арто-художника отражают ожесточенную борьбу между жизнью и смертью».

«Наше представление о мире Арто,— отмечает Жан-Жак Брошье в журнале «Магазин литтерер»,— осталось бы однобоким, не будь этого прекрасного альбома рисунков — образцов его нервного, едкого «идеографического письма».

А. Арто. Автопортрет.

(Журнал «Магазин литтерер»)



◆

В следующем номере:

Роман
Американского писателя
Эрнста Дж. Гейнса
«И сошлись старики»

Окончание романа
Айрис Мердок «Сон Бруно»

Стихи поэтов Индии

«Кто есть кто в Польше...» —
интервью А. Кемпинского и З. Киляра
с ведущими общественно-политическими
деятелями страны

Переписка К. И. Чуковского
с американскими славистами

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.04.87. Подписано в печать 16.06.87. А 08536. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,37.

Тираж 455 000 экз. (1-й завод: 1 — 405 000 экз.). Зак. 1611.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Натюрморт. Велата.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394